РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ

Труды
Института востоковедения РАН

Выпуск 7

ТЮРКСКИЕ КОЧЕВНИКИ В АЗИИ И ЕВРОПЕ:
цивилизационные аспекты истории и культуры

Москва
2018

Ответственный редактор выпуска
Д.Д. Васильев

Составители:
Д.Д. Васильев, Ю.И. Дробышев, И. Зимоньи

Рецензенты выпуска:
доктор исторических наук *А.Ш. Кадырбаев*
кандидат исторических наук *А.Д. Васильев*

Труды Института востоковедения РАН, Вып. 7: Тюркские кочевники в Азии и Европе: цивилизационные аспекты истории и культуры / Отв. ред. и сост. Д.Д. Васильев, сост. Д.Д. Васильев, Ю.И. Дробышев, И. Зимоньи. – М.: ИВ РАН, 2018. – 268 с.

ISSN 2587-9502
ISBN 978-5-89282-805-5

Очередной выпуск Трудов Института востоковедения РАН содержит сборник статей, подготовленный международным коллективом авторов, и посвященный актуальным проблемам кочевниковедения. Рассмотрен вклад номадов древности и средневековья в культуру оседлых цивилизаций, проанализированы контакты тюркских кочевников с соседними народами, освещен ряд вопросов их этногенеза, археологии, антропологии, идеологии, военного дела. Материалы сборника охватывают период с эпохи хунну до современности и включают данные по Восточной Европе, Передней, Средней и Центральной Азии. Сборник отличается мультисциплинарностью, значительным разнообразием подходов и методик. Выдвигаются оригинальные гипотезы и предлагаются новые решения ряда вопросов номадологии. Текст богато иллюстрирован фотографиями артефактов, обнаруженных в результате раскопок, а также схемами и фрагментами средневековых европейских карт. Материалы выпуска могут представлять интерес для историков-медиевистов, тюркологов, кочевниковедов, археологов, этнологов, культурологов.

© Институт востоковедения РАН, 2018

СОДЕРЖАНИЕ

От составителей……. 4
Хорват А.П., Хатхази Г. Печенеги и куны. Археологическое наследие……. 7
Фодор И., Васильев Д.Д. Где обрел свою саблю Багыр? Восточно-европейские трофеи у кочевников Центра Азии…….. 88
Тишин В.В. Некоторые вопросы изучения тамг кочевников Центральной Азии древнетюркского времени…… 101
Марчик А. Антропологическая характеристика средневекового кунского и венгерского населения (краткий обзор)……..... 114
Аникеева Т.А. Образ врага в огузском книжном эпосе…… 120
Дробышев Ю.И. Тюркский каган и сасанидский шаханшах: к вопросу об идеологических заимствованиях древних тюрков у иранцев…….. 126
Ковач С., Зимоньи И. Кочевники и венгры в X-XIV вв…… 146
Камолиддин Ш.С. Роль тюрков Средней Азии в мусульманском ренессансе…….. 169
Тимохин Д.М. Представители тюркских кочевых племен в государственной и военной системе Хорезма XII – начала XIII в…… 182
Аверьянов Ю.А. Особенности традиционной социальной структуры кашкайских племен……. 194
Дашковский П.К. Служители культа у кочевников Центральной Азии в эпоху поздней древности…… 199
Почекаев Р.Ю. Кочевые подданные среднеазиатских ханов: особенности правового статуса в записках путешественников XIX в. 215
Крадин Н.Н., Ивлиев А.Л., Васютин С.А. Империя хунну и начала степной урбанизации…… 226
Пиков Г.Г. О степени и специфике развития бюрократизма в киданьской империи Ляо (907–1125)……... 241
Королева О.А. Реформы Сяо-вэнь-ди: процесс китаизации сяньбийского общества…… 257
SUMMARY…….. 266

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Отделом истории Востока Института востоковедения РАН совместно с Обществом востоковедов России в 2002, 2005 и 2008 годах по материалам международных конференций «История и культура Евразийских степей» были изданы три сборника, получивших общее название «Hungaro-Rossica»[1]. Сборники включали результаты исследований российских и венгерских востоковедов по истории и источниковедению средневековых кочевников Евразии. Настоящий том представляет собой прямое продолжение этой научной традиции и по существу является очередным, четвертым, выпуском «Hungaro-Rossica».

Изучение истории кочевников имеет в Венгрии давние традиции, а исследователи-кочевниковеды работают во многих научных центрах страны. Следует отметить давние научные связи и совместные исследовательские проекты венгерских и российских востоковедов в этой отрасли. Это обусловило и состав нового сборника, материалы для которого представили востоковеды обеих стран. Традиционно в исследованиях по истории кочевых народов Евразии видное место занимают тюркология и монголоведение. Именно эти востоковедческие отрасли и представлены в настоящем сборнике, который продолжает совместный венгерско-российский научный проект.

Сборник открывает содержательная статья венгерских археологов А.П. Хорвата и Г. Хатхази. Авторы на большом фактическом материале обсуждают вопросы миграции кочевых племен на земли нынешней Венгрии и их аккультурации. Приводятся представительные результаты археологических работ, проводившихся разными специалистами в течение более века.

В статье «Где обрел свою саблю Багыр? Восточно-европейские трофеи у кочевников Центра Азии» И. Фодор и Д.Д. Васильев предлагают новую версию происхождения сабли с арабской надписью из кыргызского погребения в Туве. Находка привлекала внимание многих исследователей и литераторов, а гипотезы о ее происхождении имели порой противоречивый характер.

Статья В.В. Тишина посвящена рассмотрению теоретических вопросов изучения тамгового материала древнетюркской эпохи. Автор обращает внимание на терминологию, использовавшуюся в источниках для обозначения тамговых символов, пытается выявить соотношение между различными терминами, рассматривая их в контексте вопроса о функциональном значении тех или иных знаков. Значительное внимание уделено дискуссии о личном или родоплеменном характере древнетюркских тамг.

А. Марчик приводит антропологические показатели средневекового кунского и венгерского населения Карпатского бассейна. В обзоре обсуждаются выявленные к настоящему времени захоронения людей европеоидного и монголоидного облика.

Т.А. Аникеева анализирует образ врага в огузском эпическом произведении «Книга моего деда Коркута», которое состоит из двенадцати песен-сказаний, повествующих о подвигах огузских богатырей. Основным сюжетообразующим стержнем, вокруг которого группируются эти сказания, является борьба огузов с окружающими их со всех сторон иноверцами (гяурами, кяфирами) на землях Малой Азии, а также междоусобицы в среде самих огузов. Автор показывает, что внешний враг для огузов имеет как конкретные, так и мифологические черты, тем самым маркируя границу между миром кочевников и соседним оседлым миром.

В статье Ю.И. Дробышева анализируются некоторые сходные моменты в идеологии древних тюрков и иранцев VI-VIII вв., касающиеся фигуры верховных правителей тюркского

[1] Hungaro-Rossica / «Бюллетень Общества востоковедов РАН». Вып. 9. М.: ИВ РАН, 2002; Hungaro-Rossica. 2. История и культура Евразийской степи / «Бюллетень Общества востоковедов РАН». Вып. 12. М.: ИВ РАН, 2005; Hungaro-Rossica. 3. История и культура Евразийской степи / «Бюллетень Общества востоковедов РАН». Вып. 13. М.: ИВ РАН, 2008.

и иранского обществ: кагана и шаханшаха, соответственно. Обсуждаются возможные заимствования представлений о пределах власти, возможностях и обязанностях верховного правителя. Автор приходит к выводу, что тюркские заимствования из ираноязычного мира заметны в период Первого каганата, тогда как в эпоху Второго каганата очевидно мощное влияние китайской культуры.

Основываясь на широком фактическом материале, С. Ковач и И. Зимоньи реконструируют картину взаимодействия кочевых и оседлых народов на территории нынешней Венгрии. Детально рассмотрена история кунов (куманов), сыгравших значительную роль в исторических событиях средневековой Восточной Европы.

Историк из Республики Узбекистан Ш.С. Камолиддин на различных примерах рассматривает роль тюрков Средней Азии в «мусульманском ренессансе». В правление первых ʻАббасидов (вторая половина VIII – IX вв.) и в последующие века тюрки играли важную роль в политической жизни Арабского халифата. Они были движущей силой «мусульманского ренессанса». В Средней Азии этому процессу предшествовал аналогичный культурный процесс, протекавший в эпоху Тюркских каганатов (VI–VIII вв.), который можно условно назвать «тюркским возрождением». Имея богатые культурные традиции, накопленные в эпоху Тюркских каганатов, тюрки были инициаторами и активными участниками аналогичного процесса в эпоху Арабского халифата.

Статья Д.М. Тимохина посвящена истории формирования тюркской военной и политической элиты Хорезмийского государства в годы правления хорезмшахов Ил-Арслана, Ала ад-Дина Текиша и Ала ад-Дина Мухаммада. Автор подробно анализирует информацию из арабо-персидских источников не только об истории включения кочевых тюркских племен Дешт-и Кыпчака в состав Хорезма, но и об особенностях распределения военных и административных постов среди тюркской кочевой аристократии. Подробно изучается эволюция этого явления и те изменения, которые привносили указанные правители в положение тюркской элиты в Хорезме. Наибольшее внимание в виду особенностей корпуса исторических источников уделено правлению хорезмшаха Ала ад-Дина Мухаммада, а также его старшего сына – Джалал ад-Дина Манкбурны. В работе также представлен анализ ключевых положительных и отрицательных аспектов функционирования тюркской военной и политической элиты Хорезма накануне монгольского вторжения и влияние данного фактора на результаты монголо-хорезмийской войны 1219-1221 гг.

Работа Ю.А. Аверьянова посвящена социальной структуре конфедерации кашкайских племен, живущих в иранском остане Фарс и в соседних областях. Указывается на особое положение правящего клана ильханов Шахилу, фактически превратившегося в княжескую династию. Несмотря на смешение с индоиранскими племенами, кашкайцы продолжают считать себя «тюрками» и гордятся наследием кочевой культуры. Отношения кашкайцев с соседними полукочевыми племенами были довольно напряженными. Ильханы кашкайцев брали на себя функции судебной и религиозной власти над соплеменниками. Главы отдельных племен, как правило, были выборными. Власть ильханов поддерживалась воинским кланом амале. Племена кашкайцев на протяжении истории дробились и формировались заново, принимали различные названия, что затрудняет изучение их происхождения.

В статье П.К. Дашковского на основе письменных и археологических источников рассматривается возможность выявления в социальной структуре кочевых народов Центральной Азии эпохи поздней древности категории священнослужителей, которые более профессионально были включены в религиозную сферу. Автор приходит к выводу, что совершение основной массы культовых действий, прежде всего обрядов погребально-поминального цикла, производилось главами больших семей и родов.

Р.Ю. Почекаев исследует сведения российских и западных путешественников XIX в. о правовом статусе кочевников, находившихся в подданстве ханств Средней Азии – Бухары, Хивы и Коканда. Анализируются особенности правового положения различных народов и

племен в каждом из ханств, степень интеграции кочевников в их политико-правовое пространство.

В статье Н.Н. Крадина, А.Л. Ивлиева и С.А. Васютина прослеживается генезис городской культуры в империи Хунну. Подчеркивается значение хуннской урбанизации для Внутренней Азии, поскольку создание городищ и поселенческих комплексов с фортификацией, жилой и производственными зонами было новацией для данного региона. На основании анализа материалов городища Тэрэлжийн-дурвулжин и других памятников предложена примерная схема этапов урбанизации и возникновения раннего города в империи Хунну.

Статья Г.Г. Пикова посвящена специфике развития бюрократизма в киданьской империи Ляо (907–1125). По мысли автора, бюрократизм как цивилизационное явление присущ и кочевым обществам. Пример Ляо служит иллюстрацией к данному тезису. Исследуются предпосылки этого процесса, источники формирования киданьского чиновничества, его место в социальной структуре, роль в политической истории, судьба в постимперский период.

Завершает сборник работа О.А. Королевой, рассматривающая интересный цивилизационный процесс, протекавший на севере Китая в раннее средневековье – китаизацию кочевого племени сяньби. Показано, что император государства Северная Вэй – Сяо-вэнь-ди активно участвовал в этом процессе, поощряя слияние сяньбийской и китайской элит, что в итоге имело как положительные, так и отрицательные последствия для бывших номадов.

Представленные в сборнике материалы, наряду со ставшими уже традиционными проблемами, затрагивают новые аспекты проблематики евразийской номадологии. Авторы выдвигают новые вопросы и предлагают оригинальные решения. Географический и временной охват работ чрезвычайно велик: от Восточной Европы до Восточной Азии, от раннего средневековья до наших дней.

Сборник адресован историкам-медиевистам, кочевниковедам, тюркологам, археологам, этнологам, культурологам. Он также может быть востребован широким кругом читателей, интересующихся вопросами истории и культуры кочевых обществ Евразии.

Д.Д. Васильев, Ю.И. Дробышев, И. Зимоньи

ПЕЧЕНЕГИ И КУНЫ. АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ

Хорват А.П., Хатхази Г.
Сегедский ун-т, Сегед, Венгрия

Аннотация. В статье на большом фактическом материале обсуждаются вопросы миграции кочевых племен на земли нынешней Венгрии и их аккультурации. Приводятся представительные результаты археологических работ, проводившихся разными специалистами в течение более века.
Ключевые слова: печенеги, бешеньё, куны, эпоха Арпадов.

1. Введение. История изучения.

Сознавая восточное происхождение венгров, венгерский научный мир издавна проявлял интерес к культуре номадов евразийской степи. Сведения, связанные с печенегами Карпатского бассейна (венгерский этноним: бешеньё), впервые были собраны Яношем Йернеи в середине 19 в. В 1844-1845 гг. он совершил большое путешествие по Северному Причерноморью и Приазовью в поисках древнего места расселения венгров (мадьяр) и памятников, связанных с венгерской праисторией [Jerney, 1851]. В ходе поездки он сделал большое количество рисунков и описаний половецких статуй, считая, что это памятники, оставленные венграми (рис. 1). Два скульптурных фрагмента он привез с собой в Венгрию. Комиссия Венгерской академии наук изучила их и пришла к выводу, что скульптуры были изготовлены древними половцами [Gyárfás, 1870-1885, XV] – мнение уникальное для того времени.

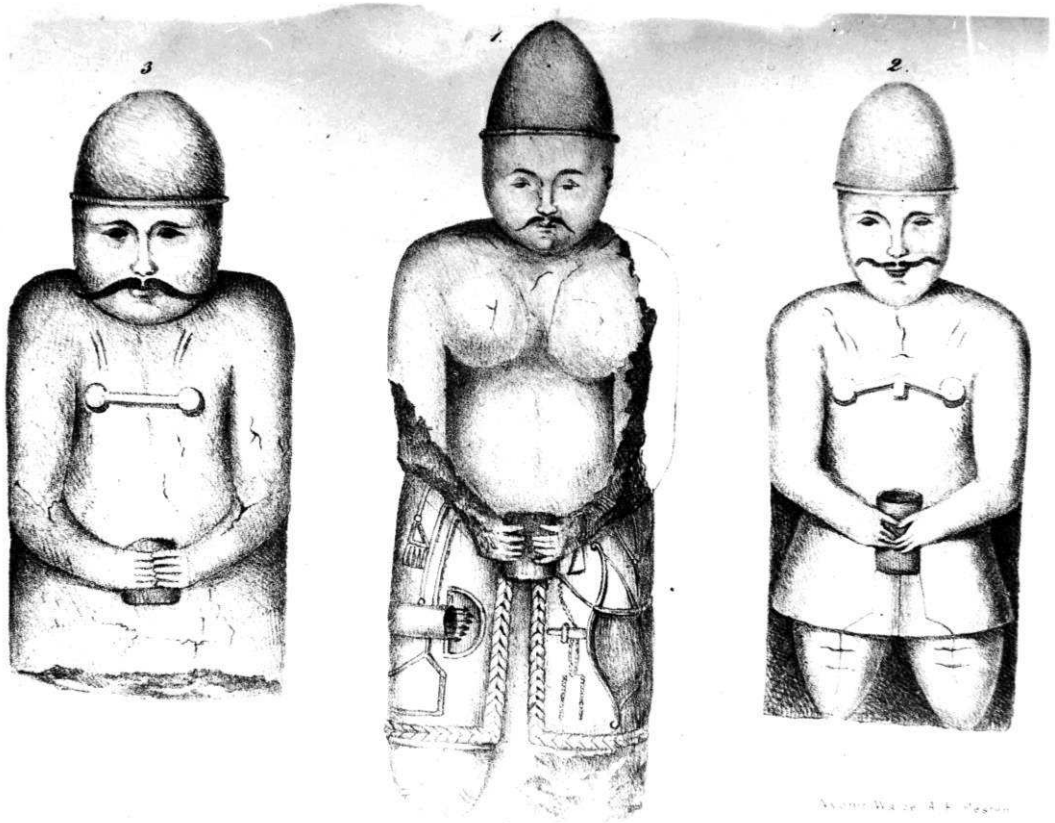


Рис. 1. Каменные изваяния половцев. Из собирания Яноша Йернэи 1844-1845 гг. Мужские фигуры, иосящие шлем и держающие в руках чаши. На центральной фигуре детально изображены предметы, висящие на поясе (колчан, гребень, сабля, плеть). Местонахождение: с. Черновка, северный берег Азовского моря [Jerney, 1851, II, t. 1-3, Pálóczi Horváth, 2014a, с. 96].

Изучение печенегов-бешеньё и половцев-кунов, переселившихся с восточноевропейской степи в средневековую Венгрию, считается частью венгерской праистории также и в современной науке. Первая попытка выделения археологического материала этих народов в памятниках Венгрии X-XIII вв. была сделана Гезой Надьем. Он предполагал, что он отличаются от современных венгерских христианских памятников языческим погребальным обрядом, захоронениями с конем, вещами восточного происхождения (оружие, конская сбруя, украшения) и курганами, возведенными над погребениями. Надь собрал данные о средневековых погребениях с конями и причислил к бешеньё-кунской группе материалы Венгерского национального музея. Эти комплексы включали конскую сбрую и саблю, датируемые XII-XIII вв. (Sárbogárd–Tinódpuszta / Erdőtelek) [Nagy, 1893; Nagy, 1896].

В середине XX в. с привлечением дальнейших историко-географических аспектов методы этнического определения уточнил Иштван Эри. На основании письменных источников место расселения кунских родов в XIII-XIV вв. хорошо локализуется, так как куны обладали коллективными привилегиями и территориальной автономией, т.е. кунские археологические находки нужно искать в первую очередь в пределах территории расселения. Эри соотнес с кунами три погребальных комплекса XIII в., которые попали в музейные коллекции задолго до этого. Все три памятника расположены в Малой Кумании (Кишкуншаг/Kiskunság), на кунской территории в междуречье Дуная и Тисы, где позже, в XIV-XVI вв. куны окончательно осели (Кишкунмайша–Кидьошпуста / Kiskunmajsa–Kígyóspuszta, Чойошпалош–Чойошпуста / Csólyospálos–Csólyospuszta, Сенткирай–Фелшёсенткирай / Szentkirály–Felsőszentkirály). На основании богатого инвентаря можно было сделать вывод, что речь идет о погребениях социальной верхушки кунов, об одиночных захоронениях племенно-родовой аристократии [Éri, 1956]. В венгерской археологии эти три погребальных памятника и поныне являются реперными для определения кунских находок.

Начиная с 1960-х гг. изучение степных народов, переселившихся в Венгрию, становилось все интенсивнее. Памятниками поздних кочевников занимались и занимаются многие специалисты. В музейных коллекциях и на основании более ранних отчетов с кунами идентифицировали дальнейшие комплексы, а в ходе земляных работ были обнаружены новые погребения. В 1998 г. Ференц Хорват раскопал на памятнике Ченгеле–Богархат / Csengele–Bogárhát могилу кунского вождя, являющуюся первым кунским памятником, найденным в ходе профессиональных археологических раскопок [Horváth, 2001. Такие одиночные погребения, совершенные по языческому обряду, представляют собой наследие аристократии первых двух поколений, во время которых, судя по погребальному обряду и типам предметов, еще продолжала существовать традиционная степная культура. Комплексы этого типа представляют собой группу «А» археологического материала кунов [Pálóczi Horváth, 1994].

Группа «В» состоит из многослойных могильников общинников. Эти кладбища образовались вблизи постоянных поселений. В первой половине XX в. были произведены значительные раскопки в Малой Кумании, в окрестностях городов Сегед / Szeged и Кечкемет / Kecskemét в могильниках уже оседлых кунов, принявших христианство [Szabó, 1938]. В этих могильниках, окружавших церкви, наблюдались следы традиционного костюма, а также продолжение прежних воззрений. Находки монет датируют наиболее ранние погребения серединой XIV в., эпохой Анжуйской династии, то есть временем, когда, по общему мнению, начали утверждаться поселения (венгерский специальный термин для кунских поселений: саллаш). Поэтому казалось само собой разумеющимся, что могильники возникали одновременно с полным оседанием. Однако в таком случае вставал вопрос, где искать могилы общинников XIII в., современные группе «А». В периоде изучения, начавшемся в конце 1960-х гг., были проведены раскопки могильников на нескольких памятниках (Карцаг–Оргондасентмиклош / Karcag–Orgondaszentmiklós, Карцаг–Ассоньсаллаш / Karcag–Asszonyszállás, Ченгеле–Богархат / Csengele–Bogárhát, Перката–Кёхалми-дюлё / Perkáta–

Kőhalmi-dűlő). Результаты показывают, что кунские общины пользовались этими же могильниками и в 13 в. [Selmeczi, 2011; Horváth, 1978; Hatházi, 2004]. Об этом может идти речь, главным образом, в тех случаях, когда кунская община выбрала местом для поселения окрестности церкви венгерской деревни эпохи Арпадов (XI-XIII вв.), опустошенной во время монгольского нашествия. Под кладбище куны отводили место также рядом с церковью. Другой тип могильников появился на возвышенностях, где не было более ранних построек (эпохи Арпадов). Наиболее ранние погребения здесь совершались еще по языческому обряду, а церкви были построены на их территории позже, в конце XIV или в XV вв. Конечно, бывало, что некоторые могильники возникали одновременно с постройкой церквей, в конце XIV или начале XV вв. В таких случаях предыдущие саллаш и кладбище данной деревни еще находились в каком-то другом месте. Таким образом, хронологические проблемы могильников и саллашей находятся в тесной связи.

К группе «C» кунских памятников причисляются поселения / саллаши. В период между двумя мировыми войнами в рамках обширной исследовательской программы музей города Кечкемет провел раскопки жилищ, церквей и могильников многих средневековых кунских саллашей Малой Кумании [Szabó, 1938]. В Большой Кумании (Надькуншаг / Nagykunság) картографирование разрушенных средневековых сел началось в 1948 г., в ходе которого было локализовано расположение 17 старых кунских саллашей. Кунское поселение XV-XVI вв. Туркеве–Мориц / Túrkeve–Móric было выбрано для раскопок [Méri, 1954], ставших очень значимыми в археологической науке, так как здесь была разработана методика раскопок позднесредневековых деревень.

В начале 1970-х гг. начались исследования как в Большой (Карцаг-Оргондасентмиклош / Karcag–Orgondaszentmiklós) [Selmeczi, 1974; Selmeczi, 2011], так и в Малой (Сенткирай / Szentkirály) [Pálóczi Horváth, 1986a; Pálóczi Horváth, 1996] Кумании. Целью раскопок на этот раз было исследование не только жилых домов, но и комплексных внутренних участков, хозяйственных дворов. Таким образом, удалось определить внутреннюю структуру, морфологическую картину поселений. Была получена важная археологическая информация об образе жизни средневекового кунского населения, о методе ведения хозяйства [Pálóczi Horváth, 1986a; Pálóczi Horváth, 1989a, c. 110-119]. Материал этих поселений датируется в основном XV-XVI вв. Наиболее ранние слои и объекты датируются не раньше XIV в., поэтому археологи долго считали, что постоянные саллаши образовались столь поздно, ведь письменные источники даже в середине XIV в. говорят о перемещении кунских саллашей. Судя по новым полевым результатам, в отдельных местах уже в XIII в. сформировались постоянные поселения с домами, построенными из прочных материалов (Перката–Кёхалми-дюлё) [Hatházi, 2004]. Недалеко от княжеского погребения в Ченгеле были обнаружены два срубных жилища, датируемые второй половиной XIII в. [Horváth, 2001]. В будущем ожидаются дальнейшие находки раннего слоя поселений.

Значительные разведывательные работы с целью составления свода памятников прошли в Большой Кумании на территории городов Кишуйсаллаш / Kisújszállás, Туркеве / Túrkeve, Карцаг/ Karcag [Pálóczi Horváth, 1986b; Pálóczi Horváth, 1992], а также в Хантош-секе / Hantos-szék в регионе Мезёфёльд / Mezőföld [Hatházi, 2004], в Малой Кумании в окрестностях города Кишкунхалаш / Kiskunhalas [Hatházi, 2000], на месте нескольких старых кунских саллашей. В настоящее время сбор материала ведется на всей территории последнего региона [Rosta, 2009].

Четвертая группа кунских находок состоит из средневековых кладов, обнаруженных на кунской территории (группа «D»). Захоронившим их владельцам, вероятно, принадлежали кунские саллаши. Начиная с XIII в. их семьи собирали клады, состоявшие главным образом из элементов костюма, украшений из позолоченого серебра. Самые ранние вещи, ювелирные изделия, сделанные в византийском вкусе, уникальны в венгерском материале. Они свидетельствуют о том, что их владельцами были куны, переселившиеся с Балкан. Клады датируются началом XV в. [Hatházi, 2005].

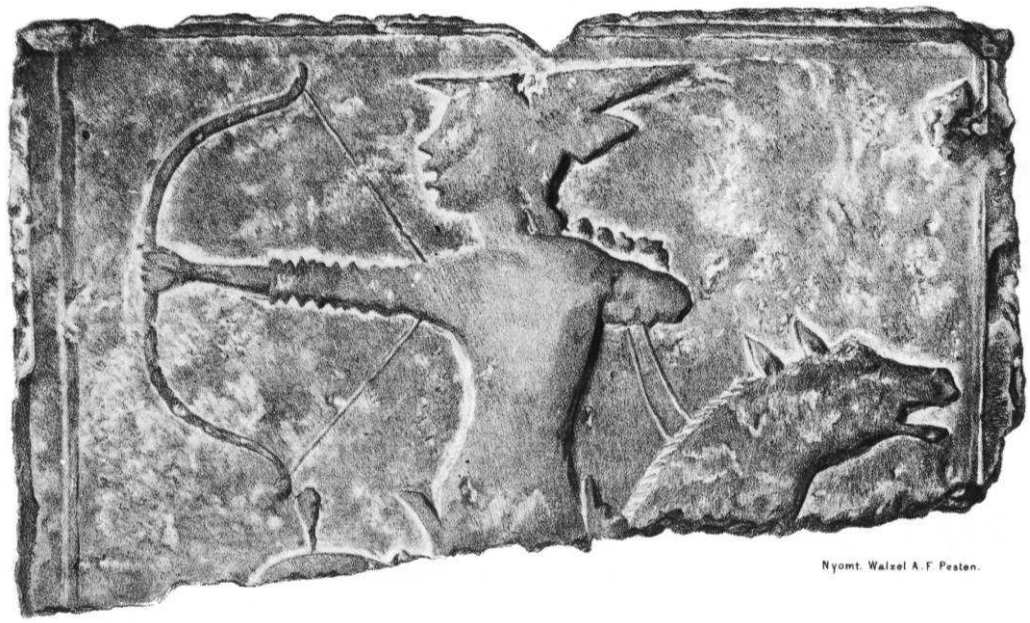


Рис. 2. Фигура половецкого всадника, стреляющего назад, на облицовочном кирпиче на полу летней резиденции эстергомского архиепископа, Будапешт, остров Маргариты, конец XIII в. (копия, оригинал утрачен) [Pálóczi Horváth, 1989a, рис. 10; Pálóczi Horváth, 2014a, с. 131].

Рис. 3. Сцена легенды короля Ласло святого: бой с куманом. Фреска в унитарной церкви в Секейдерже (Dârjiu, Румыния), 1419. (фото: [Андраш Палоци Хорват, 2012]).

В венгерской средневековой археологии изучение кунских памятников превратилось в отдельную отрасль. В реконструкции костюма, вооружения и конской сбруи наряду с археологическими источниками важную роль играют изображения кунских воинов (рис. 2). Специфической иконографической темой средневекового венгерского искусства является один из эпизодов легенды короля Св. Ласло (Владислава). Это история борьбы Св. Ласло (1077–1095) с кунами, которую начиная с конца XIII в. в течение двух столетий часто отображали на церковных фресках и миниатюрах кодексов [László, 1993]. Изображения реалистичны, отдельные детали во многих случаях соответствуют археологическим данным (рис. 3).

2. Археологические памятники печенегов/бешеньё.

Как уже указывалось в историографическом введении, благодаря результатам Гезы Надья венгерская археология уже в конце XIX в. сделала первые шаги в отождествлении памятников печенегов (бешеньё / besenyő) Карпатского бассейна [Nagy, 1893; Nagy, 1896]. Добавим, что все это происходило почти одновременно с первыми раскопками генерала Бранденбурга в окрестностях Киева [Pletneva, 1958, c. 151-152; Pletneva, 1973, c. 5-14], а последующие 120 лет принесли меньше желаемых результатов. Однако эта ситуация сложилась не из-за отсутствия научного и общественного интереса к археологическому наследию печенегов. Наоборот, вследствие относительного богатства письменных источников и основанных на них исследований само собой разумеющаяся потребность археологии также представить памятники своей группы источников существовала всегда. Несмотря на это, мы по сей день не располагаем большой массой представительного материала. По-видимому, это связано с проблемами исследования, происходящими из своеобразных обстоятельств печенегов, нашедших новую родину на территории Венгерского королевства.

2.1. Обстоятельства, определяющие археологические исследования бешеньё.

Несмотря на то, что на основании письменных источников и топонимии предполагается существование, по меньшей мере, 190 поселений бешеньё в Венгрии [Györffy, 1990, c. 123-167], эта кажущаяся большой цифра обманчива во многих отношениях. Рамки данной работы не позволяют вдаваться в детали плотности населенных пунктов и демографических условий Карпатского бассейна в эпоху Арпадов (XI-XIII вв.) и позднего средневековья (XIV-XV вв.) [KMTL, 490-491 (Fügedy E.); 666-668 (Blazovich L.); 684-685 (Kováts Z.); Pálóczi Horváth, 1974, c. 245-248, 256-258; Pálóczi Horváth, 1986b; Pálóczi Horváth, 1987, c. 15-18; Pálóczi Horváth, 1992; Hatházi, 2004, c. 156-160, 162-170; Hatházi, 2005a, c. 103-122, с ссылками на дальнейшую литературу], поэтому можно сказать только суммарно, что процент вселившихся бешеньё по отношению к коренному населению был минимальным, не более 1-2%, а если подходить к вопросу более осторожно, то и на порядок меньше [Pálóczi Horváth, 1989c, c. 30]. В то же время, этот хотя и немногочисленный, но в военном отношении очень важный компонент присутствовал почти во всех регионах страны, что представляет неразрешенную пока проблему для многих отраслей науки, в том числе и для археологии. Нужно добавить, что упомянутые 190 населенных пунктов являются только той частью поселений бешеньё, о которых случайно сохранились какие-либо письменные источники. Настоящее число поселений должно было превышать эту цифру, так же, как и в случае с венгерской системой поселений эпохи: количество поселений, известных по письменным источникам, намного превышает археологические памятники, особенно в эпоху Арпадов [Pálóczi Horváth, 1974, c. 245-248]. Нельзя забывать, что подавляющая часть письменных источников (главным образом грамоты) говорит не о печенежских поколениях ранней эпохи Арпадов (то есть о семьях, частично еще сохранивших степные традиции и бывших на высоте своих военных функций), а уже об ассимилированных поколениях

позднего средневековья, не отображающих обстоятельства X-XII вв., которые являются определяющими с точки зрения проблемы.

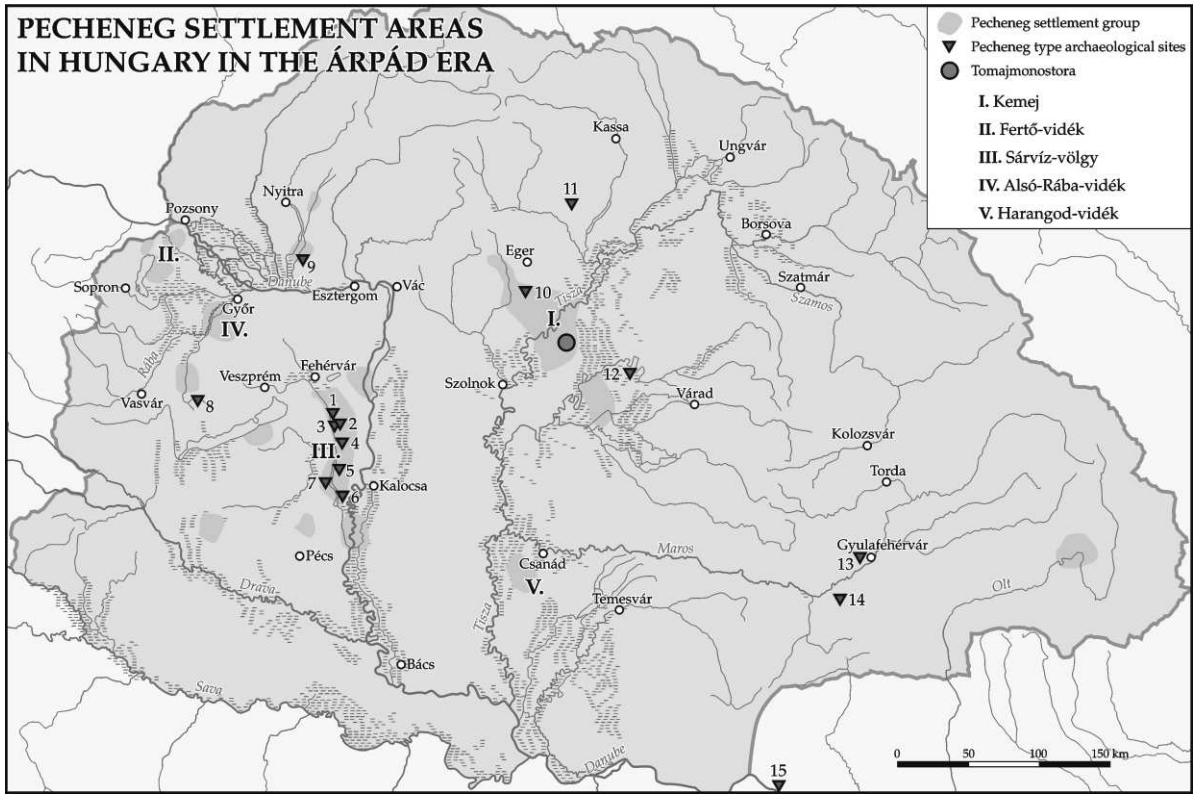


Рис. 4. Поселения печенегов (бешеньё) в Венгрии при династии Арпадов. Археологические находки «печенежского типа» (1. Шарсентагота-Фелшётёбёржёк, 2. Шарбогард-Темплом-дюлё, 3. Шарбогард-Тинодпуста, 4. Алап, 5. Надькайдач, 6. Фацанкерт-Каймади сигет, 7. Кёлешд-Итатохедь, 8. Чабрендек, 9. Байч-Фаркашд пуста [Bajč-Vlkanovo, Словакия] 10. Фюзешабонь, 11. Эделень-Боршод фёлдвар, 12. Шарретудвари-Хизофёльд, 13. Дюлафехервар, [Alba Iulia, Румыния], 14. Сасварош [Orăştie/Bros, Румыния] 15. Сёреньвар [Drobeta-Turnu Severin, Румыния]). 3. Томаймоноштора, центр.

Проблемы археологии усложняются еще и тем, что, как уже указывалось, подавляющее большинство бешеньё осело на землю не в замкнутых блоках. Мы находим их поселения спорадически в различных точках страны (рис. 4). Они селились, плотно окружая деревни коренного населения. Даже наиболее крупные заселенные территории (Кемей / Kemely, долина р. Шарвиз / Sárvíz-völgy) имеют «мозаичный» характер: цепочка сел бешеньё регулярно прерывается венгерскими деревнями [Pálóczi Horváth, 1989c, с. 26-27, 31-32; Hatházi, с. 1990, 28-30, 35-42; Hatházi,1996a, с. 223-226, 230-231; Hatházi, 1996, с. 39-46]. Все это – вместе с явлениями, подтверждающими концепцию в политике расселения венгерских монархов и объясняющими, вероятно, самую важную причину относительно быстро протекающей культурной ассимиляции бешеньё Карпатского бассейна – указывает на трудности археологов: привязку саллаша бешеньё, известного из письменного источника, к конкретному археологическому памятнику (могильнику, поселению) эпохи Арпадов на основании обычно мало детализированной географической информации данного документа. Эта проблема особенно очевидна в наиболее открытых и густо населенных областях Карпатского бассейна. Здесь число деревень и небольших поселений хуторского типа достигает 14-16 на 100 км^2 [Bálint, 2001, с. 346-349; Hatházi, 2004, с. 156-158; Hatházi, 2005a, с. 103-106]. То есть, мы знаем множество современных населенных пунктов, которые по

свидетельству грамот XIII-XV вв. могут каким-то образом привязываться к бешеньё: либо сама их территория поселения, либо какая-то ее часть, присоединенная позже. На их современной административной территории мы должны выделить то единственное поселение из 6-8 остатков поселений эпохи Арпадов, которое на самом деле принадлежало бешеньё, а не соседним венграм. Принимая во внимание опыт изучения кунов, весьма вероятно, что поселения бешеньё с момента их появления были постоянными: незначительные по сравнению с их предыдущими жизненными пространствами территории и окружающая их замкнутая система венгерских сел отняла возможность кочевого животноводства и юртовых стойбищ, а благодаря более плодородной почве, благоприятным гидрологическим условиям и обильным осадкам номадизм сделался бессмысленным.

Наиболее медленно растворяющиеся элементы степной культуры бешеньё сохранились в первую очередь не на поселениях, а в могильниках (погребальный обряд, костюм). Найти их по следам, находящимся на поверхности (если они не потревожены последующими эпохами), еще труднее, чем поселения. Ориентирами знати бешеньё первых поколений в принципе могли бы быть низкие, небольшие курганы (которые в венгерском народном языке очень выразительно называют «кунскими холмами»). Однако эти насыпи – как и в любом евразийском регионе начиная с бронзового века – сами по себе не открывают нам культурно-этническую принадлежность захороненных под ними людей. Принимая это во внимание, рискнем заявить, что бешеньё Венгрии невозможно искать целенаправленно, их можно найти только случайно, точнее, распознать по отдельным характерным чертам, отличающимся от местных особенностей, и выделить из материала коренного населения эпохи Арпадов.

Возможности археологического выделения также ограничены из-за скудости материала, так как бешеньё, вообще немногочисленные и расселенные в Карпатском бассейне спорадически, переселялись несколькими волнами. Если не считать теории исследователей, согласно которой первые бешеньё могли появиться, присоединившись к венграм-обретателям родины (895 г.), то на основании письменных источников можно выделить, по меньшей мере, две большие волны заселения. Как следует из исторического обзора Сильвии Ковач и Иштвана Зимони, первая волна приходится на время князя Такшонья (955–972), когда венгеро-печенежские связи превратились в добрые союзнические отношения. Вторая волна пришла между второй половиной XI и первой четвертью XII вв., когда после падения власти печенегов на территории нынешней Украины и Южной России множество беженцев устремилось не только к русским, но и на Запад. Хотя главной целью печенежской миграции в это время было балканское пограничье Византийской империи, много групп было принято также Венгерским королевством. К ним могли позже присоединиться беженцы, уцелевшие после балканских печенежских войн (1091 г.: Лебунион, 1122 г.: Бероя). Эта волна была более значительна, мы должны предполагать гораздо больше мигрантов, чем в отношении печенегов X в.

У нас очень мало опорных точек касательно того, с какой волной прибыли отдельные печенежские группы Венгрии. Печенежские участники событий, рассказанных в нарративных источниках (хроники, легенды), весьма редко связываются с поселениями и группами поселений, известным по документам и топонимии (исключением является Кемей). Выйти из положения можно, если подходить к вопросу с точки зрения «привилегий бешеньё», так как создается впечатление, что не каждый коллектив располагал этим особым общественным статусом (а из этого следуют хронологические выводы), а также воинской повинностью и коллективными правами (автономия правления и судейств, частичное освобождение от податей и пошлин) [Györffy, 1940, c. 38-40; Hatházi, 1990, c. 33-41; Hatházi, 1996a, c. 226-227].

У бешеньё, появившихся в период права, основанного на кочевнических традициях, само собой разумеется, не было ни потребности, ни возможности для определения и письменной фиксации их статуса. Правовые рамки и практика (например, право «гостей» – хоспесов)

могли сложиться только в уже образовавшейся и стабилизировавшейся феодальной системе с середины XI в. «Свобода бешеньё» полагалась только новоприбывшим и редко распространялась на более ранних мигрантов [Hatházi, 1990, c. 33-34; Hatházi, 1996a, c. 226]. На это, по-видимому, указывает информация «Иллюстрированной хроники», согласно которой в 1074 г. вождь Золтан, предводитель бешеньё из окрестностей озера Фертё / Fertő-tó (область Дьёр-Мошон-Шопрон / Győr-Moson-Sopron) согласился на участие в войне на стороне принцев, восставших против короля Шаламона, только с условием получения прав свободы [Györffy, 1940, c. 8; Györffy, 1990, c. 114; Kordé, 1990, c. 5; Hatházi, 1990, c. 34; Hatházi, 1996a, c. 226]. Ассимиляцию этих групп X в. еще не тормозила связанность правовым обособлением, их феодализация была частью общественно-культурных процессов, влиявших на зарождающееся Венгерское королевство. На это указывает быстрое исчезновение ранних групп. Память об областях и населенных пунктах, где жили бешеньё, сохранила в первую очередь топонимия. В то же время в средневековых документах их почти не упоминают [Györffy, 1940, c. 39; Pálóczi Horváth, 1989c, c. 26-27; Hatházi, 1996a, c. 226].

Бешеньё X в. часто встречаются на окраинах страны (Западная Венгрия, Трансильвания, Северная Венгрия), но также и на центральных территориях, то есть не исключительно в качестве пограничных отрядов. Так, наиболее значительная группа поселений образовалась в центре страны, в Кемей в среднем течении Тисы (на границе областей Яс-Надькун-Сольнок / Jász-Nagykun-Szolnok и Хевеш / Heves). Память о народе вождя Тонузоба («Кабаний Отец»), который переселился в Венгрию во время князя Такшонья, сохранила сочинение Анонима, летописца XII-XIII вв. Аноним также отметил, что Тонузоба, доживший до вступления на трон короля Св. Иштвана, который склонил венгров к христианству, сохранил шаманскую религию своих предков и был похоронен вместе со своей женой по языческому обряду у переправы Абад (ныне Абадсалок / Abádszalók, область Яс-Надькун-Сольнок). Но его сын Уркунд уже принял крещение. То, что романтическое повествование о присутствии бешеньё в Кемее имело ядро истины, подтверждается несколькими письменными и топонимическими источниками. Особенно интересна в этом отношении (а с археологической точки зрения это очень привлекательная возможность) грамота об основании бенедиктинского аббатства в Сазде / Százd в 1067 г. Перечисляя имущество монастыря и границы отдельных земельных владений, документ упоминает землевладение кемейский Сихалом (село, существующее и поныне в области Хевеш). В качестве межевого знака указывается колодец и могилы соседних бешеньё [Györffy, 1990, c. 109, 158-159]. Кемей также являет примеры ассимиляции бешеньё, которые овенгерились еще до периода получения привилегий. Эти процессы также хорошо отображают общественную пирамиду бешеньё. Наиболее знатные здешние бешеньё, потомки принявшего новые порядки Уркунда, сына Тонузобы, семья Томай к XIII в. возвысилась в круг самых значительных аристократических семей страны, из которых происходил палатин (высшая после короля государственная должность). Из средних дворянских семей области Хевеш многие берут начало из имущей средней прослойки кемейских печенегов. О судьбе общинников мы находим данные в уже упомянутой грамоте об основании аббатства в Сазде, которая пишет о 10 печенежских конных слугах в среде народов, живущих в зависимости от аббатства [Györffy, 1940, c. 99; Györffy, 1963-98, III, c. 47, 53, 72-74, 100-102,108-109, 129, Györffy, 1990, c. 167-168; Nagy, 1969, c. 133-34; Hatházi, 1990, c. 34, 96].

Вторая волна бешеньё появилась в Венгрии в эпоху уже сформировавшегося феодального правового порядка. Эти группы располагали привилегиями и, вероятно, благодаря этому, сохранили свое этническое сознание до XIII- XIV вв. [Hatházi, 1990, c. 34; Hatházi, 1996a, c. 227]. Особенным возможностям для приобретения статуса этих коллективов способствовали не только общественно-правовые условия, но и то обстоятельство, что ассимиляция бешеньё X в. завершилась. Она означала не только исчезновение традиционной культуры, но и конно-лучного военного искусства (точно так

же, как и у венгров, к которым мигрировали бешеньё). Таким образом, военные способности бешеньё второй волны получили значительную высокую оценку. Поскольку после этого возможности пополнения степной кавалерии вплоть до появления кунов в XIII в. практически иссякли [Pálóczi Horváth, 1994, с. 9-10], в интересах венгерского монарха было сохранить род войск, представленный «поздними» бешеньё. Они достигали этого при помощи привилегий автономии, которая давала печенегам особый статус и в то же время консервировала первоначальные условия.

Такая поздняя привилегированная группа осела в долине Нижней Рабы / Alsó-Rába-vidék (область Дьёр-Мошон-Шопрон). Здесь по документам выявляется четыре села бешеньё (Арпаш / Árpás, Кайар / Kajár, Тет / Tét, Телюкбарат / Telükbarát), которые овенгерились только к концу XIII в. Выдающимся документом их привилегий является грамота палатина от 1224 г. В ней письменно закрепляются более ранние права и обязанности арпашских бешеньё, свобода которых была ущемлена [Györffy, 1940, с. 12-14, 96; Györffy, 1990, с. 126-28; Hatházi, 1990, с. 35; Hatházi, 1996a, с. 227]. В долине Харангода / Harangod (бывшая область Торонтал, ныне Сербия), на берегу нынешней речки Аранка в XIII-XV вв. жили или владели несколькими деревнями привилегированные бешеньё (Надьбешньё / Nagybesnyő, Валкань / Valkány, Коча / Kocsa, Верешдоб / Veresdob, Шоймош / Solymos, Кендьелёш / Kengyelös, Кирайфайа / Királyfája, Шап / Sáp). Они дольше всех сохранили свою автономию в стране, их грамота о привилегиях была подтверждена в последний раз в 1495 г. [Györffy, 1940, с. 32-35, 100; Györffy, 1990, с. 163-165; Hatházi, 1990, с. 35; Hatházi, 1996a, с. 227]. Наиболее значительный блок бешеньё второй волны образовался в долине Шарвиз, в регионе Мезёфёльд (области Фейер / Fejér и Толна / Tolna). Число поселений, образующих отдельный ишпаншаг (комитат), по организованности почти сравнимый с кунскими административными единицами – секами, достигало почти 40. Их грамота о привилегиях не сохранилась, но существование ишпаншага подкрепляется множеством документов XIII-XIV вв. Название «бешеньё» или «благородный бешеньё» *(„bissenus nobilis de...", „nobilium bissenorum"),* владение землей на основании «свободы бешеньё» *(„in libertate bissenorum")* отражает в грамотах не просто этническую терминологию, а отдельный правовой статус, близкий по положению «народу крепостей» (populi castri – общественный слой служивших в королевских крепостях). Принимая во внимание все коллективы бешеньё Венгрии, это явление встречается чаще всего именно в этом регионе [Györffy, 1940, с. 16-25; Györffy, 1990, с. 136-152; Hatházi, 1990, с. 35-41; Hatházi, 1996a, с. 223-232].

Бешеньё в лучшем случае составляли 1-2% населения Венгерского королевства. Соответственно, их археологическое наследие весьма ограничено. Уже материал новоприбывших первых поколений не образует единой и закрытой группы, горизонта находок, не говоря уже о памятниках более поздних, ассимилированных поколений. Принимая во внимание две мигрантских волны, мы должны разделить в материале два культурных слоя, различных по времени и отчасти по характеру. Между двумя волнами прошло 100-120 лет – к прибытию второй волны ассимиляция первых групп бешеньё уже закончилась.

2.2. Археологические памятники печенегов / бешеньё в Венгрии.

Попытки выделения археологического материала бешеньё X в. в Венгрии не принесли должных результатов. Было предложено связывать с печенежским компонентом, примкнувшим к венграм и начавшим медленную ассимиляцию еще до завоевания Карпатского бассейна, определенную группу мадьярских конских погребений, где обычно слева от погребенного помещали шкуру-чучело коня [Bálint, 1969, с. 110, 113-114; Bálint, 1971, с. 97-107]. Хотя эта форма погребения с конем, бесспорно, является характерным обрядом печенегов, а древних венгров характеризует другая форма частичных конных погребений (шкура коня у ног погребенного), были высказаны серьёзные сомнения в связи с этой теорией. Не касаясь проблемы исторической идентификации, как самый весомый

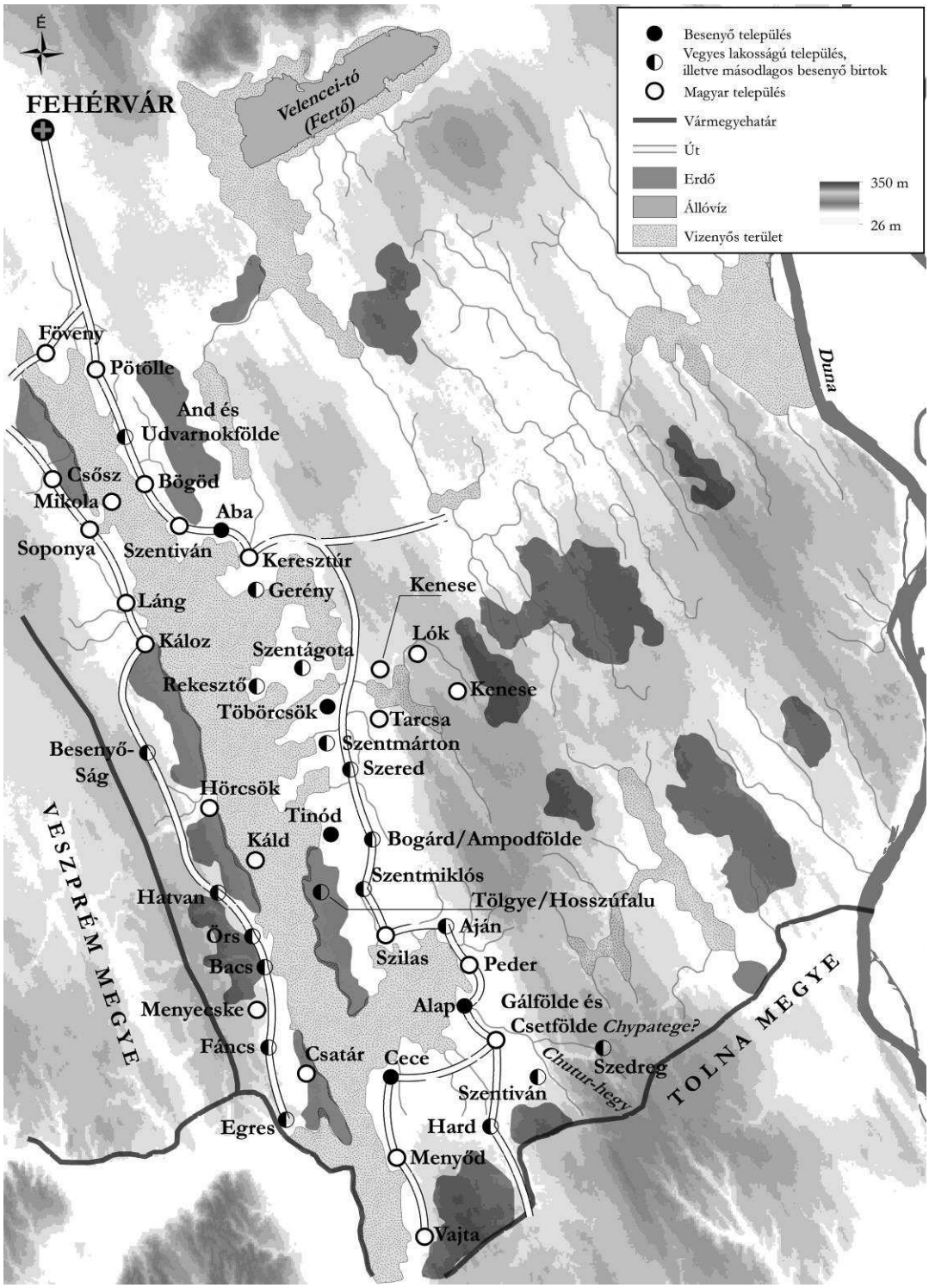


Рис. 5. Поселения и села печенегов в долине реки Шарвиз в области Фейер [Hatházi, 1996, с. 40; Hatházi 1996a, с. 244, карта 1] (сост. Габор Хатхази, Иштван Паня).

контраргумент можно привести то, что погребение с чучелом коня является важной, но не исключительно печенежской характерной чертой, точно так же, как и шкура коня, помещенная в ногах – не исключительно венгерский обряд. Обе формы были хорошо известны задолго до появления печенегов в восточноевропейских степях и на их периферии в лесной зоне (не только в тюркском, но и угро-финском окружении), и появление этих

элементов обряда у прото-венгров объясняется скорее этим [Dienes, 1978, с. 110-111; Fodor, 1977, с. 26-27, сноска 57, принимая основные аргументы: Bálint, 1978, с. 265-266; Hatházi, 1990, с. 42-43]. Ко всему этому необходимо добавить, что венгерские могильники X в. не разделяются в соответствии с двумя формами погребений (нет географически четко разделимых групп), два варианта часто присутствуют вместе, в одном могильнике, и никаких различий в сопровождающем вещевом материале не наблюдается [Révész, 1996, с. 39-40, 191].

Попытка выделения ранних бешеньё в материале эпохи обретения родины и ранней эпохи Арпадов в долине р. Шарвиз также не привела к положительным результатам. Даже те исследователи, которые первоначально выступали с таким предположением в связи с могильниками из области Фейер (Шарбогард–Трингер-танья / Sárbogárd–Tringer-tanya, Алап–Тавасмайор-Хомокбанья / Alap–Tavaszmajor-Homokbánya), подчеркивают, что, несмотря на некоторые антропологические особенности, необычные элементы обряда, как, например, погребения кастрированных бычков и собак, а также несмотря на поздние (XIII-XV вв.) письменные источники по данной территории, общий характер могильников и вещевой материал мало обосновывают эту гипотезу [Kralovánszky, 1964, с. 171-184; Kralovánszky, 1966, с. 89-96; Éry, 1968, с. 93-147]; уже оценивая материал, как принадлежащий венграм-обретателям родины: [Kralovánszky, 1985, с. 360-374]. Впоследствии комплексное сравнение исторических, археологических и топонимических результатов показало (как со стороны автохтонов, так и со стороны мигрантов), что бешеньё не могли появиться в долине р. Шарвиз ранее, чем во второй половине XI – начале XII вв. Мигранты поселились на отдельных территориях, не занятых венграми, которые жили здесь с X в. [Hatházi, 1990, с. 35-41, 44-48; Hatházi, 1996a, с. 223-248] (рис. 5).

Исследователи возлагали большие надежды на археологический материал ранней эпохи Арпадов в регионе Кемей, хорошо известный по письменным источникам. При первой попытке [Nagy, 1969, с. 135-141] удалось связать с культурой поздних кочевников лишь одно единичное погребение из с. Эрдётелек / Erdőtelek (область Хевеш), о котором писал уже Геза Надь. Однако правильная датировка погребения (12-XIII вв.) исключила связь этого комплекса с бешеньё X в. [Fodor, 1976, с. 259-260; Pálóczi Horváth, 1994, с. 110]. На основании топонимии и данных письменных источников в могильниках X-XI вв. из регионов, которые связываются с народом Тонузобы, не обнаружено никаких отличий ни в погребальном обряде, ни в вещевом материале по сравнению с общей материальной и духовной культурой венгерского княжества, а затем периода раннего королевства [Hatházi, 1990, с. 43; Révész, 2008, с. 392-394, 450].

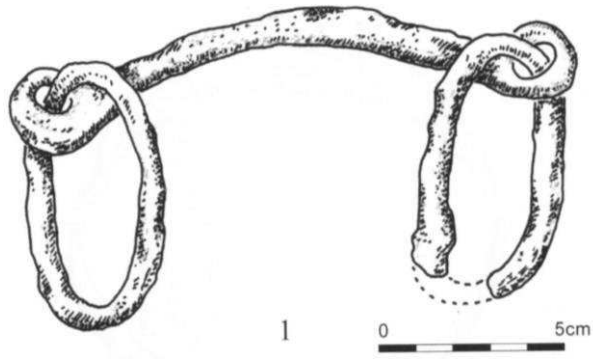


Рис. 6. Мундштук (Байч-Фаркашд; Bajč-Vlkanovo, Словакия) [Pálóczi Horváth, 2014a, рис. 31].

Венгерские и зарубежные исследователи 1950-1960-х гг. предложили на роль этнического маркера бешеньё несколько типов вещей. Эти возможности привлекли особое внимание в связи с ранними группами Венгрии. Однако их внимательное изучение не

оправдало предварительных ожиданий. К таким находкам относятся мундштуки с дугообразным грызлом [Petkes, 2012, с. 233-246] (рис. 6). Из 7 экземпляров Карпатского бассейна только в одном случае предполагается связь с бешеньё, остальные происходят из определенно венгерских могильников X в. или с поселений. По сравнению с многотысячной массой находок венгерских типов удил X в., число мундштуков в Карпатском бассейне того времени незначительно. Хотя они явно «чужие», нельзя отрицать, что венгры были знакомы с этим типом. Поэтому сами по себе, без других доказательств, они не могут указывать на связь с бешеньё того или иного памятника Карпатского бассейна.

Сходным образом, не являются этническими маркерами бешеньё и глиняные котлы, тип, сформировавшийся на донских и кавказских территориях Хазарского каганата. Подробное изучение этой группы находок венгерскими исследователями показало, что комплексная, многовариантная салтовская культура оказала серьёзное и непосредственное влияние на западных соседей задолго до появления печенегов. Этот характерный тип керамики переняли, а затем распространили ещё более на запад на Балканах дунайские болгары, а в Карпатском бассейне – венгры. В последнем случае массовое распространение этой керамики (значительно переступая границы расселения бешеньё) очень точно вырисовывает контуры расселения венгров в Карпатском бассейне в X-XIII вв. [Fodor, 1975, с. 250-265; Fodor, 1977a, с. 323-349; Takács, 1986].

Анализируя эту ситуацию, венгерская наука сегодня считает, что «культурная дистанция» двух народов в X в. была не столь велика, чтобы – на уровне наших нынешних знаний – она могла проявляться археологически. Печенеги, пришедшие в Карпатский бассейн, в это время принадлежали к тому же кругу восточноевропейских степных культур, что и мадьяры, поэтому их костюм, украшения и погребальный обряд в этот период почти не отличались друг от друга. Этническая принадлежность поселений еще более проблематична. Такие же вопросы возникают, естественно, в связи с материалом IX-X вв. на территории между Нижним Дунаем и Днепром. Только новые исследования могут помочь разрешить вопрос. Подает надежду то, что с мадьярской стороны постепенно начинает вырисовываться «группа Субботицы» [Bálint, 1994, с. 44-45; Fodor, 1994, с. 55-56; Türk, 2010].

Гораздо более благоприятная ситуация складывается в связи с бешеньё второй волны XI-XII вв. Эти группы прибыли в уже христианское государство, которое развивалось по западноевропейским образцам, его общество, экономика, материальная и духовная культура разительно отличались от степных образований. Культурные различия между двумя народами в этот период хорошо прослеживаются археологически, хотя пока только на основании языческих погребений с конем знати и вооруженных общинников. Находки, на основании которых мы пытаемся выявить бешеньё в Венгрии, можно обнаружить именно в этих погребениях, отличающихся и по обряду. Для выявления памятников бешеньё требуется провести сравнительный анализ с находками восточноевропейских степей [Pletneva, 1958; Pletneva, 1973; Pletneva, 1981, 213-223; Fedorov-Davydov, 1966; Ivanov, Garustovič, 1994; Ivanov, Ivanova, 2011; Spinei, 1982; Spinei, 1985; Spinei, 1999; Spinei, 2003, с ссылками на дальнейшую литературу; Hatházi, 1990, с. 44-48; Hatházi, 1996a, с. 227-229]. По прошествии некоторого времени прекратились непосредственные связи оставившего эти погребения населения с основной территорией обитания. Поэтому в течение определенного периода данные комплексы отражают то законсервировавшееся культурное состояние, на уровне которого та или иная община бешеньё оторвалась от кочевнической среды. На основании изучения кунов, с такими языческими погребениями нужно считаться у первого-второго поколения: они исчезают в результате процесса ассимиляции, длившегося примерно 70 лет.

Территория, наиболее богатая находками, указывающими на погребения бешеньё – долина р. Шарвиз в Западной Венгрии. К сожалению, комплексы были найдены в небольшом количестве и случайно, обычно не профессионалами. Поэтому это неполные ансамбли, а данные и наблюдения, касающиеся памятника и обстоятельств находки, мало

информативны. Несмотря на свою фрагментарность, они представляют собой хорошую основу для круга находок, который в будущем можно будет точнее очертить. Эти памятники находят близкие аналогии в культурном слое печенегов-огузов-черных клобуков степной зоны Восточной Европы [Hatházi, 1990, с. 44-48; Hatházi, 1996a, с. 228-230; Petkes, 2006, с. 104]. Находка из памятника Шарбогард–Тинод / Sárbogárd–Tinód (область Фейер) попала в Венгерский национальный музей в последние десятилетия XIX в. Удила с боковыми псалиями, украшенные серебряной инкрустацией, имитирующей гвоздики, пара остроушковых, круглых стремян с прорезью для путилища и две сабли (перекрестье одной покрыто красной медью), возможно, указывают на могильник малой семьи (рис. 7-10).

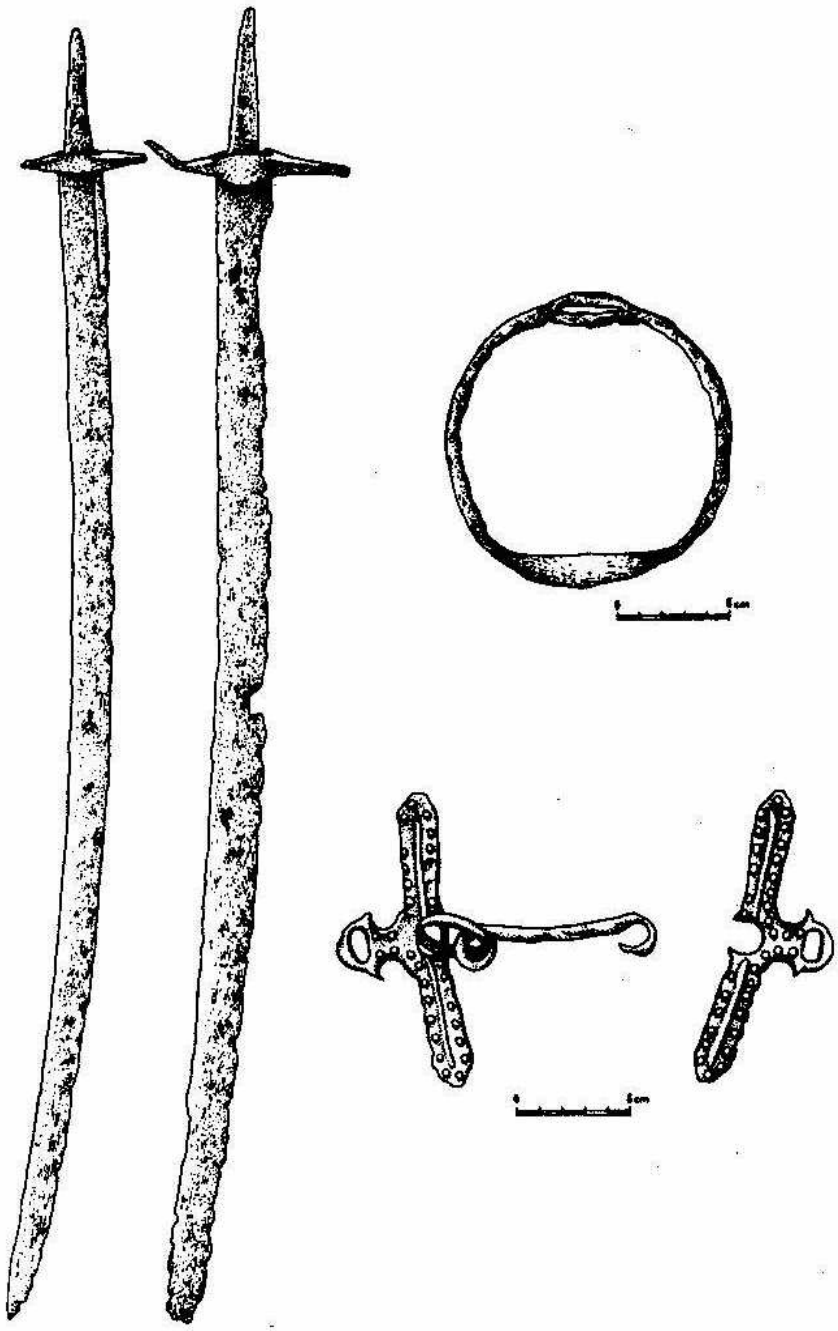


Рис. 7. Находки из местонахождения Шарбогард-Тинодпуста [Hatházi, 1996a, табл. 3].

Рис. 8. Удила из Шарбогарда-Тинодпуста [Hatházi-Szende, 2003, с. 389, рис. 52] (фото: Бенце Кепеши).

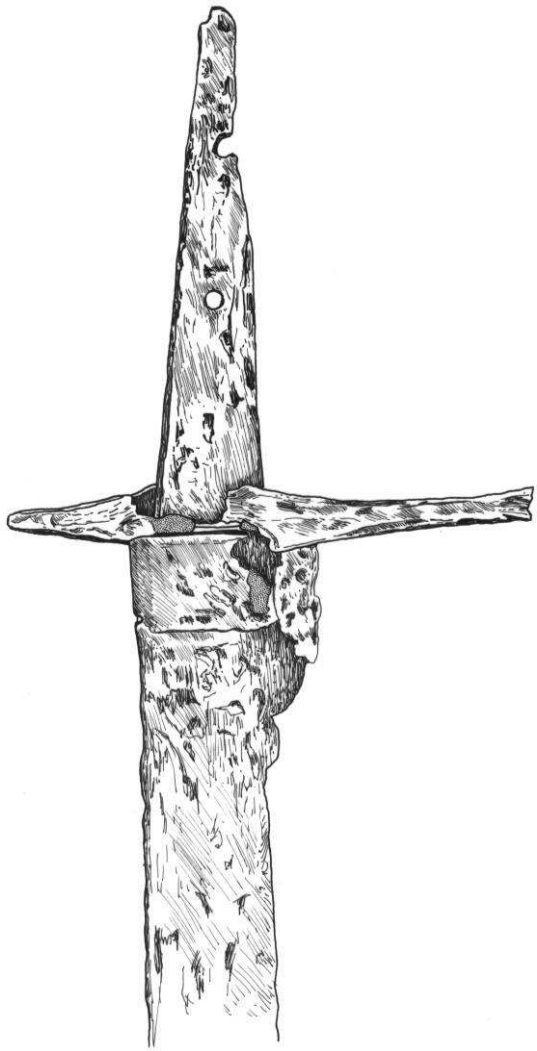


Рис. 9. Сабля № 2 из Шарбогарда-Тинодпуста. Рукоять и перекрестье покрыты красной медью [Pálóczi Horváth, 2014a, рис. 29].

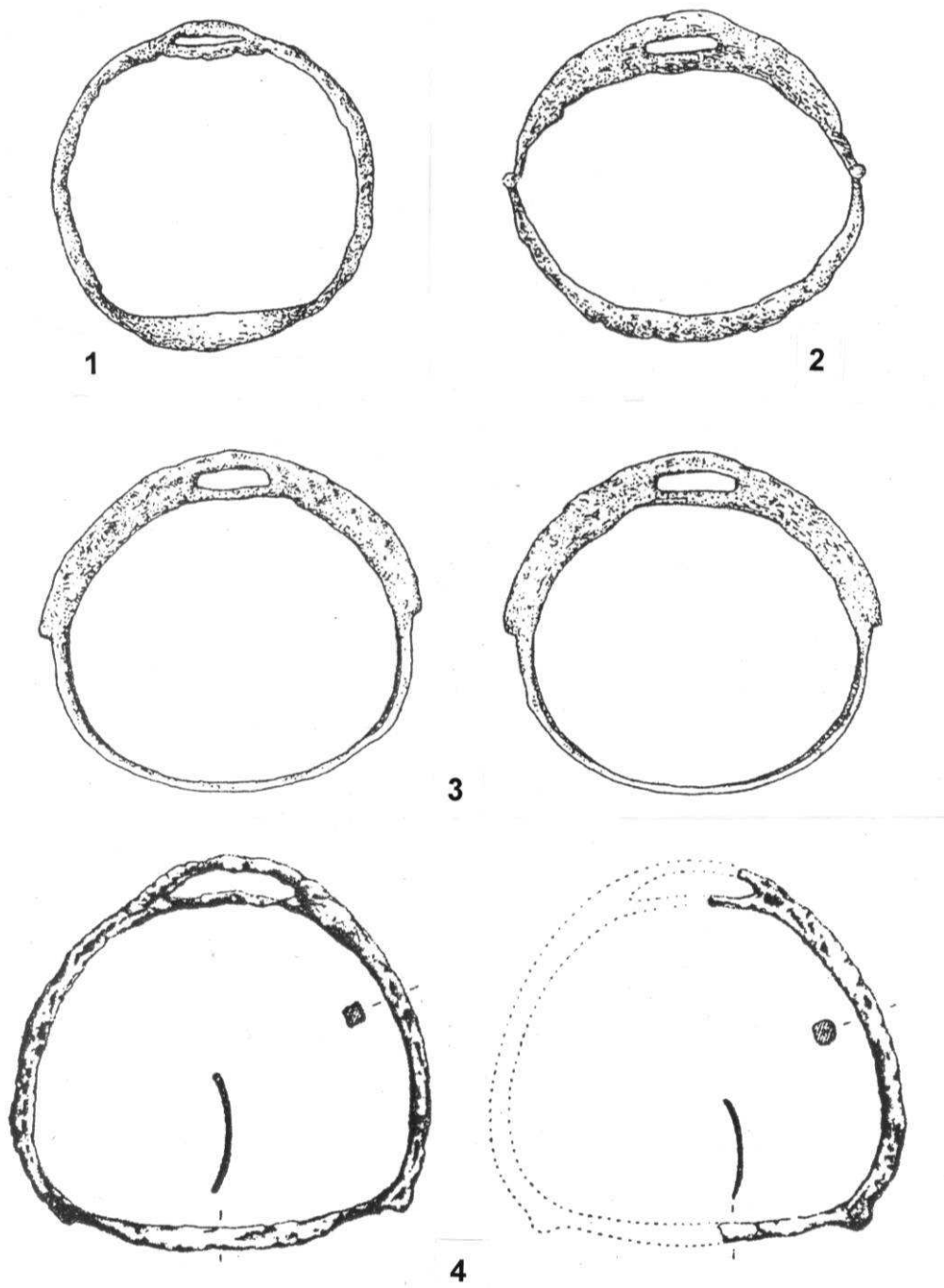


Рис. 10. Печенежские стремена из долины Шарвиза [Hatházi 1996a, табл. 4].

Тинод впервые упоминается как поселение бешеньё в грамоте от 1269 г. [Nagy, 1893a, с. 272-73; Csallány, 1959, с. 56; Pálóczi Horváth, 1989c, с. 30-31, 113, 118; Hatházi, 1990, с. 46; Hatházi, 1996, с. 228; Györffy, 1990, с. 136-137]. Очень близкая аналогия известна из памятника Кёлешд–Итатохедь / Kölesd–Itatóhegy (область Толна), находящегося в южной части средневекового ишпаншага в окружении целого ряда поселений бешеньё (Пел / Pél, Ходош / Hodos, Варшад / Varsád, Белч / Belcs, Тёкёшсег / Tökösszeg, Вегфалу / Végfalu и Кёзепфалу / Középfalu) [Csallány, 1959, с. 56; Pálóczi Horváth, 1989c, с. 30, 113; Hatházi, 1990, с. 45-46; Hatházi, 1996, с. 228; Györffy, 1990, с. 136-152]. В этой же местности расположен Кайдач–Рокадомб / Kajdacs–Rókadomb, где на месте разрушенного могильника XI-XII вв. в 1970-е гг. был найден и отдан в музей новый экземпляр остроушкового стремени. Дальнейшие исследования подкрепили новыми данными принадлежность места к бешеньё [Hatházi, 1996a, с. 223, 1.j; Ódor, 1999, с. 155-156]; новые результаты пока не опубликованы.

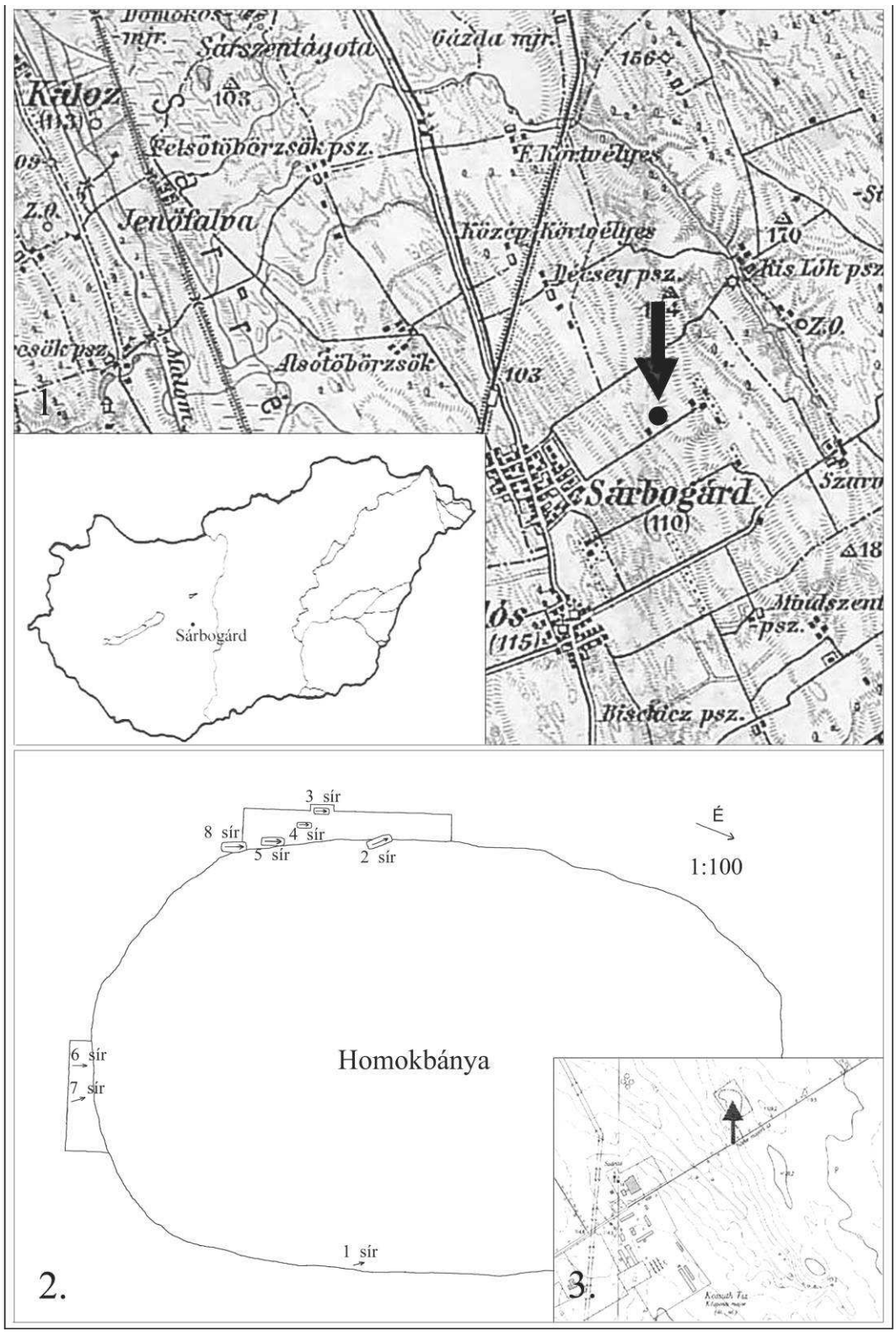


Рис. 11. Шарбогард-Темплом-дюлё, карта уничтоженной части могильника и могилы, которые были раскопаны [Petkes, 2006, табл. 1].

В 1966 г. в музей попала схожая пара стремян и подпружная пряжка из с. Алап / Alap (область Фейер). Точное место находки неизвестно. Возможно, она происходит из окрестностей села под названием Тавасмайор / Tavaszmajor, где на рубеже 1950-1960-х гг. открыли значительную часть общинного могильника середины XII в., но последний никак не

связан с бешеньё. Другое возможное место памятника – современное сельское кладбище, где за много лет до упомянутой находки были обнаружены погребения с оружием, датировка которых, увы, неизвестна. Алап, название которого происходит от тюркского имени, впервые упоминается как поселение бешеньё в 1328 г. [Hatházi, 1990, с. 44-45; Hatházi, 1996, с. 228; Györffy, 1940, с. 21; Györffy, 1963-98 II, с. 345; Györffy, 1990, с. 149]. В 1961 г. в связи с находкой в Шарсентагота–Фелшётёбёржёк / Sárszentágota–Felsőtöbörzsök (область Фейер) археологи однозначно определили на месте, что найденные предметы – пара остроушковых, яйцевидных стремян, меч или сабля (последний предмет потерян) – являются инвентарем языческого всаднического погребения.

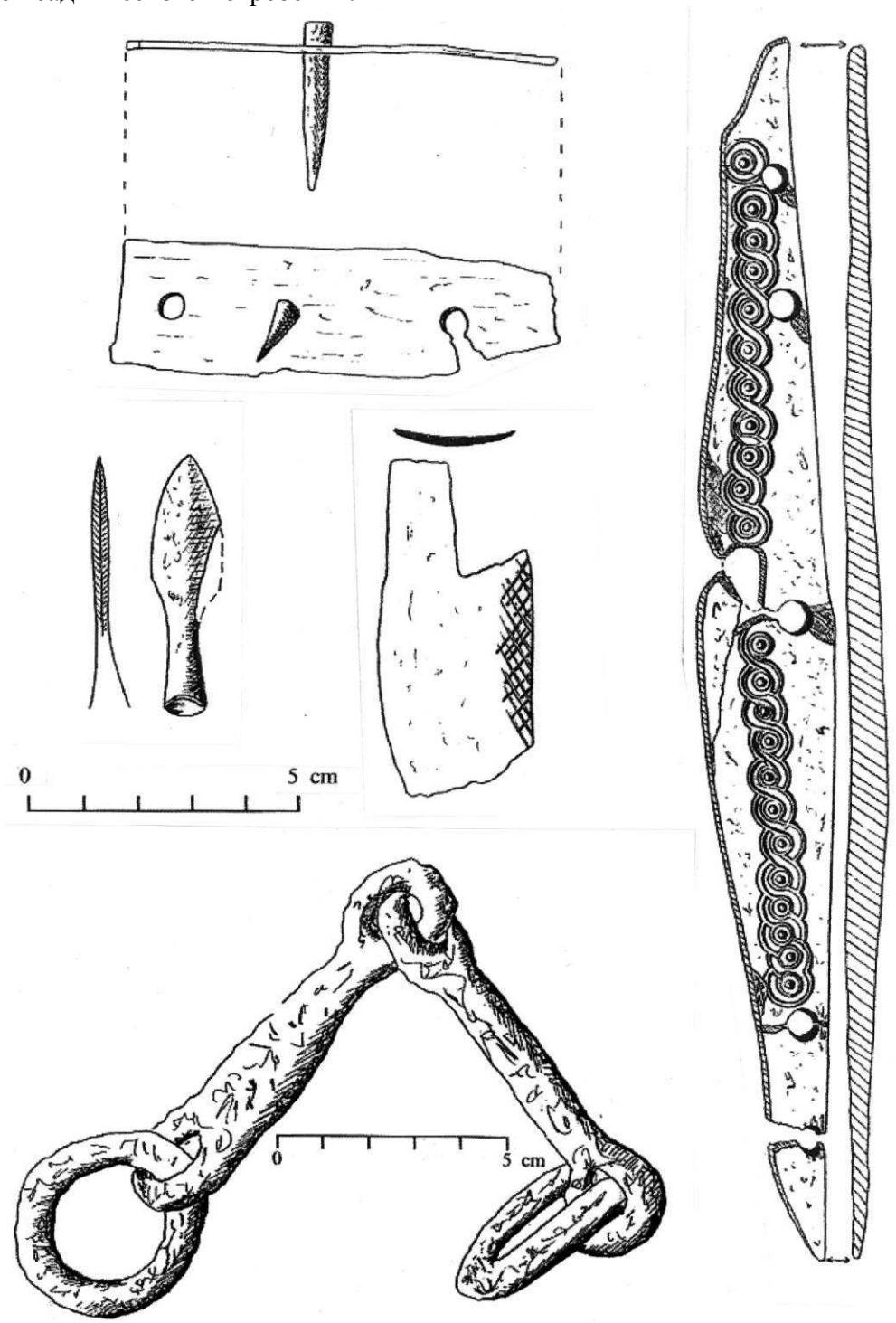


Рис. 12. Находки из погребения 2 Шарбогарда-Темплом-дюлё [Pálóczi Horváth, 2014a, рис. 32].

Тёбёржёк, название которого происходит от тюркского имени, впервые упоминается как поселение бешеньё в 1269 г. [Hatházi, 1994, с. 24-25, 107; Györffy, 1990, с. 136]. Песчаным карьером был разрушен могильник крупной общины бешеньё в Шарбогард–Темплом-дюлё / Sárbogárd–Templom-dűlő (область Фейер) [Petkes, 2006, с. 93-104; Petkes, 2007, с. 89-125]. Восемь погребений могильника, находившегося на территории, окруженной поселениями бешеньё (Богард / Bogárd, Тинод / Tinód, Бешеньёсентмиклош / Besenyőszentmiklós, Тёлдье / Tölgye), удалось спасти в 1961 г. [Hatházi, 1996a, с. 237-238] (рис. 11).

Центральная часть к тому времени была уничтожена, на её место указывали случайные находки (сабля, остроушковое, яйцевидное стремя с прорезью для путилища). Погребения, рассеянные вокруг центра, были ориентированы на СЗ-ЮВ, они располагались рядами. В подпрямоугольных могильных ямах погребенные лежали вытянуто на спине, за исключением детского скорченного погребения 1. Раскопанная часть могильника датируется оболом погребения 8 – денарием Иштвана (Стефана) II (1116–1131). Погребение 2 замечательно, несмотря на то, что оно было ограблено. Здесь похоронили мужчину вместе с конской упряжью (удила с подвижными кольцами, фрагменты округлых подножек стремени). Набор стрел сохранился в относительной целости у правой ноги: в налучье с забитыми железными гвоздиками, накладками из роговых пластин и костяной крышкой обнаружен втульчатый, листообразный наконечник стрелы. Здесь же находилась украшенная ленточным орнаментом костяная ручка колчана для натянутого лука и несколько фрагментов роговых накладок (рис. 12). Неизвестна функция двух подковообразных железных предметов, найденных здесь же. К остальным элементам воинского снаряжения причисляются фрагмент железной втулки, вероятно, остаток топора. Остальные погребения отличались бедным инвентарем (№ 4: крючок из железной проволоки, бусина, № 5: железный нож).

К этой картине обязательно нужно добавить несколько вопросов, на которые можно будет ответить при помощи более «счастливых» памятников и раскопок с точными наблюдениями. Из-за высокой степени разрушенности нам неизвестно, возводились ли небольшие курганы над погребениями могильника Темплом-дюлё. То есть мы не знаем, сохранился ли этот обряд у бешеньё в Венгрии или под влиянием ассимиляции они оставили его. Пока что фрагментарные данные показывают, что здешние бешеньё переняли местный тип так называемого общинного рядового могильника, повсеместно распространенного в Карпатском бассейне X-XII вв. Он исчезает только после появления прицерковных кладбищ. Поскольку ни в одном из погребений не было обнаружено конских костей, но конское снаряжение находили в нескольких случаях, напрашивается предположение, что обычай захоронения вместе с конем также подвергся изменениям, и обычай помещать в погребении чучело лошади сменился помещением символической упряжи. Все это указывает на переходный характер обряда, то есть бешеньё, хоронившие важных покойников с оружием и конем в этих могильниках, еще сохраняли существенную часть своих языческих верований, связанных с потусторонним миром, но формы обряда уже изменились, процесс ассимиляции начался. Символично, что менее, чем в 200 м на СЗ от языческого могильника расположено местонахождение церкви эпохи Арпадов, которая дала название территории. Здесь уже, вероятно, хоронили последующие поколения общины бешеньё.

Археологическое изучение бешеньё, живших в долине Шарвиза, кроет в себе новые возможности другого характера. После поражения печенегов и узов, союз племен черных клобуков, сформированный на защиту русских княжеств, являл собой этнически смешанное образование. В свете этой смешанности заслуживает особого внимания средневековое село Узд / Uzd, появившееся на территории бешеньё долины р. Шарвиз в области Толна (Ныне Шарсентлёринц-Узд / Sárszentlőrinc-Uzd [Györffy, 1990, с. 141; Csánki, 1897, III, с. 456, 479]). При обсуждении истории отношений огузов/узов и венгров уже упоминалось, что есть признаки вселения в Карпатский бассейн группы узов одновременно с бешеньё. В то же время, в письменных источниках ничто не указывает на их самостоятельную организацию

или на «узский правовой статус», схожий с бешеньё. Логическим объяснением может послужить тот факт, что узы, нашедшие пристанище на венгерской земле на рубеже XI-XII вв., пришли не самостоятельно, а в составе групп бешеньё [Hatházi, 1994, с. 22; Hatházi, 1996a, с. 230]. В отличие от черных клобуков, в этих смешанных и фрагментарных группах компонент бешеньё был в этническом, а, следовательно, и политическом превосходстве. Возможно, поэтому и нет письменных следов присутствия огузов, несмотря на явные топонимические памятники: в конечном счёте, местные считали их также бешеньё, поэтому единая терминология *„bissenus”* зафиксировалась в источниках. В благополучном случае археология смогла бы помочь решить вопрос, если бы были найдены своеобразные огузские формы погребения с конем (помещение чучела лошади над погребенным) [Pletneva, 1958, с. 161-163; Pletneva, 1973; Fedorov-Davydov, 1966, с. 125-127, 139-145; Ivanov, Garustovič, 1994, с. 573-589; Ivanov, Ivanova, 2011, с. 20-23] в непотревоженных могилах, например, в долине р. Шарвиз.

Конечно, в других областях Венгерского королевства также необходимо считаться с погребениями второй волны бешеньё. Однако их-за уже упомянутых обстоятельств находок здесь имеются только спорадические данные. Уже в 1930-х гг. исследователи обратили внимание на позолоченую серебряную листовидную гремящую подвеску, которая попала в Венгерский национальный музей в качестве случайной находки эпохи обретения родины без определенного местонахождения (рис. 13). Условно считалось, что она происходит из Северной Венгрии, нынешней Словакии [Fettich, 1937, XXVII. t. 7, Fodor, 1994, с. 394]. Этот предмет, сродни самым замечательным восточноевропейским находкам печенежской конской сбруи (Гаевка, Сарайли-Кият) [Fettich, 1937, с. 51; Kirpičnikov, 1973, с. 20-32, VIII-XI; Pálóczi Horváth, 1989c, с. 20-22], возможно, принадлежал одному из высоких чинов бешеньё, прибывших в Венгрию во второй половине XI в.

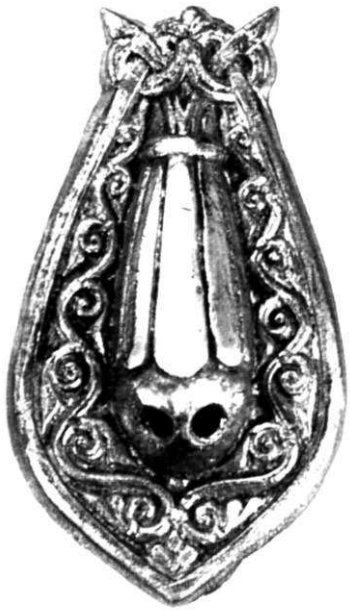


Рис. 13. Позолоченая серебряная гремящая подвеска (неизвестное местонахождение, Венгерский Национальный Музей) [Fodor, 1996, с. 394, фото: Йожеф Хапак].

Важным направлением, с точки зрения исследования бешеньё, может стать археологическое изучение ишпанских, а также пограничных укрепленных центров XI-XII вв. (рис. 14). В соответствии с письменными источниками, все больше археологических данных указывают на то, что значительную часть гарнизонов крепостей, а также населения окрестных поселков, которые несли воинскую повинность (так называемый «крепостной народ»), составляли ассимилировавшиеся за несколько поколений переселенцы. Эта

ситуация, вероятно, связана с поддержанием внутреннего порядка укрепленных центров, особенно областных ишпанских крепостей. Данная роль характеризовала укрепления в той же мере, что и защита против внешних нападений, а также административные и правовые функции. Первые венгерские короли провели реорганизацию страны на западный лад, христианизацию на базе этих крепостей, прибегая подчас к помощи иностранных (иногда языческих) наёмников. Различные, на первый взгляд, одиночные поселения бешеньё, рассеянные по всей центральной части страны, могли быть частями этой системы.[1] Наиболее убедительные признаки воинских элементов, прибывающих с востока (русы и степняки) [Fodor, 2001, с. 24-25.][2] были найдены в ишпанских центрах области Боршод (Боршод–Эделень / Borsod–Edelény, область Боршод-Абауй-Земплен) (рис. 15-17).

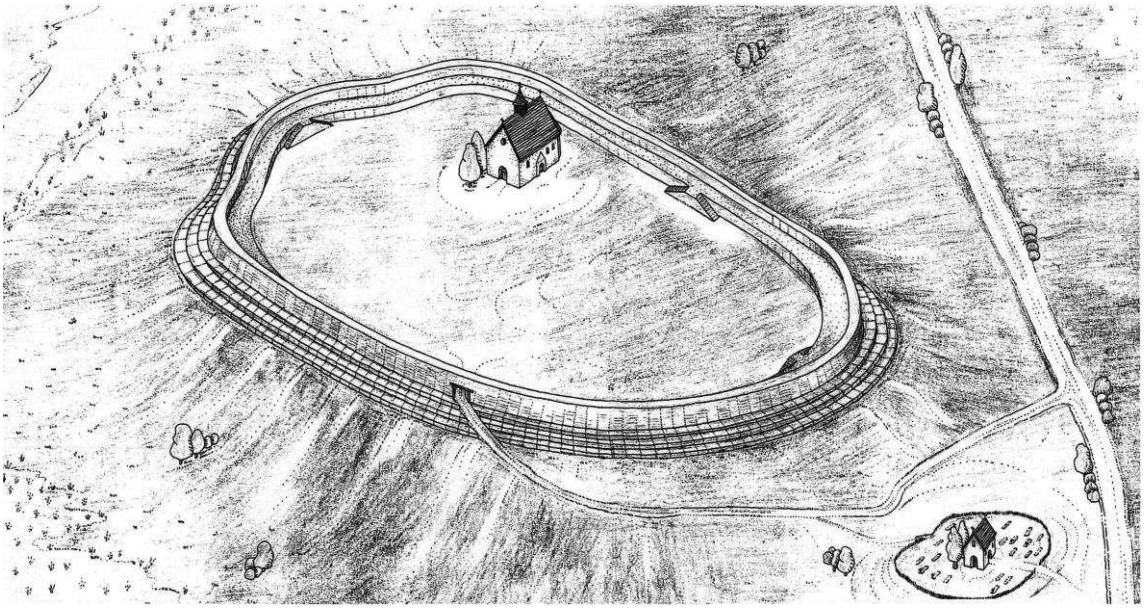


Рис. 14. Реконструкция жупанской крепости Боршод-Эделень. На территории крепости был построен костёл, а вне крепости, под стенами было маленькое поселение, где тоже был обнаружен костёл [Wolf, 2003, рис. 15].

С территории и из непосредственных окрестностей городища происходят находки, чуждые в среде материала Карпатского бассейна XI-XII вв. (например, остроушковое стремя с медной инкрустацией, одночленные лировидные бронзовые пряжки, украшенные чернью) [Wolf, 2004, с. 139-159; Wolf, 2005, с. 131-139].

На схожие пограничные отряды восточноевропейского происхождения, возможно, указывает клад из Даруфалва / Darufalva (ныне Драссбург / Drassburg, Австрия), найденный в 500 метрах от пограничной крепости эпохи Арпадов. Клад был зарыт по случаю штурма крепости в первой половине XI в. Хотя ювелирные украшения клада по происхождению киевские, галичские, волынские, и он не содержит вещи явно степного происхождения, исследователи не исключают, что его владельцем являлся один из бешеньё или русских начальников крепостной охраны [Bóna, 1964, с. 151-169; Pálóczi Horváth, 1989c, с. 33; Gömöri, 2002, с. 39-42]. По обстоятельству находок и культурным связям схожим характером обладает золотой клад из Женне / Zsennye (область Ваш / Vas) (рис. 18) [Kiss, 2000, с. 264-268].

[1] KMTL 224 (Miklós Zs.), 358-359, 449, 714 (Kristó Gy.); 450 (Engel P. - Tringli I.); 715-716 (Zsoldos A.); Györffy 1990, 169.

[2] Условно здесь еще можно упомянуть комплекс Артанд-Зомлин пуста / Ártánd - Zomlin puszta, который связывают как с воинами – язычниками русами X-XI вв. [Pálóczi Horváth, 1994, с. 127], так и с узами/черными клобуками, примкнувшими к кунам в XIII в. [Mesterházy, 1976, с. 69-79].

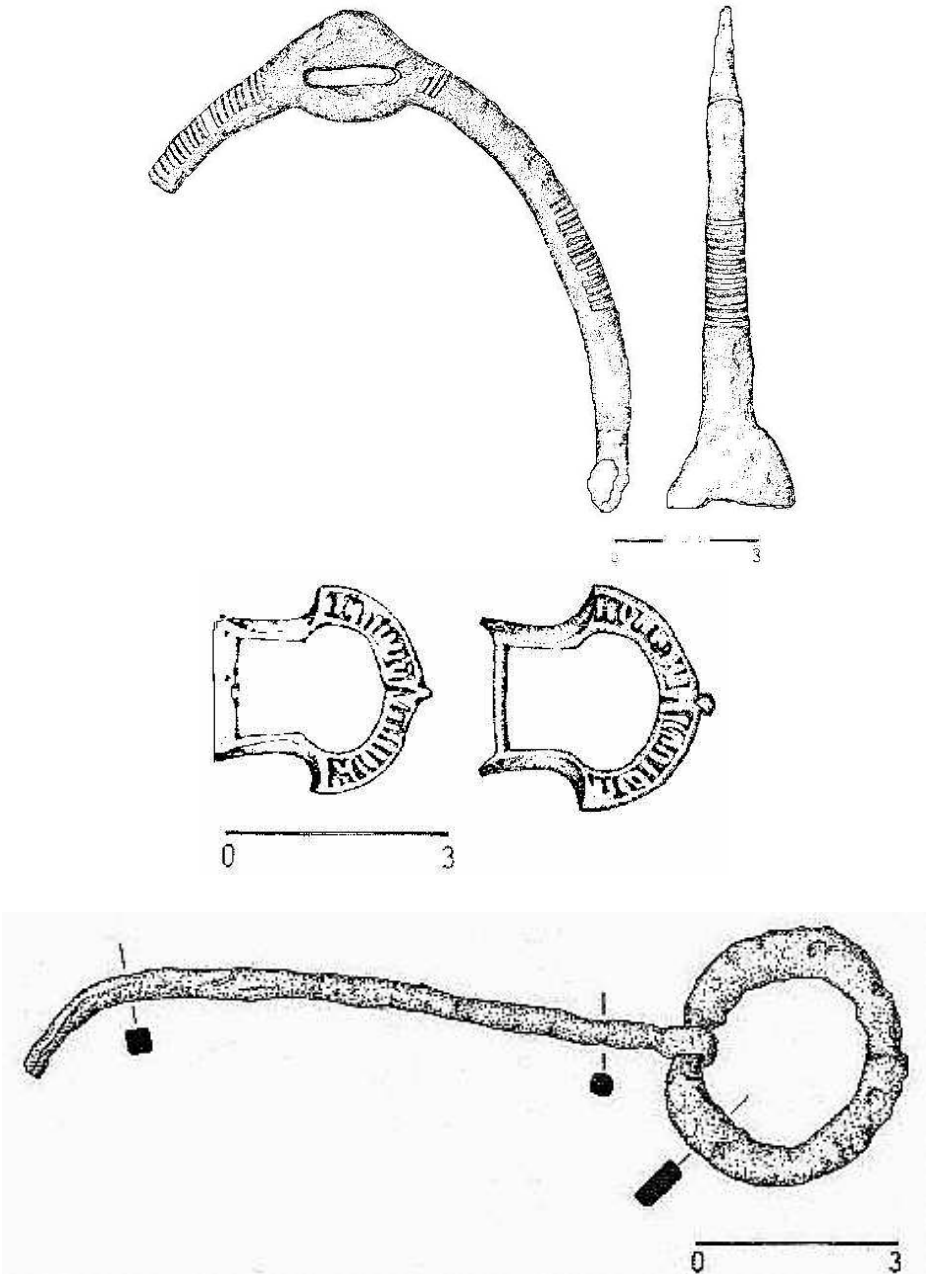


Рис. 15. Находки, которые могут быть связаны с наличием крепостной охраны восточноевропейского происхождения (русской или печенежской): 1. стремя, 2. пряжки, украшенные чернью, 3. мундштук [Wolf, 2004, рис. 1, 9; Petkes, 2012, табл. 1, 3].

Несмотря на то, что места находок этих кладов и сама закрытая территория распространения иностранных вещей в их составе, по-видимому, не позволяет считать их предметами торговли, нужно подчеркнуть, что пока их можно расценивать лишь как обнадёживающие знаки. Хотя они убедительно указывают на смешанное население укрепленных центров, для более стабильного выделения отдельных групп этих коллективов необходимы дальнейшие исследования.

Наконец, мы должны обратиться (а в некоторых случаях вернуться) к таким типам находок, появление которых в Венгрии эпохи Арпадов с большой долей вероятности можно связать со второй миграционной волной бешеньё. К таковым относятся ранние варианты булав со звездообразным навершием, а также типы остроушковых стремян и сабель, регулярно встречающиеся во всаднических погребениях бешеньё (рис. 19) [Kovács, 1971, с. 180; Hatházi, 1990, с. 43; Hatházi, 1996a, с. 229; Terei, Horváth, 2007, с. 162].

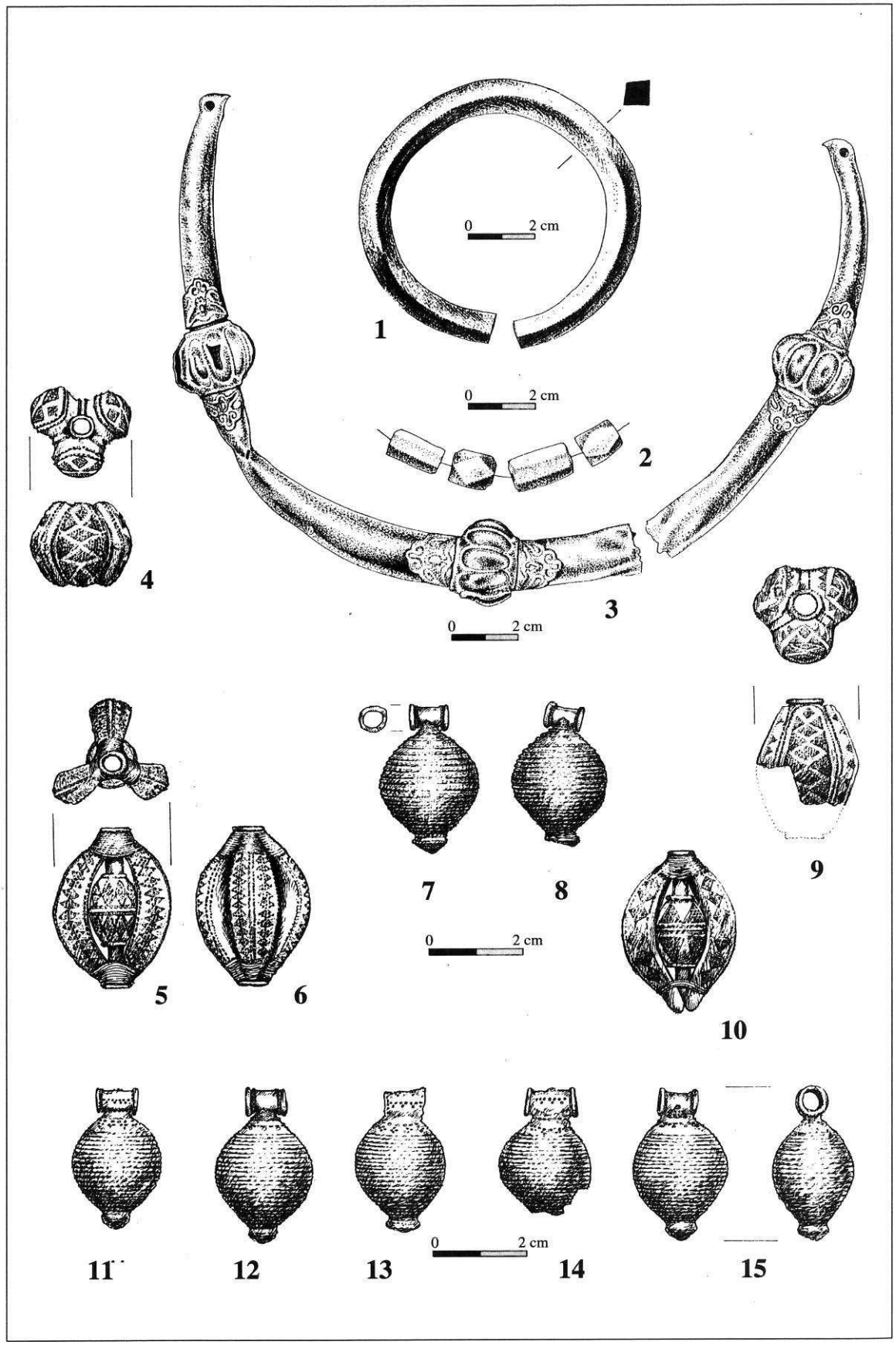


Рис. 16. Клад из с. Даруфалва (XI в.) [Gömöri, 2002, рис. 15].

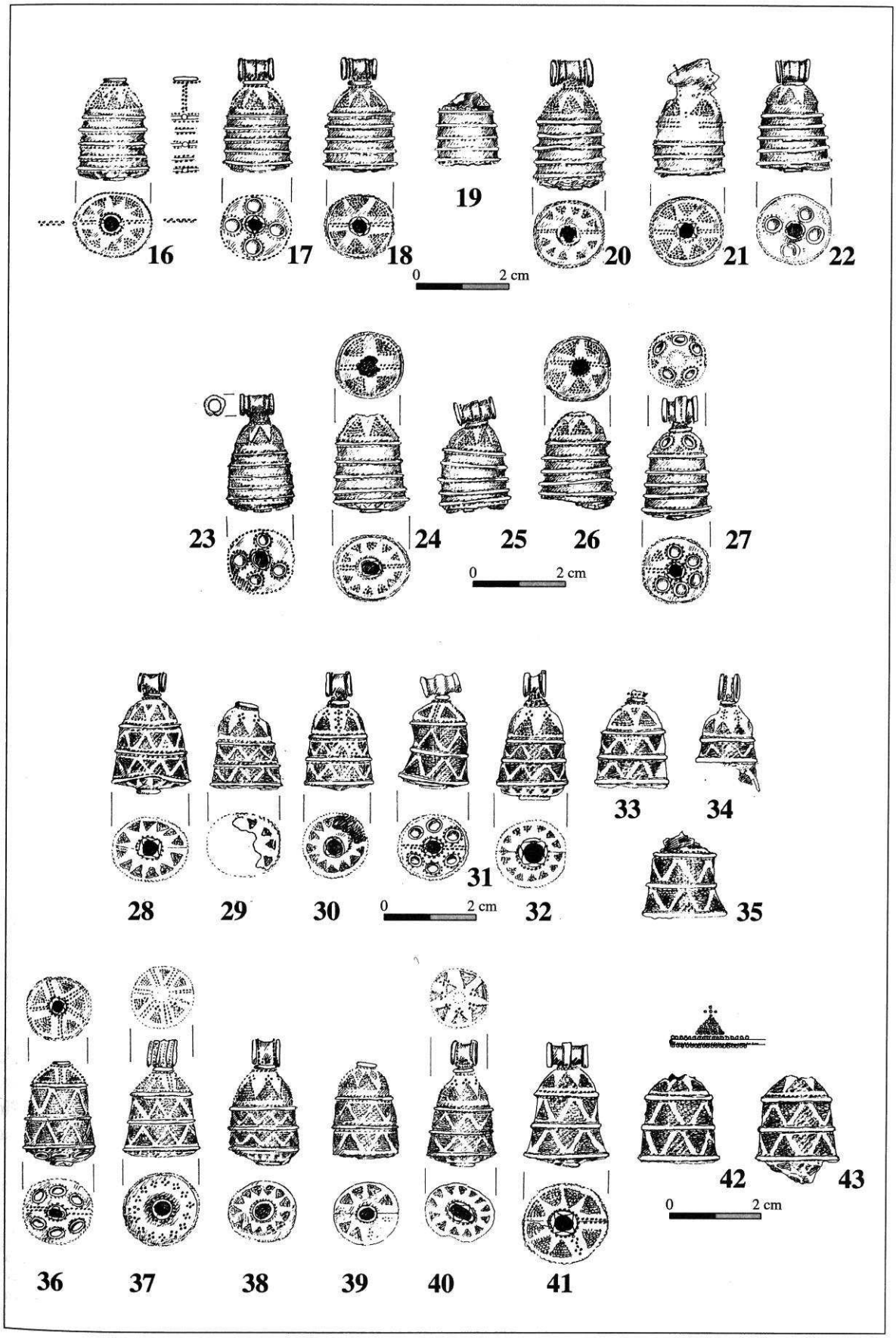


Рис. 17. Клад из с. Даруфалва (XI в.) [Gömöri, 2002, рис. 16].

Рис. 18. Клад из с. Женне [Fodor, 1996, с. 378], фото: Йожеф Хапак).

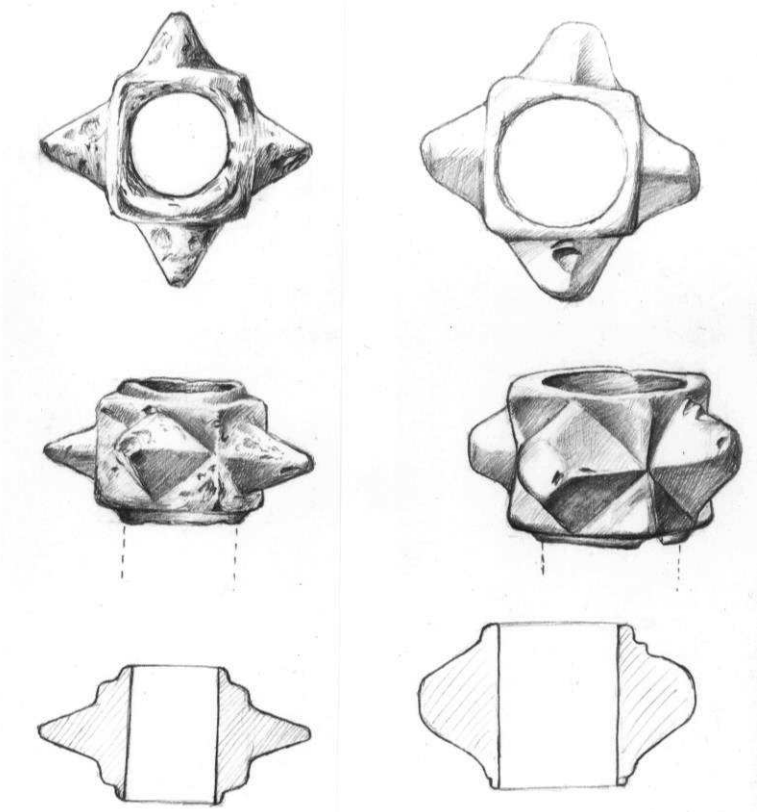


Рис. 19. Булавы со звездообразным навершием печенежского типа: 1. местонахождение неизвестно, 2. Сёреньвар (Drobeta-Turnu Severin, Румыния) [Pálóczi Horváth, 2014a, с. 54, рис. 33].

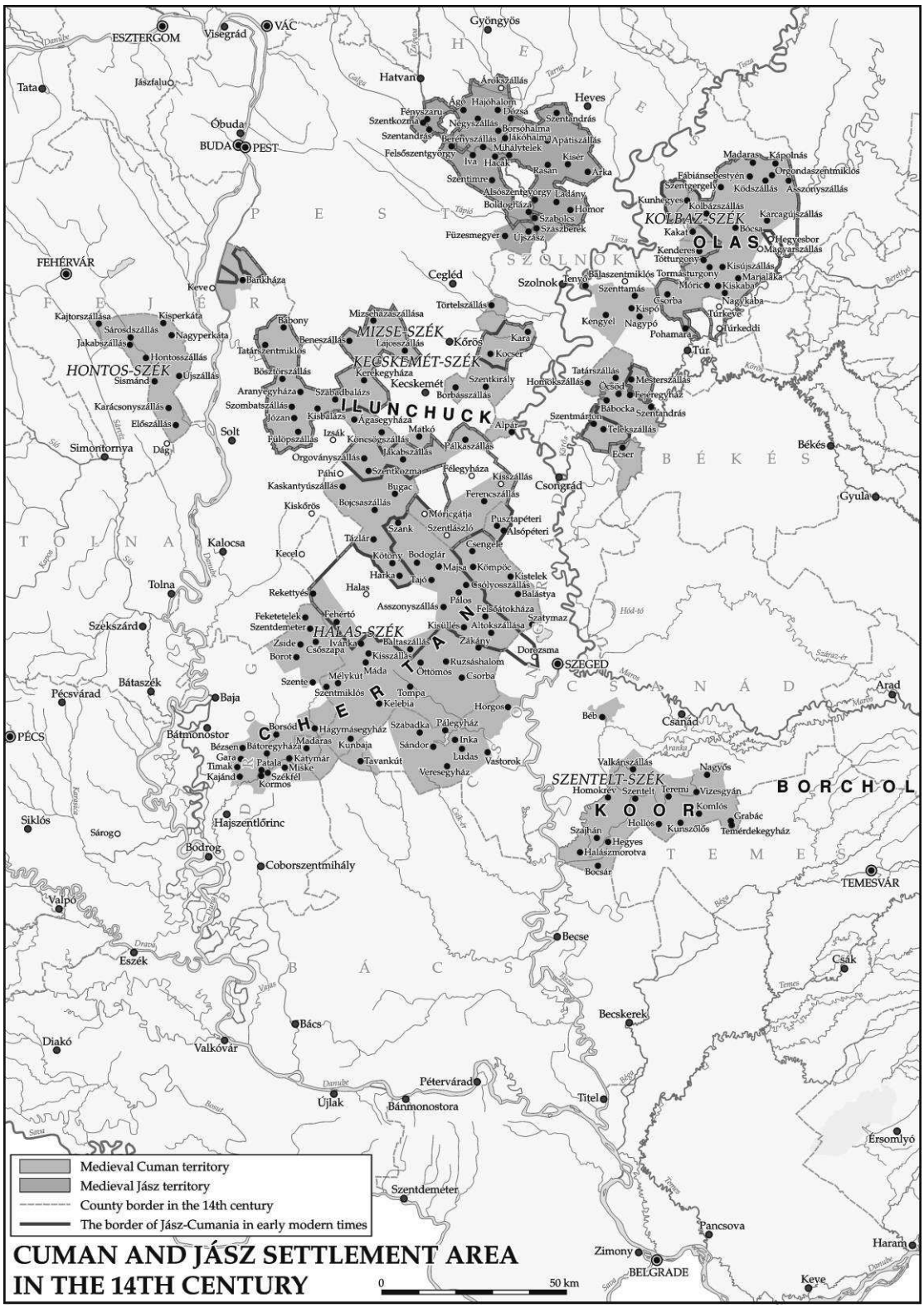
Это вещи, несомненно, степного происхождения, и до последних десятилетий XI в. они не встречаются в Карпатском бассейне. В то же время, накануне монгольского нашествия (1241-1242 гг.), то есть до прихода кунов, они уже (иногда достаточно широко) распространяются и в венгерской среде. Именно поэтому их настоящую культурную принадлежность (в том числе и возможность непосредственных связей с бешеньё) всегда нужно рассматривать с особенной осторожностью, подходя к каждой находке индивидуально. Здесь твердой опорой являются пока только языческие погребения. Письменные источники, связанные с местами находок, ориентируют нас гораздо менее надежно, они допускают только «большую вероятность». Данные типы вещей в то же время указывают и на то, что бешеньё, переселившиеся в Венгрию, не просто односторонне принимали духовную и материальную культуру местного населения. Они в значительной мере обогатили культуру своей новой родины не только своими воинскими достоинствами, но и многочисленными степными элементами.

3. Археологические памятники кунов.

3.1. Заселение кунов, образование их территорий.

Куны, поселившиеся в Венгрии в 1239 г. под руководством хана Кутена (Котяна), в 1241 г. покинули страну из-за убийства их предводителя. Нам неизвестны их памятники этого короткого, двухлетнего периода, археологических находок пока нет. После монгольского нашествия король Бела IV (1235–1270) вернул кунов, которые в 1246 г. уже приняли участие в походе короля против Австрии. После второго заселения семи кунским родам выделили территорию в значительной мере опустошенных регионах южной и средней частей Алфёльда – Большой Венгерской низменности. Эту территорию диплом короля Ласло (Владислава) IV (1272–1290) 1279 г. описывает по названиям больших рек [Gyárfás, 1870-1885, II, с. 438-443]. Территории некоторых родов определяются при помощи данных письменных источников XIII- XIV вв. Роды Чертан («Щука») и Илунчук («Змейка») поселились на Песчаной гряде в междуречье Дуная и Тисы. С середины XVI в. этот край называется Кишкуншаг / Kiskunság (Cumania Minor / Малая Кумания). Между реками Тиса и Кёрёш поселился род Олаш («Объединяй»). Более позднее название региона Надькуншаг / Nagykunság (Cumania Maior / Большая Кумания). К югу от реки Марош находится территория рода Кор («Малый, Незначительный»). Между реками Марош и Темеш (Тимиш) в XIII в. упоминаются куны рода Борчол («Борчовичи») [Györffy, 1963-1998, III, с. 528-532]. Мы не знаем названия родов, живших между реками Кёрёш и Марош и к югу от Темеша, так как после поражения в битве при озере Ход в 1282 г. куны оставили этот край и покинули страну. К западу от Дуная кунская группа поселений образовалась в области Фейер в конце XIII в. Его население, вероятно, переместилось из междуречья Дуная и Тисы. Территория кунов, окончательно оставшихся в Венгрии, составляла в начале XIV в. около 8100 км^2 с населением 40-45 тыс. человек. Из письменных источников XIII-XVI вв. нам известно о 140 кунских поселениях, но данные, вероятно, сохранились не обо всех населенных пунктах [Pálóczi Horváth, 2014, с. 106] (рис. 20).

В начале XV в. на родовых территориях образовались автономные территориальные единицы, независимые от комитатских (областных) структур, так называемые секи (*sedes*), которые обладали административными и судебными правами, а также занимались сбором податей для короля. Секи получали названия от своих центров, крупных деревень или аграрных городов (Халаш-сек / Halas-szék, Хантош-сек / Hantos-szék, Кечкемет-сек / Kecskemét-szék, Кара-сек / Kara-szék или иначе Миже-сек / Mizse-szék, Колбаз-сек / Kolbaz-szék, Сентелт-сек /Szentelt-szék). Дольше всех, до самого конца XVII в., автономию сохранил Колбаз-сек в Большой Кумании.


Medieval Cuman territory
Medieval Jász territory
County border in the 14th century
The border of Jász-Cumania in early modern times
CUMAN AND JÁSZ SETTLEMENT AREA
IN THE 14TH CENTURY
0
50 km
ESZTERGOM
Visegrád
VÁC
Gyöngyös
Hatvan
Heves
Tata
Jászfalu
Óbuda
BUDA
PEST
FEHÉRVÁR
Cegléd
Szolnok
Kecskemét
Kalocsa
Tolna
Szekszárd
Bátaszék
Pécsvárad
PÉCS
Baja
Bátmonostor
Siklós
Sárog
Bodrog
Hajszentlőrinc
Coborszentmihály
Valpó
Eszék
Drávaszög
Bácsország
Bács
Diakó
Valkóvár
Újlak
Pétervárad
Bánmonostora
Titel
Becse
Becskerek
Csák
TEMESVÁR
Arad
Csanád
Békés
Gyula
Csongrád
SZEGED
Dorozsma
Solt
Simontornya
Dág
Sárvíz
Sió
Duna
Tisza
Körös
Maros
Temes
Bega
Béga
Zimony
BELGRADE
Pancsova
Haram
Keve
Ersomlyó
Szentdemeter
Titel
Kiskőrös
Kiskunfélegyháza
Kiskunhalas
Kiskunmajsa
Orgovány
Bugac
Kaskantyús
Páhi
Szentkozma
Félegyháza
Kisszállás
Ferencszállás
Pusztapéteri
Alsópéteri
Csengele
Kötöny
Bodoglár
Majsa
Kömpöc
Kistelek
Csólyosszállás
Balástya
Pálos
Asszonyszállás
Felsőtokháza
Szatymaz
Kisülés
Altokszállása
Zákány
Rekettyés
Halas
Tájó
Harka
Tázlár
Szank
Szentlászló
Mórichida
Kecel
Fehértó
Feketetelek
Szentdemeter
Zsadányszállás
Csőszapa
Borot
Kisszállás
Ruzsáshalom
Csorba
Öttömös
Máda
Mélykút
Szente
Szentmiklós
Tompa
Kelebia
Hörgös
Bácsország
Bonód
Hágymásegyház
Szabadka
Pálegyház
Madaras
Kunbaja
Sándor
Inka
Ludas
Vastorok
Tavankút
Veresegyház
Bezsen
Bátoregyháza
Gara
Patala
Katymár
Timak
Miske
Kajánd
Székfél
Kormos
Hajós
Bajaszentistván
Bácsbokod
Bácsszőlős
Bácsalmás
Csikéria
Tompa
Kunbaja

Венгрии также встречается восточная ориентировка, характерная для половцев, и захоронение целого коня. Ориентировку погребений зафиксировали в 6 случаях: 5 погребений было ориентировано по оси восток-запад, а одно – запад-восток. В 4 случаях известно о нахождении целых конских скелетов. Широкую могильную яму погребения из Ченгеле разделили на две части каменной стенкой, покойника разместили в северо-западной части, а целого, оседланного и взнузданного коня положили в противоположную по отношению к человеку сторону. Конь был погребен впоследствии, после похорон хозяина. Могилу накрыли досками или бревнами, а затем возвели холм из песчанистой почвы [Horváth, 2001, c. 87-107, 153-184] (рис. 21). В погребении из села Надькамараш–Банкут / Nagykamarás–Bánkút конь тоже ориентирован противоположно, головой на северо-запад. В погребении из Кунфехерто–Инока / Kunfehértó–Inoka, также восточной ориентировки, скелет коня лежал в таком же положении, что и человек [Pálóczi Horváth, 1994, c. 112].

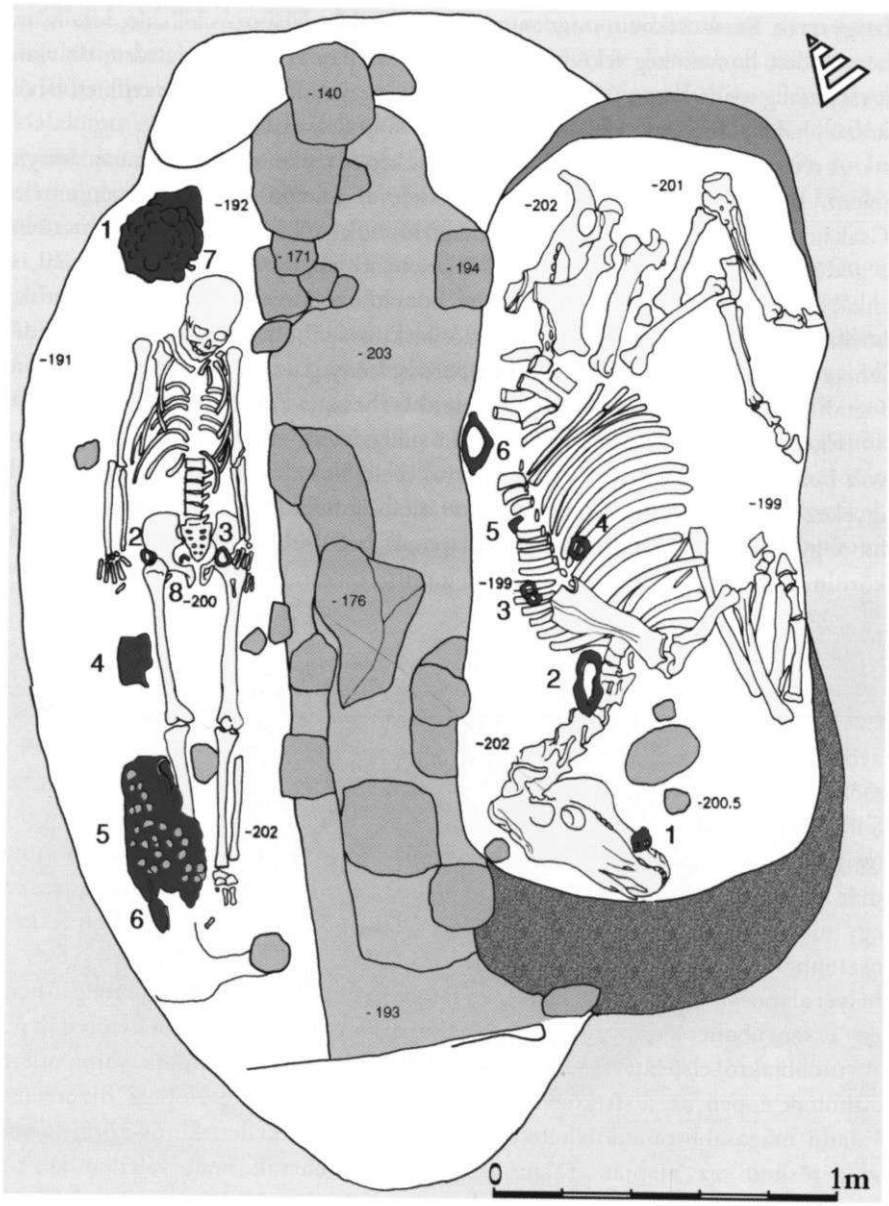


Рис. 21. Ченгеле-Богархат, погребение куманского вождя (объекты № 56-57). Погребальный инвентарь человеческого погребения: 1. шлем, 2-3. кольца из железа, 4. наконечники стрел, 5. кольчуга, 6. наконечник стрелы 7. кость животного, 8. пряжка из железа. Погребальный инвентарь конского погребения: 1. удила, 2. стремя, 3-5. пряжки из железа, 6. стремя [Horváth, 2001, c. 101].

Конская узда (удила, стремена, подпружный ремень) является обычным инвентарем погребений. Вещи представлены позднекочевническими типами XII-XIV вв. Удила представляют собой двусоставные удила с кольцами, симметричными или асимметричными грызлами. Кольца обычно широко расплющены, окончания дужек ребристые (например, Кунсентмартон–Якшорэрпарт / Kunszentmárton–Jaksorérpart, Тисафёльдвар–Хомок / Tiszaföldvár–Homok) (рис. 22-24).

Рис. 22. Удила и стремя из местонахождения Тисафёльдвар-Хомок-Овирагхедь (фото: Карой Козма).

Рис. 23. Конская сбруя из женского погребения (местонахождение: Надькамараш-Банкут) 1. удила, 2. пряжка подпружного ремня, 3. стремя [Pálóczi Horváth, 2014a, с. 127, рис. 81], фото: Андраш Дабаши.

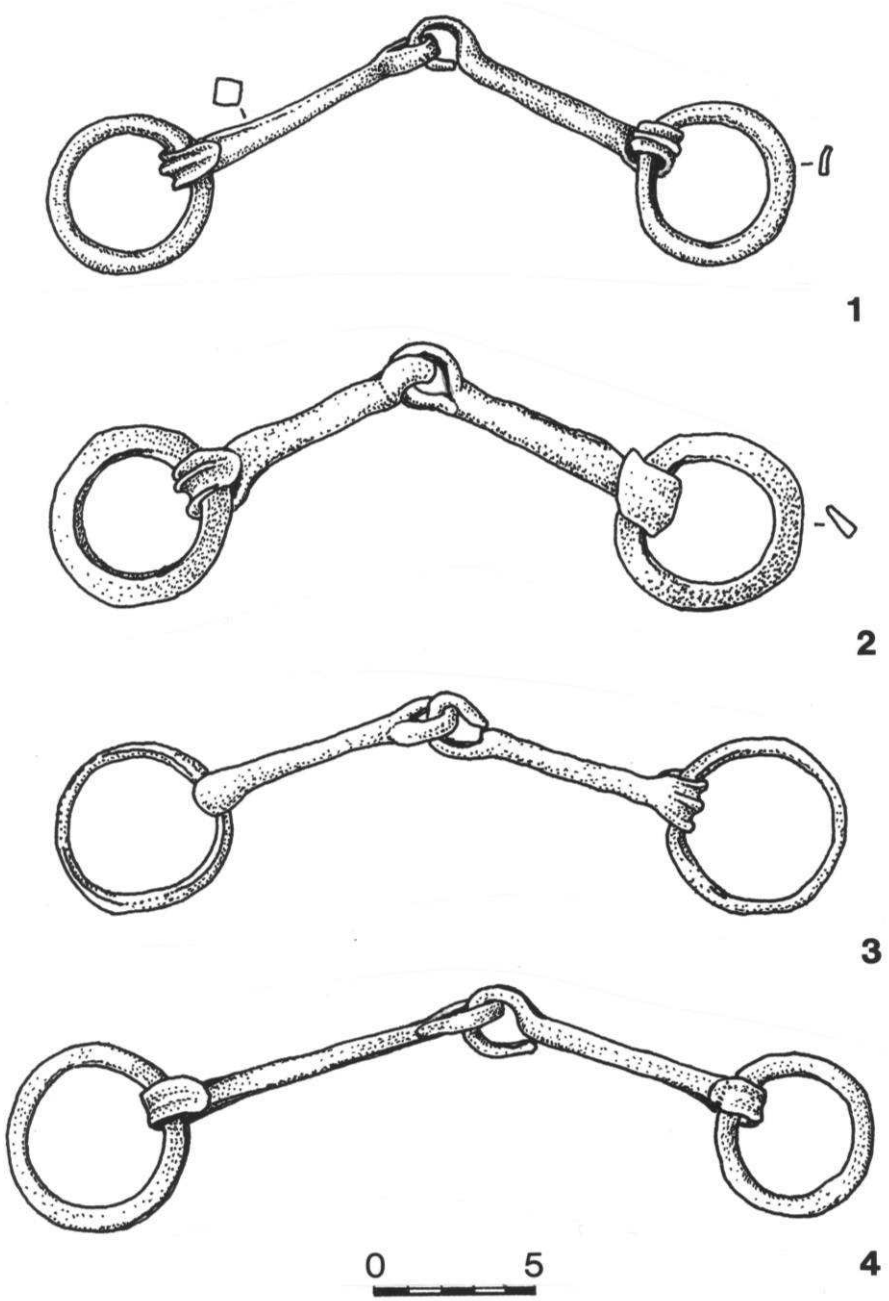


Рис. 24. Удила из куманских погребений на территории Венгрии: 1. Кунсентмартон-Якшорерпарт, 2. Тисафёльдвар-Хомок-Овирагхедь, 3. Надькамараш-Банкут, 4. Эрдётелек [Pálóczi Horváth, 1994, рис. 30].

Формы стремян разнообразны. Продолжают существовать известные с печенежской эпохи круглые и овальные стремена, в кунских находках с широкой опорой (Надькамараш–Банкут, Кунсентмартон–Якшорэрпарт, Тисафёльдвар–Хомок) (рис. 25).

Другой основной тип – это арочные стремена с прямоугольным ушком и широкой, прямой подножкой. Он представлен парой стремян из с. Чойош / Csólyos и одним из стремян княжеского погребения из Ченгеле, но встречается и в других комплексах. Дужки упомянутых стремян из Чойоша и Ченгеле были украшены тремя рядами точек, сделанными из серебряных, впоследствии позолоченных гвоздиков (рис. 26-27). Второе стремя из Ченгеле характеризуется круглой подножкой, выступами на дужках, ушко украшено насечками с серебряной инкрустацией [Pálóczi Horváth, 1994, с. 142-144; Horváth, 2001, с. 175-183].

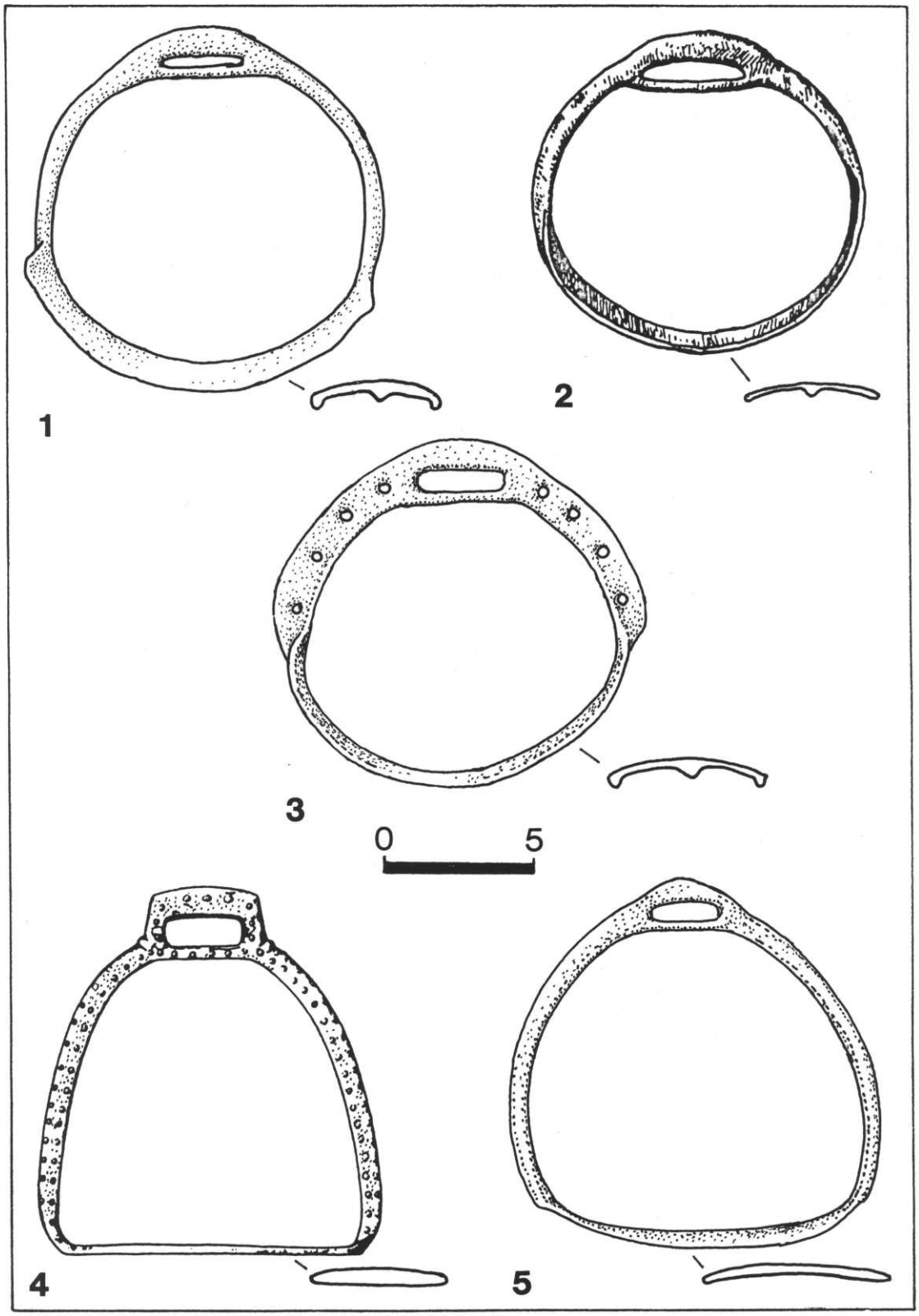


Рис. 25. Стремена из куманских погребениий на территории Венгрии: 1. Надькамараш-Банкут, 2. Кунсентмартон-Якшорерпарт, 3. Тисафёльдвар-Хомок-Овирагхедь, 4. Чойош, 5. Эрдётелек [Pálóczi Horváth, 1994, рис. 31].

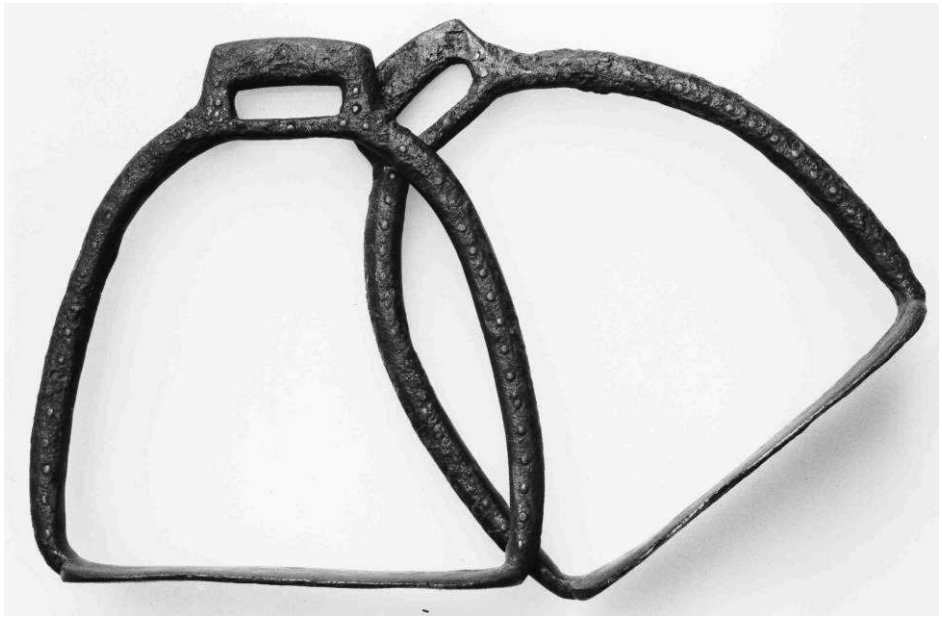


Рис. 26. Чойошпалош-Чойошпуста. Стремена позолоченые и украшенные серебряными гвоздиками [Pálóczi Horváth, 2014a, c. 128, рис. 82]; фото: Андраш Дабаши.

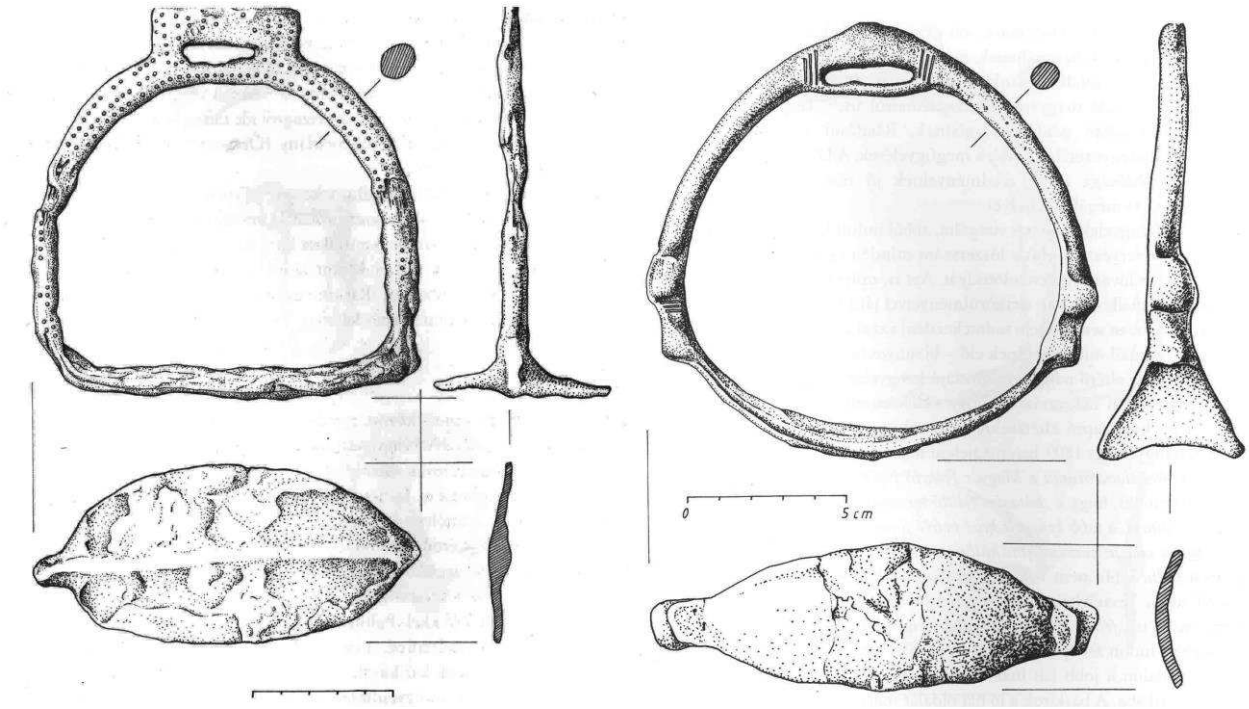


Рис. 27. Пара стремян из местонахождения Ченгеле-Богархат [Horváth, 2001, c. 177, 179].

Непарные стремена схожего с Ченгеле типа были найдены в с. Кишкунмайша–Куклиш-танья / Kiskunmajsa–Kuklis-tanya (рис. 28) [Horváth, 2003].

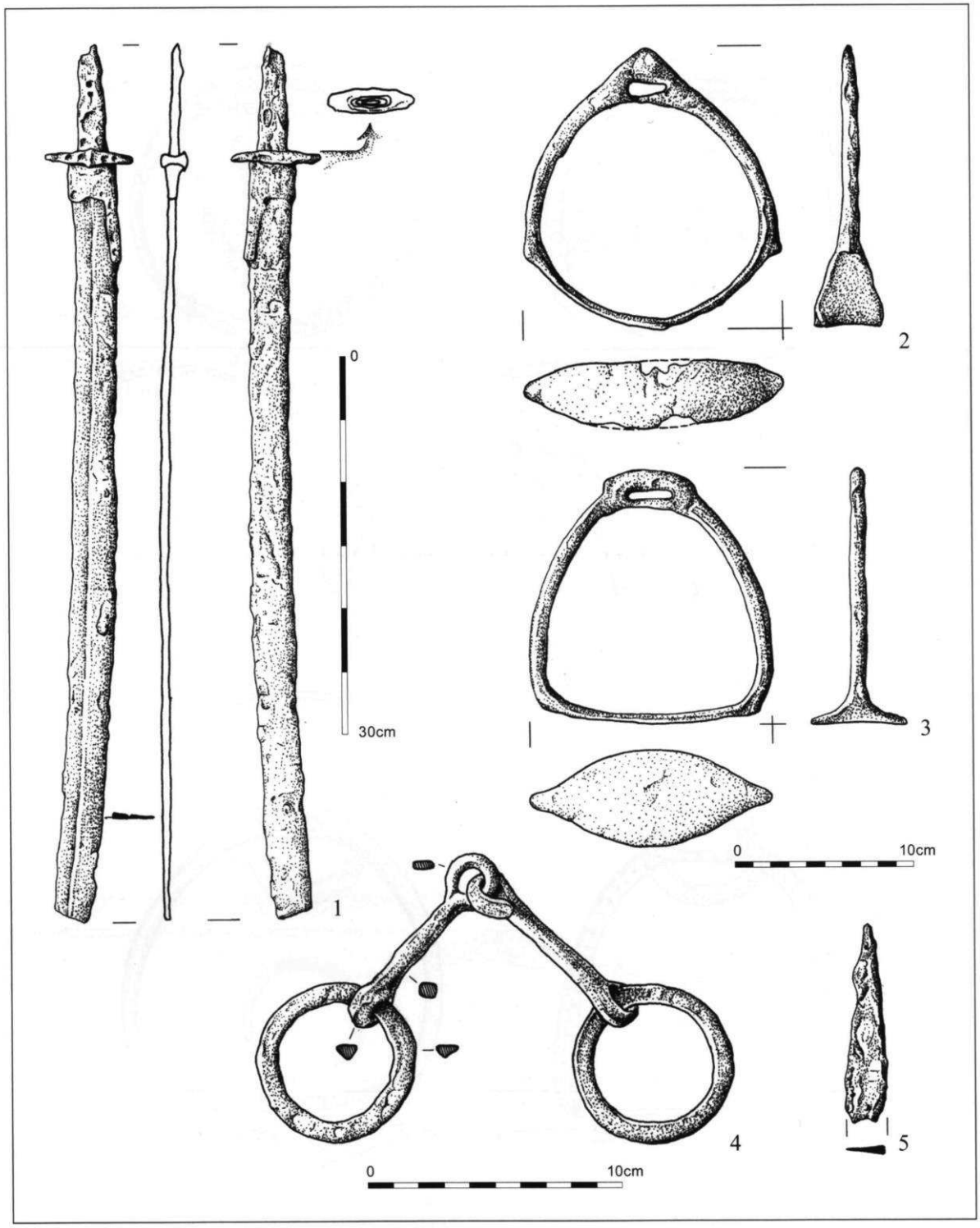


Рис. 28. Находки из куманского погребения из местонахождения Кишкунмайша-Куклиш танья: 1. сабля, 2-3. пара стремян, 4. удила, 5. нож [Horváth, 2003, рис. 3].

От седел, сделанных из дерева и кожи, сохранились в лучшем случае костяные накладки, украшавшие ободок лук (Надькамараш–Банкут). Кунское седло по своей конструкции напоминает аварское или мадьярское: на обоих луках выдавался круглый отросток – «голова». Этот тип продолжал существовать в венгерском этнографическом материале до XX в.

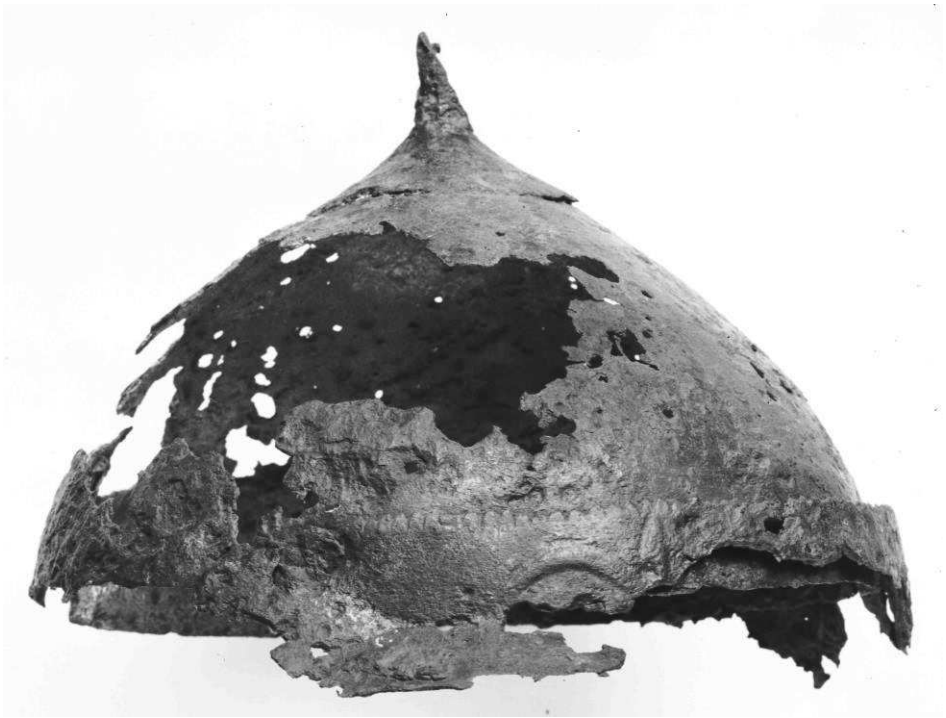


Рис. 29. Чойошпалош-Чойошпуста. Шлем из погребения куманского вождя [Pálóczi Horváth, 2014a, с. 118, рис. 69]; фото: Андраш Дабаши.

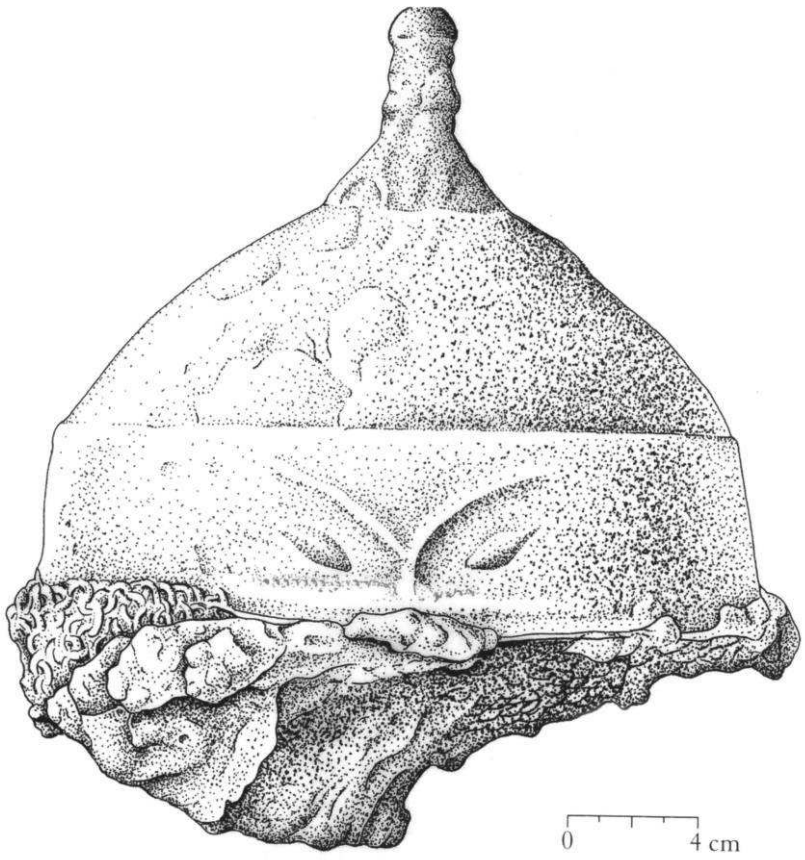


Рис. 30. Шлем куманского вождя из с. Ченгеле [Horváth, 2001, с. 154].

В Венгрии железные шлем и кольчуга были найдены в двух погребениях знатных кунов (Чойошпалош–Чойошпуста / Csólyospálos–Csólyospuszta, Ченгеле–Богархат / Csengele–Bogárhát), но в нескольких других ограбленных и частично утерянных комплексах так же были фрагменты кольчуг. Шлемы относятся к восточному типу с бармицей, защищавшей шею и лицо. Лобную пластину шлема из Чойоша украшает пальметта, навершие представляло собой позолоченный шар (рис. 29).

На лобной пластине шлема из Ченгеле изображены брови и глаза, к ней прикреплены пластины, защищавшие глаза и бармица, аналогичные шлему из княжеского погребения в Чингульском кургане (рис. 30).

Кольчуга из Чойоша была изготовлена из колец с ромбическим сечением, диаметром 10,5–11 мм. Ряды сплошных (сваленных) и клепаных колец чередовались. От кольчуги сохранилось 60 фрагментов, которые представляют только 15-20% от всей оригинальной поверхности (рис. 31). В этом погребении были найдены также две панцирные пластины в форме четверти сферы, которые защищали плечи или колена (рис. 32) [Pálóczi Horváth, 1969, c. 108-113; Pálóczi Horváth, 1989a, c. 75-77; Horváth, 2001, c. 153-164].

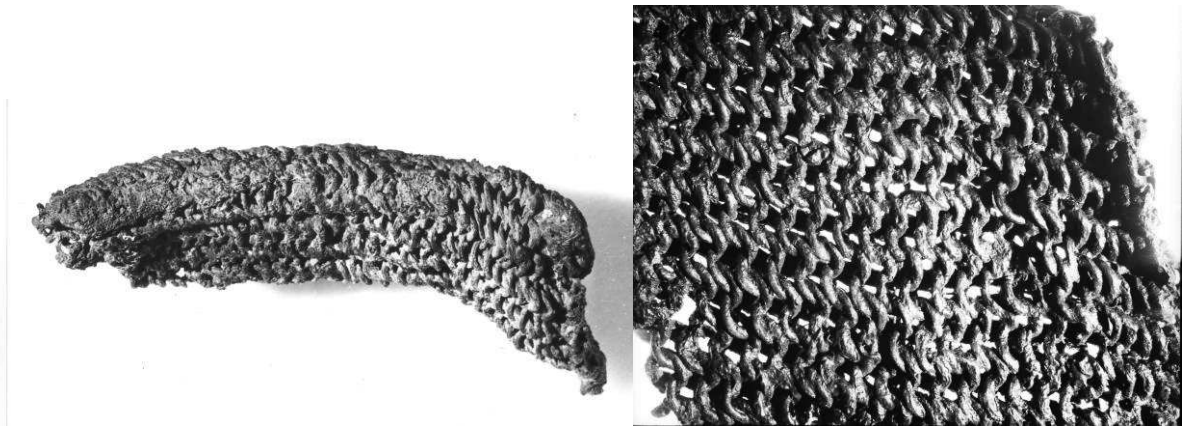


Рис. 31. Чойошпалош-Чойошпуста. Два фрагмента кольчуги куманского вождя. На шейной части сохранились остатки ткани (фото: Андраш Дабаши).

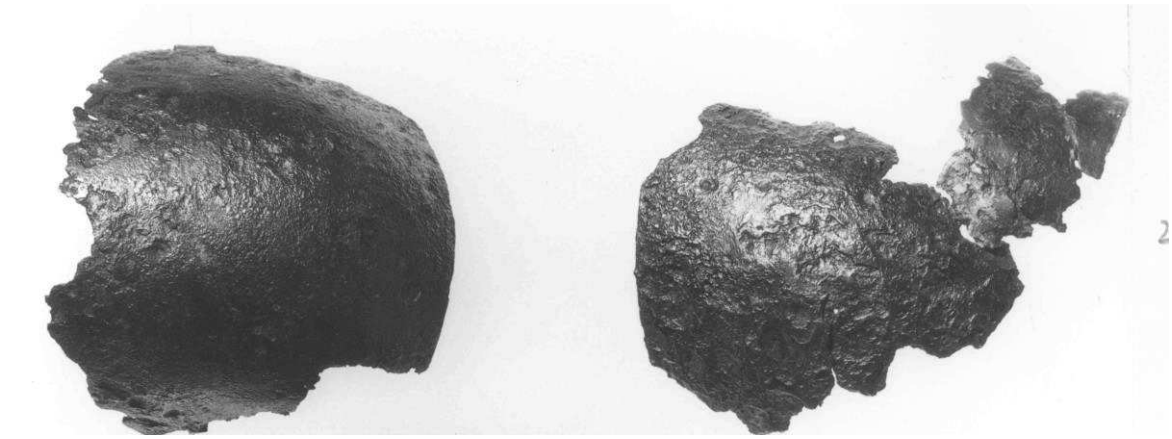


Рис. 32. Чойошпалош-Чойошпуста. Панцирные пластины для защиты плечи или колена [Pálóczi Horváth, 2014a, c. 119, рис. 71]; фото: Ласло Шушич.

Число стрел в погребениях варьируется (Чойош: 4, Фелшёсенткирай / Felsőszentkirály: 2, Ченгеле: 8). Это может иметь символическое значение, связанное с погребальным обрядом. Среди стрел различного типа встречаются бронебойные, распространённые в XI-XIII вв. (рис. 33).

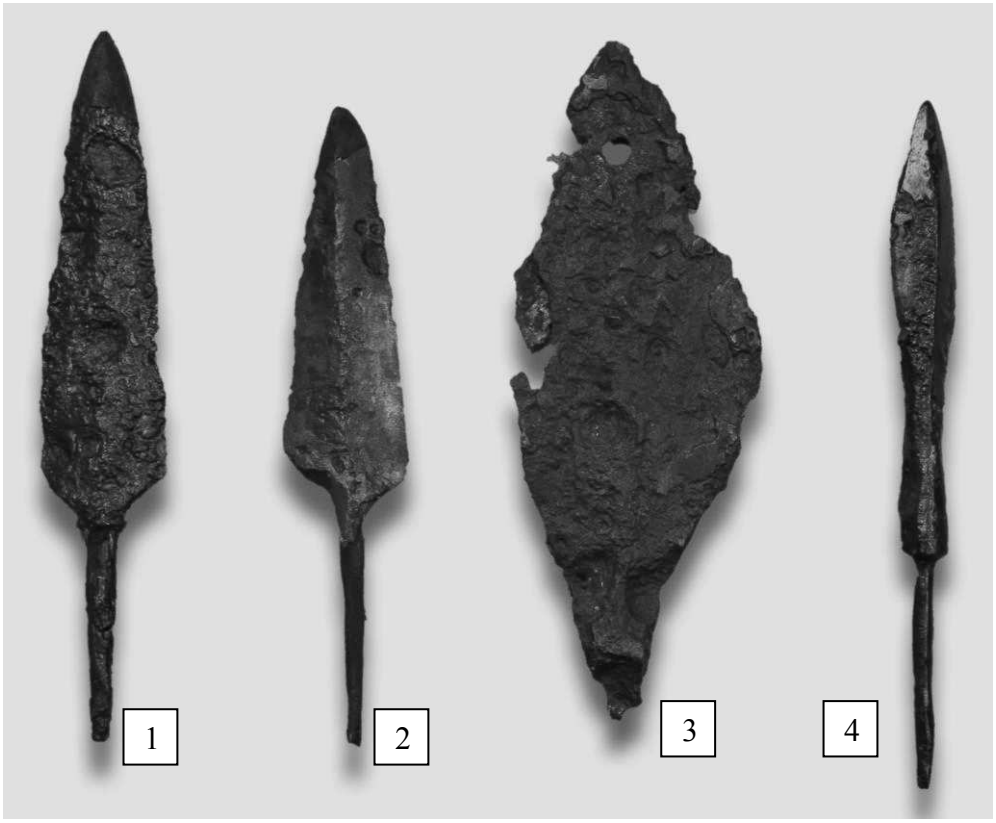


Рис. 33. Наконечники стрел из погребения в Чойоше: 1. плоский, растянутый наконечник из железа, 2. плоский, асимметрический наконечник из стали, 3. широкий, плоский, ромбообразный наконечник из железа, пробитый у острия, 4. ланцетовидный наконечник из стали, бронебойного типа [Pálóczi Horváth, 2014a, c. 124, рис. 78]; фото: Андраш Дабаши.

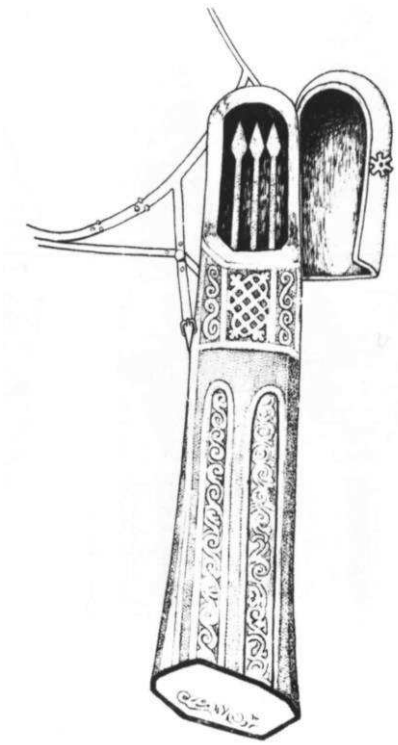


Рис. 34. Изображение колчана куманского типа на фреске костёла в Какашломнице (Vel'ká Lomnica, Словакия) [Pálóczi Horváth, 1989a, рис. 41]; рис.: Агоштон Декань.

Остатки колчанов не сохранились в земле, но мы знакомы с этим предметом кунов по изображениям. Это новый тип колчана с цилиндрическим корпусом и крышкой. Крышка открывалась сбоку наподобие дверцы, стрелы помещались остриями вверх [László, 1940]. Корпус колчана изготовлялся из бересты или ивовой коры, его покрывали кожей или тканью, в отдельных случаях украшали накладками из резной кости (рис. 34). Самое удачное изображение такого колчана мы можем видеть на фреске из Какашломница (ныне Велка Ломница / Vel'ká Lomnica, Словакия), написанной около 1317 года. Здесь колчан висит на правой стороне пояса куна, стреляющего из лука, повернувшись назад. Колчан украшен накладками из резной кости, крышка закрывается шестиугольной готической пряжкой. На фресках, изображающих легенду короля Св. Ласло, иногда появляется колчан из звериного меха (Жегра / Zsegra / Žehra, Караско / Karaszkó / Kraskovo, Словакия) (рис. 35).

Рис. 35. Куманские всадники на фреске, изображающей легенду короля Св. Ласло (Караско, Kraskovo, Словакия, XIV в.) [Pálóczi Horváth, 1994, рис. 21].

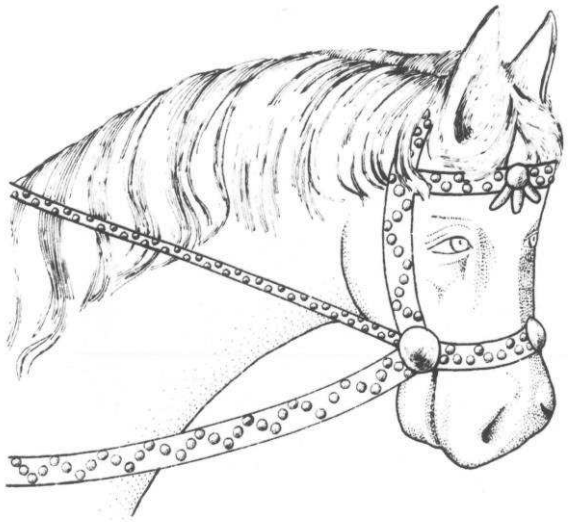


Рис. 36. Изображение сбруи куманского типа на фреске в с. Караско (Kraskovo, Словакия, XIV век) [Pálóczi Horváth, 1989a, рис. 56]; рис.: Агоштон Декань.

Иногда на этих же фресках реалистично изображали налучья с луками в боеготовном состоянии (рис. 37), распространенные в восточноевропейской степи в XI-XIII вв. (Секейдерж / Székelyderzs / Dîrjiu, Румыния, унитарианская церковь, 1419 г.) – похожие налучья можно встретить на половецких мужских статуях [Pálóczi Horváth, 1989a, с. 72-75; László, 1993, с. 93-100, 110-114, 117-120].

Рис. 37. Куманский боец, носящий налучье с луками в боеготовном состоянии, на фреске, изображающей легенду короля Св. Ласло в костёле с. Секейдерж (Dârjiu, Румыния, 1419 г.) [Pálóczi Horváth, 1989a, рис. 39]; рис.: Агоштон Декань.

Из оружия ближнего боя сабли были найдены в трех комплексах (Сенткирай–Фелшёсенткирай \ Szentkirály–Felsőszentkirály, Ердётелек, Кишкунмайша–Куклиш-танья) и в одном погребении двулезвийный меч западного типа (Кунсентмартон–Якшорэрпарт) (рис. 38). Сабли фрагментированы и относятся к типу с длинным, немного изогнутым лезвием XI-XII вв. (длина лезвия сабли из Фелшёсенткирая примерно 96 см), они схожи с печенежскими саблями. Меч из Кунсентмартона снабжен круглым навершием и прямым перекрестием. На обеих сторонах лезвия, недалеко от рукояти, рядом с долом видны изображения гербов, таушированных красной медью.

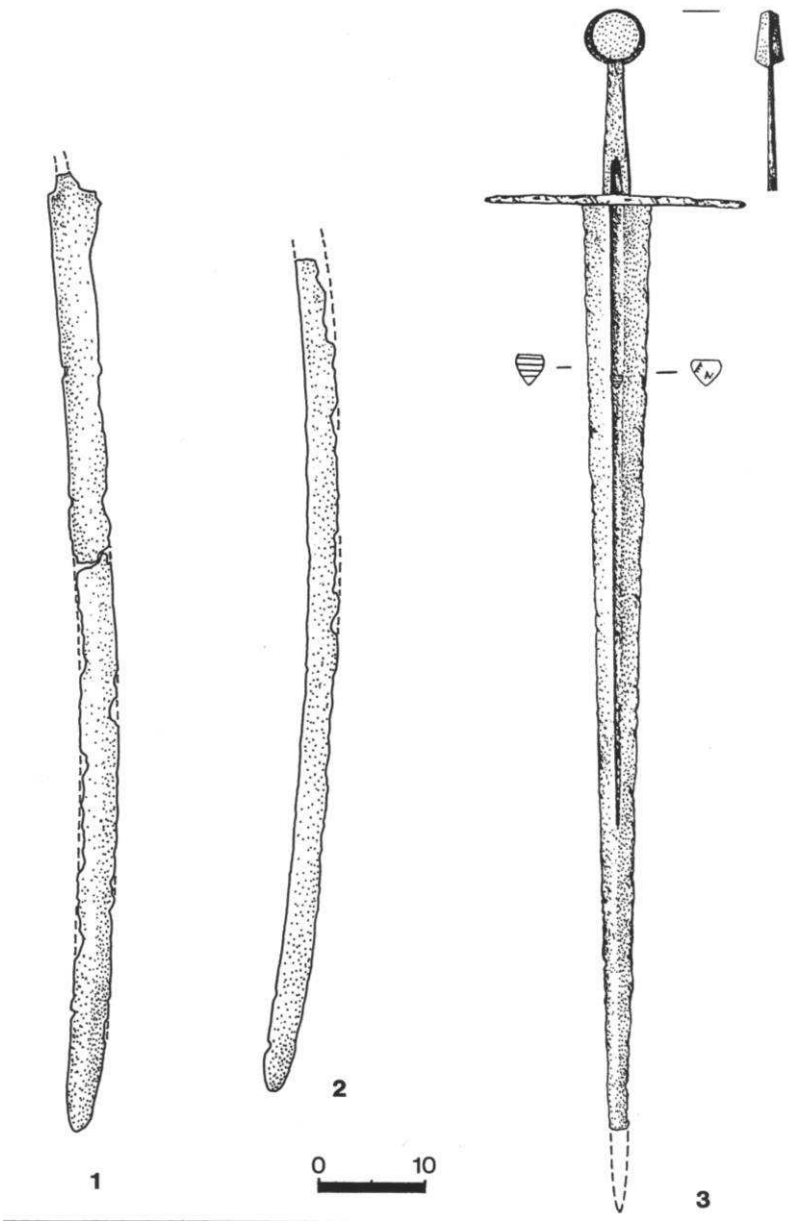


Рис. 38. Сабли и двулезвийный меч из погребений кумаских вождей: 1. Сенткирай-Фелшёсенткирай, 2. Эрдётелек, 3. Кунсентмартон-Якшорерпарт [Pálóczi Horváth, 1994, рис. 33].

Один из гербов представляет собой щит, разделенный двумя полями, похожий на герб династии Арпадов, на втором гербе диагонально из левого верхнего угла в правый нижний изображены выгравированные тамгообразные знаки. Меч датируется последней третью XIII в. и, вероятно, является продуктом венгерской мастерской. В погребении из Эрдётелек был также найден боевой топор западного типа [Pálóczi Horváth, 1989a, pl. 24; Pálóczi Horváth, 1994, c. 147; Horváth, 2003]. Палица с 12 шипами может считаться оружием кунского типа. Она не встречается в погребениях и известна только из случайных находок.

Особенными предметами мужского костюма считаются пояса, украшенные золотыми или позолоченными серебряными наборами, которые известны на данный момент из трех погребений (Кишкунмайша-Кидьошпуста \ Kiskunmajsa–Kígyóspuszta, Чойошпалош-Чойошпуста, Сенткирай-Фелшёсенткирай). Судя по орнаментации и надписям, эти пояса считаются памятниками рыцарской культуры XIII в. Золотая пряжка и круглые бляшки, украшавшие пояс из Кидьошпусты, были орнаментированы в технике черни. Пояс был найден в 1816 г. и хранится в Венгерском национальном музее (рис. 39).

Рис. 39. Кишкунмайша-Кидьошпуста, золотая пряжка из погребения куманского вождя, орнаментирована в технике черни. На пряжке изображена рыцарская батальная сцена. [Pálóczi Horváth, 2014a, c. 137, рис. 92]; фото: Андраш Дабаши.

Рис. 40. Кишкунмайша-Кидьошпуста, четыре поясных бляхи, которые сохранились. На них гравировки с чернью, молитвы на латинском к святым, покорителям рыцарей [Pálóczi Horváth, 2014a, c. 137, рис. 92]; фото: Андраш Дабаши.

На пряжке изображена рыцарская батальная сцена, вооружение которой датируется третьей четвертью XIII в. Иконография отражает влияние французского придворного искусства. Три поясные бляхи были утеряны, а на четырёх сохранившихся пластинах читаются латинские молитвы к святым покровителям рыцарей: «Святая Маргарита, молись за меня; Святой Бартоломей, молись за меня; Святой Стефан, молись за меня; Святой Яков, молись за меня» (рис. 40).

Пояс из Фелшёсенткирая, обнаруженный в 1934 г., был изготовлен из позолоченного серебра и украшен чередующимися пластинами двух типов – 14 рельефных с резным орнаментом, изображающих гербы, и 15 литых пластин в так называемой форме двойного полумесяца. Пряжка и наконечник ремня украшены волнистыми лозами. Геометрические геральдические фигуры характерны для XIII в. (рис. 41-42).

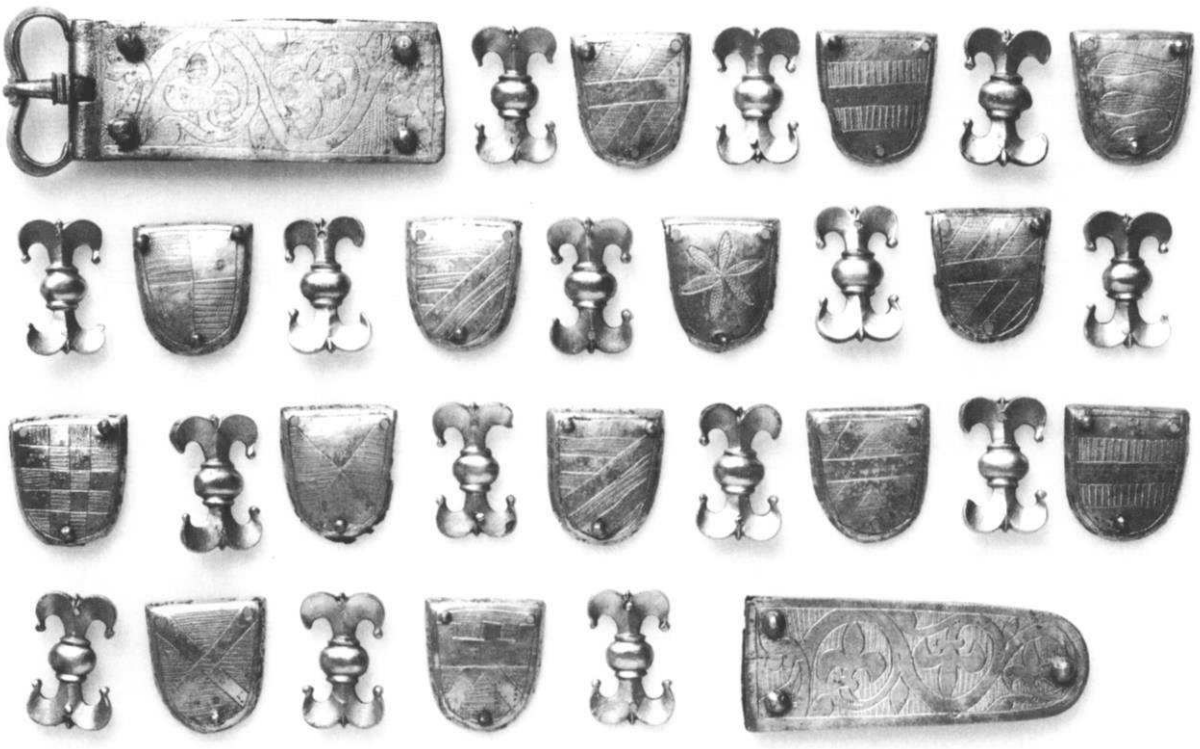


Рис. 41. Поясная гарнитура куманского вождя из с. Сенткирай (Сенткирай-Фелшёсенткирай) [Pálóczi Horváth, 2014a, с. 139, рис. 94]; фото: Жужанна Д. Эрдёкюрти.

В погребении кунского воина из Чойошпусты найден пояс из позолоченного серебра (рис. 43), ближайшая археологическая аналогия которого происходит из с. Войнешть (Молдова, Румыния), где клад времени татаро-монгольского нашествия содержал поясной набор. Судя по сходству, эти два пояса могли быть изготовлены в одной и той же мастерской. Ценные пояса западного типа могли попадать к кунской знати в качестве дипломатических подарков или во время первых попыток обращения в христианство [Pálóczi Horváth, 1982, с. 94-101; Pálóczi Horváth, 1989, pl. 11-16, 18-20, 26–35; Pálóczi Horváth, 1994, с. 161-169].

В мужском погребении из с. Тисафёльдвар–Хомок / Tiszaföldvár–Homok нашли толстую гривну, сплетенную из серебряной проволоки, украшенную филигранью у застежки и снабженную круглым футляром для амулета [Pálóczi Horváth, 1989, pl. 39] (рис. 44). Такие находки редки в восточноевропейском археологическом материале XI-XIII вв. Схожее шейное украшение происходит из половецкого княжеского погребения в Чингульском кургане.

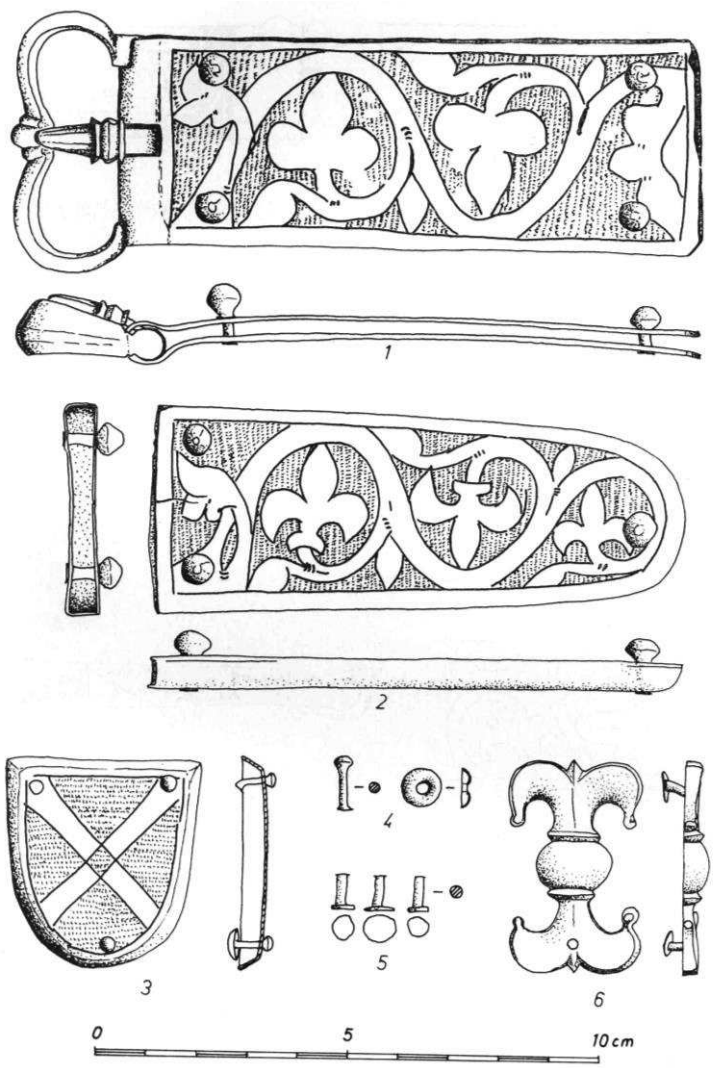


Рис. 42. Изображение пряжки, наконечника и блях пояса из Фелшёсенткирая с точки зрения техники изготовления [Pálóczi Horváth, 1972, рис. 12].

Рис. 43. Чойошпалош-Чойошпуста, пояс из позолоченного серебра [Pálóczi Horváth, 2014a, с. 141, рис. 97]; фото: Андраш Дабаши.

Рис. 44. Сплетенная гривна из серебряной проволоки из погребения знатного кумана (Тисафёльдвар-Хомок) [Pálóczi Horváth, 2014a, c. 165, рис. 120]; фото: Карой Козма.

В женских могилах наряду с конской уздой находят, главным образом, принадлежности костюма. В погребении из с. Балотапуста / Balotapuszta, датируемым золотой монетой никейского императора Иоанна III Дуки Ватаца (1222–1254) (рис. 45), были обнаружены следующие украшения и другие предметы:

1) 83 открытых колечка из позолоченного серебра (рис. 46), на основании которых реконструируется так называемый рогообразный головной убор, характерный для половецкого женского костюма XII-XIII вв., который изображается на каменных стелах (рис. 47);

Рис. 45. Золотая монета никейского императора Иоанна III Дуки Ватаца (1222–1254). На лицевой стороне портрет императора и императрицы с крестом, а на оборотной стороне Христос [Pálóczi Horváth, 2014a, c. 142, рис. 98]; фото: Андраш Дабаши.

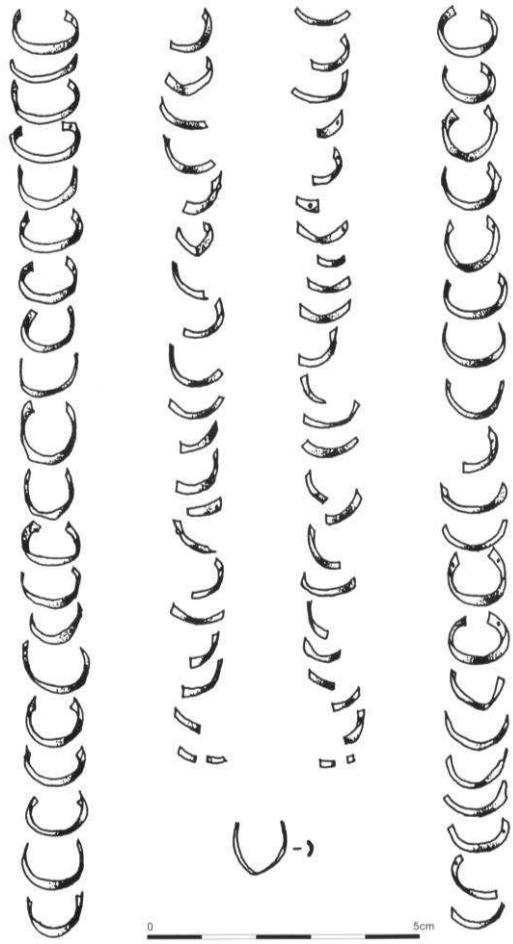


Рис. 46. Балотасаллаш-Балотапуста, женское погребение. Открытые кольца, элементы типичного головного убора куманских женщин [Pálóczi Horváth, 1989b, табл. 6].

Рис. 47. Реконструкция рогообразного головного убора из серебряных колечек женской могилы в с. Балотасаллаш [Pálóczi Horváth, 1989b, рис. 57]; рис.: Агоштон Декань.

2) 2 серебряные серьги с грануляцией; 3) Открытая витая гривна; 4) Подвеска из горного хрусталя в серебряной рамке, украшенной филигранью, снабжённая кольцом для подвешивания, носилась на шее (рис. 48); 5) 2 серебряных браслета с филигранью по ободку,

вставки из драгоценных камней утеряны (рис. 49); 6) Биконическая пуговица с ушком из позолоченного серебра; 7) 4 разных типа штампованных нашивных бляшек для одежды и головного убора, всего 51 штука (конические с ободком, украшенные филигранью; в виде розеток; полусферические с прямоугольной рамкой; полусферические с круглой рамкой) (рис. 50); 8) Серебряный перстень с круглой, гравированной головкой; 9) Круглая серебряная пряжка, вероятно скреплявшая узкий текстильный пояс; 10) Фрагменты шелковой с металлическими нитями ленты, тканой на дощечках; 11) Остатки платья из шелковой саржи; 12) Бронзовое и железное кольца, вероятно, для подвешивания или закрывания сумки; 13) Витая серебряная игла с кольцом для подвешивания, носилась на поясе; 14) Железный нож, носившийся на поясе. Кроме перечисленных предметов с комплексом связано ювелирное изделие, украшенное филигранью и драгоценными камнями: подставка и ножка кубка или реликварий. Верхняя часть предмета утеряна, поэтому функцию нельзя уверенно определить [Pálóczi Horváth, 1989a, c. 92-93, pl. 40-49; Pálóczi Horváth, 1989b].

Рис. 48. Балотасаллаш-Балотапуста. Предметы из погребения женщины: 1. шейная гривна, 2. подвеска из горного хрусталя, 3. серебряная игла [Pálóczi Horváth, 2014a, c. 145, рис. 102-103]; фото: Жужанна Д. Эрдёкюрти.

Рис. 49. Балотасаллаш-Балотапуста. Серебряные браслеты с филигранью по ободку [Pálóczi Horváth, 2014a, c. 148, рис. 106]; фото: Андраш Дабаши.

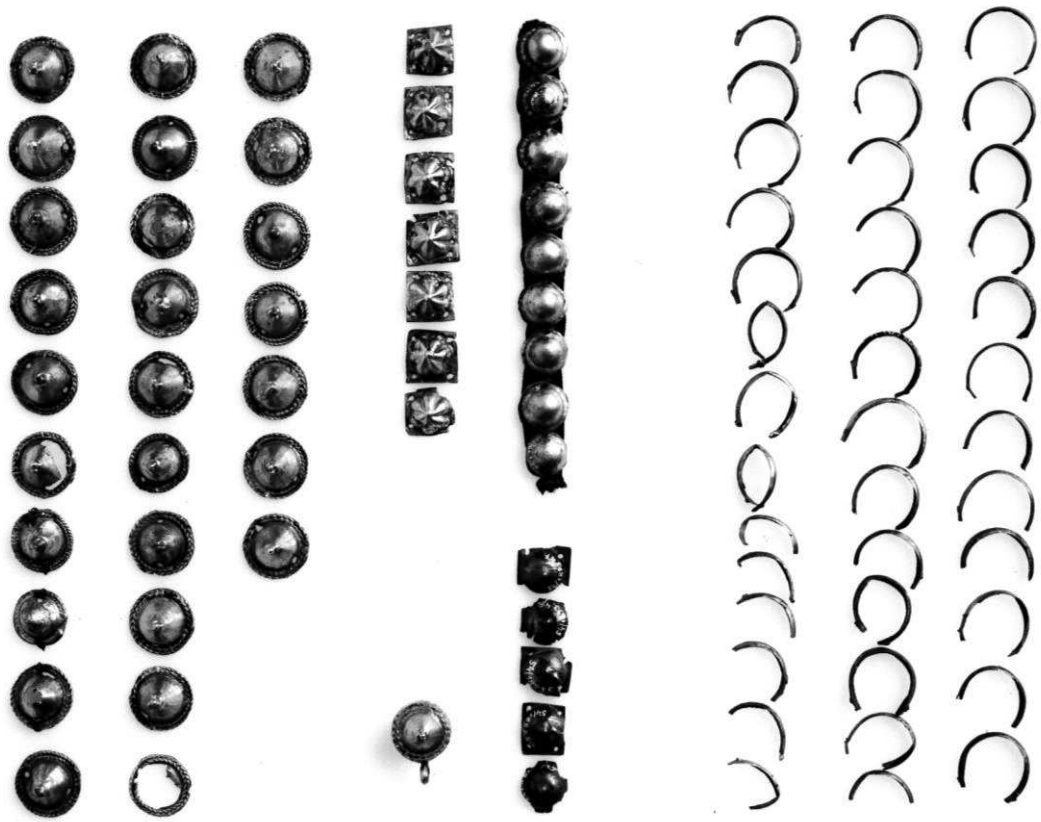


Рис. 50. Балотасаллаш-Балотапуста, женское погребение. Кольца женского головного убора и нашивные позолоченные бляшки для одежды [Pálóczi Horváth, 1989b, табл. III, V]; фото: Жужанна Д. Эрдёкюрти.

В женском погребении из с. Надькамараш–Банкут / Nagykamarás–Bánkút была найдена серебряная с позолотой гривна без замка, свитая из двух толстых и двух тонких проволок, с окончаниями в виде колец (рис. 51).

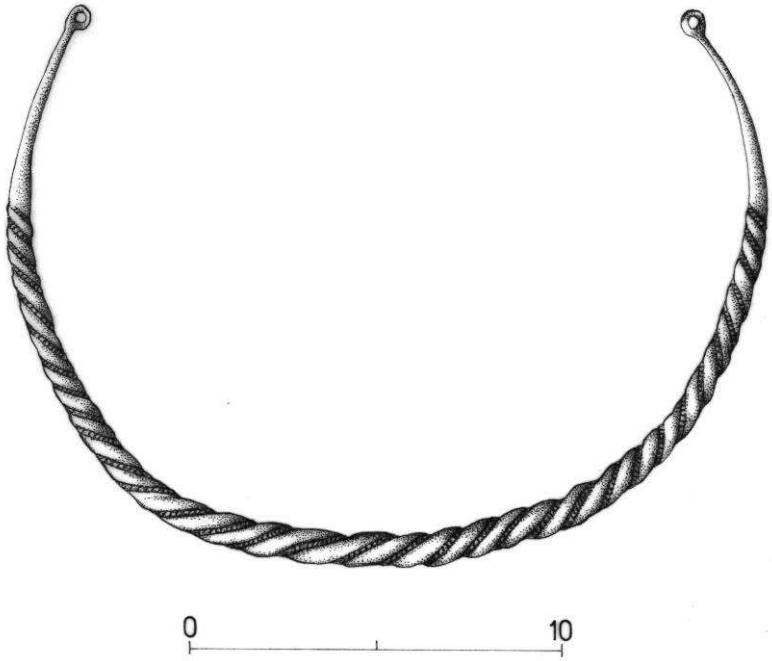


Рис. 51. Надькамараш-Банкут, гривна [Banner, 1931, табл. XX, 2]. Утрачена во время Второй мировой войны.

В погребении также обнаружено китайское литое бронзовое зеркало особой красоты – с рельефным изображением двух рыб, преследующих друг друга. Ручка отломана (рис. 52). Зеркало датируется XII в. или началом XIII в., оно попало в Европу еще до монгольского нашествия. Изображение является символом богатства, плодородия, долгой жизни. Скорее всего, речь идет о подарке к помолвке или свадьбе [Pálóczi Horváth, 1989a, c. 92-93, pl. 37].

Рис. 52. Надькамараш-Банкут, бронзовое зеркало китайского происхождения из женского погребения, начало XIII в. [Pálóczi Horváth, 2014a, c. 152, рис. 109]; фото: Андраш Дабаши.

Вещи представленной категории находок были проанализированы с точки зрения культурного происхождения и связей. В 14 погребальных комплексах было 360 предметов. Из них у 17% культурная атрибуция не определяется, так как они известны только по описаниям или очень фрагментарны. Главным образом, встречаются вещи степных культур восточного происхождения (48%). К этой категории относятся продукты ремесленников-кочевников, конская узда, большинство оружия и часть элементов костюма. Наряду с погребальным обрядом они отражают непосредственное продолжение традиций. С исторической точки зрения обращает на себя внимание византийское влияние, которое чувствуется в материальной культуре. Оно встречается в 19% находок, особенно в стиле и технических приемах ювелирных изделий. Сильнее всего византийское влияние проявляется в комплексе из Балотапусты. Все это не удивительно, ведь балканские связи кунов хорошо известны. В первой половине XIII в. культура региона сильно повлияла на кунскую культуру. Куны, переселившиеся в Венгрию во второй раз, предварительно обитали на нижнедунайских равнинах Болгарии. Предметы, связанные с западной христианской культурой, составляют 16%. Естественно, что по прошествии времени в культуре кунов, живших в Венгрии, появляется западное влияние, как в использовании рыцарских поясов, отдельных предметов костюма или вооружения [Pálóczi Horváth, 2014, c. 86-87].

3.3. Кладбища саллашей.

Крупные общинные могильники кунов (рис. 53-55), стабильно поселившихся в Венгерском королевстве (группа «Б»), с археологической точки зрения являются христианскими, прицерковными кладбищами[3]. Это результат спонтанного развития и унифицирования за счет непрерывного использования могильников до рубежа XVI-XVII вв. Этот процесс происходил независимо от того, начали ли степняки пользоваться разрушенной во время монгольского нашествия (1241 г.) церковью и кладбищем венгерской деревни эпохи Арпадов или открыли на новом месте свой (вначале, вероятно, языческий) могильник, на территории которого церковь построили только впоследствии, в XIV-XV вв.[4] Принимая во внимание последний тип, мы, конечно, должны предполагать также существование кунских общинных могильников, образовавшихся во второй половине XIII в., которые потом не трансформировались в прицерковные кладбища. Но таковые пока не были изучены, несмотря на то, что раскопки общинных могильников начались уже в начале XX в. [Pálóczi Horváth, 2014, c. 92].

Исследователи долго продолжали считать, что прицерковные кладбища, находящиеся в центре постоянных кунских поселений (саллашей), образовались только во второй половине XIV в. С археологической точки зрения, это предположение основывается, главным образом, на том, что наиболее ранние погребальные оболы – за исключением нескольких монет Белы III (1172–1196), использованных вторично, – были выпущены венгерскими монархами Лайошем Великим (Людовиком) (1342–1382), Марией (1382–1395) и Жигмондом (Сигизмундом) (1387–1437). Однако нумизматический анализ, включающий также современные не кунские могильники, показал, что в других могильниках Карпатского бассейна погребальные оболы в периоде между началом XIII и серединой XIV вв. также почти не встречаются. То есть мы имеем дело с всеобщим явлением, вытекающим из изменений погребального обряда и характерным для всего средневекового Венгерского королевства. Этот процесс не был связан с появлением могильников кунских саллашей [Hatházi, 1994a, c. 30-31; Hatházi, 2000, c. 229; Hatházi, 2004, c. 77-80; Hatházi, 2005b, c. 103-106].

---

[3] О группах кунского археологического материала Венгрии см.: [Pálóczi Horváth, 1985, c. 96, 99-100; Pálóczi Horváth, 1994, c. 172]. Наиболее значительные кладбища саллашей, исследованные археологически: Ёттёмёш / Öttömös (область Чонград) [Móra, 1906, c. 18-27, Móra, 1908, c. 369-371; Széll, 1940, c. 161-165], окрестности г. Кечкемет: Сабадсаллаш–Аранедьхаза / Szabadszállás–Aranyegyháza, –Агашедьхаза / Ágasegyháza, Керекедьхаза / Kerekegyháza, Бене / Bene, Боча / Bócsa, Лайош / Lajos, Миже / Mizse, Борбашсаллаш / Borbásszállás/ (область Бач-Кишкун / Bács-Kiskun) [Szabó, 1938, c. 40-72], Носа–Хинга / Nosza-Hinga (ныне Сербия) [Šafarik-Šulman, 1954, c. 5-55; Stanojev, 1989, c. 70-88], Туркеве–Мориц / Túrkeve-Móric (обл. Яс-Надькун-Сольнок) [Méri, 1954, c. 139-142], Карцаг–Оргондасентмиклош / Karcag–Orgondaszentmiklós и –Ассоньсаллаш / Asszonyszállás, Колбазсаллаш / Kolbázszállás (обл. Яс-Надькун-Сольнок) [Selmeczi, 1992, c. 12-19, 31-46, 101-107; Selmeczi, 2006, c. 254-273; Selmeczi, 2009, c. 17-32; Selmeczi, 2011, c. 231-249], Сенткирай / Szentkirály (обл. Бач-Кишкун.) [Pálóczi Horváth, 1976, c. 293-303; Pálóczi Horváth, 2014, c. 97-98], Ченгеле–Богархат / Csengele–Bogárhát (обл. Чонград) [Horváth, 1978, c. 91-126; Horváth, 2001, c. 60-76], Перката–Кёхалми-дюлё / Perkáta-Kőhalmi-dűlő (обл. Фейер) [Hatházi, 1991, c. 651-674; Hatházi, 1996, c. 51-53; Hatházi, 2004, c. 19-132], Перката–Ньули-дюлё / Perkáta–Nyúli-dűlő (обл. Фейер) [Hatházi-Kovács, 2014, c. 241-270], Шарошд / Sárosd (обл. Фейер) [Hatházi, 1988, c. 106-110; Hatházi, 2004, c. 132-135], с ссылками на дальнейшую литературу. Важные новые результаты можно ожидать от раскопок памятника Бугац–Фелшёмоноштор / Bugac-Felsőmonostor (область Бач-Кишкун), которые ведутся в настоящее время под руководством Сабольча Рошта [Sárosi, 2005, c. 233-238; Rosta, 2009, c. 176, 177, 180, 189-190].

[4] Из кунских кладбищей саллашей, упомянутых в предыдущей сноске, следующие памятники уходят корнями в эпоху Арпадов: Ёттёмёш, Борбашсаллаш, Бене, Барач, Ченгеле–Богархат, Сенткирай, Оргондасентмиклош, Носа–Хинга, Перката–Кёхалми-дюлё и –Ньули-дюлё, Шарошд. Церквями XIV-XV вв., построенными позже, располагают Колбазсаллаш, Ассоньсаллаш, Миже и, возможно, Мориц (пока еще не ясно, существовало ли на этом месте раннее кладбище саллаша). Исследователи связывают появление новых готических церквей (апсида, имеющая вид 3 сторон восьмиугольника, опорные столбы) на кладбищах с начавшейся в среде кунов в середине XIV в. миссионерской деятельностью францисканцев-миноритов. О двух основных типах см. [Selmeczi, 1992, c. 19, 45-46, 78, 92-93, 101-103, 174-179; Selmeczi, 2014, c. 55; Pálóczi Horváth, 1994, c. 172., 76.j.; Pálóczi Horváth, 2014, c.91-93.

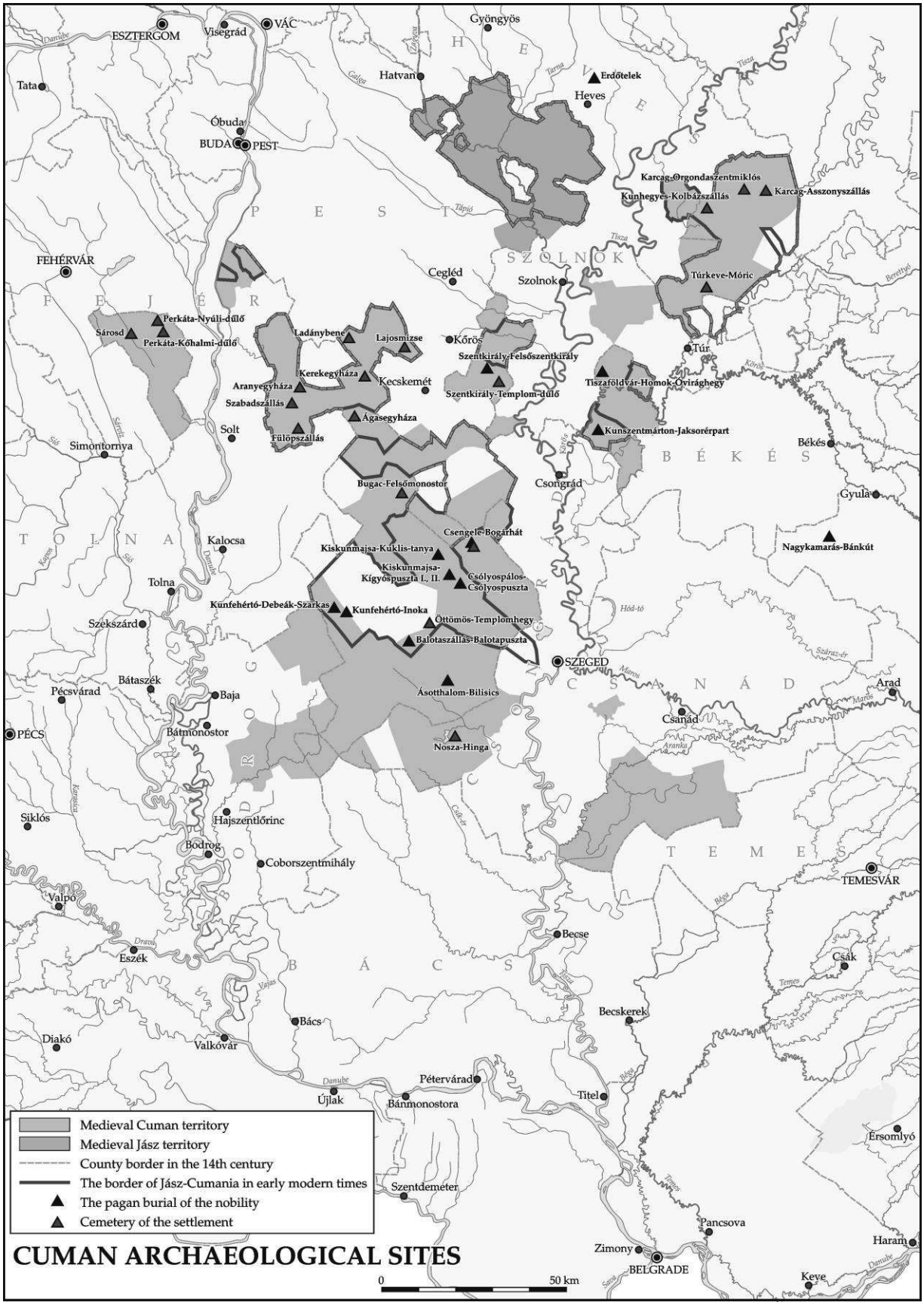


Рис. 53. Археологические местонахождения куманов (рис.: Андраш Палоци Хорват и Бела Надь).

В последние годы все большее влияние приобретает мнение, что погребения общинников, синхронные всадническим могилам элиты, нужно искать, в первую очередь, в прицерковных кладбищах саллашей [Selmeczi, 1992, c. 45, 77-79, 94, 101-103; Selmeczi, 2009, c. 54-55; Selmeczi, 2011, c. 228-234; Selmeczi, 2014, c. 55; Pálóczi Horváth, 1994, c. 172, 76. j.; Pálóczi Horváth, 2014, c. 91-92; Hatházi, 2000, c. 229-232; Hatházi, 2004, c. 192-193, Hatházi, 2005b, c. 103-104]. Этот горизонт кунских погребений, охватывающий вторую половину XIII в., пока прослеживается с большим трудом, и это не случайно. Так же как и остальные кладбища страны, кунские прицерковные могильники в основном характеризуются очень плотными захоронениями, часто образующими 4-6 слоев (и во многих случаях создающими впечатление братских могил), а также высоким процентом непреднамеренного уничтожения могил вследствие соблюдения христианских правил. Само место погребения, кладбище, окружающее церковь, было «святым местом»: его территорию загораживали стеной, рвом, иногда живой изгородью. Это подчеркнутое отделение от внешнего пространства было неизменным в течение столетий или менялось только в незначительной мере, не давая расти кладбищу горизонтально.[5] Таким образом, многим поколениям коллектива, который пользовался кладбищем, приходилось помещаться на одной и той же территории со всеми вытекающим из этого физическими последствиями.

Рис. 54. Перката-Нюли-дюлё, могильник куманского села, на месте прежнего венгерского могильника вокруг костёла эпохи династии Арпадов. Сам могильник эпохи Арпадов тоже образовался из прежнего могильника, который не имел костёла. Костёл был построен на этом могильнике, и был окружен рвами [Hatházi-Kovács, 2014, рис. 4].

Могилы потомков в XIV-XVI вв. разрушили более ранние слои погребений почти бесследно и в кладбищах кунских саллашей (рис. 56). Их былое присутствие маркируют только сильно потревоженные и фрагментированные скелеты, а также случайные находки XIII в., происходящие из разрушенных могил и поэтому интерпретируемые с трудом (украшения, элементы костюма). Ситуация осложняется и тем, что степные предшественники общинных кладбищ кунских саллашей не изобилуют находками. Их детали нам малоизвестны, поэтому у нас мало материала для серьёзного сравнения [Pletneva, 1958, c. 185; Fedorov-Davydov, 1966, c. 200-201, 263], к тому же в связи с некоторыми находками возникает атрибуция с золотордынской эпохой.

[5] Об археологических характеристиках венгерских прицерковных кладбищ и их церковно-правовых аспектах суммарно см. [Ritoók, 1997a; Ritoók, 1997b; Ritoók, 2004; Ritoók, 2010].

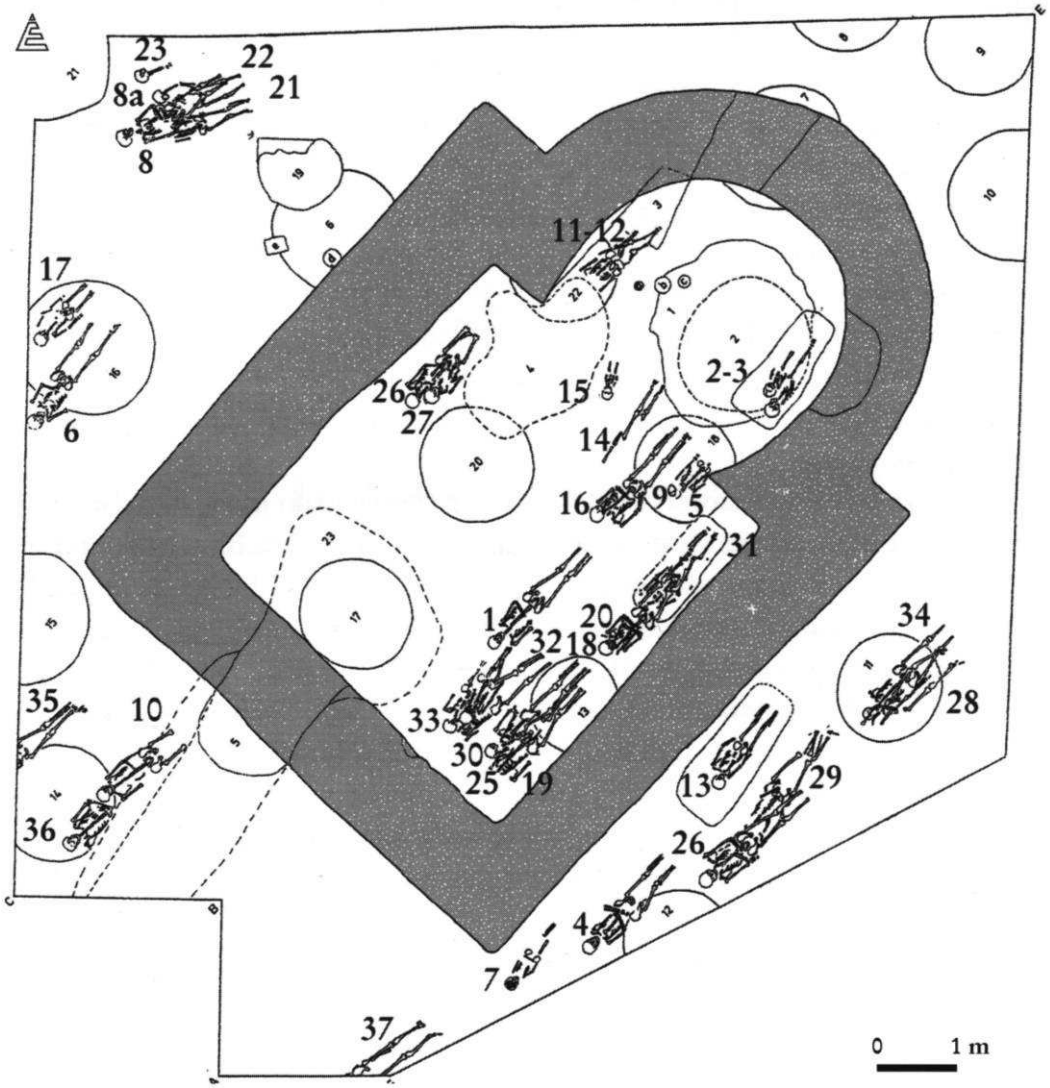


Рис. 55. Ченгеле-Богархат, костёл прежнего поселения; вокруг него и в нём погребения куманов [Horváth, 2001, c. 68].

Несмотря на эти трудности, раскопки кунской археологии, которые в Венгрии приобрели особый размах на рубеже 1960-1970-х гг. (Карцаг–Ассоньсаллаш, Оргондасентмиклош, Сенткирай, Ченгеле, Перката–Кёхалми дюлё и Ньули-дюлё), дали новые результаты в релятивной хронологии и анализе вещевого материала, а в некоторых случаях и в более точном ограничении данного периода [Selmeczi, 1992a, c. 12-20, 31-46, 78-79, 101-107, 174-179; Selmeczi, 1996, c. 63-65; Selmeczi, 2009, c. 17-23; Selmeczi, 2011, c. 228-267; Selmeczi, 2014, c. 54-56; Pálóczi Horváth, 1973, c. 244-245; Pálóczi Horváth, 1976, c. 293-303; Pálóczi Horváth, 2014, c. 91-98; Horváth, 1978, c. 91-126; Horváth, 2001, c. 60-76; Hatházi, 1988, c. 106-110; Hatházi, 1991, c. 651-674; Hatházi, 1996, c. 48-56; Hatházi, 2000, c. 229-236; Hatházi, 2004, c. 19-135; Hatházi-Kovács, 2014, c. 241-270].

Обращает на себя внимание, что уже небольшой и скромный материал ранних кунских погребений характеризуют в первую очередь изделия Карпатского бассейна XIII в., сделанные в западноевропейском вкусе. Их присутствие в кунских могилах говорит о многом: во-первых, связи переселенцев со степью прервались, поэтому приток традиционных украшений, элементов костюма сошел на нет, во-вторых, куны очень быстро включились во внутренний товарообмен своей новой родины. К упомянутым вещам относятся кольца с пластинчатым щитком (часто с гравировкой в форме двойного креста, „agnus dei") и различные варианты пряжек, используемые по местному обычаю не на

верхней одежде или плаще, а на поясе (рис. 57). Эти вещи являются типичными составляющими венгерских кладов эпохи монгольского нашествия и периода анархии последней четверти XIII в. [Selmeczi, 1992a, с. 103-104; Selmeczi, 2006, с. 255-257; Selmeczi, 2009, с. 20; Selmeczi, 2011, с. 231-234]. Гораздо реже встречаются русские и балканские изделия византийского происхождения, прививщиеся в степной половецкой материальной культуре. Последние считаются чужими в венгерской среде, и поэтому рассматриваются как «архаичные кунские». К таковым относятся особенно вещи со степными аналогиями, как, например, пояс с железными накладками, найденный в погребении 434 в могильнике Оргондасентмиклош [Selmeczi, 2009, с. 20-21].

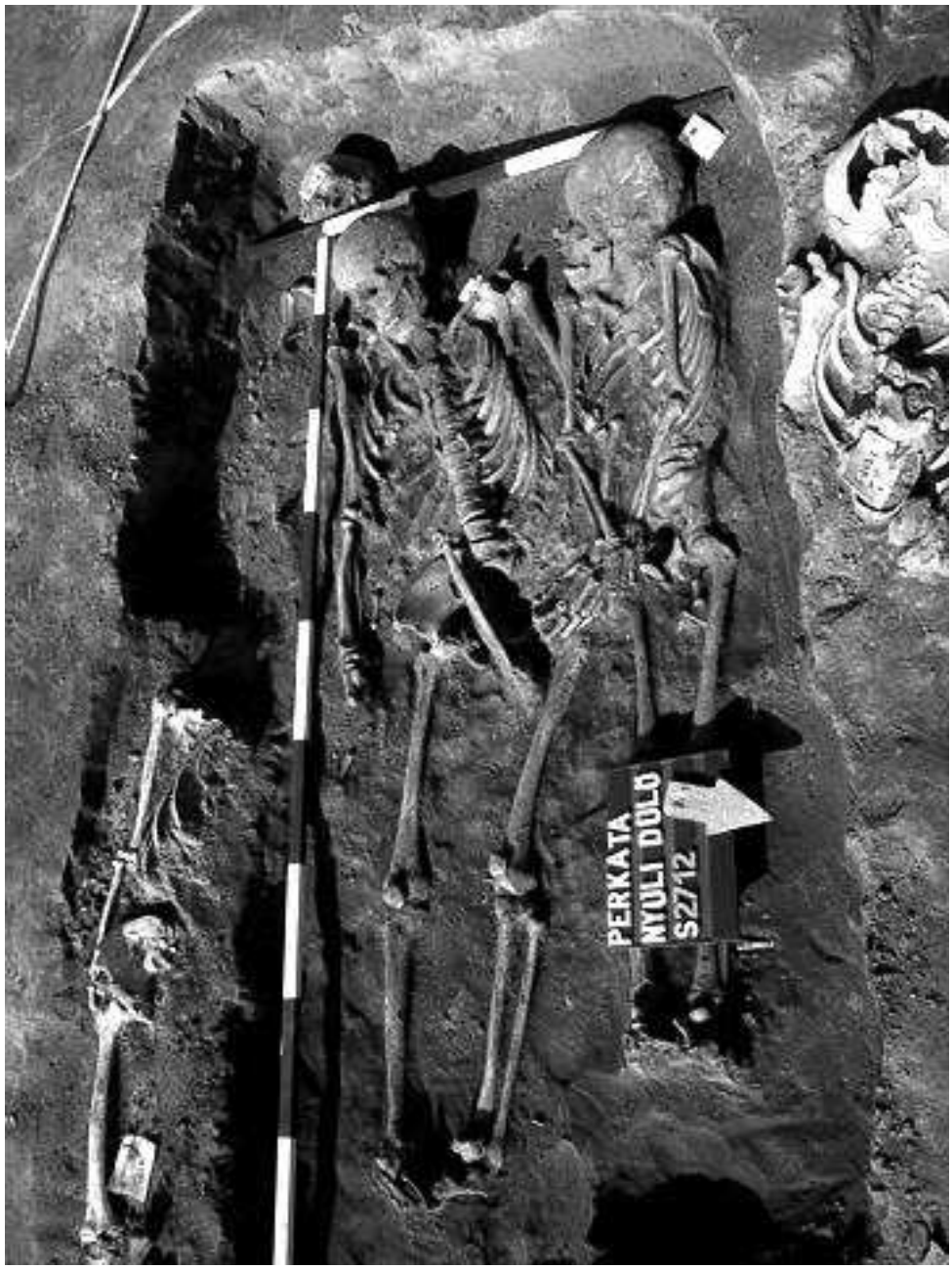


Рис. 56. Погребения в могильнике куманского саллаша на местонахождении Перката-Нюли-дюлё, которые разрушили прежние могилы (http://sirasok.blog.hu/2010/10/15/perkata_egy_arpad_kori_falu_es_kozepkori_kun_szallas_a_dunantulon_ii).

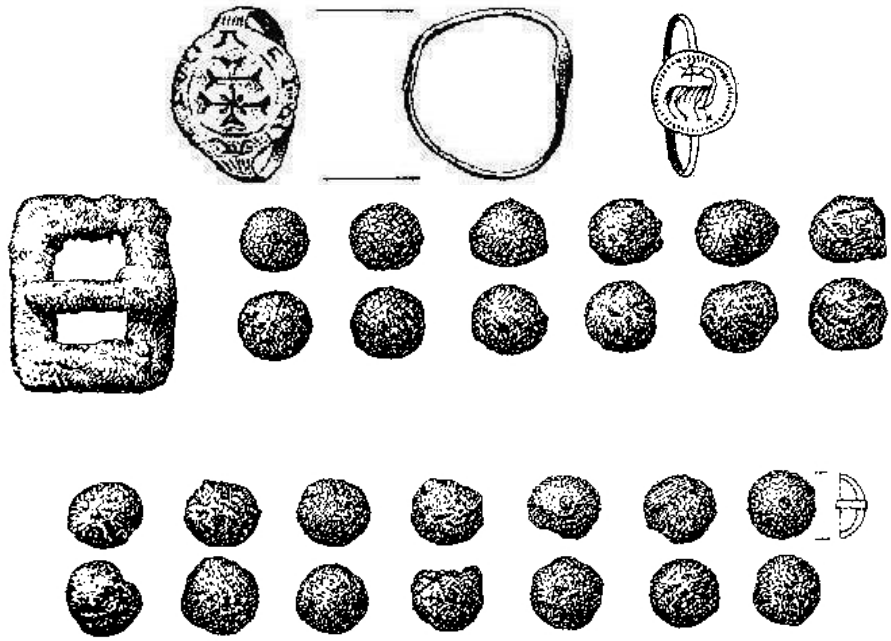


Рис. 57. Карцаг-Оргондасентмиклош, могильник куманского саллаша: 1-2. Кольца с пластинчатым щитком с гравированиями креста и мотива «agnus dei» (погребения №№ 1 и 41) [Selmeczi, 2009, рис. 2,6 и рис. 3,2]; 3. Пряжка и бляхи пояса из железа (погребение № 434) [Selmeczi, 2009, рис. 3,3].

Рис. 58. Характерные типы погребального инвентаря могильника куманского саллаша Перката-Кёхалми-дюлё (конец XIII в. - XIV в.) «Архаичные» элементы: 1. бусы для сумки и амулеты из кости (погребение № 141), 2-6. раковина улитки и зубы зверей (погребения № 48, 171, 180), 7. цепочка для затягивания устья сумки (погребение № 192), 8. бусы для сумки, амулеты и к ним нанизанное ушко для подвешивания от византийского нательного креста киевского типа XIII в. (погребение № 140), 9. сумка из кольчуги (погребение № 216) [Hatházi, 2004, рис. 34].

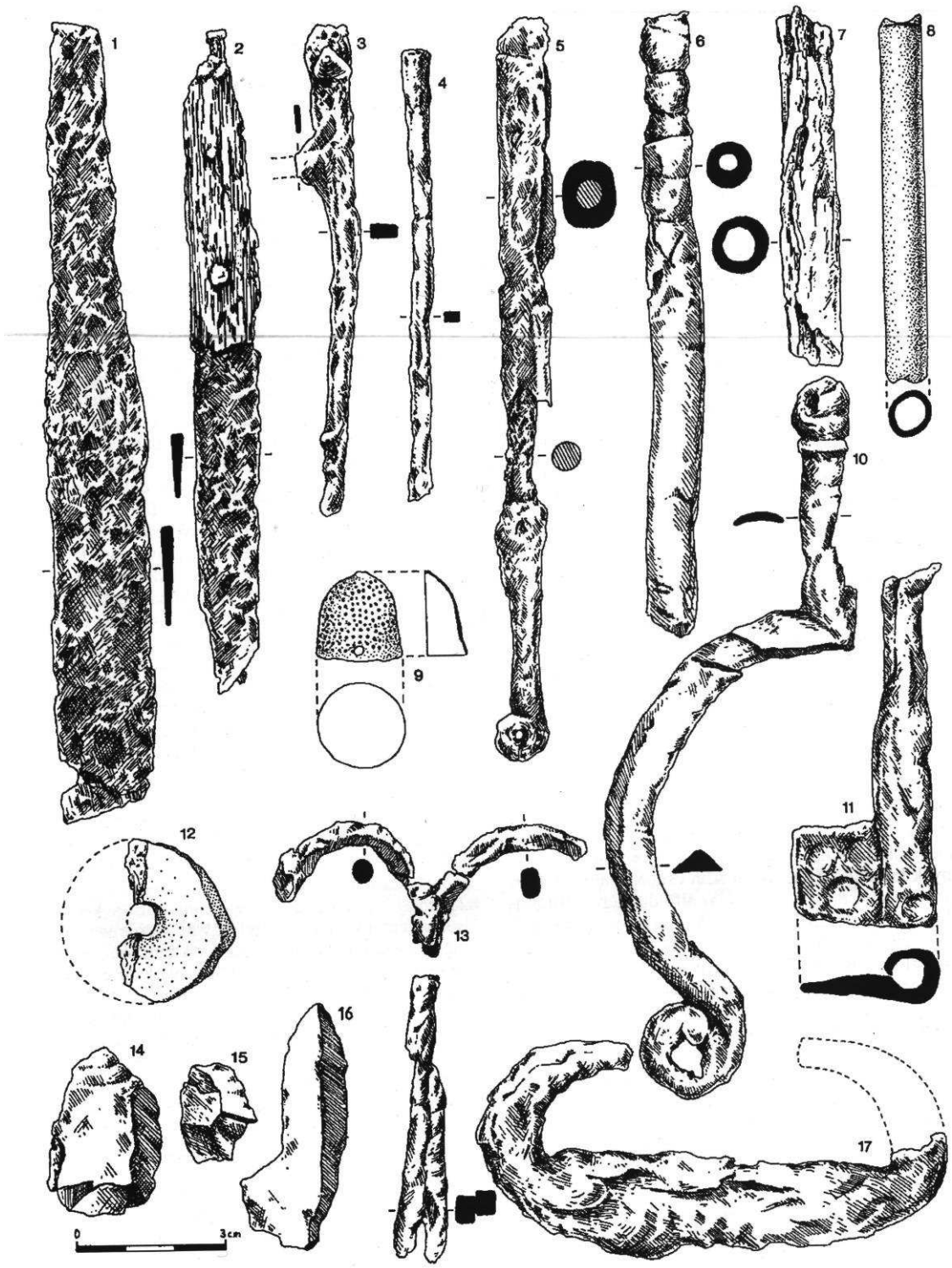


Рис. 59. Характерные типы погребального инвентаря могильника куманского саллаша Перката-Кёхалми-дюлё (конец XIII в. – XIV в.). Предметы, связанные с поясом и сумкой: 1. бритва (погребение № 141), 2. нож (погребение № 141), 3. клинок кинжала (погребение № 123), 4. «колючка», шило (погребение № 123), 5. шило в деревянном футляре (погребение № 65), 6-8. иголочники (погребения № 1, 141, 192), 9. напёрсток (погребение № 65), 10. обломок шпоры, в функции огнива (погребение № 180), 11. обломок ключа, в функции огнива (погребение № 192), 12. пряслице (погребение № 183), 13. крючок (погребение № 192), 14-17. кремни (погребение № 238), 18. огниво, железное кресало (погребение № 170) [Hatházi, 204, рис. 33].

Наиболее часто из этих типов находок продолжали бытовать и встречаются те, которые можно было изготовить в рамках домашнего промысла (костяные амулеты, украшавшие сумки, отдельные элементы наборов бытовых инструментов) или которые было просто изготовить из местных деталей (например, серьги с нанизанными пластинчатыми сферическими украшениями, сделанные в византийском стиле, их могли изготовить на чеканочном штампе готических металлических пуговиц) [Hatházi, 2004, с. 89, 193] (рис. 58-61). Нельзя, однако, переоценивать хронологическую значимость этих находок. Характерная черта кладбищ кунских саллашей (из-за консерватизма или обычая помещать в могилы вышедшие из моды вещи?), что эти типы предметов попадаются в сопровождении хронологических маркеров и монет. Это особенно относится к кольцам с пластинчатым щитком эпохи Арпадов [Hatházi, 2004, с. 93-94, 193].

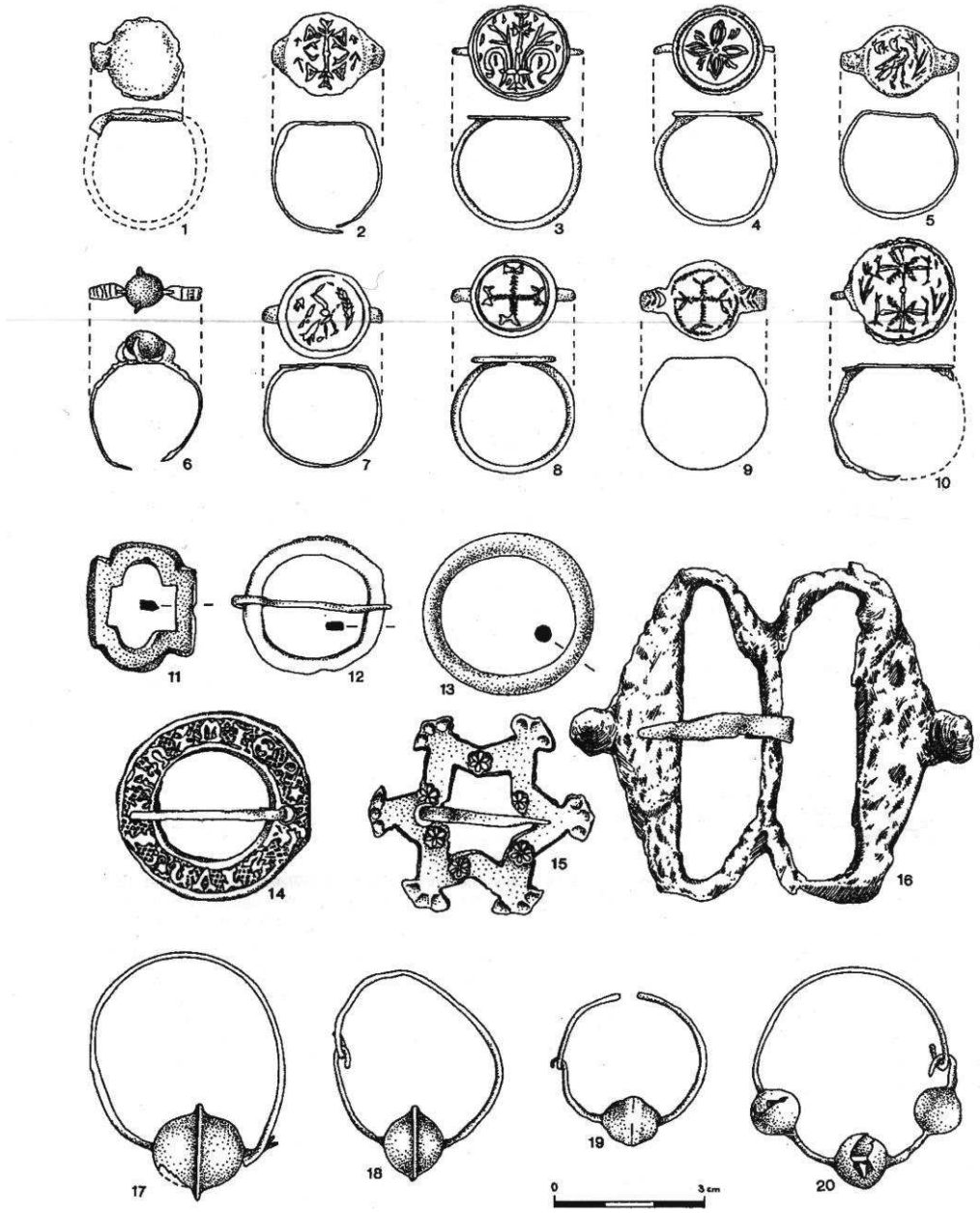


Рис. 60. Характерные типы погребального инвентаря могильника куманского саллаша Перката-Кёхальми-дюлё (конец XIII в. - XIV в.). Ювелирные изделия в стиле готики, местного происхождения: 1-10. перстни (погребения № 1, 65, 73, 125, 130, 140, 161, 192, 216, 256), 11-16. пряжки (погребения № 64, 66, 81, 170, 192, 273). «Архаичные» ювелирные изделия восточноевропейского типа: 17-20. серьги «византийского типа» (погребения № 45, 64, 65, 141) [Hatházi, 2004, рис. 32].

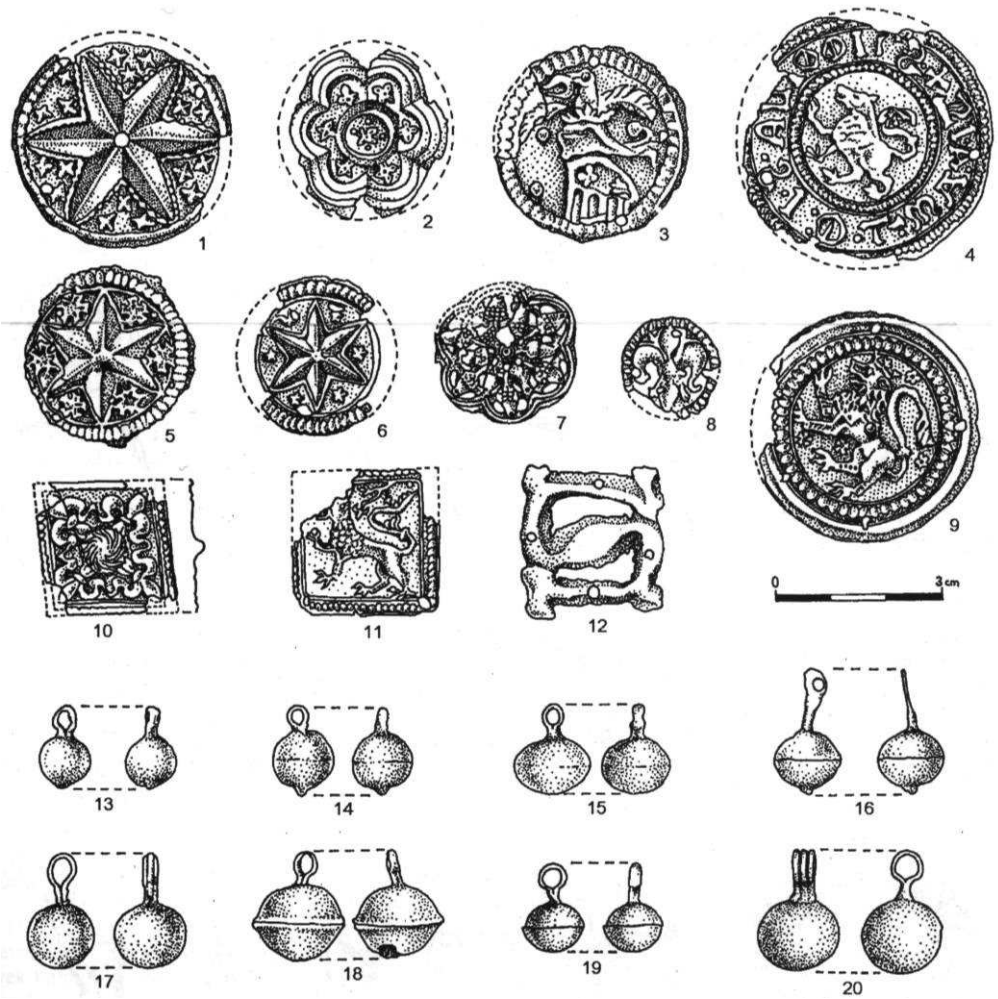


Рис. 61. Характерные типы погребального инвентаря могильника куманского саллаша Перката-Кёхальми-дюлё (конец XIII в. - XIV в.). Ювелирные изделия в стиле готики: 1-12. бляхи с орнаметациями (погребения № 45, 51, 64, 141, 183), 13-20. пуговицы (погребения №161, 192) [Hatházi, 2004, рис. 31].

Особенно проблематично выделение ранних кунских погребений в тех кладбищах саллашей, которые переселенцы создавали вокруг церкви, разрушенной во время монгольского нашествия. Надежное разделение венгерского автохтонного населения и переселенцев упирается в трудности не только из-за безынвентарности могил. Хорошим примером является погребение 17 Ченгеле-Богархат / Csengele-Bogárhát [Horváth, 1978, 103].

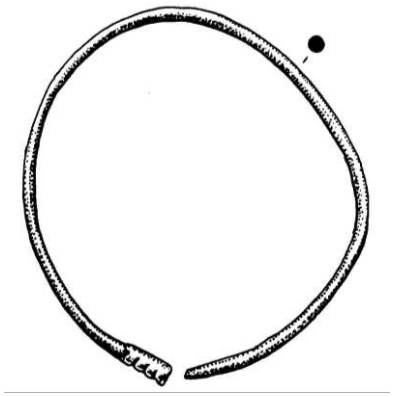


Рис. 62. Ченгеле-Богархат, погребение № 17 [Horváth, 2001, с. 65].

«Втульчатое» височное кольцо (рис. 62) погребенного здесь ребенка было в моде уже до монгольского нашествия, но его использование прослеживается до начала XIV в. За неимением других подкрепляющих данных (позиция в релятивной хронологии наслоенных друг на друга погребений, антропологические характеристики) невозможно определить, идет ли речь о последнем покойнике венгерской деревни или первом покойнике переселившихся кунов [Hatházi, 2000, c. 231, Hatházi, 2004, c. 193].

В таком разделении все более значительную роль получает антропология, хотя, несмотря на долгую историю исследований такого рода, начатых уже в 1920-е гг., прогресс наблюдается только в результате исследований последних двух десятилетий. В могильниках Перката-Кёхалми-дюлё и Ченгеле на основании антропологических характеристик венгерское население эпохи Арпадов и кунское население удалось вычленить во множестве случаев.[6] До того, как анализы этого типа приобретут более широкий размах, аргументы в пользу образования кладбищ саллашей в XIII в. можно ожидать от кунской группы, не имеющей корней в эпохе Арпадов.

Археологическая картина кладбищ саллашей проясняется с рубежа XIII- XIV вв., когда у кунов начался процесс ассимиляции с венграми: все тускнеющие следы их восточных традиций и все более яркие и распространенные местные элементы создают характерную смешанную культуру. В Анжуйский период (XIV в.) это особенно заметно по тому, что в кунских могильниках присутствует языческий, но уже начинающий христианизироваться обряд: по числу инвентаря кунские могилы намного «богаче» венгерских. В то же время, этот «богатый» вещевой материал уже почти не отражает этнокультурные особенности. Это все тот же местный круг находок, который так же, но в меньшем количестве и менее концентрированно, характерен для остального населения Карпатского бассейна, более строго соблюдающего христианские обряды в XIV в. Не случайно, что в археологической литературе сельские элементы костюма эпохи – за некоторыми исключениями – представляют на примерах кунских находок. Кроме нескольких архаичных кунских вещей и элементов костюма (к таковым относятся уже упомянутые сумки с бусами и амулетами, серьги), разница проявляется уже только в другом способе ношения, в относительном «богатстве», в помещении в погребение отдельных бытовых предметов в качестве элементов костюма (набор инструментов, подвешенных к поясу), и в некоторых суеверных элементах обряда.[7] Эта общая картина, отражающая переходное состояние культуры, по существу своему во многом схожа с теми явлениями, которые археология наблюдает у постепенно исламизирующихся половцев в городах Золотой Орды в XIII- XIV вв. [Fedorov-Davydov, 1966, c. 205, 209-211; Fedorov-Davydov, 1968, c. 138].

«Богатство» инвентаря не проявляется повсеместно и у кунов. Оно распространяется только на 10-15% кладбищ саллашей, и характерно, главным образом, для женских и детских погребений. Возникает вопрос: какому из кунских общественных слоев соответствует обрисованная группа? Хотя изменения в погребальном обряде элиты датируются именно этим временем (исчезновение богато экипированных всадников, погребенных отдельно), мы не можем идентифицировать жен и детей наиболее имущих членов общества в кладбищах саллашей, так как их теперь хоронили по новому порядку и религии на христианских кладбищах вместе с общинниками. Христианство тоже представляло возможности для подчеркивания общественного статуса – это погребения внутри церкви, сделанные по особому обряду [Hatházi, 2000, c. 234; Hatházi, 2004, c. 131-132; Hatházi–Kovács, 2014, c. 257]. Не случайны кавычки, используемые в тексте в связи со словом «богатство»: большинство инвентаря составляют простые бытовые предметы, а украшения, судя по их

[6] См. статью Антонии Марчик.

[7] Об этом периоде кладбищ саллашей суммарно, с ссылками на дальнейшую литературу: [Hatházi, 1991, c. 658-662; Hatházi, 2000, c. 233-235; Hatházi, 2004, c. 120-121, 194-200].

художественному уровню и материалу (это в лучшем случае золоченное серебро или медь), являются дешевой массовой продукцией городов и аграрных центров Карпатского бассейна. По имущественному положению их владельцев можно сопоставить с венгерским верхним, более имущим слоем крепостных. Таким образом, нам кажется наиболее вероятным их причисление к женам и детям кунского среднего слоя, еще сохранивших свою индивидуальную свободу (по латинскому термину средневековых документов принадлежавших к *“universitas”*). До середины XIV в. они еще сопровождали начальников родов и саллашей в королевские походы, а позже их называли в источниках просто „*ruralis”* [Hatházi, 1996, с. 52; Hatházi, 2000, с. 234-235; Hatházi, 2004, с. 194].

По порядку захоронений кунские кладбища саллашей Венгрии не отличаются от венгерских могильников. Покойников хоронили в соответствии с широтной ориентацией церкви, часто в прямоугольных или трапециевидных дощатых гробах, скрепленных гвоздями. У более богатых наблюдаются иногда гробы с декоративными набивками и замком (рис. 63).

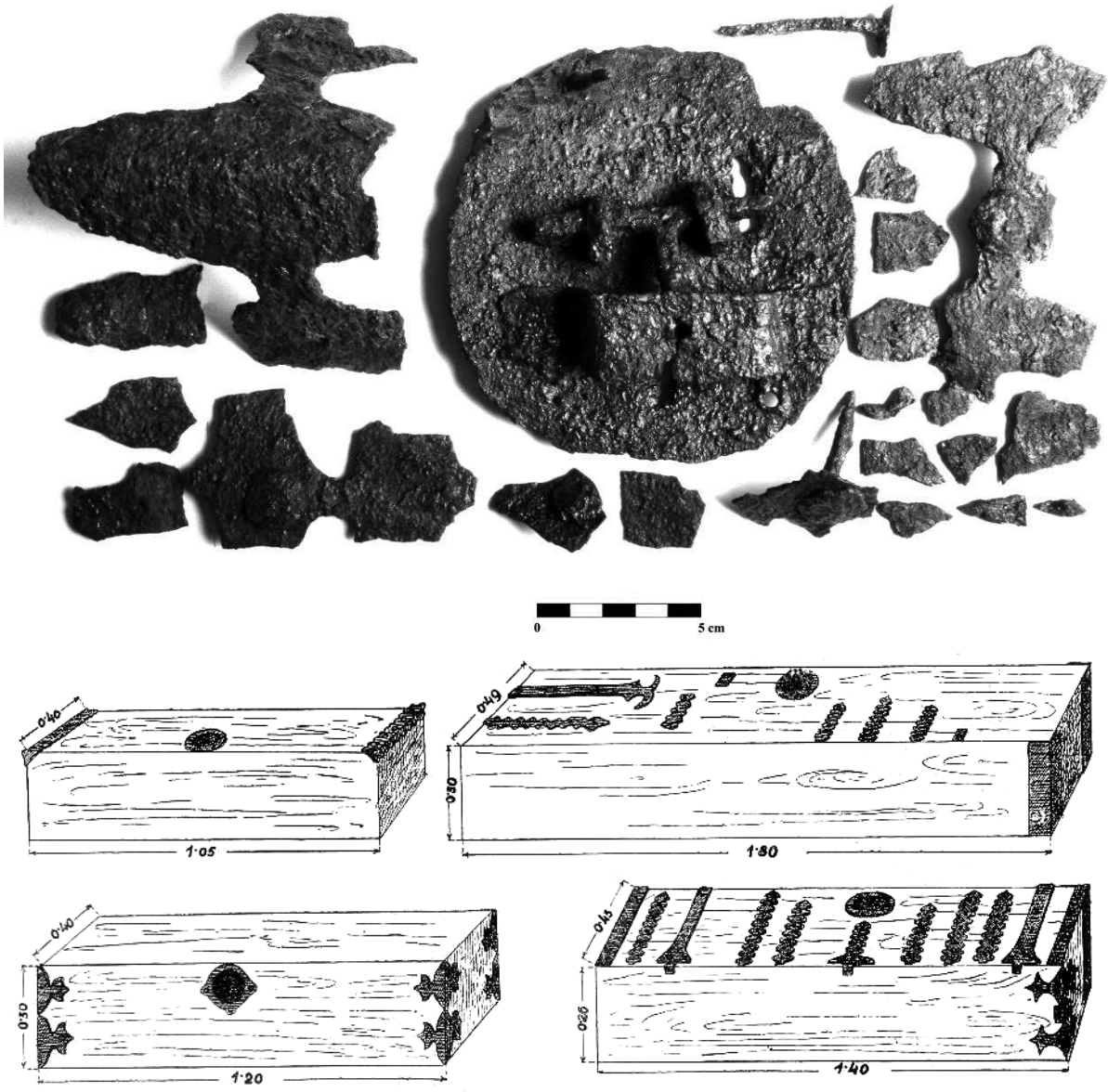


Рис. 63. Перката-Нюли-дюлё. 1. Набивки и замок гроба из могильника саллаша (S-2082) [Hatházi–Kovács, 2014, рис. 23], 2-5. Реконструкции гробов с декоративными набивками и замками из местонахождения Араньедьхаза (область Бач-Кишкун) [Szabó, 1938, рис. 319-322].

В некоторых случаях встречаются следы гробов, сделанных из коры дерева. В качестве редкого исключения (вследствие благоприятных почвенных условий) прослеживаются степные обычаи, так, например, покрытие могилы досками или использование савана, сделанного из рогожи и камыша. Руки покойника обычно лежат вдоль тела, но нередки случаи, когда их складывали на груди или на тазу, часто сплетали пальцы рук [Selmeczi, 1992, c. 14, 33-36; Horváth, 1978, c. 110-112; Hatházi, 2004, c. 75-77].

Как уже упоминалось, среди элементов костюма, украшений массово появляются предметы готической моды. Это, главным образом, декоративные штампованные пластины, нашитые на одежду, у девушек на головной убор, у мужчин (гораздо реже) на шапку. Эти пластины украшены мотивами, появляющимися на современных монетах, печных изразцах, напольных кирпичах. К этому же кругу принадлежат штампованные пуговицы с ушком (сферические и чечевидные, часто гремящие), гравированные кольца с пластинчатым щитком, различные варианты железных и бронзовых пряжек (рис. 64).

Рис. 64. Археологоческий материал женской моды XIV в. (декоративные пластины для головного убора, пара серег, кольцо с пластинчатым щитком, пуговицы) [Hatházi – Szende, 2003, рис. 61]; фото: Ференц Геленчер.

В то же время способ ношения вещей в отдельных случаях указывает на пережитки степной моды. Не случайно: единственной уступкой весьма строгого закона 1279 г., принятого против кочевнических и языческих обычаев кунов, было то, что им разрешили оставить свои традиционные одежду, прическу и бороду [Kristó, 1994, c. 134]. Готические декоративные пластины часто находят на правой стороны груди, иногда в районе плеча или бедра. Это явление, известное из множества кунских погребений, может указывать на ношение диагонально запахивающегося восточного кафтана, часто изображаемое в Иллюстрированной хронике. Декоративные пластины, вероятно, использовались для укрытия завязных узлов. Часто они встречаются также на голове. Как уже упоминалось, они украшали головной убор девушек (это перенятие местного обычая) или гораздо реже – шапку мужчин [Pálóczi Horváth, 1982, c. 103-105; Pálóczi Horváth, 1989b, c. 125-126; Hatházi, 1991, c. 659-660; Hatházi, 1996, c. 51; Hatházi, 2000, c. 232-233; Hatházi, 2004, c. 80-85, 90-108, 112-113, 120-121, 194-195; Selmeczi, 2006, c. 254-257; Selmeczi, 2006a, c. 28-37]. В некоторых

могилах сохранились остатки войлока от традиционной кунской островерхой шапки [Selmeczi, 1992, с. 17]. В погребениях девочек в отдельных случаях наблюдаются бусы и мелкие железные колечки на висках, которые, вероятно, играли роль в скреплении кожаных и текстильных ленточек, вплетенных в косы, которые носились над ушами [Hatházi, 2004, с. 113]. Пуговицами застёгивали рубашку на шее и груди, но они могли быть также частью головного убора. Эмблематичными украшениями женщин служили упомянутые выше серьги с пластинчатыми сферами (иногда в виде вопросительного знака) византийского происхождения – они относятся к тем немногим вещам, которые тесно связаны с традиционным костюмом кунов. По нашим данным, их повторное появление в Венгрии, где ношение серег было забыто на долгие столетия, связывается с кунами. Влияние кунской моды на автохтонное население, в частности, отражается распространением таких серег на венгерских территориях, соседствующих с кунами. Речь также может идти о внутренней миграции [Pálóczi Horváth, 1982, с. 103; Pálóczi Horváth, 1989b, с. 111-115; Hatházi, 1988, с. 115; Hatházi, 1991, с. 659-660; Hatházi, 2004, с. 85-90, 113].

Рис. 65. Перката-Кёхальми-дюлё, погребение № 192: сумка, украшенная с бусами и бытовые предметы [Hatházi, 2004, рис. 19]; фото: Ференц Геленчер, 2. Перката-Ньюли-дюлё (S-1016), пояс, с сумкой и бусами в снятом положении, на груди [Hatházi – Kovács, 2014, рис. 27].

В качестве языческого «атавизма» – как часть костюма и в качестве набора для загробной жизни – в кунские могилы помещали бытовые предметы умершего: нож, кинжал, бритву, шило (иногда в деревянном футляре), напёрсток, костяной или свинцовый игольник, иглу, челнок для вязания сети, пряслице, огниво (железное кресало, а в некоторых случаях, замещающий его фрагмент шпоры или ключа, кремень) (рис. 65). Кунские женщины носили эти вещи, прикрепив их к поясу на правой стороне, иногда вместе с сумкой. Судя по малому диаметру пряжек (часто это западные пряжки одежды, использованные вторично) использовались узкие кожаные или текстильные пояса. Господствующим типом был текстильный пояс без пряжки. На его присутствие в погребении указывают бытовые предметы и иногда кольца для подвешивания, найденные в области пояса. Сумки в некоторых случаях закрывались цепочкой. Изготавливались они, главным образом, из текстиля, но бывают и кожаные, встречаются также экземпляры, сделанные из

выбракованных фрагментов кольчуги величиной с ладонь (косвенно это указывает на убывающую военную функцию кунов).

Рис. 66. Перката-ньюли-дюлё, погребение № 140, сумка: среди амулетов и бус встречается ушко для подвешивания от византийского нательного креста византийского типа (XIII в.) []Hatházi – Szende, 2003, рис. 63]; фото: Ференц Геленчер.

К сумкам во многих случаях пришивали низки бус с амулетами, вырезанными из лодыжки зайца, лисы, рыбьего позвонка. Поясные наборы с сумками часто находят в погребениях в снятом положении, положенные, например, на грудь. Этот элемент костюма также характерен для кунов, и чужд в венгерской среде. На его восточные/степные корни, возможно, указывает то обстоятельство, что они обнаруживаются в аварских памятниках Карпатского бассейна и в салтово-маяцкой культуре [Hatházi, 1991, с. 660-661; Hatházi, 1996, с. 51-52; Hatházi, 2000, с. 233-234; Hatházi, 2004, с. 115-119, 123-125].[8]

Наряду с большим количеством вещей, найденных в погребениях, существует еще множество следов, указывающих на то, что куны только с виду приняли христианство без сопротивления, но отдельные языческие традиции еще долго продолжали бытовать под тонкой маской христианства. Мы находим амулеты (просверленные клыки собаки, волка и кабана, раковины улитки мелании песчаной) не только в составе сумочных бус, но и на шее (рис. 66). В погребениях встречаются тайно захороненные под телом и указывающие на помещение загробной пищи кости овцы, коровы, рыбы и лошади (употребление последней в пищу, как языческий обычай, в Венгерском королевстве было запрещен законом со времени Св. Иштвана). Находят также яйца, помещенные на груди покойника. Их интерпретируют как загробную пищу или символ плодородия. Нам известно всё больше кладбищ кунских

[8] По поводу возможных позднесалтовских аналогий (амулеты из костей животных находят также в женских и детских погребениях на груди или поясе, иногда вместе с поясной пряжкой) см.: [Türk, 2011, с. 121-123]. Специфически смешанные религиозные представления отражаются в том, что языческие костяные амулеты сумок часто встречаются вместе с вещами с христианской символикой. К таковым, в частности, относятся ушко для подвешивания от византийского нательного креста киевского типа (Перката–Кёхалми-дюлё, погр. 140 [Hatházi, 2004, с. 121-124]) (рис. 66), а также пряжки с христианскими надписями [Hatházi, 2004, с. 96-103], которые, возможно, связаны с уже упомянутыми францисканскими миссиями обращения в христианство [Fogas, 2009, с. 161-164].

саллашей, где в погребениях под головой умершего были помещены пучки полыни (*Artemisia*), возможно, они были зашиты в подушку. Специфически смешанные религиозные представления кунов выражаются в таких явлениях, как голова барана, помещенная рядом с покойником, собака, погребенная вместе с хозяином (голова покойника лежала на теле собаки), а также брошенные в могилу конские зубы, которые можно расценивать (?) как символическое погребение с конем или как принесение коня в жертву [Selmeczi, 1992, с. 14-16, 40-42; Horváth, 1978, с. 111-112; Horváth, 2001, с. 71-72; Hatházi, 2000, с. 233-234]. Характерный обычай [Horváth, 1978, с. 111; Selmeczi, 1992, с. 43-44], не обязательно связываемый со степным наследством, это разведение огня в могильной яме. Христианские традиции «очистительной магии» также известны, как и примеры такого обряда в автохтонных венгерских могильниках [Ritoók, 1997, с. 170]. Таким же образом нужно расценивать острые железные предметы, помещаемые в погребение с целью «защиты от порчи» (железный нож под скелетом, на дне гроба, бритва под головой, железный топор на груди, железный налопатник на крышке гроба) [Selmeczi, 1992, с. 42; Pálóczi Horváth, 2014, с. 92, 97].

В слоях 15 в. кладбищ саллашей уже гораздо реже выявляются кунские культурные элементы, ясно отображая процесс ассимиляции с венграми. Языческие обычаи все меньше встречаются в обряде, нивелируется разница в частоте наличия инвентаря в погребениях, которая ранее чувствовалась между венгерскими и кунскими могильниками. Находки, указывающие на кунский костюм, прослеживаемые археологически, постепенно становятся идентичными с материалом венгерских деревень. В первой половине XV в. в кунских могилах иногда еще появляются украшения сумок и кафтанов [Horváth, 1978, с. 116; Horváth, 2001, с. 71; Selmeczi, 2006, с. 254-257], но металлические накладки уже замещаются круглыми стеклянными пластинками, обклеенными кожей [Hatházi, 1988, с. 114, 118; Hatházi, 2000, с. 230; Hatházi, 2004, с. 114-115] (рис. 67).

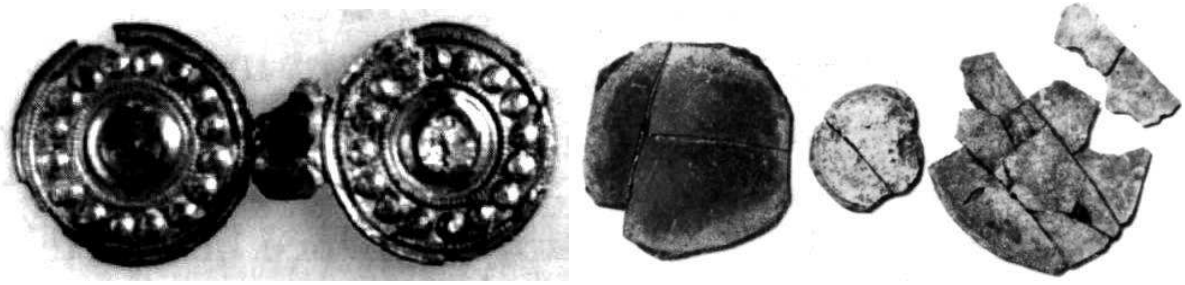


Рис. 67. 1. Пара аграфа с соединительным элементом из серебра (XIV в.) из могильника саллаша Шарошд-Якабсаллаш-Пустатемплом, 2. Круглые стеклянные пластинки (в функции аграфа) из могильника саллаша Аранедьхаза (XV в.) [Hatházi – Szende, 2003, рис. 62; Szabó, 1938, рис. 161-163].

Серьги исчезают. Интересно, что единственный памятник рунического письма кунов Венгрии – надпись на круглой пряжке – был найден в погребении нового периода ассимиляционного процесса, в кладбище саллаша Оргондасентмиклош (погр. 170) (рис. 68). Эта вещь представляет собой позднюю, характерную кунскую имитацию западного типа литых бронзовых пряжек с христианской надписью. Эти пряжки так называемого типа „Ave Maria" были широко распространены в Карпатском бассейне в середине и второй половине XIV в. [Selmeczi, 1992a, с. 51; Hatházi, 2004, с. 103]. Новые веяния моды XV-XVI вв. достигли ассимилированных и ассимилирующих уже одновременно (текстильные головные уборы, украшенные бисером и проволочными спиралями, пояса с металлическими и костяными накладками, новые типы пуговиц и колец и т.д. (рис. 70)). Все чаще куны сменяют свои кочевнические сапоги с мягкой подошвой на обувь с железными оковками. Постепенное исчезновение старых кафтанов маркируется массовым появлением литых или

проволочных «парижских» крючков (рис. 69), которые указывают на новый тип верхней одежды [Horváth, 1978, c. 112-118; Horváth, 2001, c. 68-72; Pálóczi Horváth, 1976, c. 293-303; Pálóczi Horváth, 1982, c. 103-105; Pálóczi Horváth, 2014, c. 97-98; Selmeczi, 2006a, c. 40-50; Hatházi, 2004, c.134; Hatházi-Kovács, 2014, c. 256-257].

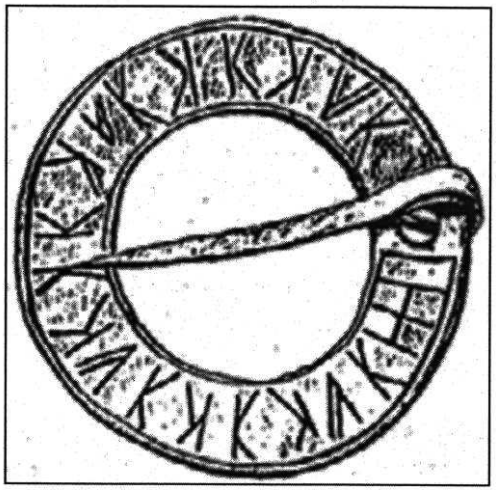


Рис. 68. Пряжка с рунической надписью из могильника Карцаг-Оргондасентмиклош (погребение № 170) [Selmeczi, 1992, рис. 23].

Рис. 69. Перката-Ньюли-дюлё (XV в.). 1. Остатки головного убора с бляшками, 2. Крючок (застёжка) «парижского» типа (S-0408), 3-5. Пряжки для пояса (S-0018, S-0477, S-0662), 6. бронзовый палочковый компонент для закрепления пояса [Hatházi – Kovács, 2014, рис. 28].

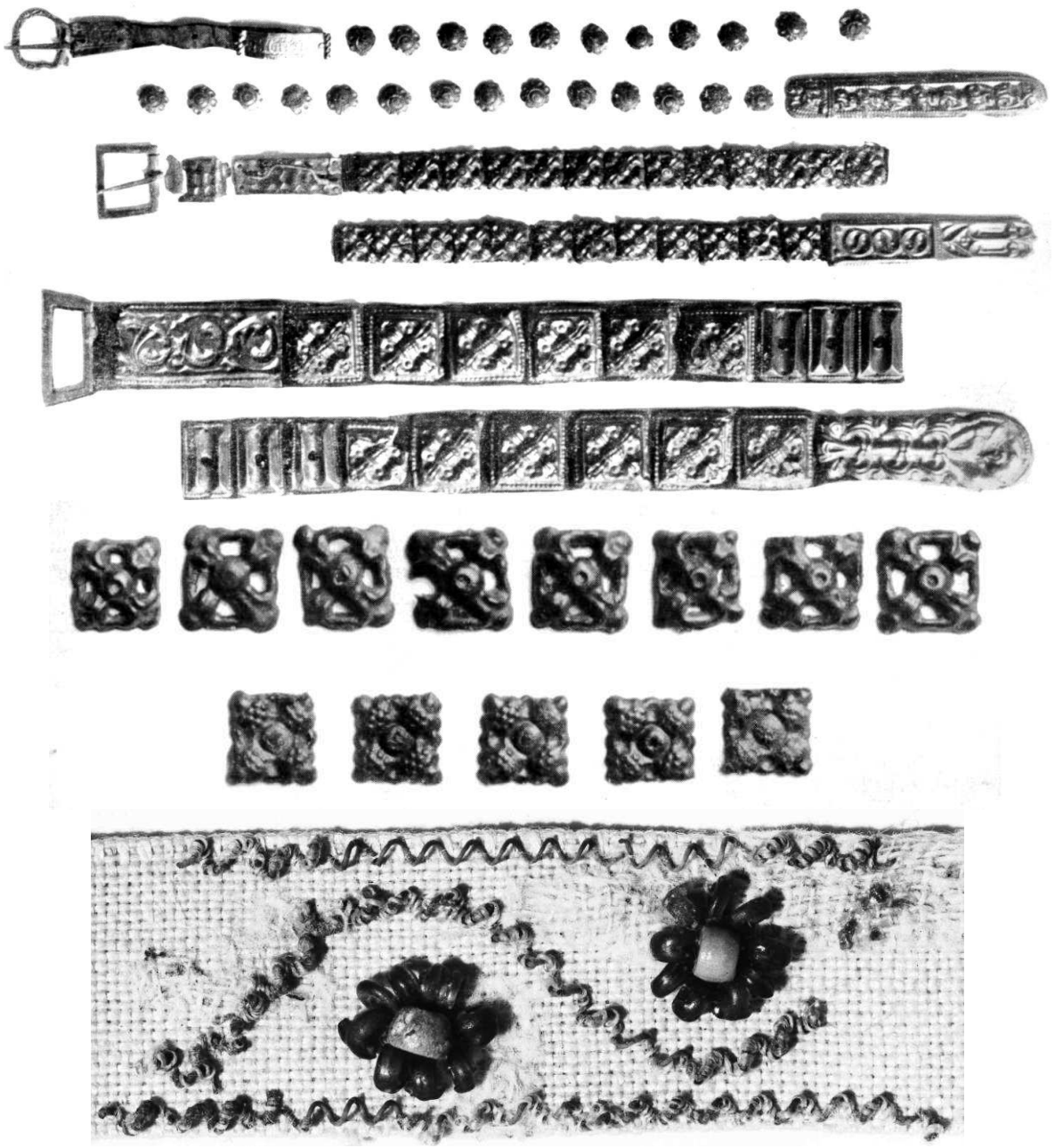


Рис. 70. Находки из могильников около г. Кечкемет (область Бач-Кишкун) (XV-XVI вв.). 1-3. Пояса с металлическими накладками, 4. Бляшки для пояса, 5. Головный убор, украшенный бисером и проволочными спиралями [Szabó, 1938, рис. 328-330, 348-349].

Аппликации с кружевами и зубчатой вышивкой, нашитые на стоячий воротник, грудную и плечевую часть верхней одежды нового типа, появляются в погребениях XVI в. Наблюдения, сделанные в отношении костюма в наиболее поздних слоях на кладбищах саллашей в Надькуншаге, возможно, указывают на то, что характерным цветом траура у кунов Венгрии был сине-лиловый. Часто встречаются гробы с растительным и геометрическим орнаментом. Интересно, что традиционная островерхая шапка характерна для кунов даже в этот поздний период и, более того, она была воспринята также венгерской материальной культурой [Selmeczi, 1992, с. 16-19, 38-39]. Возможно, схожая ситуация наблюдается у кунских сумок. Хотя, судя по археологическим наблюдениям, они попадали в погребения в последний раз в конце XV в., не исключается, что их повседневное использование сохранялось еще в течение столетий. Набор бытовых предметов пастухов

Венгерской низменности в регионах Надькуншаг и Хортобадь XIX-XX вв., известный под названием «кунская сумка» со сходными элементами, подкрепляет это предположение [Hatházim, 2004, с. 119]. Таким же образом оценивается старый тип венгерского кёдмёна (короткая овчинная куртка с вышивкой), название которого – «даку» – сохранило его кунское происхождение [Pálóczi Horváth, 2014, с. 97].

3.4. Саллаши, поселения. Памятники архитектуры и домашнего хозяйства.

К настоящему моменту мы располагаем только небольшим количеством археологических следов, указывающих на кунские саллаши (поселения) XIII-XIV вв. По-видимому, с самого начала существовали постоянные зимние стойбища, но там стояли в первую очередь мобильные жилища (шатры, юрты). Изучение топонимики дополняет картину, созданную на основании письменных и археологических источников. Название значительной части кунских поселений, порядка 50%, происходит от имени собственного. Наибольшую группу представляют названия поселений, производные от языческих имен (36%). Изменения в традициях наименований произошли около середины XIV в., и языческие имена с этого времени поредели, а в источниках доминируют христианские названия. Принимая все это во внимание, кажется очень вероятным, что подавляющая часть саллашей с языческой топонимикой была основана в период, когда давали традициональные названия, до середины XIV в. [Pálóczi Horváth, 2014, с. 105-107].

Куны интегрировались в венгерское общество к началу XV в., одновременно произошли преобразования в их хозяйственной жизни. Земледелие приобрело большее значение, на кунских поселениях XV-XVI вв. велось уже комплексное хозяйство. Однако, исходя из податных списков и археологических данных, животноводство по-прежнему играло весомую роль в экономической структуре. По данным археозоологии, наибольшую часть поголовья составляли крупный рогатый скот и овцы, значительную роль играло экстенсивное животноводство. Все это также отражается в структуре поселений: средневековые кунские саллаши характеризуются удлиненной, неплотной застройкой с широкими внутренними участками и большими хозяйственными дворами вокруг домов, чем они отличаются от других деревень Венгерской низменности. Поселения, известные по раскопкам или археологическим разведкам, представляют собой один и тот же морфологический тип, который был определен как *животноводческо-земледельческое поселение улично-рядовой системы кунского типа* [Pálóczi Horváth, 2006, с. 370-371].

Успешная интеграция в венгерское общество проявляется в том, что на средневековых кунских поселениях мы находим тот же современный тип жилого дома, что и в других регионах Алфёльда. Это наземное здание с двумя или тремя помещениями: комната–кухня–кладовая с двухчастной печью. Изразцовую печь, стоящую в комнате, топили из кухни. Оттуда же топилась круглая печь, которая выдавалась из плоскости задней стены дома боком и перед устьем которой располагался небольшой открытый очаг. Основу стены составляли столбы, между которыми был натянут глинобитный плетень, а роль несущей конструкции выполняли центральные столбы, расположенные по центральной оси дома, на которых покоился конек (Туркеве–Мориц / Túrkeve–Móric [Méri, 1954]; Сенткирай / Szentkirály [Pálóczi Horváth, 1989a, с. 115; Pálóczi Horváth, 1996]).

Несмотря на полное преобразование культуры жилья, отдельные элементы традиционного хозяйства еще сохранились, как это показали, в частности, результаты раскопок кунского поселения Сенткирай (рис. 71-72). Это королевское поместье, запустевшее после монгольского нашествия, даровал кунской дворянской семье король Лайош (Людовик) Великий (1342–1382) в 1354 г. с тем условием, что они осядут на земле и будут жить по христианским обычаям. Их потомки, члены дворянских семей Бичак и Гашпар владели селом до самого турецкого ига, то есть до середины XVI в. Население деревни составляли отчасти привилегированные крестьяне кунского происхождения, а отчасти

кунские и венгерские крепостные. Археологические раскопки поселения конца XIV - начала XVII вв. проводились между 1969 и 1990 гг.

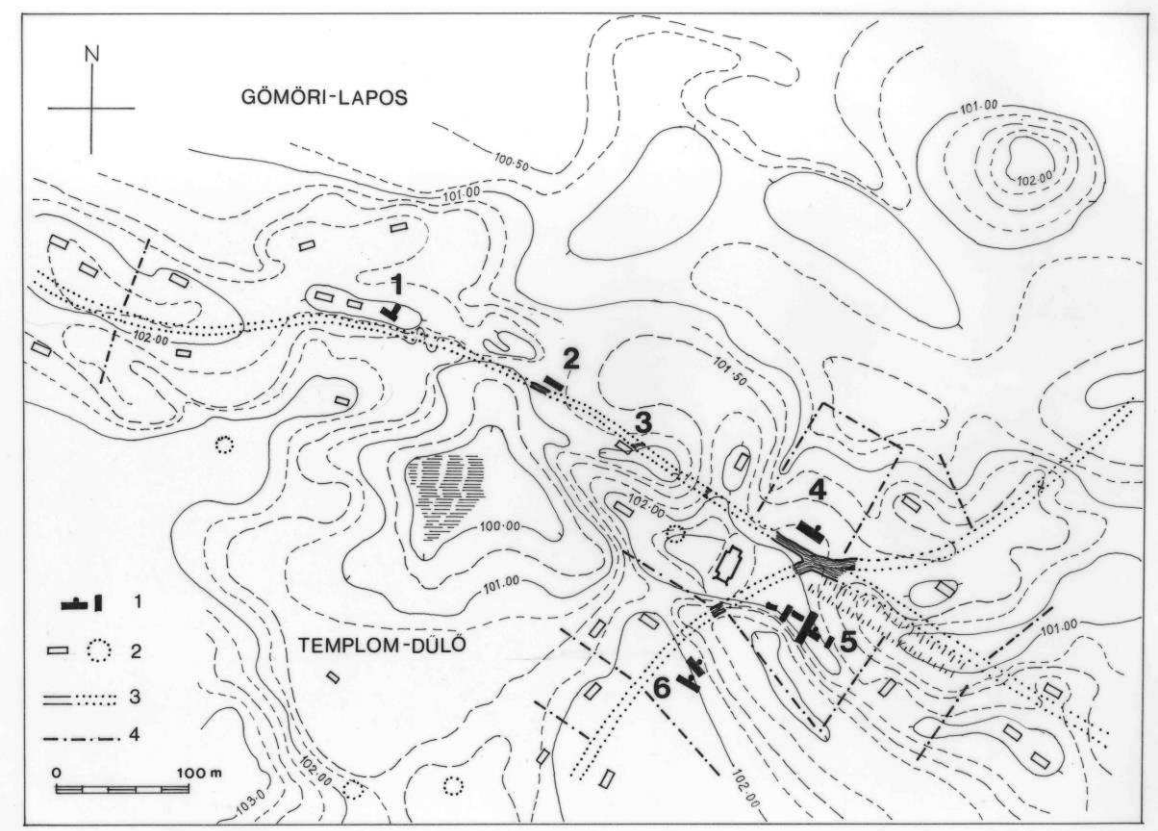


Рис. 71. План села Сенткирай позднего периода средних веков, после раскопок 1969-1990 гг. 1. обнаруженные постройки, 2. вероятное место не обнаруженных построек, 3. улица, ездовая дорога, 4. межа внутренных участков. Нумерация 1-6: внутренние участки земли, которые были вполне или частично обнаружены (план и рис.: Андраш Палоци Хорват).

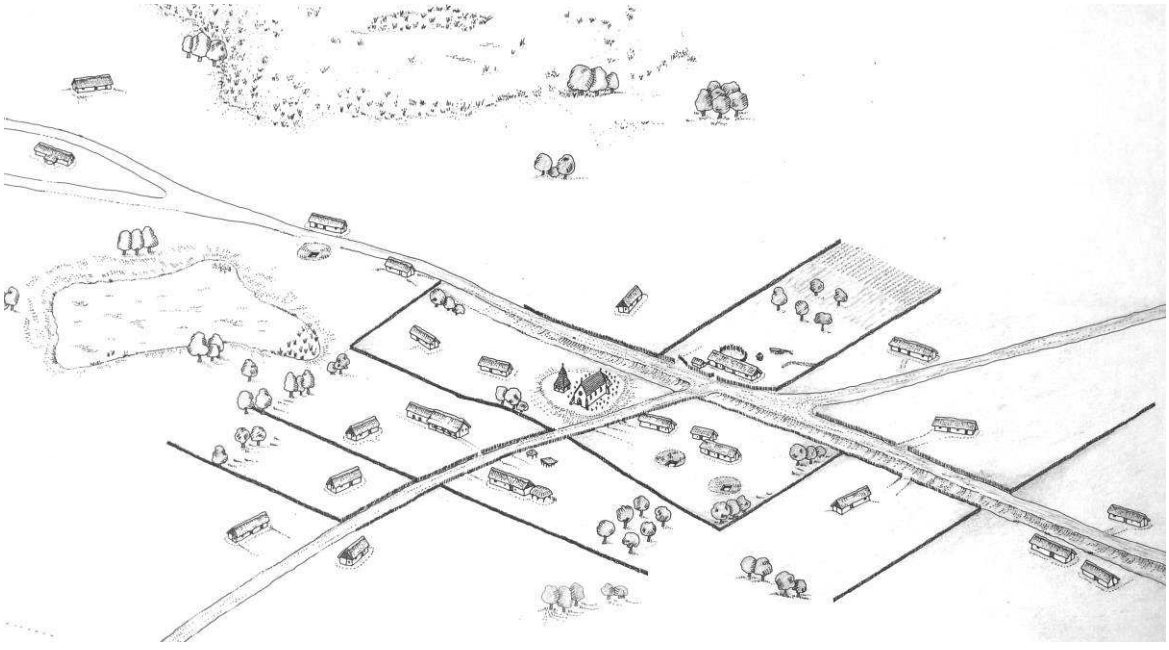


Рис. 72. Село Сенткирай в XVI в., вид сверху ([Pálóczi Horváth, 2014a, с. 180], реконструкция: Тибор Шабян).

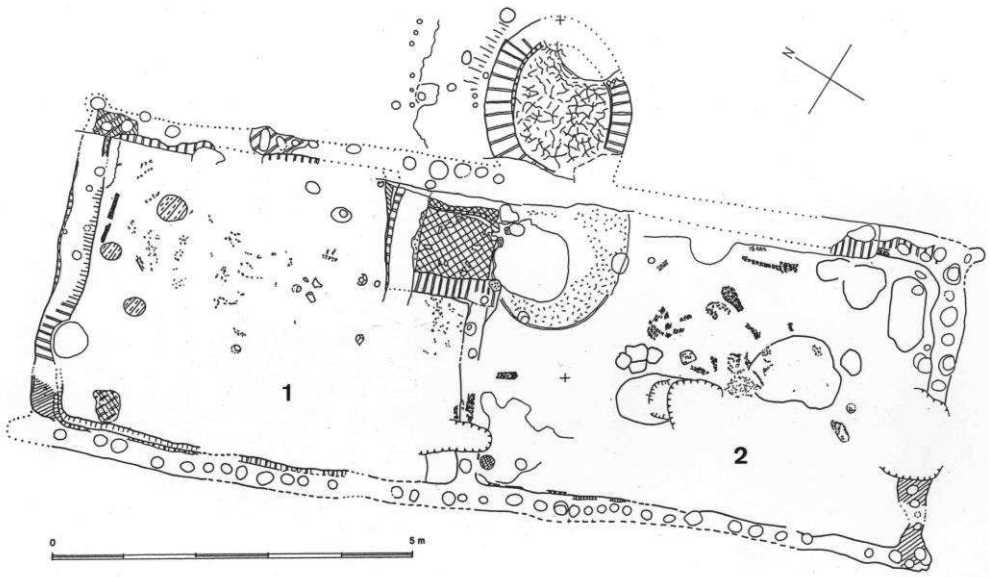


Рис. 73. План дома № 25 в Сенткирае (период II, середина XV в.). 1. комната, 2. кухня (рис.: Андраш Палоци Хорват).

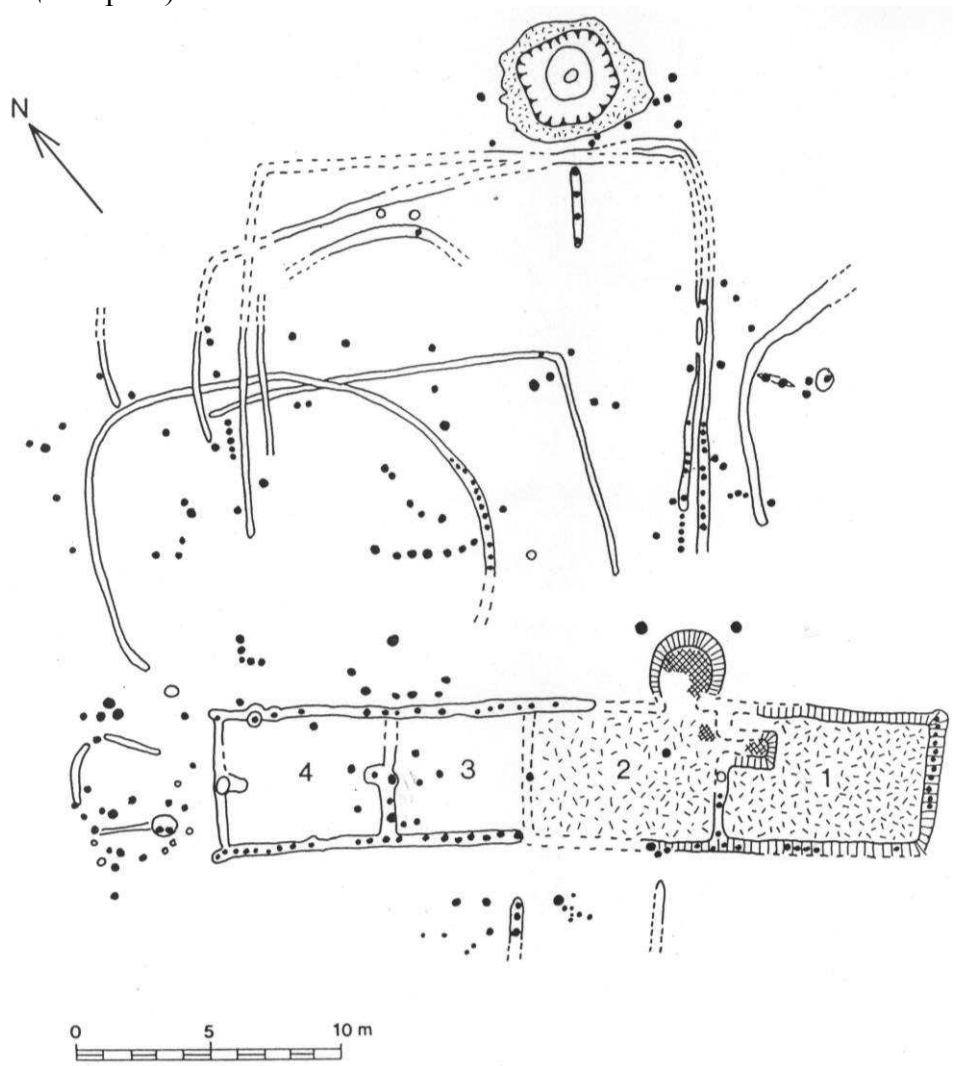


Рис. 74. Сенткирай, структура участка № 4: за четырёхчастным жилым домом № 4/a (XV в.) на хозяйственном дворе находятся следы загонови закутов. Пересекающие друг друга ровики изгородей указывают на хронологические периоды, следующие друг за другом [Pálóczi Horváth, 1986a, c. 226].

В ходе раскопок мы зафиксировали на нескольких внутренних участках, что за жилым домом большую часть двора отгородили овальными или прямоугольными изгородями, сделанными из камыша, ветвей или других растительных материалов. В загонах, вероятно, держали овец. Строения, служащие экстенсивному животноводству и стоящие рядом с жилыми домами, указывают на специфические метод хозяйства и образ жизни (рис. 73-74).

Рис. 75. Посуда из Сенткирая (15 в.): кувшины, горшки и кружка разного размера. Обломки этой посуды были вмазаны во второй слой дна печи, выступавшей из стены дома № 4/а. Посудой пользовались в середине XV в. [Pálóczi Horváth, 2014a, с. 185], фото: Бела Кишш.

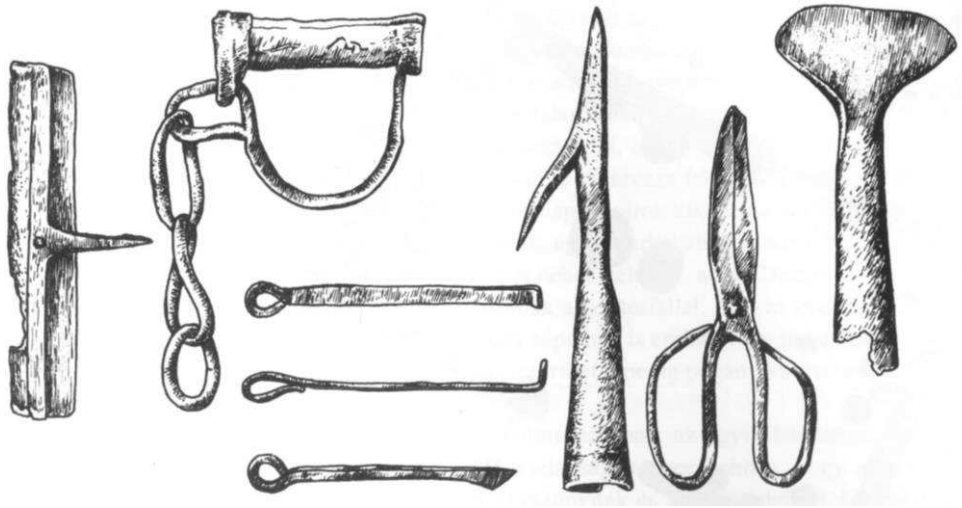


Рис. 76. Находки предметов из железа, связанные с животноводством из материала раскопок средневековых поселений около г. Кечкемет: скребница, тренога, ключи для треноги, инструмент для собрания сена, ножницы для стрижки овец, стрекало (по [Szabó, 1938; Pálóczi Horváth, 1989a, рис. 70]).

Загоны схожей формы и размеров известны также по этнографическим данным Малой Кумании [Pálóczi Horváth, 1986a, с. 228-230; Pálóczi Horváth, 1989a, с.114-118; Tálasi, 1936, с. 113; Szabadfalvi, 1970, с. 42-44, 50]. Остальные пристройки хозяйственных дворов также связаны, главным образом, с животноводством: круглые или овальные в плане каркасные хлева, стоящие на кольях; хлева со стенами плетневой конструкции; яма-хлев, служившая для держания свиней и опороса; сарай со столбовой конструкцией; стойло для скота без навеса; загон с камышовыми стенками; круглая хижина с деревянным каркасом; землянка-

зернохранилище, используемая вместо подвала; колодец. Зерно и другие продукты хранили в круглых ямах. Предполагается, что описанная здесь структура внутренних участков является кунским наследием степной культуры.

Сегодня при помощи археологии мы уже способны представить достаточно детальное представление об образе жизни, хозяйстве (рис. 75-76), религии средневековой этнической группы кунов, а также о процессе их ассимиляции с венгерским обществом.

3.5. Клады.

Три клада, найденные между 1876 и 1962 гг. в радиусе 30 км, в южной части Кишкуншага (Малой Кумании), считаются «эмблематичными» памятниками истории венгерского костюма и ювелирного дела XIV-XV вв. Речь идет о комплексах, обнаруженных на памятниках Кишкунхалаш–Фехерто / Kiskunhalas–Fehértó и Кишкунхалаш–Алшободоглар / Kiskunhalas–Alsóbodoglár, а также Келебия / Kelebia (область Бач-Кишкун). Исходя, главным образом, из западноевропейского, готического происхождения вещей исследователи помещали их в рамки, мало сопоставимые месту находок: изделия из Фехерто и Алшободоглара интерпретировались как наследие зажиточных дворян, а келебийский клад – как аристократов. На основании отдельных вещей с надписями из Фехерто и Келебия сначала считалось, что клады можно связать с конкретными личностями XIV в., известными по письменным источникам [Hampel, 1880, c. 48; Parádi, 1963, c. 219-221; Zsámbéky, 1983, c. 106-107; 109-111; Kőhegyi, 1972, c. 208-209; Kőhegyi, 1978, c. 280-289; H. Kolba, 1985, c. 55; MM, 1987, c. 373; Kurcz, 1988, c. 104/174.j., 109; Laszlovszky, 1991, c. 51-52]. По другому, новейшему направлению, эти клады являются наследием кунов, поселившихся в этом регионе с середины XIII в. и представлявшими здесь автохтонное население до эпохи турецких войн (Халаш-сек, организованный из фрагментов рода Чертан) [Éri, 1956, c. 150; Pálóczi Horváth, 1985, c. 97; V. Székely, 1999, c. 49-58; Hatházi, 1988, c. 110-113, 115-117; Hatházi, 2000, c. 255-268; Hatházi, 2004, c. 89-90, 143-144, 148-150; Hatházi, 2005, c. 70-144, 154-187; Hatházi, 2009, c. 67-82]. Нельзя отрицать, что мы имеем дело с группой памятников XIV-XV вв., в которых уже не выявляются непосредственные степные черты, а если и выявляются, то только вторичные. Как археологический источник эти клады отражают, в первую очередь, прогрессирующую ассимиляцию кунов.

Клад из Фехерто («белое озеро») был найден в 1876 г. на дне эпонимного озера, всего в 200-300 м от известного по нескольким средневековым документам и исследованного так же археологически поселения (саллаш) кунов Халаш-сека (рис. 77). Находка датируется периодом между рубежом XIII-XIV вв. и началом XV в. Клад содержал ювелирные изделия (4 серебряных кольца с гравированными и литыми щитками XIV в., 2 литых перстня XV в., 1 серебряная пряжка рубежа XIII-XIV вв., штампованные пластины-накладки, некоторые из которых были переделаны в аграфы), помещенные в позолоченную серебряную чашу. Большинство украшений носит следы потертости, часто встречаются повреждения – это указывает на то, что ими пользовались в течение нескольких поколений. Даже в отношении перстней XV в. между временем изготовления и зарытия клада должны были пройти десятилетия. Общий вес позолоченных серебряных вещей обычно составляет около 400 г, но, несмотря на это, их общая стоимость не превышала примерно 6-6,5 средневековых золотых форинтов. Если принять во внимание тонкую технику накладок и богатое золочение, добавить плату за работу, все равно ценность клада, вероятно, не превышала в значительной мере следующий клад из Алшободоглара. На общественный статус владельцев указывают литые и гравированные перстни-печатки, служившие для удостоверения документов, если предположить, что клад связан с семьей начальника (капитана) кунского саллаша Фейерто [Hampel, 1876, c. 160-161; Hampel, 1880, c. 46-50; Zsámbéky, 1983, c. 106-108, 122-123; Művészet, 1982, c. 304-306; H. Kolba, 1985, c. 52-55; MM, 1987, c. 118, 373; Parádi, 1990, c. 71-80; Hatházi, 2000, c. 256-259, 260-268; Hatházi, 2005, c. 70-92, 154-157; Hatházi, 2009, 67-69].

Рис. 77. Клад из Фехерто [Hatházi, 2005, с. 69], фото: Андраш Дабаши.

Рис. 78. Клад из Алшободоглара [Hatházi, 2005, с. 92], фото: Андраш Дабаши.

Клад из Алшободоглара (найден в 1941 г.) представляет собой комплекс XV в. Он состоял из 18 серебряных украшений и 2312 монет, сокрытых в глиняном горшке (рис. 78). 4 монеты золотые, остальные – серебряные разменные монеты низкой стоимости. По датировке наиболее поздних монет, клад мог быть зарыт на рубеже 1420-1430-х гг. Самое раннее украшение – фрагмент браслета с филигранью, сделанного в византийском вкусе и датируемого серединой XIII - началом XV вв. Остальные вещи готического стиля датируются XIV в. Это различного размера литые и штампованные декоративные пластины, некоторые инкрустированные эмалью. Наиболее мелкие, вероятно, украшали головной убор. Встречаются также пуговицы в форме «половинки чечевицы» с розетками, а также простые сферические. Вес обычно позолоченных серебряных вещей составляет примерно 58 г. В

данном случае также наблюдаются следы изношенности, частые повреждения, указывающие на длительное время пользования. Этот клад тоже был обнаружен на территории кунского поселения в Халаш-секе, изученного археологически. Хозяева клада, вероятно, принадлежали к элите села. Многократно ремонтировавшиеся украшения, которые даже во фрагментах передавались из поколения в поколение, наводят на мысль о когда-то богатой кунской семье, которая с конца XIV в. уже не могла себе позволить накопление новых ювелирных изделий. Нумизматический материал охватывает примерно 70 лет, указывая на материально «опускающиеся» поколения, которые были способны скопить только небольшую наличность. Принимая в расчет значительные по числу, но на самом деле – так же как и украшения – представляющие низкую стоимость монеты, в свете состояния цен эпохи можно определить, что их хватило бы на покупку всего 5 волов или одной качественной верховой лошади (примерно 11-12 золотых форинтов) [Oberschall, 1945, c. 13-21; Huszár, 1948, c. 54-55; Parádi, 1963, c. 210, 244; Művészet, 1982, c. 304-306; Zsámbéky, 1983, c. 110-111, 123; H. Kolba, 1985, c. 52-55; Hatházi, 2000, c. 259-268; Hatházi, 2005, c. 94-102, 157-162; Hatházi, 2009, c. 69-70].

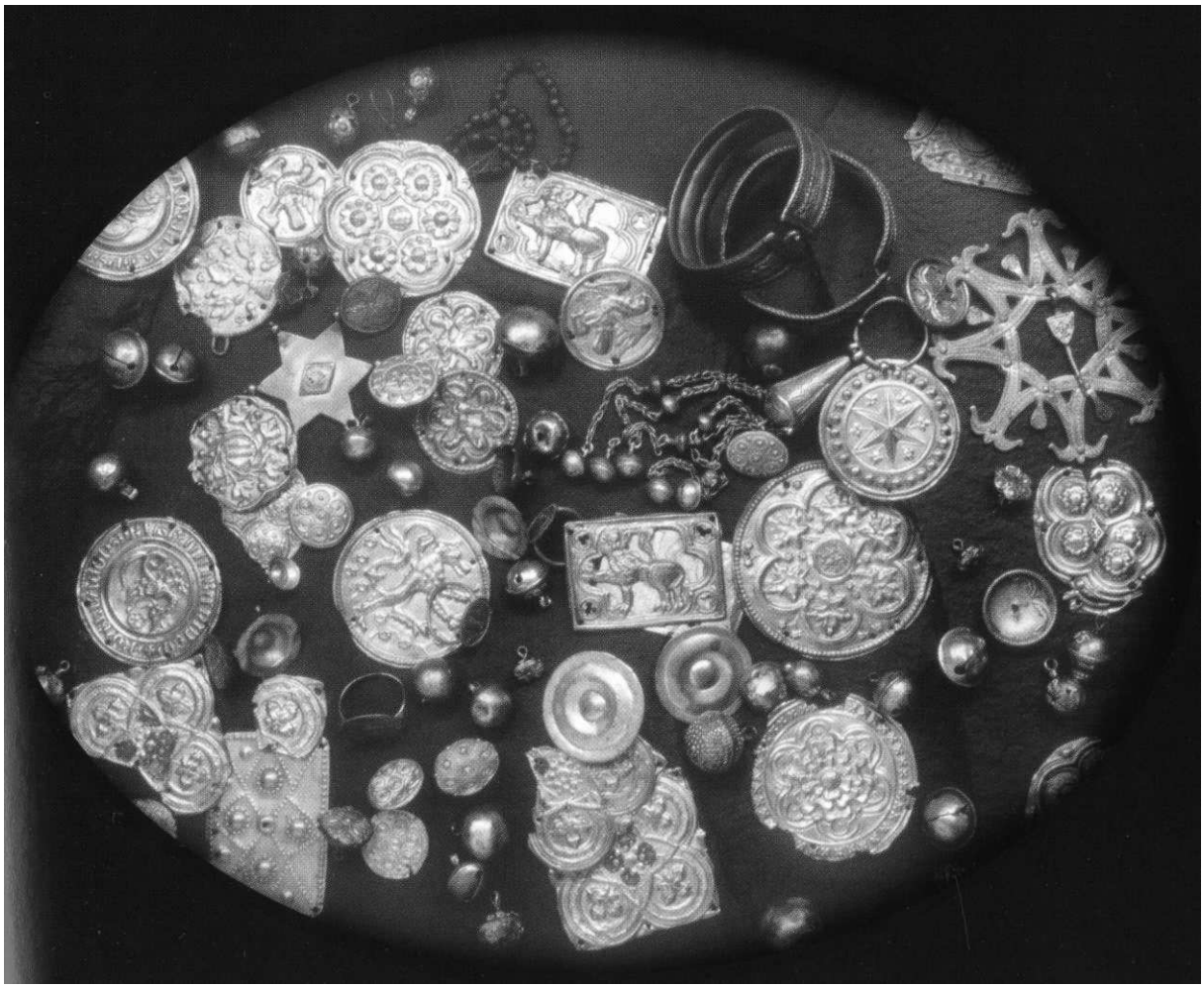


Рис. 79. Клад из с. Келебия [Hatházi, 2005, c. 103], фото: Андраш Дабаши.

97 предметов клада из Келебия были найдены в 1962 г. в двух ямах без каких-либо следов сосуда или ларца (рис. 79). Наиболее ранние ювелирные изделия – пара головных украшений с цепочками и подвесками и пара пластинчатых браслетов с филигранью – датируются серединой XIII - концом XIV вв. и сделаны в византийском стиле. К этой группе можно причислить еще аграф, украшенный голубями, сидящими на дереве, весьма отличный

от готических мотивов остальных декоративных пластин. Сюда же, по-видимому, относится прямоугольная накладка с псевдо-филигранью и грануляцией. К западным вещам принадлежат литые, ажурные украшения мантии с мотивом «льва» XIII в., а также крупная пряжка в форме звезды, датируемая первой третью XIV в. К загадочным вещам клада относится звездообразная подвеска, сделанная на низкокачественном «домашнем» уровне, к которой принадлежала низка бус со стеклянной глазурью. Сама подвеска не характерна для моды Анжуйской эпохи в Карпатском бассейне, в то же время плакетка с монограммой, прикрепленная к ней, является готическим изделием XIV в. Остальные украшения включают в себя характерные для XIII-XIV вв. гравированные кольца с пластинчатыми щитками, разнообразные серии штампованных декоративных пластин и пуговиц. Общий вес в большинстве своем позолоченных серебряных вещей составляет примерно 580 г. Здесь также часто встречаются следы длительного ношения, повреждения, присутствие фрагментов, хранившихся в качестве «сырьевого материала». Этот клад также был найден на средневековой кунской территории, его цена ненамного превышает стоимость первых двух кладов: за богато позолоченные серебряные украшения с множеством повреждений и следами ремонта можно было бы получить не более 20 золотых форинтов. Вероятно, его владельцы были богаче семей из Алшободоглара и Фехерто, но это не означает, что между ними была значительная социальная разница [Kőhegyi, 1972, c. 205-213; Kőhegyi, 1978, c. 275-296; Zsámbéky, 1983, c. 108-110; H. Kolba, 1985, c. 52-55; MM, 1987, c. 118, 373; V. Székely, 1999, c. 49-58; Hatházi, 2005, c. 104-141, 164-187; Hatházi, 2009, c. 70-74].

Подводя итоги, можно сказать, что эти клады – ни по историческим данным мест находки, ни по цене – не соответствуют социальному статусу и истории семей, предполагавшихся ранее. Это подтверждается и данными археологии. Клады можно разделить на внутренние слои как по культурному облику, так и по эпохе и стилю. Их накопление началось уже в середине XIII в. и продолжалось в течение нескольких поколений (основу материала составляют вещи XIV в.), а захоронили их в первой трети XV в. Ядро всех трех кладов составляют украшения, говорящих об интенсивном византийском влиянии. Это головные украшения с цепочками и подвесками, браслеты, подвески и пары аграфов русского или балканского происхождения. Такие вещи редко встречаются в материале Карпатского бассейна, они характерны для определенных регионов или культурных групп (областей, граничащих с византийским культурным кругом, или вышедших из него и тесно связанных с ним этнических элементов, поселившихся в Венгрии). Этот ранний «византийский» горизонт находок резко отличается от материала венгерских кладов периода между второй половиной XIII и началом XIV вв., особенно в центральных частях страны. Сильно проявляется их «иностранность» по сравнению с обычным венгерским костюмом. То есть возможность кунской атрибуции кладов подкрепляется не только местом находок, а также скромным количеством и качеством вещей, а балкано-византийским характером их основного слоя. Византийские связи (сильные как в политическом, так и в торговом и культурном смысле) восточноевропейского периода кунов хорошо известны, а клады были найдены на территории кунов. Слой XIV в. комплексов уже составляют готические ювелирные изделия, ничем не отличающиеся от местного стиля, за исключением круга аграфов с соединительными элементами. Их наиболее поздние экземпляры также были изготовлены из декоративных пластин XIV в. Во многих случаях наблюдается серьёзный контраст между изысканным характером этих пластин и примитивным решением соединительного механизма (крюк и петля), впоследствии припаянным к тыльной части изделия. Владельцы вещей приспосабливали местные изделия при помощи «домашних» переделок, причем в соответствии со своими обычаями украшения костюма. Гораздо более ранние пары таких аграфов византийского происхождения хорошо известны в позднеаварском материале, но встречаются также у венгров-обретателей родины. Есть все основания предположить, что речь идет о восточной кочевнической моде, примеры которой известны в центральной части Карпатского бассейна в XIII-XIV вв., в первую очередь в

областях ясов и реже у кунов. Судя по позднейшим экземплярам, это может быть «архаичный» элемент, который исчез из будничного костюма в ходе процесса ассимиляции на рубеже XIV-XV вв. [Hatházi, 1988, с. 110-113, 115-117; Hatházi, 2000, с. 255-268; Hatházi, 2004, с. 89-90, 143-144, 148-150; Hatházi, 2005, с. 70-144, 154-187; Hatházi, 2009, с. 74-81].

Наконец, в отношении клада из Келебии возникает еще один возможный след, который может нам помочь в определении владельцев. На одной из декоративных пластин (пока детально не упоминавшейся) мы видим изображение странного герба: рыцарский шлем с рыбой типа щуки на верхушке (рис. 80).

Рис. 80. Бляха с геральдическим мотивом, изображающим щуку, из клада из с. Келебия (XIV в.). Можно предполагать, что мотив связан с куманским родом Чертан («Щука»). [Hatházi, 2005, с. 151], фото: Бела Кишш.

Имя рода Чертан, поселившегося в регионе, означает «щука», а венгерское название и изображение герба центра этого рода XIV в. и центра сека (кунской административной единицы) XV-XVI вв. указывает на это же: Халаш / Halas («рыбный»). Итак, можно предположить, что клад имеет отношение к кунскому властителю региона, ишпану Кёнчёгу и его семье, упоминающихся в письменных источниках между 1347 и 1366 гг. Известно, что эта семья – предводитель рода – располагала значительными (хотя спорными по правам владения) поместьями и властью на территории в треугольнике Халаш – Сабадка / Szabadka (ныне Суботица, Сербия) – Сегед / Szeged. В результате вмешательства короля Жигмонда (Сигизмунда) (1387–1437) после смерти Кёнчёга, а затем организации Халаш-сека, сила рода была надломлена. Сыновья Кёнчёга – Черчи и Ласло Мадараши опустились на уровень обычных предводителей саллашей (капитаны), а с экономической точки зрения на уровень мелких помещиков с одной-двумя деревнями. Присутствие Ласло Томпа в окрестностях

Мадараша / Madaras и Сабадки подтверждается множеством грамот, что заслуживает особого внимания, учитывая, что недалеко от Келебии находится село Томпа / Tompa, которое упоминается в источниках в 1572 г. как оставленная населением кунская пуста [Hatházi, 2000, c. 175-176,181-190, 246-249, 264; Hatházi, 2005, c. 22, 137-141; Hatházi, 2006, c. 112-122; Hatházi, 2009, c. 82].

Литература

1. Bálint 1969 = Bálint Csanád: A honfoglalás kori lovastemetkezések néhány kérdése (Über die Pferdbestattungen der Landnahmezeit). *MFMÉ* 1969/1, 107-114.
2. Bálint 1971 = Bálint Csanád: A honfoglalás kori lovastemetkezések (Les tombes à ensevelissement de cheval chez les Hongrois du IX-Xe siècle). *MFMÉ* 1971/2, 85-108.
3. Bálint 1978 = Bálint Csanád: Válasz Dienes Istvánnak. *ArchÉrt* 105 (1978), 264-268.
4. Bálint 1994 = Bálint Csanád: A 9. századi magyarság régészeti hagyatéka. In: *Honfoglalás és régészet*. *A honfoglalásról sok szemmel I*. Főszerk. Györffy Gy., szerk. Kovács L. Budapest 1994, 39-46.
5. Bálint 2001 = Bálint Marianna: Környezetrekonstrukciós kísérletek a Duna-Tisza köz déli részén. Az Árpád-kori településhálózat jellegzetességei a Dorozsma – Majsai homokhát területén. *WMMÉ* 23 (2001), 343-357.
6. Banner 1931 = Banner János: A bánkúti lovassír. Das Reitergrab von Bánkút. *DolgSzeg* 7 (1931), 187–204.
7. Bóna 1964 = Bóna, István: Der Silberschatz von Darufalva. *ActaArchHung* 16 (1964), 151-169.
8. Csallány 1959 = Csallány Dezső: Nagy Géza régészeti levelei Jósa Andráshoz (Archäologische Briefe von Géza Nagy an András Jósa) . *A Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve* (*Jahrbuch des Jósa András Museums von Nyíregyháza*) 2 (1959), 51-63.
9. Csánki 1897 = Csánki Dezső: *Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában*. III. Budapest 1897.
10. Dienes 1978 = Dienes István: Opponensi vélemények Bálint Csanád Dél-Magyarország a X. században c. kandidátusi értekezéséről. *ArchÉrt* 105 (1978), 107-129.
11. Éri 1956 = Éri István: Adatok a kígyóspusztai csat értékeléséhez (Zur Frage der Schnalle von Kígyóspuszta). *FoliaArch* 8 (1956), 137–151.
12. Éry 1968 = Éry, Kinga: Reconstruction on the tenth Century Population of Sárbogárd on the Basis of Archaeological and Anthropological Data. *AlbReg* 8-9 (1967–1968), 93–147.
13. Fedorov-Davydov 1966 = Федоров-Давыдов, Герман А.: *Кочевники Восточной Европы под властью золотоордынских ханов*. *Археологические памятники*. Издательство Московского Университета. Москва 1966.
14. Fedorov-Davydov 1968 = Федоров-Давыдов, Герман А.: *Курганы, идолы, монеты*. Наука. Москва 1968.
15. Fettich 1937 = Fettich Nándor: *A honfoglaló magyarság fémművessége*. *Die Metallkunst der landnehmenden Ungarn*. Archaeologica Hungarica 21. Budapest 1937.
16. Fodor 1975 = Fodor István: Cserépüstjeink származása (Происхождение глиняных котлов в Венгрии). *ArchÉrt* 102 (1975), 250-264.
17. Fodor 1976 = Fodor István: Az osztrogozsszki lelet (Вещи из позднекочевнического погребения из г. Острогожск). *Cumania* (*Acta Museorum ex Comitatu Bács-Kiskun*) 4 (1976), 255-263.
18. Fodor 1977 = Fodor, István: *Altungarn, Bulgarotürken und Ostslawen in Südrussland* (*Archäologische Beiträge*). Mit einem Vorwort von Samuel Szádeczky-Kardoss. Opuscula Byzantina IV. Szeged 1977.
19. Fodor 1977a = Fodor, István: Der Ursprung der in Ungarn gefundenen Tonkessel. *ActaArchHung* 29 (1977), 323-349.

20. Fodor 1994 = Fodor István: Leletek Magna Hungariától Etelközig. In: *Honfoglalás és régészet*. *A honfoglalásról sok szemmel I*. Főszerk. Györffy Gy., szerk. Kovács L. Budapest 1994, 47-65.
21. Fodor 1996 = Fodor István (szerk.): *A honfoglaló magyarság*. *Kiállítási katalógus*. MNM Budapest 1996.
22. Fodor 2001 = Fodor István: Az államalapítás korának hadserege. In: *Az államalapítókról 2000-ben*. Szerk. Halmágyi P. Makói Múzeum Füzetei 98. Makó 2001, 17-39.
23. Fogas 2009 = Fogas Ottó: A gótikus feliratos csatok európai elterjedése (Buckles with Embossed Gothic Inscriptions in the Carpathian Basin). In: "*Kun-kép". A magyarországi kunok hagyatéka. Tanulmányok Horváth Ferenc 60. születésnapja tiszteletére*. Szerk. Rosta Sz. Kiskunfélegyháza 2009, 147-174.
24. Gömöri 2002 = Gömöri János: *Castrum Sopron*. *Sopron vára és környéke az Árpád-korban (The Castle of Sopron and its County in the Árpád-age, 11th-13th cent. A. D.;Die Burg Supron/Ödenburg und deren Umgebung in der Árpádenzeit)*. Sopron 2002.
25. Gyárfás 1870–1885 = Gyárfás István: *A jász-kúnok története*. Vol. I–IV. I. Kecskemét 1870; II. Kecskemét 1873; III. Szolnok 1883; IV. Budapest 1885.
26. Györffy 1940 = Györffy György: *Besenyők és magyarok*. Különnyomat a Kőrősi-Csoma Archívum I. kiegészítő kötetéből. Karcag, 1940.
27. Györffy 1963–1998 = Györffy György: *Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza*. *Geographia historica Hungariae tempore stirpis Arpadianae*. Vol. I–IV. Budapest, 1963–1998.
28. Györffy 1990 = Györffy György: *A magyarság keleti elemei.* Budapest 1990.
29. Hampel 1880 = Hampel József: A fehértói lelet. Magyarhoni régészeti lelőhelyek repertóriuma. *ArchÉrt* 13 (1880), 46-50.
30. Hatházi 1988 = Hatházi Gábor: 14. századi ruhakorongpár Sárosdról és viselettörténeti kapcsolatai (Пара круглых металлических бляшек 14 века для украшения одежды из Шарошда и параллели, связанные с историей костюма). *ArchÉrt* 114 (1988), 106-120.
31. Hatházi 1990 = Hatházi Gábor: Az Árpád-kori magyar hadszervezet nomád elemeinek kérdéséhez. Besenyők (К вопросу кочевых элементов в военной организации венгров эпохи Арпада). *Hadtörténelmi Közlemények (Quarterly of Military History. Revue d'Histoire Militaire. Militärgeschichtliche Mitteilungen. Военно-исторический Вестник)* 103/2 (1990), 22-60.
32. Hatházi 1991 = Hatházi Gábor: A perkátai kun szállástemető (Előzetes beszámoló az 1986-88. évi feltárásokról) (Могильник половецкого населения в Перкате. Предварительный отчёт о раскопках 1986-1988 гг.). *MFMÉ* 1984-1985/2 (1991), 651-674.
33. Hatházi 1994 = Hatházi Gábor: Sárszentágota és térsége története a kezdetektől a törökkor végéig. In: *Sárszentágota múltjából*. Szerk. Erdős F. Sárszentágota, 1994, 12-49.
34. Hatházi 1996 = Hatházi Gábor: Besenyők és kunok a Mezőföldön. In: *Zúduló sasok. Új honfoglalók – besenyők, kunok, jászok – a középkori Alföldön és a Mezőföldön.* Szerk.: Havassy P. Gyulai Katalógusok 2. Gyula, 1996, 37–56.
35. Hatházi 1996a = Hatházi Gábor: A besenyő megtelepedés régészeti nyomai Fejér megyében (Archäologische Spuren der Ansiedlung der Petschenegen im Komitat Fejér). *Savaria. A Vas Megyei Múzeumok Értesítője*. (*Bulletin of Museums of County Vas*) 22/3 (1992-95), 223-248.
36. Hatházi 2000 = Hatházi Gábor: Halas kun székközpont és magyar mezőváros a középkorban. In: *Kiskunhalas története 1. Tanulmányok Kiskunhalasról a kezdetektől a török kor végéig*. Szerk. Ö. Kovács J. – Szakál A. Kiskunhalas 2000, 169–302.
37. Hatházi 2004 = Hatházi Gábor: *A kunok régészeti emlékei a Kelet-Dunántúlon* (*Die archäologischen Funde der Kumanen in Ost-Transdanubien*). Opuscula Hungarica V. Budapest 2004.

38. Hatházi 2005 = Hatházi Gábor: *Sírok, kincsek, rejtélyek. Híres középkori régészeti leletek Kiskunhalas környékén* (*Berühmte mittelalterliche archäologische Schatzfunde in der Nähe von Kiskunhalas. Famous Medieval Archaeological Finds Around Kiskunhalas*). Halasi Albumok 7. Kiskunhalas 2005.
39. Hatházi 2005a = Hatházi Gábor: Régészeti adatok a Mezőföld Árpád-kori településtörténetéhez. In: *Az Intercisa Múzeum első 50 éve*. Szerk. Keszi T. Dunaújváros 2005, 103-122.
40. Hatházi 2005b = Hatházi Gábor: A kun szállástemetők kutatásának néhány tanulsága. In: „*…a halál árnyékának völgyében járok*" *A középkori templom körüli temetők kutatása*. Opuscula Hungarica VI. Szerk. Ritoók Á. – Simonyi E. MNM, Budapest 2005, 103-108.
41. Hatházi 2006 - Hatházi Gábor: A kun és jász székközpontok kérdéséhez. In: *Testis temporum, vita memoriae. Ünnepi tanulmányok Pálóczi Horváth András 65. születésnapjára. Studia Caroliensia* 7/ 3–4 (2006), 111–146.
42. Hatházi 2009 = Hatházi Gábor: A déli Kiskunság 14-15. századi kincsleletei és azok lehetséges kun vonatkozásai (14^{th}-15^{th} century hoard finds from the southern part of Cumania Minor). In: "*Kun-kép*". *A magyarországi kunok hagyatéka. Tanulmányok Horváth Ferenc 60. születésnapja tiszteletére*. Szerk. Rosta Sz. Kiskunfélegyháza 2009, 67-111.
43. Hatházi – Kovács 2014 = Hatházi Gábor – Kovács Loránd Olivér: Árpád-kori falu és kun szállás Perkáta-Nyúli-dűlő lelőhelyen. Falu, templom és temetők. In: "*Carmen miserabile*". *A tatárjárás magyarországi emlékei. Tanulmányok Pálóczi Horváth András 70. születésnapja tiszteletére*. Szerk. Rosta Sz. – Székely Gy. Kecskemét 2014, 241-270.
44. Hatházi – Szende 2003 = Hatházi Gábor – Szende Katalin: Népek és kultúrák a középkori Magyarországon. In: *Magyar régészet az ezredfordulón*. Főszerk. Visy Zs. Felelős szerk. Nagy M. Budapest 2003, 388-397.
45. Horváth 1978 = Horváth Ferenc: Csengele középkori temploma (Die mittelalterliche Kirche in Csengele). *MFMÉ* 1976–77/1 [1978], 91–126.
46. Horváth 2001 = Horváth Ferenc: *A csengelei kunok ura és népe*. Budapest 2001.
47. Horváth 2003 = Horváth Ferenc: Újabb kun vezéri sír leletei a Kiskunságból: Kiskunmajsa–Kuklis-tanya (Die Funde eines neuen kumanischen Führergrabes in Kleinkumanien: Kiskunmajsa – Kuklis-Gehöft). *MFMÉ Studia Archaeologica* IX (2003), 369–386.
48. Huszár 1948 = Huszár Lajos: Kiskunhalas-Alsóbodoglárpuszta. Éremleletek. A Magyar Történeti Múzeum Éremtárában feldolgozott éremleletek (Trouvailles des monnaies). *Numizmatikai Közlöny* 46-47 (1947-1948), 54-55.
49. Ivanov – Ivanova 2011 = Ivanov, Vladimir A. – Ivanova, M I: Geographical and Political Background of Medieval Nomads Settling in the Steppes of Eastern Europe. *Chronica. Annual of the Institute of History. University of Szeged* 11 (2011), 18–34.
50. Ivanov – Garustovič 1994 = Ivanov, Vladimir A. – Garustovič, Gennadij N: The Result of the Statistical Analyses of Funeral Rites of the Nomads in the „Great Steppe Belt" in the 10th–11th Centuries and their Ethnic Interpretation. In: *The Archaeology of the Steppes: Methods and Strategies. Papers from the International Symposium Held in Naples, 9-12 November 1992. Instituto Universitario Orientale Napoli. Dipartimento di Studi Asiatici. Series minor* 44 (1994), 573-589.
51. Jerney 1851 = Jerney János: *Keleti utazása a' magyarok őshelyeinek kinyomozása végett, 1844 és 1845*. I–II. Pest 1851.
52. KMTL = *Korai magyar történeti lexikon (9–14. század)*. Főszerk. Kristó Gy. Budapest 1994.
53. Kirpičnikov 1973 = Кирпичников, Анатолий Н.: *Снаряжение всадника и верхового коня на Руси IX—XIII вв.* Археология СССР. САИ. Е1-36. Наука. Москва 1973.
54. Kiss 2000 = Kiss Gábor: *Vas megye 10-12. századi sír- és kincsleletei* (*Archäologische und historische Angaben zur Geschichte des Komitats Vas im 10.-12. Jahrhundert*).

Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei 2. (Sorozatszerk.: Kovács L.–Révész L.) Szombathely 2000.
55. H. Kolba 1985 = H. Kolba, Judit: Die Fragen der Chronologie der profanen Goldschmiedekunst in 14. Jahrhundert. *AlbReg* 22 (1985), 51-56.
56. Kordé 1990 = Kordé Zoltán: A magyarországi besenyők az Árpád–korban (Les Pétchénègues de Hongrie à l'époque des Arpad). *Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae*. *Acta Historica* 90 (1990), 3-20.
57. Kovács 1971 = Kovács László: A Magyar Nemzeti Múzeum Fegyvertárának XI-XIV. századi csillag alakú buzogányai (Les massues étoiles des XIe-XIVe siècles conservées en Musée National Hongrois). *FoliaArch* 22 (1971), 165-181.
58. Kőhegyi 1972 = Kőhegyi Mihály: XIV. századi ezüstkincs Kelebiáról. *Cumania* (*Acta Museorum ex comitatu Bács-Kiskun*) 1 (1972), 205-213.
59. Kőhegyi 1978 = Kőhegyi Mihály: Pál bán feleségének ékszerei. In: *Régészeti barangolások Magyarországon*. Szerk. Szombathy V. Budapest 1978, 275-296.
60. Kralovánszky 1964 = Kralovánszky, Alán: Szarvasmarha-temetkezés a honfoglalás korából (Viehbestattung aus der Zeit der ungarischen Landnahme). *A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei* (*Бюлетень Венгерского Сельскохозяйственного Музея*. *Publications of the Hungarian Agricultural Museum*) 1964, 171-184.
61. Kralovánszky 1966 = Kralovánszky, Alán: Die landnahmezeitliche Rinderbestattung von Sárbogárd. *AlbReg* 6-7 (1965–1966), 89–96.
62. Kralovánszky 1985 = Kralovánszky Alán: Honfoglaló őseink szarvasmarhakultusza. In: *Az őshazától a Kárpátokig*. Szerk. Szombathy V. Budapest 1985, 360-374.
63. Kristó 1994 = Kristó Gyula (szerk.): *Kun László emlékezete*. Szegedi Középkortörténeti Könyvtár 5. Szeged 1994.
64. Kurz 1988 = Kurz Ágnes: *Lovagi kultúra Magyarországon a 13-14. században*. Budapest 1988.
65. Laszlovszky 1991 = Laszlovszky, József: Social Stratification and Material Culture in 10-14th century Hungary. In: *Alltag und materielle Kultur im mittelalterlichen Ungarn*. Hrsg. Kubinyi, A. – Laszlovszky, J. Krems 1991, 32-67.
66. László 1940 = László Gyula: Adatok a kunok tegezéről (Beitrag zur Kenntnis des kumanischer Köchers). *Néprajzi Értesítő* 32 (1940), 51–59.
67. László 1993 = László Gyula: *A Szent László-legenda középkori falképei (The Legend of St. Ladislas in Medieval Murals. Die Legende Ladislaus des Heiligen auf mittelalterlichen Wandgemälden)*. Tájak–Korok–Múzeumok Könyvtára 4. Budapest 1993.
68. MM 1987 = *Magyarországi művészet 1300-1470 körül*. I-II. Szerk. Marosi Ernő. Budapest 1987.
69. Méri 1954 = Méri István: Beszámoló a tiszalök–rázompusztai és túrkeve–mórici ásatások eredményéről. II. (Отчёт о раскопках в Тисалёк-Разомпуста и Туркеве-Мориц) *ArchÉrt* 81 (1954), 138–154.
70. Mesterházy 1976 = Mesterházy Károly: Az Ártánd-Zomlin pusztai uz sírlelet (Grabfund eines Uz-Kriegers auf der Pusta Ártánd-Zomlin). *A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve (Annales Musei Debreceniensis de Friderico Déri nominati)* (1976) [1977], 69-80.
71. Móra 1906 = Móra Ferenc: Ásatás a Szeged-öttömösi Anjou-kori temetőben. *ArchÉrt* 26 (1906), 18-27.
72. Móra 1908 = Móra Ferenc: Szeged vidéki leletekről. *ArchÉrt* 28 (1908), 361-371.
73. Művészet 1982 = *Művészet I. Lajos király korában* (*1342-1382*). *Kiállítási katalógus (Die Kunst während der Regierunszeit König Ludwigs I. von Ungarn /1342-1382/. Austellungskatalog)*. Szerk. Marosi E. – Tóth M. – Varga L. Székesfehérvár 1982.
74. Nagy 1893 = Nagy Géza: A régi kunok temetkezése. *ArchÉrt* 13 (1893), 105–117.

75. Nagy 1893a = Nagy Géza: A székes-fehérvári magyar pogánykori lelet. *A Fejér Megyei és Székesfejérvár Városi Történelmi és Régészeti Egylet Évkönyve*. Székesfehérvár 1893, 270-282.
76. Nagy 1896 = Nagy Géza: Hadtörténelmi emlékek az ezredéves kiállításon. *ArchÉrt* 13 (1896), 344–365.
77. Nagy 1969 = Nagy Árpád: Eger környéki és Tisza-vidéki besenyő települések a X.–XI. században. (Kísérlet a magyarországi besenyők régészeti hagyatékának meghatározására) (Agglomérations Pétchénègues dans les environs d'Eger et prés de la Tisza au Xe et XIe siècle). *Az Egri Múzeum Évkönyve (Annales Musei Agriensis)* 7 (1969), 129-157.
78. Oberschall 1945 = B. Oberschall Magda: A kiskunhalas-bodoglárpusztai középkori kincslelet (La trouvaille médievale en argent de Kiskunhalas-Bodoglár-puszta). *Magyar Múzeum* 1945, 13-21.
79. Ódor 1999 = Ódor János Gábor: *Honfoglalás- és kora Árpád-kori soros temetők sírleleteinek katasztere Tolna megyében* (*Kataster der Grabfunde von Reihengräberfelder aus der ungarischen Landnahme- und Früharpadenzeit im Komitat Tolna*). *WMMÉ* 21 (1999), 151–173.
80. Pálóczi Horváth 1969 = Pálóczi Horváth András: A csólyosi kun sírlelet (Trouvaille de sépulture comane de Csólyos). *FoliaArch* 20 (1969), 107–134.
81. Pálóczi Horváth 1974 = Pálóczi Horváth András: A kunok megtelepedése Magyarországon (Данные к истории поселения половцев в Венгрии. L'établissement des Comans en Hongrie). *ArchÉrt* 101 (1974), 244–259.
82. Pálóczi Horváth 1982 = Pálóczi Horváth András: Régészeti adatok a kunok viseletéhez (Archäologische Angaben zur Tracht der Komanen). *ArchÉrt* 109 (1982), 89–107.
83. Pálóczi Horváth 1985 = Pálóczi Horváth András: A kunok feudalizálódása és a régészet (Die Feudalisierung der Kumanen und die Archäologie). In: *Középkori régészetünk újabb eredményei és időszerű feladatai (Neuere Ergebnisse und aktuelle Fragen der Mittelalter-Archäologie in Ungarn)*. Szerk. Fodor I. – Selmeczi L. Budapest 1985, 93-104.
84. Pálóczi Horváth 1986a = Pálóczi Horváth András: Régészeti és településtörténeti adatok a kunok letelepedéséhez. Egy középkori kun falu, Szentkirály feltárásának eredményei (Archaeological and settlement-historical data to the settlement of Cumanians. Results of exploring of a medieval Cuman village called Szentkirály). In: *Falvak, mezővárosok az Alföldön*. *Villages, country towns in the Great Hungarian Plain*. Szerk. Novák L. – Selmeczi L. Az Arany János Múzeum Közleményei (Acta Musei de János Arany Nominati) IV. Nagykőrös 1986, 215–236.
85. Pálóczi Horváth 1986b = Pálóczi Horváth András: Szállások, halmok, temetők. (Kisújszállás településtörténete az őskortól a török kor végéig). In: *Kisújszállás város története*. I. Szerk. Szabó L. Kisújszállás 1986, 97–170, 181–202.
86. Pálóczi Horváth 1987 = Pálóczi Horváth András: Középkori településtörténeti kutatások a Nagykunságon. In: *A Jászkunság kutatása 1985*. Szerk. Fazekas I. – Szabó L. – Sztrinkó I. Kecskemét – Szolnok 1987, 11-28.
87. Pálóczi Horváth 1989a = Pálóczi Horváth, András: *Pechenegs*, *Cumans, Iasians*. *Steppe peoples in medieval Hungary*. Hereditas. Budapest 1989.
88. Pálóczi Horváth 1989b = Pálóczi Horváth András: A Balota pusztai középkori sírlelet (Der mittelalterliche Grabfund aus Balota Puszta). *Cumania* (*Acta Museorum ex Comitatu Bács-Kiskun*) 11 (1989), 95–148.
89. Pálóczi Horváth 1989c = Pálóczi Horváth András: *Besenyők, kunok, jászok*. Budapest 1989.
90. Pálóczi Horváth 1992 = Pálóczi Horváth András: Túrkeve története a honfoglalástól a török idők végéig (The History of Túrkeve from the Hungarian Conquest up to the end of the Turkish Period). In: *Túrkeve földje és népe*. I. Szerk. Örsi J. Túrkeve 1992, 49–112.

91. Pálóczi Horváth 1994 = Pálóczi Horváth András: *Hagyományok, kapcsolatok és hatások a kunok régészeti kultúrájában*. *Traditions, connections and influences in the archaeological culture of the Cumanians*. Keleti örökségünk 2. Karcag 1994.
92. Pálóczi Horváth 1996 = Pálóczi Horváth András: Élet egy középkori faluban. Szentkirály régészeti kutatásának eredményei. In: *Élet egy középkori faluban*. *25 év régészeti kutatása a 900 éves Szentkirályon*. *Life in a medieval village*. *25 years archaeological research in the 900 years old Szentkirály*. Szerk. Pálóczi Horváth A. Budapest 1996, 7–28, 45–68.
93. Pálóczi Horváth 1996a = Pálóczi Horváth András: Nomád népek a kelet-európai steppén és a középkori Magyarországon. In: *Zúduló sasok. Új honfoglalók – besenyők, kunok, jászok – a középkori Alföldön és a Mezőföldön*. Kiállítási katalógus. Szerk. Havassy P.. Gyulai Katalógusok 2. Gyula 1996, 7–36.
94. Pálóczi Horváth 2006 = Pálóczi Horváth András: Az elpusztult késő középkori falvak morfológiai variációi (The Morphological Variations of the Ruined Villages from the Late Medieval Ages. Morphologische Variationen der zerstörten Dörfer aus dem späten Mittelalter). *Arrabona (A Győri Múzeum Évkönyve – Les Annales du Musée de Győr)* 44/1 2006, 357–390.
95. Pálóczi Horváth 2014 = Pálóczi Horváth András: A kunok régészeti kutatásának néprajzi-művelődéstörténeti tanulságai. Ethnographic and cultural-historical relevance of the archaeological research of Cumans in Hungary. *Ethnographia* (*A Magyar Néprajzi Társaság folyóirata – A Journal of the Hungarian Ethnographical Society*) 125 (2014), 79–114.
96. Pálóczi Horváth 2014a = Pálóczi Horváth András: *Keleti népek a középkori Magyarországon. Besenyők, úzok, kunok és jászok művelődéstörténeti emlékei*. (*Восточные народы в средневековой Венгрии*. *Печенеги, узы, половцы, ясы*). Studia ad Archaeologiam Pazmaniensiae 2. Szerk. Major B. – Türk A. Budapest – Piliscsaba 2014.
97. Parádi 1963 = Parádi Nándor: Magyarországi pénzleletes középkori cserépedények (Средневековые керамические сосуды, содержащие монеты, найдённые на территории Венгрии). *ArchÉrt* 90 (1963), 205-248.
98. Parádi 1990 = Parádi Nándor: Néhány szó a kiskunhalas-fehértói kincsleletről (Bemerkungen zum Schatzfund Kiskunhalas-Fehértó). *Cumania* (*Acta Museorum ex Comitatu Bács-Kiskun*) 12 (1990), 71-80.
99. Petkes 2006 = Petkes Zsolt: 12. századi temetőrészlet Sárbogárd-Templom-dűlőből. Újabb régészeti adatok a Sárvíz-völgy 10-12. századi történetéhez (Gräberfeldabschnitt von Sárbogárd-Templom-dűlő aus dem 12. Jh.) *AlbReg* 35 (2006), 93–124.
100. Petkes 2007 = Petkes, Zsolt: Friedhofabschnitt aus dem XII. Jahrhundert in der sárbogárder Kirchensenke: neue archäologische Berichte zur Geschichte des Sárvíz-Tales aus dem 10.-12. Jahrhundert). *AlbReg* 36 (2007), 89–125.
101. Petkes 2012 = Petkes Zsolt: Rúdzablák a X–XII. századi Kárpát-medencében. In: *Hadak útján*. *A népvándorlás kor kutatóinak XIX. konferenciája*. Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága Tanulmányok 3. Szerk. Biró Szilvia. Győr 2011 [2012], 231–246.
102. Pletneva 1958 = Плетнева, С.А.: Печенеги, торки и половцы в южнорусских степях. In: *Труды Волго-Донской археологической экспедиции*. Том I. МИА 62. Москва - Ленинград 1958, 151-226.
103. Pletneva 1973 = Плетнева, С.А.: *Древности черных клобуков*. Археология СССР. САИ. Е1-19. Наука. Москва 1973.
104. Pletneva 1981 = Плетнева, Светлана А. (ред.): *Степи Евразии в эпоху средневековья*. Археология СССР. Наука. Москва 1981.
105. Révész 1996 = Révész László: *A karosi honfoglalás kori temetők*. *Régészeti adatok a Felső-Tisza-vidék X. századi történetéhez* (*Die Gräberfelder von Karos aus der Landnahmezeit. Angaben zur Geschichte des Oberen Theißgebietes im 10. Jahrhundert*). Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei 1. (Sorozatszerk.: Kovács L.– Révész L.) Miskolc 1996.

106. Révész 2008 = Révész László: *Heves megye 10–11. századi temetői* (*Die Gräberfelder des Komitates Heves im 10.-11. Jahrhundert*). Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei 5. (Sorozatszerk.: Kovács L.– Révész L.) Budapest 2008.
107. Ritoók 1997a = Ritoók Ágnes: A magyarországi falusi templom körüli temetők feltárásának újabb eredményei (Latest results of excavations of village churchyards in Hungary). *FoliaArch* 46 (1997), 165-177.
108. Ritoók 1997b = Ritoók Ágnes: Templom körüli temetők Árpád-kori sírjelei Magyarországon. *CommArchHung* 1997, 205-213.
109. Ritoók 2004 = Ritoók Ágnes: Szempontok a magyarországi templom körüli temetők elemzéséhez. In: "*Es tu scholaris*". *Ünnepi tanulmányok Kubinyi András 75. születésnapjára*. Szerk. F. Romhányi B. – Grynaeus A. – Magyar K. – Végh A. Monumenta Historica Budapestinensia 13. Budapest 2004, 115-123.
110. Ritoók 2010 = Ritoók Ágnes: A templom körüli temetők régészeti kutatása (The Archaeological Researching of Churchyards). In: *A középkor és a kora újkor régészete Magyarországon (Archaeology of the Middle Ages and the Early Modern Period in Hungary)*. Szerk. Benkő E. – Kovács Gy. Budapest 2010, 473-493.
111. Rosta 2009 = Rosta Szabolcs: Új eredmények a kunok Duna–Tisza közi szállásterületének kutatásában. In „*Kun-kép*". *A magyarországi kunok hagyatéka*. *Tanulmányok Horváth Ferenc 60. születésnapja tiszteletére*. Szerk. Rosta Sz. Kiskunfélegyháza 2009, 175–216.
112. Šafarik – Šulman 1954 = Šafarik, Olga – Šulman, Mirko: Hinga. Srednjovekovna nekropola kod Subotice (The medieval necropolis Hinga near Subotica). *Rad vojvođanskih muzeja* 3 (1954), 5-55.
113. Sárosi 2005 = Sárosi Edit: Régészeti kutatások Bugac-Felsőmonostoron: Egy erősen rombolt lelőhely kutatásának módszertani tanulságai (Methodological Approaches in the Research of a Severly Destroyed Site: Bugac-Felsőmonostor, a Case Study). In "*…a halál árnyékának völgyében járok". A középkori templom körüli temetők kutatása*. Opuscula Hungarica 6. Szerk. Ritóók Á. – Simonyi E. Budapest 2005, 233-238.
114. Selmeczi 1974 = Selmeczi László: Nomád települési struktúra a Nagykunságban (Orgondaszentmiklós 14–16. századi település ásatásának eredményei). In: *Paraszti társadalom és műveltség a 18–20. században*. *I. Faluk*. Szerk. Hofer T. – Kisbán E. – Kaposvári Gy. Budapest – Szolnok 1974, 47–58.
115. Selmeczi 1992 = Selmeczi László: *Régészeti-néprajzi tanulmányok a jászokról és a kunokról*. Folklór és Etnográfia 64. Debrecen 1992.
116. Selmeczi 1996 = Selmeczi László: Régészeti ásatások a Nagykunságon. In: *Zúduló sasok. Új honfoglalók – besenyők, kunok, jászok – a középkori Alföldön és Mezőföldön*. Szerk. Havassy P. Gyulai Katalógusok 2. Gyula 1996, 59-66.
117. Selmeczi 2006 = Selmeczi László: A karcag-orgondaszentmiklósi kun szállástemető első sírjának lehetséges értelmezése (Eine mögliche Interpretation des ersten Grabes in Friedhof des Kumanenquarters von Karcag-Orgondaszentmiklós). *CommArchHung* 2006, 253-274.
118. Selmeczi 2006a = Selmeczi László: „…Istentül adattál édes szűz koronám" Adatok a párta történetéhez a Kárpát-medencében (Facts and Figures on the History of *párta* [a coronet worn by maidens as a mark of their unmarried status] in the Carpathian Basin) . *Ethnographia (A Magyar Néprajzi Társaság folyóirata – A Journal of the Hungarian Ethnographical Society)* 117/1 (2006), 17-64.
119. Selmeczi 2009 = Selmeczi László: A karcag-orgondaszentmiklósi kun szállástemető régészeti kutatásának néhány tanulsága. In: „*Kun-kép*". *A magyarországi kunok hagyatéka. Tanulmányok Horváth Ferenc hatvanadik születésnapja tiszteletére*. Szerk. Rosta Sz. Kiskunfélegyháza 2009, 17-33.
120. Selmeczi 2011 = Selmeczi László: *Kötöny népe Magyarországon*. Karcag 2011.

121. Selmeczi 2014 = Selmeczi László: A kunok és jászok régészeti-néprajzi megvilágításban (The archaeological and ethnographic interpretation of Cumanian and Jász/Jassic culture). *Ethnographia (A Magyar Néprajzi Társaság folyóirata – A Journal of the Hungarian Ethnographical Society)* 125/1 (2014), 48-78.
122. Spinei 1982 = Spinei, Victor: *Moldova în secolele XI-XIV*. Editura Stiinţifică şi Enciclopedică. Bucureşti 1982.
123. Spinei 1985 = Spinei, Victor: *Realităţi etnice şi politice în Moldova Meridională în secolele X – XIII. Români şi tuanici*. Editura Junimea. Iaşi 1985.
124. Spinei 1999 = Spinei, Victor: *Marile migraţii din estul şi sud-estul Europei în secolele IX-XIII*. Institutul European. Iaşi 1999.
125. Spinei 2003 = Spinei, Victor: *The great migrations in the East and South East of Europe from the ninth to the thirteenth century*. Romanian Cultural Institute. Cluj-Napoca 2003.
126. Stanojev 1989 = Stanojev, Nebojša: *Nekropole X-XV veka u Vojvodini*: *712 kataloških jedinica*. Novi Sad 1989.
127. Szabadfalvi 1970 = Szabadfalvi József: *Az extenzív állattenyésztés Magyarországon*. Műveltség és Hagyomány XII. Debrecen, 1970.
128. Szabó 1938 = Szabó Kálmán: *Az alföldi magyar nép művelődéstörténeti emlékei*. *Kulturgeschichtliche Denkmäler der Ungarischen Tiefebene.* Bibliotheca Humanitatis Historica III. Budapest 1938.
129. V. Székely 1999 = V. Székely György: A kelebiai ezüstkincs sisakdíszes lemeze és heraldikai vonatkozásai. *Múzeumi Kutatások Bács-Kiskun megyében 1998*. Kalocsa 1999, 49-58.
130. Széll 1940 = Széll Márta: *Elpusztult falvak, XI-XVI. századbeli régészeti leletek Szeged és Hódmezővásárhely határában*. DolgSzeg 16. Szeged 1940, 159-180.
131. Takács 1986 = Takács, Miklós: *Die arpadenzeitlichen Tonkessel im Karpatenbecken*. Varia Archaeologica Hungarica 1. Budapest 1986.
132. Tálasi 1936 = Tálasi István: *A Kiskunság népi állattartása*. Budapest 1936.
133. Terei – Horváth 2007 = Terei György – Horváth Antónia: Az Árpád–kori Kána falu vasleletei II. *Budapest Régiségei* 41 (2007), 153-192.
134. Türk 2010 = Türk Attila: A szaltovói kultúrkör és a magyar őstörténet régészeti kutatása. In: *Középkortörténeti tanulmányok 6*. Szerk. G. Tóth P. – Szabó P. Szeged 2010, 261-306.
135. Türk 2011 = Türk Attila: *A magyar őstörténet és a szaltovói régészeti kultúrkör* (Die Vorgesichte der Ungarn und die Archäologie des Saltovo-Kulturkreises). PhD-értekezés. Budapest – Szeged 2011.
136. Wolf 2003 = Wolf Mária: Földvárak a 11-13. századi Magyarországon. In: *Magyar régészet az ezredfordulón*. Főszerk. Visy Zs. Felelős szerk. Nagy M. Budapest 2003, 328-333.
137. Wolf 2004 = Wolf Mária: Niellódíszes bronzcsat Edelény-Borsodról (Niello geschmückte Bronzeschnalle von Edelény-Borsod). *A Herman Ottó Múzeum Évkönyve* (Annales Musei Miskolciensis de Herman Ottó Nominati) 43 (2004), 139-159.
138. Wolf 2005 = Wolf Mária: Ecclesia baptismalis, ecclesia parochialis. A borsodi ispánsági vár templomai (The churches of the ispán's castle at Borsod). In: „*…a halál árnyékának völgyében járok*" *A középkori templom körüli temetők kutatása*. Opuscula Hungarica VI. Szerk. Ritoók Á. – Simonyi E. MNM Budapest 2005, 132-139.
139. Zsámbéky 1983 = Zsámbéky Mónika: XIV-XV. századi magyarországi kincsleletek (Schatzfunde aus den 14-15. Jahrhunderten aus Ungarn). *Művészettörténeti Értesítő* 32 (1983), 105-128.

ActaArchHung = Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest)

AlbReg = Alba Regia. A Szent István Múzeum Évkönyve (Annales Musei Stephani Regis) (Székesfehérvár)

ArchÉrt = Archaeologiai Értesítő (Budapest)

CommArchHung = Communicationes Archaeologicae Hungariae (Budapest)

DolgSzeg = Dolgozatok a M. Kir. Ferencz József Tudományegyetem Archaeológiai Intézetéből (Arbeieten des Archaeologischen Instituts der Kön. Ung. Franz-Josef Universität in Szeged – Travaux de l'Institut archéologique de l'Université François-Joseph à Szeged)

FoliaArch = Folia Archaeologica (Budapest)

In = в кн.

MFMÉ = A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve (Szeged) (с 1995 г.: MFMÉ Studia Archaeologica)

MNM = Magyar Nemzeti Múzeum

szerk. = ред. (főszerk. = гл. ред.; felelős szerk. = отв. ред.)

WMMÉ = A Wosinsky Mór Múzeum Évkönyve (Jahrbuch des Wosinsky Mór Museums, Szekszárd)

PECHENEGS AND KUNS. ARCHAEOLOGICAL HERITAGE

Horváth Ferenc, Hatházi Gábor
University of Szeged, Szeged, Hungary

Abstract. On a large factual basis, the article discusses migrations of nomadic tribes to the lands of the present Hungary and their acculturation. The article presents the representative results of archaeological works carried out by different experts for more than a century.

Keywords: pechenegs, besenyő, kuns, epoch of the Arpads.

ГДЕ ОБРЕЛ СВОЮ САБЛЮ БАГЫР?
ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЕ ТРОФЕИ У КОЧЕВНИКОВ ЦЕНТРА АЗИИ

Фодор И.[1], Васильев Д.Д.[2]
[1] *Национальный музей Венгрии, Будапешт, Венгрия*
[2] *ИВ РАН, Москва, Россия*

Аннотация. В научной литературе неоднократно публиковалась редкая археологическая находка А.Д. Грача из кургана Эйлиг-Хем III – сабля с арабской надписью на клинке и тамгой и именем владельца, вырезанным тюркскими рунами на намогильной стеле. Источниковедческое, историко-культурное и поэтическое осмысление этой находки приобрело почти легендарный характер. Несмотря на это, по вопросу происхождения и места изготовления сабли среди исследователей нет единого мнения. Нам кажется, что близкая аналогия венской сабли, клинок из кургана Эйлиг-хэм III, является продуктом восточно-европейских мастеров, причем образцовым продуктом. Он, видимо, попал в далекую Туву, на землю енисейских кыргызов через Среднюю Азию и Туркестан. Путем торговли или как военный трофей, об этом мы можем только догадываться.

Ключевые слова: енисейские кыргызы, вооружение средневековых кочевников, тюркские рунические надписи.

«Мое имя Багыр» - так гласят письмена
На гранитной плите, иссеченной ветрами,
Тайна древней могилы нам стала ясна,
И легендой она ожила перед нами.
…
Почему он зарыт на вершине у скал?
Мне б окликнуть Багыра, узнать, что за силы
Здесь сразили его?
Или, может, он пал,
Окруженный несметной ордою Аттилы?
…
- Расскажите, башкы, о мече!
- Говорят,
Меч такой же под Киевом найден?
…
- Да, в Туве меч дамасский - загадка для нас.
Разгадать до конца мы ее не сумели…
Но могу вам сказать по секрету сейчас –
Полагаю, что мы приближаемся к цели.

Отрывки из стихотворения тувинского поэта
Ю. Кюнзегеша «Меч Багыра»

Редко бывает так, чтобы романтические размышления поэта совпадали с направлением научного поиска исследователей. Тем не менее, истина такова – новые гипотезы о происхождении одной из загадочных археологических находок в курганах Тувы вновь и вновь оживляют дискуссию о международных контактах раннесредневековых кочевников Центра Азии.

В научной литературе неоднократно публиковалась редкая археологическая находка А.Д. Грача из кургана Эйлиг-Хем – сабля с арабской надписью на клинке и тамгой и именем владельца, вырезанным тюркскими рунами на намогильной стеле. Источниковедческое,

историко-культурное и поэтическое осмысление этой находки приобрело почти легендарный характер. Несмотря на это, по вопросу происхождения и места изготовления сабли среди исследователей нет единого мнения.

Среди находок из Эйлиг-Хэмского могильника особого внимания, несомненно, заслуживает сабля из погребения 1 кургана 2 [Грач, Савинов, Длужневская, 1998, с. 7-8, 10, 26-27] (рис. 1, 2).[1]

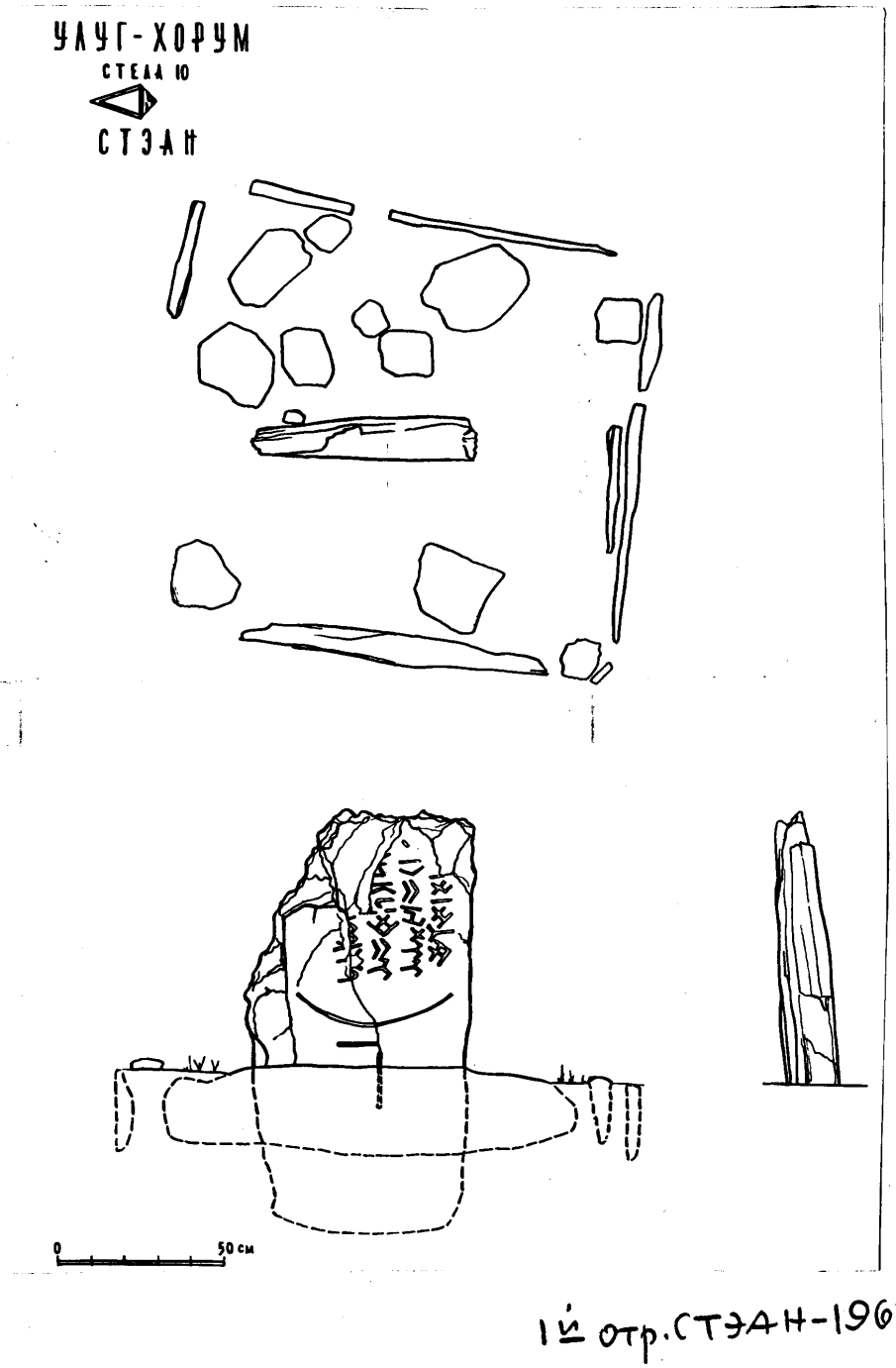


Рис. 1. Схема погребения с «саблей Багыра».

[1] М.В. Горелик отметил, что «этот клинок по хазарскому обычаю был положен покойнику согнутым» [Горелик, 2001, с. 99]. Это явное недоразумение, ведь сабля в кургане 2 лежала в непорченном виде, согнутая же сабля была найдена в кургане 3. См.: [Грач, Савинов, Длужневская, 1998, с. 16, 29].

Слабо изогнутый клинок длиной 90 см в конце у острия имеет елмань примерно на одну четверть, где заточены обе его стороны. Черень рукояти длиной 10 см изогнут в сторону лезвия. Короткое перекрестье из бронзы оканчивается шариками, и его концы опущены в сторону клинка. Сверху оно имеет язычок, конец которого пробит заклепкой, прикрепляющей его к рукояти. Поверхность перекрестья богато украшена растительным орнаментом, рисунок которого едва виден из-за окиси. Отчетливо видны лишь выполненные гравировкой завитки лозы и лепестков. Шляпки заклепок на черене рукояти выполнены в виде четырехлепестковых розеток (рис. 3).

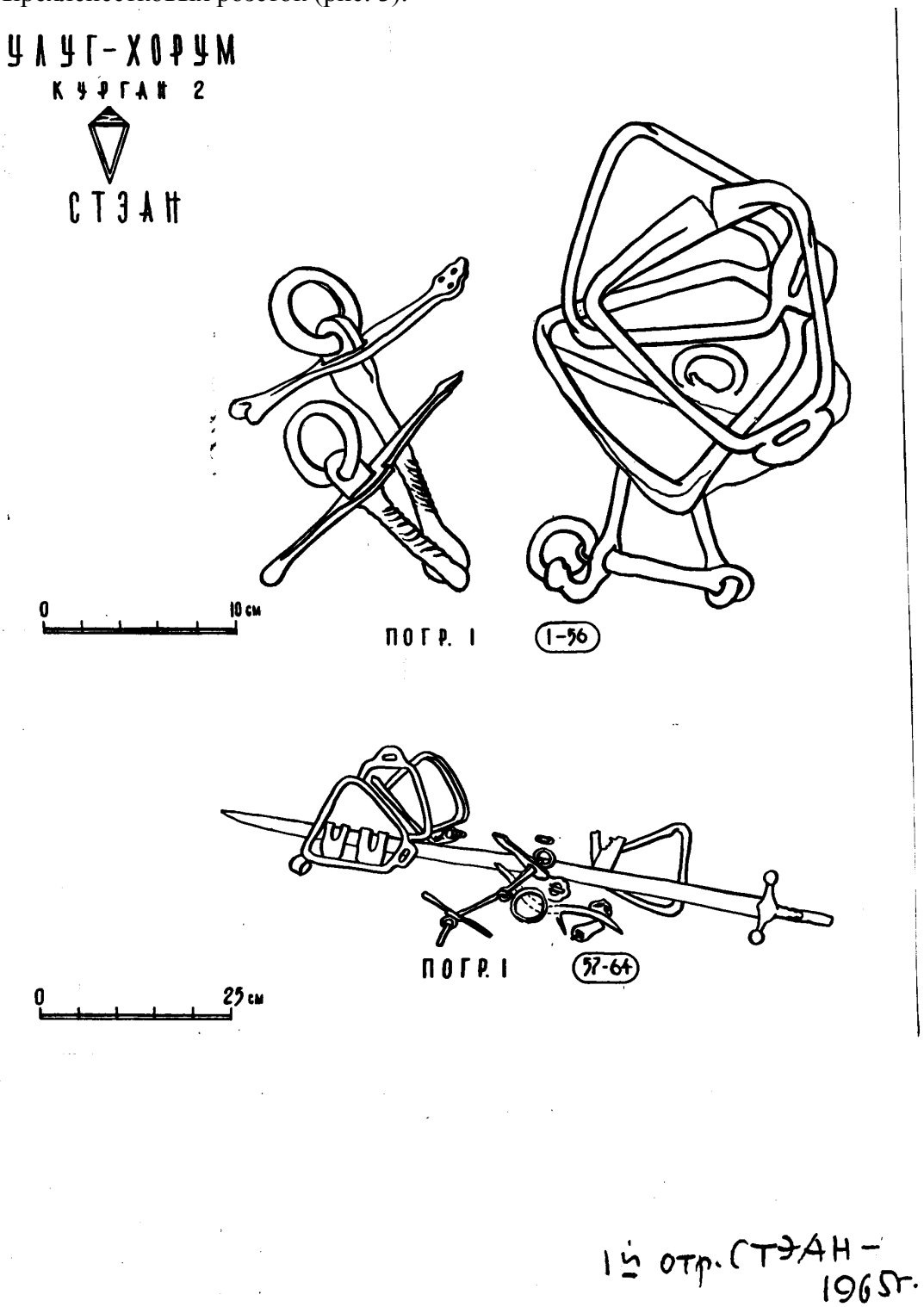


Рис. 2. Инвентарь из погребения, где была найдена «сабля Багыра».

Рис. 3. «Сабля Багыра». Слева – зарисовка клинка. Справа – фотография рукояти сабли.

Украшен и клинок сабли по обеим его сторонам выгравированным узором в виде плавно изгибающейся ветви с отходящими от нее лепестками (полупальметками) (рис. 3) [Худяков, 1980, с. 42].

Авторы публикации могильника отмечают: «По мастерству исполнения, сохранности и художественной ценности декоративного оформления “меч Багыра”, сделанный из дамасской стали, не имеет себе равных среди всех остальных находок подобного рода в Центральной Азии и Южной Сибири» [Грач, Савинов, Длужневская, 1998, с. 26]. Жаль

только, что это замечательное оружие не было должным образом реставрировано, что не позволяет выяснить некоторые важные детали его изготовления и орнаментации.

Дата данного оружия устанавливается достаточно точно по куфической надписи – цитаты из Корана – на обеих сторонах клинка, датированной IX в. [Там же, с. 26-27]. Обратим еще раз внимание на собственно саблю и ее ювелирное оформление. По обе стороны клинка имеются куфические арабские надписи и следы узорной чеканки с растительным орнаментом. Хотя погребение датируется X в., характерные особенности эфеса позволяют датировать его IX в. Палеографический анализ позволяет выявить некоторую графическую стилизацию, продуманную композицию надписи, профессиональные навыки гравера, оставившего на клинке благословляющую оружие сентенцию. Особенности надписи также позволяют отнести ее к ранним куфическим вариантам не позднее второй половине IX в. Хотя форма клинка, предполагаемый угол крепления рукояти и форма эфеса допускают возможность изготовления оружия в степном поясе Евразии, текст весьма характерен для надписей на клинках, изготовленных для арабов. На одной из сторон клинка тонкой глубокой гравировкой нанесена часть фразы «...помощь от Аллаха». Продолжение фразы на другой стороне клинка: «... и близкая победа». Фраза представляет собой фрагмент 13-го айата 61-й суры Корана «Ряды». Полный текст айата гласит: «[Ещё преуспеяние] другое, которое вы любите, - помощь от Аллаха и близкая победа. Сообщи же благую весть верующим» [Османов, 1995, с. 356]. Судя по композиции надписи на клинке и сохранности эпиграфического текста, маловероятно, что айат был выгравирован там полностью. Кроме того, именно этот фрагмент имеет аналоги. Например, по сообщению И.Ю. Крачковского, это выражение стало распространенной надписью на знаменах мусульманского воинства [Крачковский, 1990, с. 623], которым тюрки, тюргеши и кыргызы преградили дальнейшую экспансию на восток.

Рис. 4. Руническая надпись на стеле у погребения 1 кургана 2.

Рис. 5. Клинок венской сабли.

Несомненно, что саблей пользовались достаточно долго, ведь она попала в землю только в конце X или начале XI вв. [Там же, с. 59, 68]. И еще одна особенность этого оружия: с большой долей вероятности можно установить имя его владельца по рунической надписи на каменной стеле, стоявшей рядом с погребением (рис. 4). Первая публикация надписи выполнена И.А. Батмановым и А.Ч. Кунаа в 1965 г. Наш вариант перевода надписи: «Вам – надпись обо мне! Его геройская доблесть (проявлена в) Тунга. Его воинское имя – Багыр (возможно – Багрын). Сотня…» [Васильев, 1983].

Аналогии данному оружию не известны ни в Центральной Азии, ни в Южной Сибири или Средней Азии, оно, по всей вероятности, является импортом из Восточной Европы. Только там известны сабельные клинки, украшенные подобным растительным узором.[2]

Самым известным из указанных аналогий является знаменитая сабля в Историко-художественном музее Вены, которую называют «мечом Карла Великого» или «мечом Аттилы». В действительности же, оружие не имеет никакого отношения ни к той, ни к другой исторической личности, и связанные с ним легенды возникли намного позже жизни этих героев.[3] Оно до 1794 г. хранилось в Ахене (в Вену оно было перенесено в 1801 г.) и было одной из коронационных инсигний Германо-Римской империи. Сабля богато украшена золотыми листовыми пластинами, поверхность которых покрыта плетено-растительным орнаментом. Но, с нашей точки зрения, самой важной деталью является украшение ее клинка позолоченной медной полосой с орнаментом в виде изгибающейся ветви с полупальметками. В конце полосы под перекрестьем ветвь переходит в тела двух драконообразных животных, связывающихся своими языками (рис. 5) [Кирпичников, 1965; Fettich, 1973, c. 133-143, Abb. 35-43; Fodor, 2000, c. 7-20].

Здесь нет возможности подробно останавливаться на множестве гипотез о времени и месте изготовления венской сабли, читатель их найдет в указанных нами работах. Отметим только самые близкие аналогии. Среди них, в первую очередь, надо упомянуть хорошо известную «саблю Хвойновского», которая была найдена в Киеве в 1892 г. в саркофаге с крестом. Но она была уложена в саркофаг по языческому обычаю: согнутой пополам. Вдоль ее лезвия – как на венской сабле – прикреплена позолоченная медная полоса с гравированным растительным орнаментом в виде плавной ветви с листьями. Фон орнамента – тоже как у венской сабли – заполнен кружками-пуансоном (рис. 6) [Корзухина, 1950, с. 83; Кирпичников, 1966, с. 65]. Данный клинок, несомненно, был частью парадного оружия X в. Главным образом, на основании этой аналогии можно предполагать, что венская сабля была сделана в Киеве во второй половине X или в первой четверти XI вв. [Корзухина, 1950, с. 85; Кирпичников, 1965, с. 275].

---

[2] Необходимо, однако, отметить, что по этому вопросу среди исследователей нет единого мнения. Авторы публикации раскопок считали, что сабля является арабской работой [Грач, Савинов, Длужневская, 1998, с. 20]. И.Л. Кызласов присоединился к этому мнению, добавив, что клинок «...получил в древнехакасских мастерских обычные местные аксессуары» [Кызласов, 2003, с. 457].

[3] Об этом см. монографию З. Тота: [Tóth, 1930].

Рис. 6. Украшение клинка «сабли Хвойновского».

Действительно, украшения венской сабли несут на себе некоторые характерные черты ранне-киевского искусства: узкие пальметки и плетенный в сетку лозово-лепестковый орнамент встречаются на ободках знаменитых черниговских турьих рогах или на серебряной пластине рукояти меча, найденного у Золотых ворот в Киеве (рис. 7) [Корзухина, 1950, с. 86; Каргер, 1958, табл. XIII; Кирпичников, 1966, с. 33].[4]

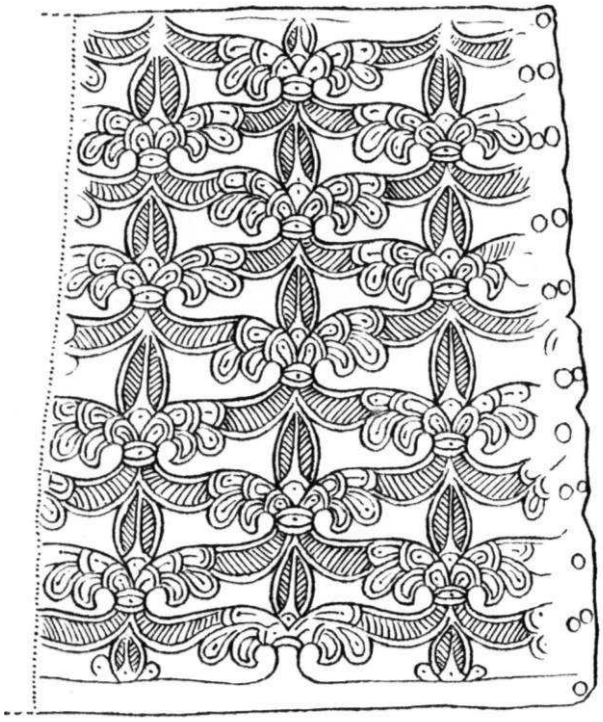


Рис. 7. Зарисовка орнамента серебряной пластины киевского меча.

Однако авторами, которыми была высказана гипотеза киевского происхождения «сабли Карла Великого», было подчеркнуто, что это оружие могло быть сделано и на территории Венгрии. Подобное предположение неоднократно высказывалось и венгерскими исследователями с конца XIX в. В качестве доказательства ими были приведены археологические данные и письменные источники. Первые составляют богато украшенные парадные сабли, найденные в древне-венгерских погребениях X в. (Тарцал, Гестеред, Земплен, Ракамаз и Карош, см. [Ancient Hungarians, 1996, с. 66, 80-81, 87, 96-97, 106-107, 108, 114, 121; Fettich, 1973, с. 164]). Все они украшены золотыми и серебряными пластинами, покрытыми типичным венгерским пальметочным орнаментом. Особенно важно отметить, что в последнее время были найдены два клинка, на которых прикреплены – правда, без орнамента – бронзовые полосы (Абонь и Будапешт, см. [Benkő 1980; Bálint 1980. 243-244]). Хотя, к сожалению, оба сохранились только частично, они все же подтверждают, что у венгерских оружейников существовала традиция украшать клинки ставными полосами. И хотя эти полосы не орнаментированы, в древне-венгерском орнаменте нередко изображался ветвь с пальметами, как, например, по краю серебряной чаши из Кетпо и на браслете из Мезозомбор (рис. 8) [Ancient Hungarians, 1996, с. 159, 237].

Однако все же нельзя утверждать, что венская сабля отражает только древне-венгерские традиции. На ней можно явно проследить и традиции норманнского искусства (плетение, изображение драконов). Кроме этого, мы уже указали на явные черты древнерусского искусства. И норманнские, и древнерусские элементы, однако, могли в X в. сочетаться одновременно в окрестностях Киева и Чернигова. В то же время, мы должны принять во внимание, что традиции норманнского искусства были знакомы и венгерским мастерам. В древне-венгерском орнаменте иногда также встречается плетение. В композиции на бездедской пластине поясной сумки мы видим такие же узколиственные пальметки, как на декоре сабельных клинков [Fodor, 1996, с. 35-36, Fodor, 2000, с. 15-16; Ancient Hungarians, 1996, с. 182-183].

[4] В 1989 г. меч вместе с другими экспонатами Киевского музея исторических драгоценностей был на выставке в Будапеште, в Венгерском Национальном музее. Тогда был сделан его рентгеновский снимок и замечен богатый орнамент из серебряных инкрустаций на навершии рукояти и перекрестья. В 1990-1991 гг. меч был реставрирован заведующим реставрационной мастерской ВНМ Г. Бати, и орнамент был освобожден от железной окиси. См. [Báthy, 1992; Gold aus Kiew, 1993, с. 272-273]. Тогда же была сделана точная развернутая прорисовка орнамента на серебряной пластине рукояти художником А. Бано (рис. 7).

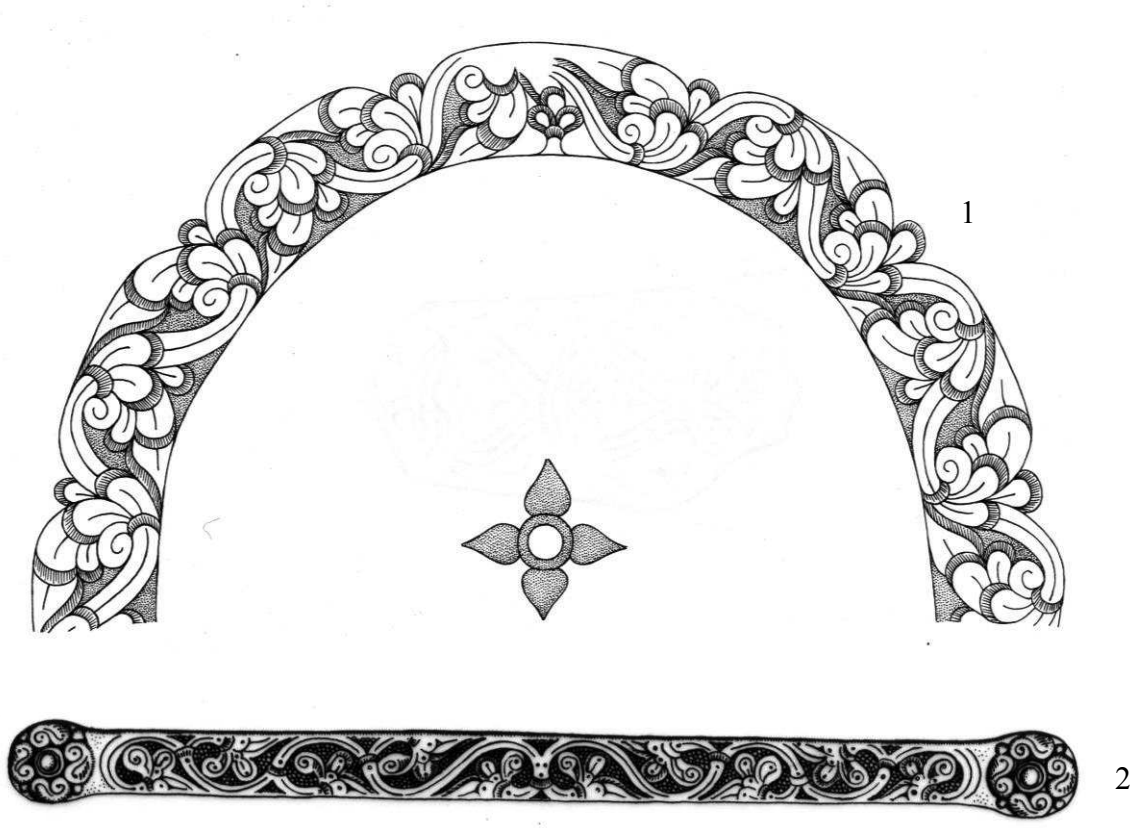


Рис. 8. 1 – Орнамент серебряной чаши из Кетпо. 2 – Орнамент браслета из Мезозомбор.

По данным письменных источников можно также предполагать, что венская сабля была принесена из Венгрии в Германию. Видный венгерский историк и археолог Г. Надь первым высказал это предположение в 1896 г. [Nagy, 1896, c. 350, Nagy, 1900, c. 235]. Он обратил внимание на сообщение герсфельдского монаха Ламберта от 1071 г. По его описанию, венгерская королева Анастасия, дочь Ярослава Мудрого и вдова венгерского короля Андрея I (1046–1060), в 1063 г. подарила меч баварскому герцогу Отто Нордгейскому, полководцу немецкого короля Генриха IV, в знак благодарности за то, что он помог вернуть трон ее сыну Соломону. Монах отмечает, что это был меч гуннского вождя Аттилы. Г. Надь и за ним целый ряд венгерских исследователей полагали, что подарком Анастасии была именно венская сабля[5] [Tóth, 1930, c. 204].

На основании приведенных данных можно предположить, что венская сабля была сделана в венгерской оружейной мастерской, работавшей для княжеского или королевского двора, мастерами, которым были хорошо знакомы и венгерские, и норманнские ювелирные традиции [Ancient Hungarians, 1996, c. 71]. Можно далее также предполагать, что и «сабля Хвойновского» является произведением венгерских мастерских или же венгерских мастеров, состоявших на службе у киевского княжеского двора [Fodor, 1982, c. 256-258].

В то же время, нехарактерное для венгерских сабель оформление клинка, где елмань занимает 2/3 клинка (у венгерских сабель это всего 1/3), указывает, видимо, на то, что изготовители венской сабли не придерживались норм венгерских мастерских или вообще не знали о них. Таких мастеров мы скорее можем обнаружить в киевских или черниговских княжеских мастерских, нежели в венгерских. В связи с этим, не лишена основания мысль о том, что данная сабля, сделанная в Киеве или Чернигове, была привезена в Венгрию

[5] В венгерских хрониках нет следа легенды о «мече Аттилы», поэтому можно предполагать, что эта легенда возникла уже на немецкой почве.

Анастасией, дочерью Ярослава Мудрого, женой Андрея I, и знаменитое оружие, таким образом, попало в сокровищницу венгерских королей, а потом в Германию.

Краткий перечень гипотез мы можем закончить тем, что в настоящее время нет окончательного ответа на поставленный вопрос. Венская сабля могла быть сделана и венграми, и в Киеве. Ей, как и другим редким, сделанным для высшей аристократии предметам, очень сложно найти точные аналогии, т.к. они были единичными, а не серийными продуктами древних мастерских. Однако мы все же можем с уверенностью сказать, что данное оружие является изделием восточно-европейской мастерской, а в то время такими мы можем считать и венгерские мастерские, еще сохранявшие в течение X в. восточные традиции.

Нам кажется, все сказанное подтверждает, что близкая аналогия венской сабли – клинок из кургана 2 Эйлиг-Хемского могильника также является продуктом восточно-европейских мастеров, причем образцовым продуктом. Он мог попасть в далекую Туву, на землю енисейских кыргызов, через Среднюю Азию и Восточный Туркестан. Путем торговли или как военный трофей, об этом мы можем только догадываться.

В заключение необходимо отметить, что несколько лет назад наш покойный коллега, известный оружиевед М.В. Горелик первым пришел к подобному выводу о восточно-европейском происхождении «тувинского парадного клинка». С его выводом можно почти полностью согласиться, однако, обрисованный автором исторический фон вряд ли выдерживает критику. Дело в том, что М.В. Горелик все парадные клинки IX-XI вв. в Восточной Европе считал «кабарскими» (включая и северо-кавказские) и в Среднем Поднепровье предполагал кабаро-венгеро-древнерусский очаг ювелирного производства в X и первой половине XI вв. [Горелик, 2001].

К сожалению, последнему предположению противоречат все наши источники. Из сочинения Константина Багрянородного явствует, что *«кабар»* – это не этноним, а наименование восставших против хазарского кагана (само слово означает *«восставший»*). И потерпевшие поражение восставшие были названы кабарами только после прихода их к венграм. Этнически они были разнородными, и венгры соединили три их группировки в одно племя [Константин Багрянородный, 1989, гл. 38-39]. Нам неизвестно точно, когда кабары присоединились к венграм, но, видимо, это произошло после середины IX в. Во всяком случае, в 881 г. они под Веной уже сражались вместе с венграми.[6] В 895 г. они в составе венгерского племенного союза переселились в Карпатскую котловину. Все это означает, что кабаров в X в. уже не было в Восточной Европе. Из описания византийского императора вытекает, что во время написания его сочинения, т.е. в середине X в., кабары были двуязычными (говорили на тюркском и венгерском языках), но потом ассимилировались с венгерским населением. На основании топонимики делались попытки выяснить, какие этнические элементы составляли кабарское объединение. Выяснилось, что сюда входили примерно те же этнические группы, которые составляли население Хазарского каганата, или на языке археологии, представители салтовской культуры [Györffy, 1959, c. 44-76].[7] И основания для выделения какого бы то ни было «кабарского художественного стиля»

---

[6] Об этом сообщают Зальцбургские Анналы. См. MGH SS XXX/2, 742; CFH I, 754.

[7] Вряд ли был прав М.В. Горелик, включив предков секлеров (этнографической группы венгров в юго-восточной Трансильвании) в кабарское объединение [Горелик, 2002, с. 53]. Они, по всей вероятности, откололись от племени эсегел волжских болгар и присоединились к венграм раньше кабар (См. [Fodor, 1982a, с. 56]). Вообще, у М.В. Горелика довольно спорные представления о венгерской истории. По его словам, в 895 г. венгры завоевали Потисье, Паннонию и Трансильванию «...подавив сопротивление местного славянского и валашского населения» [Горелик, 2008, с. 296]. Однако достоверные письменные источники свидетельствуют о том, что первые группы валашских пастухов появились в юго-восточной Трансильвании (в окрестностях г. Фогараш) лишь в конце XII в. [Makkai, 1994, с. 187-191]. Не имеет также под собой основания предположение М.В. Горелика о существовании тяжелой, «латной» конницы у древних венгров X-XI в. [Горелик, 2006, 2008]. При этом он ссылается на изображения т.н. восточного серебра. Но на этих сосудах либо вообще не изображены тяжеловооруженные всадники, либо нет веских доказательств в пользу того, что там изображены

у нас также нет.[8] Тем не менее, следует отметить, что, в отношении высказанных о происхождении «сабли Багыра» гипотез, внимание разных исследователей постепенно сосредотачивается примерно в едином направлении.

Литература

1. *Батманов И.А., Куна А.Ч.* Памятники древнетюркской письменности Тувы. Вып. III. Кызыл, 1965. С. 9-13.
2. *Васильев Д.Д.* Корпус тюркских рунических памятников бассейна Енисея. Л.: Наука, 1983. С. 35.
3. *Горелик М.В*. Парадные кабарские клинки // Материалы по изучению историко-культурного наследия Северного Кавказа. Вып. II. Археология, антропология, палеоклиматология. М., 2001. С. 93-100.
4. *Горелик М.В*. Три племени кабар // Бюллетень Общества Востоковедов, 9. Hungaro-Rossica 2. М., 2002. С. 47-59.
5. *Горелик М.В*. Тяжелая венгерская конница // Tatarica. Атлас. Казань-Москва-Санкт-Петербург, 2006. С. 227.
6. *Горелик М.В*. Латная конница древних венгров // Древности Юга России (Памяти А.Г. Атаева). М., 2008. С. 296-303.
7. *Грач А.Д., Савинов Д.Г., Длужневская Г.В*. Енисейские кыргызы в центре Тувы. М., 1998.
8. *Каргер М.К.* Древний Киев. Т. I. М.; Л., 1958.
9. *Кирпичников А.Н*. Так называемая сабля Карла Великого // СА. 1965/2. С. 268-276.
10. *Кирпичников А.Н*. Древнерусское оружие, 1 // САИ. Вып. Е1-36. М.; Л., 1966.
11. *Ковач Л.* Вооружение венгров – обретателей родины: сабли, боевые топоры, копья. Автореферат канд. дисс. М., 1981.
12. *Константин Багрянородный*. Об управлении империей. Текст, перевод, комментарии. Под ред. Г.Г. Литаврина и А.П. Новосельцева. М., 1989.
13. *Корзухина Г.Ф*. Из истории древнерусского оружия XI века // СА XIII. 1950. С. 63-94.
14. *Крачковский И.Ю.* (перевод и коммент.) Коран. М.: Наука, 1990.
15. *Кызласов И.Л.* Связи Южной Сибири с Восточной Европой. Мечи домонгольской поры // Археология восточноевропейской лесостепи (В честь Е.А. Алиховой). Пенза, 2003. С. 456-473.
16. *Османов М.-Н.О.* (перевод и коммент.) Коран. М., 1995.
17. *Худяков Ю.С*. Вооружение енисейских кыргызов VI-XII вв. Новосибирск, 1980.
18. *Ancient Hungarians:* The Ancient Hungarians. Exhibition Catalogue. Ed. Fodor I. Budapest, 1996.
19. *Bálint Cs*. Ein landnahmezeitliche Grabfund von Pestlőrinc // Acta Archaeologica Hung.XXXII, 1980, C.241-250.
20. *Bálint Cs*, Über den Schatz von Nagyszentmiklós – kurze Übersicht // Gold der Awaren. Der Goldschatz von Nagyszentmiklós. Hrsg. Kovács, T. Budapest. 2002, C.57-80.

древне-венгерские всадники [Горелик, 2008, с. 299]. А в отношении указанного сосуда из клада Надь-Сент-Миклош в последнее время подтверждено мнение, по которому данный клад можно датировать аварским временем, и вещи из клада имеют более всего аналогий в аварской торевтике [Bálint, 2002, с. 71-73; Garam, 2002]. В качестве доказательства приводятся также материалы из восточно-европейских погребений, этническая принадлежность которых является спорной (Лагерево, Мангеловка, Челкар III) [Горелик, 2008, с. 300]. В то же время упускается из виду Больше-Тиганский могильник – в принадлежности которого к древним венграм нет сомнения – где нет никакого признака тяжелой конницы [Chalikova – Chalikov, 1981]. В Карпатской котловине тоже не имеется никаких доказательств существования тяжелой конницы [Ковач, 1981].

[8] В венгерской литературе также была высказана гипотеза, по которой чуть ли не все ювелирные изделия древних венгров были сделаны кабарами [Györffy, 1959, с. 119-126]. Однако она не подтверждается фактами [Fodor, 1984, с. 99; Fodor, 1986].

21. *Báth, G.* A kijevi kard restaurálása. – Restoration of the Sword of Kiew // Műtárgyvédelem XXI, 1992. C. 9-21.
22. *Benk, N.Zs*. Az abonyi honfoglalás kori szablyatöredék. – Der Säbel von Abony aus der Zeit der ungarischen Landnahme // Studia Comitatensia IX, 1980. C. 235-245.
23. *CFH* Catalogus fontium historiae Hungaricae. Ed. A. F. Gombos. I-III. Budapestini 1938-1939.
24. *Chalikova E.A., Chalikov, A.H.* Altungarn an der Kama und im Ural. (Das Gräberfeld von Bolschie Tigani.) Régészeti Füzetek, Ser. II. No. 21. Budapest, 1981.
25. *Fettich N*. Geschichtliche Auswertung des Fürstengrabfundes von Zemplín // Budinsky-Kricka, V. – Fettich, N.:Das altungarische Fürstengrab von Zemplín. Bratislava, 1973. C. 49-238.
26. *Fodor I.* In Search of a new Homeland. The Prehistory of the Hungarian People and the Conquest. Budapest, 1982.
27. *Fodor I*. On Magyar – Bulgar-Turkish Contacts // Chuvash Studies. Ed. Róna-Tas, A. Budapest – Wiesbaden, 1982a. C. 45-81.
28. *Fodor I*. Zur Problematik der Ankunft der Ungarn im Karpatenbecken und ihrer fortlaufenden Besiedlung // Interaktionen der mitteleuropäischen Slawen und anderen Ethnika im 6.-10. Jahrhundert. Hrsg. Chropovsky, B. Nitra. 1984. C. 97-104.
29. *Fodor I*. Néhány régészeti észrevétel a kabar kérdésről // Régészeti tanulmányok Kelet-Magyarországtól. Szerk. Németh, P. (Folklór és etnográfia, 24.) Debrecen. 1986. C. 99-114.
30. *Fodor I*. Art and Religion. // Ancient Hungarians, 1996, C. 31-36.
31. *Fodor I*. A bécsi szablya és a prágai kard. Szeged, 2000.
32. *Gara, É*. Die Verbindung awarenzeitlicher Fürsten- und Gemeinvolk-Grabfunde mit den Schatz von Nagyszentmiklós // Gold der Awaren. Der Goldschatz von Nagyszentmiklós. Hrsg. Kovács, T. Budapest. 2002. C. 81-112.
33. Gold aus Kiew. Meisterwerke aus der Schatzkammer der Ukraine. Ausstellungskatalog des Kunsthistorischen Museums. Hrsg. Seipel, W. Wien 1993.
34. *Györffy Gy*. Tanulmányok a magyar állam eredetéről. Budapest, 1959.
35. *Makkai L*. The Emergence of the Estate (1172-1526) // History of Transylvania. Ed. Köpeczi, B. Budapest. 1994, C. 178-243.
36. *MGH SS:* Monumenta Germaniae historica. Scriptores. I-XXXIV. Hannoverae-Lipsiae 1963-1964.
37. *Nagy G*. Hadtörténelmi emlékek az ezredéves kiállításon // Archaeologiai Értesítő ú.f. XVI, 1896, C. 344-365.
38. *Nagy G*. III. Béla fegyverzete és az Árpád-házi királyok jelvényei // III. Béla király emlékezete. Szerk. Forster, Gy. Budapest. 1900, C. 231-239.
39. *Tóth Z.* Das Attila's Schwert. Budapest, 1930.

WHERE DID BAGHIR FIND HIS SWORD? EAST EUROPEAN TROPHIES FROM THE NOMADS OF INNER ASIA

Fodor I.[1], Vasiliev D.D.[2]
[1] *National Museum of Hungary, Budapest, Hungary*
[2] *Institute of Oriental Studies, Moscow, Russia*

Abstract. The sabre with Arabic inscription was found in Tuva, in the burial mound with a mounted stone stele, which contained a Turkic Runic epitaph. There are a lot of hypotheses about the origin of the sabre. The feature of the sabre is that the Runic inscription on the stele unveils the name of the sabre's holder – Bagyr. Besides, the type of the sabre is unusual for the arms of Central Asian nomads. This is a reason for different legends and poetry about the sabre. Previosly, there were several opinions about the place, where the sabre could be manufactured. The authors of the

article adduce the well known museum analogues to the Tuvinian sabre, and especially – to it's ornament and details. Among the analogues there are so called "Atilla's sword" or "Karl the Great's sword" from the Historical Museum of Vienna and "Hvoinovsky sabre" from Kiev. Hypotheses of different researchers about the origin of the Bagyr's sabre are advancing into the following direction, that the sabre is the masterpiece of East European craftsmen. But there is no evidence of its "Kabar" origin, as it was stated by some researchers.
Key words: Yenisei Kyrgyzs, weapon of medieval nomads, Turkic runic inscriptions.

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ ТАМГ КОЧЕВНИКОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ ДРЕВНЕТЮРКСКОГО ВРЕМЕНИ

Тишин В.В.
Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, Улан-Удэ, Россия, tihij-511@mail.ru

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению теоретических вопросов изучения тамгового материала древнетюркской эпохи. Автор обращает внимание на терминологию, использовавшуюся в источниках для обозначения тамговых символов, пытается выявить соотношение между различными терминами, рассматривая их в контексте вопроса о функциональном значении тех или иных знаков. Значительное внимание уделено дискуссии о личном или родоплеменном характере древнетюркских тамг.
Ключевые слова: тамги, кочевники, древние тюрки, Центральная Азия, социальная организация.

Изучение тамг кочевников Центральной и Средней Азии древнетюркского времени (VI–X вв.) в последние годы набирает значительные обороты и становится одним важнейших направлений деятельности исследователей. Огромное значение тамговый материал имеет для изучения как этнокультурных процессов, так социально-политической истории названных регионов. Сейчас можно говорить о периоде накопления и первичной интерпретации тамгового материала, и любые заключения могут носить лишь предварительный характер, учитывая общую неразработанность теоретических подходов к работе с этим видом источника, в частности, в увязке с другими группами исторических источников.

Одним из наиболее дискуссионных остается вопрос об интерпретации тамгового материала в контексте социальной истории кочевников. Автор настоящей статьи уже затрагивал этот вопрос [Тишин, 2015] и, не меняя свой позиции, сейчас хотел бы внести коррективы в некоторые наблюдения и заключения[1].

Сама социальная природа тамговых знаков древнетюркской эпохи остается не выявленной, равно как и не внесена ясность в соотношение зафиксированных изображений с известной древнетюркской лексикой, обладающей соответствующей семантикой.

Во-первых, следует учитывать вероятное различие природы знаков, которыми клеймились лошади и крупный рогатый скот, от знаков, которыми клеймился мелкий рогатый скот. Как отмечал в 1943 г. Али Риза Йалман (Йалгын), «в “Дīвāн Луғāт ат-Турк”, “Хюнернāмэ” и “Сельджукнāмэ” Йазыджыоглу Али, как мы можем видеть, эти тамги, в Бурсе и ее окрестностях такие сделанные из железа, затем нагретые в огне, выбитые на левой части крупа крупного рогатого скота (лошади, коровы, буйволы, верблюды) знаки называются “damga”, надрезанные на ушах мелкого рогатого скота, обозначающие его хозяина знаки – “en”, некоторые обработанные украшения на домашних вещах, конском снаряжении, тканых мотивах и узорах – “im” (среди части оймаков района Чукурова знаки *im* также называются *yanış* [букв. ‘горение’ – *Прим. авт.*])» [Yalgın, 1948, s. 426].

Абдюлькадир Инан, писав в 1944 г. о казахах, приводил другую информацию: «Тамга (таңба) и *en*. У каждого племени имеется своя собственная тамга и *en*. Тамга ставится на лошадей; она встречается на могильных камнях и скалах летних пастбищ. В случае с *en* – метка, выполняющая путем надрезов на ушах лошадей. Для крупного рогатого скота племенное *en* не обязательно; каждое oba (аул) и даже каждая семья может ставить *en* той формы, какой захочет». Стояв на стадиалистских позициях, ученый сделал следующий

[1] Автор статьи хотел бы выразить признательность А.Е. Рогожинскому (Казахский научно-исследовательский институт по проблемам культурного наследия номадов, Алматы) и Н.Н. Серегину (Алтайский государственный университет, Барнаул) за возможность обсудить некоторые вопросы и указания на отдельные материалы.

вывод: «Племенная тамга и его *en* только для табунов лошадей существуют специально, являясь признаком того, что табуны лошадей являются общей собственностью племени. Рассмотрение сделанного из кобыльего молока кумыса объединенными одним кличем в качестве “общей пищи”, в сущности, подтверждает это. Тюркскими народами одомашнивание крупного рогатого скота должно было произойти в период, когда понятие личной собственности начинает распространяться» [İnan, 1968, s. 284].

В 1953 г. А. фон Габэн указала на сложность выявления племенной или семейной сущности древнетюркских тамг, а в 1980 г. актуальность этой же проблемы отмечал С.Г. Кляшторный [Gabain, 1953, S. 542; Кляшторный, 1980, с. 93]. Ю.А. Зуев, указывая, что кочевники не знают понятия собственности как таковой, лишь владение, писал, что поэтому «семейная собственность осознается как родовая, показателем власти над основным видом их имущества (лошадьми, быками, баранами) было его таврение родовыми тамгами» [Зуев, 1960, с. 96; Зуев, 1967, с. 44]. При этом в данном случае тамги, по мнению ученого, олицетворяли не род, а все племя, являясь тамгами ханского рода, при смене которого, по мнению ученого, сменяется тамга всего племени [Зуев, 1967, с. 44–45]. Этот вопрос о родо-племенном или индивидуальном (лично-семейном) характере тамг, вызвал в свое время отдельную дискуссию между С.Г. Кляшторным и Л.Р. Кызласовым. Л.Р. Кызласов, коснувшись вопроса о тамгах, зафиксированных на памятниках древнетюркского рунического письма Тувы и Хакасии, отстаивал мнение о том, что эти знаки носили личный характер [Кызласов Л.Р., 1960, с. 103], притом, исходя из известного явления, когда сыновья, выделяясь в отдельное домохозяйство от отца, брали за основу его тамгу, изменяя ее изображение за счет добавления какого либо элемента, исследователь предложил собственную схему хронологического соотношения между собой енисейских памятников. С.Г. Кляшторный, исходя из мнения о родовом и племенном характере тамг, указывал на то, что фиксация знаков идентичных форм на разных памятниках противоречит мнению Л.Р. Кызласова [Кляшторный, 1971а, с. 21; Кляшторный, Самбу, 1971, с. 247–249], хотя тот прежде писал, что, например, «наличие одинаковых тамг на разных скалах говорит о том, что люди оставляли свои “отметки” в местах, где они побывали» [Кызласов Л.Р., 1965, с. 44]. Л.Р. Кызласов отрицал возможность родоплеменного характера тамг и приводил дополнительные аргументы в пользу их интерпретации как «личных и семейных, объясняя фиксацию идентичных тамг на разных памятниках возможностью наследования старшим сыном тамги отца и, соответственно, принадлежностью этих знаков представителям разных поколений [Кызласов Л.Р., 1979]. А.М. Щербак, возражая против схематичных построений Л.Р. Кызласова в целом, отметил, что «варианты тамг могли создаваться параллельно, независимо от наличия родственных связей между теми лицами, которым были поставлены памятники» [Щербак, 2001, с. 90]. Согласно Д.Д. Васильеву, «текстологический анализ древнетюркских эпитафий на стелах с тамгами (например, правобережья Улуг-Хема) подтвердил неизменность тамгового символа у прямого наследника родовых территорий и обнаружил его эволюцию у родственников, не имевших права на майорат» [Васильев, 2015, с. 365].

Д.Д. Васильев выделяет следующие типы «родовых тамг» древнетюркского времени с территории южной Сибири в зависимости от функционального назначения: (1) «тамги обладания (территорией, имуществом, отдельным предметом)», т.е. это «тамги, маркирующие родовые пастбищные и обрабатываемые территории, пограничные, тамги-клейма на скоте и имуществе, тамги-метки владельца на предметах обихода»; (2) «тамги наследования», сохранявшие неизменность форм по старшей линии и изменяющие формы в младших и боковых ветвях; (3) «тамги персонификации», эта группа «имеет мемориальный характер и представлена тамгами, дополняющими эпитафийный текст, формула которого (имя–титул–род–прижизненные деяния–скорбь–тамга) предусматривает этот компонент как этно-родовую и личностную атрибуцию»; (4) «тамги присутствия», т.е. «тамги, которые гравировались посетителями культовых объектов, путниками в определенных местах

следования, охоты, жертвоприношения, а также одновременно представителями нескольких родов в моменты совместных знаменательных событий или при заключении договоренностей и союзов» [Васильев, 2015, с. 365–366].

Попытается внести ясность в некоторые моменты, рассмотрев саму употребляемую в источниках терминологию и по возможности в привязке к историко-культурному контексту бытования знака.

По мнению С.Г. Кляшторного, термин *tamqa* уже в период создания древнетюркских рунических памятников имел достаточно общее значение (см.: [Кляшторный, 1980, с. 92–93]). Так, в енисейском памятнике Хемчик–Чиргакы упомянуты «клейменные кони» (*tamqa at*) (E 41, стк. 4)[2], а в памятнике из Очуры встречается выражение *jerdäki tamqalïγ jïlqï buŋsï[z]* ‘в земле клейменный скот (табуны) без числа’ (E 26, стк. 6) [Radloff, 1895, S. 329; Orkun, 1994, s. 544; Малов, 1952, с. 51; Clauson, 1972, p. 506; Васильев, 1983б, с. 24, 64; Tekin, 2003, s. 232; Yıldırım, Aydın, Alimov, 2013, s. 77][3].

Трудно определенно судить, можно ли на основе этого делать заключение о конкретном значении термина *tamqa*, но в памятниках Уйгурского каганата, для обозначения ханских знаков зафиксирован термин *belgü* / *bälgü* (Тер, стк. 2 (= Зап., стк. 2); МШУ, стк. 7, 9 (= Сев., стк. 7, 9), стк. 20 (= Вост., стк. 8)): *bälgü*, *bhälkü* (< санскр. *pālgū*) ‘Zeichen’, ‘Vorzeichen’, ‘Abzeichen’, ‘Merkmal’, ‘Eigenart’ [Gabain, 1950, S. 302], ‘nişin’, ‘Wahrzeichen’ [Gabain, 1944, s. 687; Gabain, 1949, S. 36], ‘alâmet, nişan’ [Orkun, 1994, s. 775], ‘знак, примета’ [Малов, 1959, с. 90], ‘(при)знак, примета’ [Древнетюркский словарь, 1969, с. 93], ‘sign, mark’, ‘distinguishing characteristic’ [Clauson, 1972, p. 340], где второе значение (‘примета’) является переносным и, соответственно, вторичным (см. также: [Ramstedt, 1913, S. 23; Clauson, 1972, p. 340; Doerfer, 1963, S. 216–217; Егоров, 1964, с. 142; Севортян, 1978, с. 108–111; Федотов, 1996, с. 381, 382–383][4]. Впрочем, Э. Айдын считает его диалектным вариантом слова со значением ‘stamp’, аналогом которого в орхонских надписях, по его мнению, выступает слово *tamγa* [Aydın, 2016, p. 290]. С последним утверждением трудно согласиться.

Слово *tamγa* в исходном значении ‘печать’ (см.: [Doerfer, 1965, S. 554–565; Räsänen, 1969, S. 460; Clauson, 1972, p. 504–505; Егоров, 1964, с. 257; Федотов, 1996, с. 246; Сравнительно-историческая грамматика, 1997/2001, с. 330–331; Tekin, 1968, p. 112; Tekin, 2003, s. 89–90; Sertkaya, 2003; *Gülensoy,* 2007, с. I, s. 265]) впервые достоверно зафиксировано в древнеуйгурских буддийских документах, но в памятнике Кюль тегину встречается в составе должности *tamγačï* у тюргешей и огузов [Barthold, 1897, S. 13–14; Erdal, 1991, vol. I, p. 378–380; Aydın, 2008, s. 57–58] (см. также: [Ögel, 1971, с. II, s. 104]), в этом же значении ‘печать’ затем в «Кутадгу билик» и у Маḥмӯда ал-Ḳāшḡарӣ [Самойлович, 2005, с. 213, 214]. Здесь, однако, следует учесть и упомянутые в Онгинской надписи титулы *išbara tamγan čor* и *išbara tamγan tarqan* (O, стк. 4), а также *altun tamγan tarqan* (имя мемориата второй надписи Ихэ Асхэтэ), при этом звучание *tamγan* коррелирует с неким титулом, переданным китайскими авторами как *Тянь-хань* 貪汗 [Bazin, 1994, p. 228]. Также интересно упоминание Менандром Протектором под 568 г. среди послов от тюрков к византийцам некоего *Ταγμά ταρχάν* (Men. Fr., 20) [Византийские историки, 1860, с. 379; Moravcsik, 1983, S. 299].

---

[2] Ф. Рыбацки, видимо, убедительно, вслед за А. фон Габэн и М. Эрдалем, показал, что в тексте Тоньюкука $t^2w^2gn^2l^2g^2$ (Тон, стк. 54 (= II Вост., стк. 4)) нужно читать не *tögünlüg* в значении ‘клейменный’, а *tügünlüg* [Gabain, 1950, S. 73; Erdal, 1991, vol. I, p. 153, 304; Rybatzki, 1997, S. 72, Anm. 211] и переводить всю фразу *tügünlüg at-ïγ jügürtmädim* как ‘keine Pferde mit einer Zinnen-Mähne umherlaufen’ [Rybatzki, 1997, S. 122, Anm. 320]. Ср. иную интерпретацию в кн.: [Şirin User, 2009, s. 96–97].

[3] Ср.: [Кормушин, 2008, с. 14], где соответствующая строка дается как седьмая и охарактеризована как «совершенно нечитабельная»; ср., однако, фото в кн.: [Васильев, 1983б, с. 102], где искомое слово просматривается.

[4] Сэр Дж. Клосон вслед за Г. Дёрфером отмечает фонетическую форму *bälgō* [Clauson, 1972, p. 340], что должно восходить к глаголу **bäl-* ‘обозначать(ся)’ [Севортян, 1978, с. 110; Erdal, 1993, S. 100–101].

Глубже всех, думается, вопрос о терминологии проработал А.Н. Самойлович еще в 1926 г., когда отметил, что слово *тамҕа* обозначает ‘знак собственности, тавро’, собственно оттиск печати, в то время как *белгӳ* – именно фигурное изображение, начертанное от руки, заменяющее подпись или оттиск личной печати, ‘герб, шифр, монограмма’ [Самойлович А.Н., 2005е, с. 213–214, 216], т.е. значение второго термина более конкретно.

Конкретное или общее значение слово *belgü* / *bälgü* носит в памятнике Могойн Шинэ Усу, нельзя сказать однозначно, но при этом, так или иначе, как заметил И.Л. Кызласов, развивая, очевидно, мысль Л.Р. Кызласова, аффикс принадлежности *-m* говорит о личном характере этого типа знаков [Кызласов Л.Р., 1960, с. 106, прим. 61; Кызласов Л.Р., 1979, с. 134; Кызласов И.Л., 2010, с. 47]. Однако здесь нет противоречия (см., напр.: [Кляшторный, 1971а, с. 21; Кляшторный, Самбу, 1971, с. 247–249]), поскольку, по-видимому, каганский символ определенным образом воспринимался в качестве символа всего политического образования, которое им возглавлялось [Ögel, 1971, с. I, s. 27].

В то же время при интерпретации характера или функционального назначения того или иного знака следует учитывать каждый случай в частности. Любопытно, что Менандр, описывая посольство мечника Валентина к тюркам в 576 г., упоминает некие «военные символы» (*πολεμικά σύμβολα*) Турксанфа/Турксафа (*Τούρξανθος*, *Τούρξαθος*), «одного из князей Туркских» (*είς τών παρά Τούρκοις ηγεμόνων*), которые византийские послы увидели при въезде в подведомственные последнему земли, являвшиеся пограничной территорией владений тюрков (Men. Fr., 45) [Византийские историки, 1860, с. 418]. Характерно, что у казахов, судя по всему, терминологически различались собственно тамга и знак-*бельги*, использовавшийся, например, при фиксировании занятия пастбища или колодца [Гродеков, 1889, с. 110–111]. Именно в этом аспекте вызывает также интерес начертание тамговых знаков, приложенных к древнетюркским руническим надписям, обозначавших территории кочевания определенных групп [Бернштам, 1946, с. 74, 75; Кляшторный, 1979, с. 597; Кляшторный, 2003, с. 277, 297–298; Кляшторный, 2006, с. 126, 359; Васильев, 1983а, с. 45, 83, прим. 5; Васильев, 2009, с. 21].

Во всех этих дискуссиях следует учесть мнение И.Л. Кызласова, приводящего еще термин *in* ~ *en*, в тот период, по его мнению, обладающий «широким общим значением» [Кызласов И.Л., 2010, с. 46–47]. Это не подтверждается лингвистическими данными, во-первых, представленными довольно поздними временами, во-вторых, ограничивающими значение термина толкованиями ‘метка, надрез на ухе домашних животных’ (см.: [Севортян, 1974, с. 277–278; Сравнительно-историческая грамматика, 1997/2001, с. 329–330; *Gülensoy,* 2007, с. II, s. 333; Starostin, Dybo, Mudrak, 2003, pt. I, p. 600; pt. II, p. 1143]). Не подтверждается это и этнографическими материалами, говорящими о племенном и родовом значении тамг и более узкой сфере употребления термина *эн*, *ин*, *им* [Будагов, 1869, с. 211; Гродеков, 1889, с. 3–4; Харузин, 1889, с. 148–149; Радлов, 1893, ч. 1, стб. 728; ч. 2, стб. 1438, 1571; Вайнштейн, 1972, с. 78–80; Clauson, 1972, p. 166; Ямаева, 2004, с. 12; Кереитов, 2009, с. 128–135]. Корень слова впервые достоверно фиксируется у Маḥмӯда ал-Ḳāшḡарӣ: *ol qojïn enätti* ‘он велел пометить свою овцу, то есть надрезать у нее ухо’ [Divanü, 1985, с. I, s. 218; Divanü, 1985, с. III, s. 256; Древнетюркский словарь, 1969, с. 173; Clauson, 1972, p. 171; Maḥmūd al-Kāšγarī, 1982, p. 203; Maḥmūd al-Kāšγarī, 1984, s. 283; Маҳмӯд ал-Ḳāшḡарӣ, 2005, с. 230, 935; Маҳмӯд ал-Ḳāшḡарӣ, 2010, с. 217], но такие надрезы известны со скифских времен [Вайнштейн, 1972, с. 80]. В отношении к древнетюркской эпохе важно указание китайского источника «Тан хуэй яо» 唐會要 о народе гу-ли-гань 骨利幹, т.е. курыкан, которые не имеют обычая ставить знаки на лошадей (бэнь су у-инь 本俗無印), но при этом «только резать уши и нос для метки» (вэй гэ эр би вэй цзи 惟割耳鼻為記) (Тан хуэй яо, цз. 72, с. 1305: 2–3; цит. по: [Зуев, 1960, с. 98])[5]. Важность имеет свидетельство о казахах, что

[5] У Ю.А. Зуева переведено иначе: «Лошади [племени] гу-ли-гань по обычаю тамг не имеют, а вместо клейма отличаются по ушам и морде». Ср.: [Schafer, 1963, p. 69].

эти метки имели форму аналогичную тем, что выжигались на лошадях [Харузин, 1889, с. 148].

Тавра на крупе лошадей известны по наскальным изображениям на территории Алтая, которые могут быть отнесены к древнетюркскому времени [Черемисин, 2002, с. 14, рис. 5; Черемисин, 2004, с. 44, рис. 7; Кубарев, 2007, с. 284, рис. 1: 5]. Если они соответствовали, тому, что в енисейских надписях, как можно судить, обозначено словом *tamqa* (см. выше), то мы получаем два термина, обозначавшие один и тот же знак, но употреблявшиеся в разных контекстах.

В то же время в связи с гипотезой И.Л. Кызласова[6] интерес вызывает прочитанный в енисейской надписи Шаньчи (Е 152, стк. 2) эпитет *enlig* [Кормушин, 1997, с. 149–150; Кормушин, 2008, с. 167; Yıldırım, Aydın, Alimov, 2013, s. 237, 238, 502], зафиксированный, вероятно, также в надписи Алтын-Кёль I в форме *(ä)nl(i)g* (Е 28, стк. 5 (стк. 2 по И.В. Кормушину)) [Васильев, 1983а, с. 25, 64, 103] (ср.: *inlig* [Yıldırım, Aydın, Alimov, 2013, s. 83]), достоверность факта бытования которого подтверждается наличием аналогичной лексемы в надписи на сосуде из Заамар сомона, где лексема выступает в паре с *qïblïγ*, также как синоним *qutluγ* ‘счастливый’, ‘наделенный удачей’ [Осава, Сүзүки, Лхүндэв, 2011, 142–143 дугаар тал.]. По мнению Т. Осавы [Ōsawa, 2010, p. 194; Осава, Сүзүки, Лхүндэв, 2011, 142–143 дугаар тал.], корневая основа **en* восходит китайскому *инь* [*yìn*] 印 «1) печать, печатка; штамп… 2) оттиск печати; знак, клеймо, штемпель; с печатью, официальный (о бумаге)… 3) отпечаток; след, пятно; отметина… 4) медальон; табличка; таблетка; пластинка…» [Большой китайско-русский словарь, 1983, т. 2, с. 763]. Чаще ее сопоставляют со словом **im*, известным в различных фонетических формах ряде тюркских языков в значении ‘знак’, ‘пароль’, ‘намек’; см. у Маḥмӯда ал-Ḳāшғарӣ *im* в значении *al-amāra* ‘the password’ [Clauson, 1972, p. 155, 166, 171; Севортян, 1974, с. 277–278, 632–633; Сравнительно-историческая грамматика, 1997/2001, с. 329–330]. Как и на прочитанной И.Л. Кызласовым надписи на серебряном сосуде, так и в последних двух отмеченных надписях инициальный звук не обозначен, но если верно прочтение, предложенное Г.Б. Бабаяровым и А.В. Кубатиным для енисейской надписи из окрестностей с. Новоселово (Е 144), где ими фиксируется слово $In^2l^l\gamma$ в значении ‘имеющий метку, тамгу’ [Бабаяров, Кубатин, 2016, с. 8–9], придется, во-первых, признать предложенное сэром Дж. Клосоном восстановление корневой основы с инициальным закрытым /ę/ [Clauson, 1972, p. 166, 171], во-вторых, отчасти согласиться с мнением И.Л. Кызласова, признав, что это слово имело хождение в древнетюркской среде в значении некоторой ‘метки’, ‘печати’, – возможно, в самом общем значении, – однако, контексты все равно не свидетельствуют в пользу существования у этого слова значения личного и родо-племенного знака.

Вместе с тем, начертание знаков на монументальных памятниках Тюркского каганата совпадает с представленными в приведенном Ю.А. Зуевым отрывке из китайского источника «Тан хуэй яо» 唐會要 изображениями тамг кочевнических степных племен, которыми *клеймились их лошади – ма инь* 馬印, букв. ‘лошадиные знаки’ [Зуев Ю.А., 1960, с. 98]. К известным аналогиям (см., напр.: [Тишин, 2015, с. 42]), следует добавить, что недавно в Хакасии, на левобережье нижнего течения р. Абакан, была обнаружена стела с двумя тамгами, расположенными друг над другом, одна из которых – верхняя – соответствует начертаниям, приведенным в китайском источнике для тамги племени *цзе-гу* 纥骨, т.е. *кыркыз*, приведенной «Тан хуэй яо» 唐會要 [Васильев, 2015; Васильев, 2016, с. 83, рис. 1]

[6] Прежде автор настоящей статьи был более категоричен в своем отрицании гипотезы И.Л. Кызласова [Тишин В.В., Серегин Н.Н., 2016, с. 143, 146, прим. 5; Серегин Н.Н., Тишин В.В., 2017, с. 137–138, прим. 107].

(см. также: [Есин, 2017, с. 61–65]; тамги см. в кн.: [Зуев, 1960, с. 97, 103–104, комм. 2, с. 132, табл., стк. 1; Рогожинский, 2012, с. 99, табл. 3; Рогожинский, 2013, с. 239, рис. 6]).

В своей предыдущей публикации, посвященной проблеме изучения древнетюркских тамг, автор настоящей статьи попытался обосновать, по крайней мере, на материале телэских племен явление тамгования скота как собственности семейно-родственных групп [Тишин, 2015, с. 46–48]. Здесь данный вывод может быть развит следующими доводами.

По мнению Ильдико Эчеди, обозначение лошадей племенными тамгами (*ма инь* 馬印), известное по «Тан хуэй яо» 唐會要, свидетельствует о том, что стада рассматривались как владение всего племени, хотя это не отрицает факта индивидуальной принадлежности голов внутри него [Ecsedy, 1972, p. 259, note 15] (см. в этом отношении: [Толыбеков, 1971, с. 525–526]). Вместе с тем, о частном характере скотовладения свидетельствует сообщение «Чжоу шу» 周書 о бытовании у тюрков казни за воровство «кому-то принадлежащей лошади» (*ма бан* 馬絆) [Kara, 2016, s. 552, dipnot 62], т.е. кражи, как отмечал Л.П. Потапов, «у соплеменников или сородичей, так как, – продолжает исследователь, – угон скота у соседей не являлся преступлением, представляя собой, напротив, своеобразный промысел» [Потапов, 1953, с. 92][7] (Ср.: [Абрамзон, 1973, с. 299–300]). Отсюда вытекает заключение, что клейма, наносившиеся на скот, должны были иметь частно-семейный характер, в том числе и на лошадей, вопреки мнению А. Инана, который, писав о племенных тамгах, по-видимому, имел в виду тамгу главенствующего семейства [İnan, 1968, s. 284]. Как отмечали А.И. Першиц и А.М. Хазанов, «наличие коллективных тамг (клейм) проще истолковать не генетически, а функционально, связывая их не с пережитками коллективной собственности, а с реальной необходимостью коллективной защиты стад» [Першиц, Хазанов, 1979, с. 51].

Поскольку мы имеем случаи совпадения тамг, наносившихся на поставляемых в Китай лошадей, и тамг, наносившихся на монументальные, в т.ч. ритуальные сооружения, а также тамг, зафиксированных на т.н. «посетительских» надписях, это позволяет предположить, что речь может идти о тамгах главенствующих семей, принадлежащих представителям старшей ветви в семейно-родственных группах, на которые она также переносится, как и на социальные объединения более высокого таксономического уровня, также, соответственно, возглавляемые определенными семьями (ср.: [Соколов, 1904, с. 30])[8].

Вместе с тем, следует учитывать факты существования в древнетюркский период именно личных знаков, которые выделялись и терминологически.

В 1974 г. В.М. Наделяевым в надписи на горе Тэвш-уул на территории Ховдского сомона одноименного аймака было прочитано слово *tuγraγ-ï* [Наделяев, 1974], и впоследствии это прочтение подтвердилось другими исследователями (см.: [Базылхан, 2005, 154–155 б.; Баттулга, 2005, 178–179 дугаар тал.]). В 1973 г. в урочище Ямаан Ус в Алтайском сомоне Ховдского аймака монгольским тюркологом М. Шинэхүү на скале Ханын Хад были обнаружены три фрагмента древнетюркского рунического текста. В 1983 г. в совместной статье Э.Р. Тенишева и Э.А. Новгородовой были опубликованы с прочтением и переводом как единая надпись три фрагмента древнетюркского рунического текста со скалы Ханын Хад в урочище Ямаан Ус (Алтайский сомон Ховдского аймака). С тех пор вышло еще несколько публикаций, в общем, несколько корректирующих изданное Э.Р. Тенишевым прочтение и

[7] Ср., например, известное у казахов явление *барымта*, имеющее социально-экономическую природу [İnan, 1968, s. 290–291; Толыбеков, 1959, с. 240; Толыбеков, 1971, с. 361–362; Khazanov, 1994, p. 156; Хазанов, 2002, с. 267].

[8] Методические построения Д.Н. Соколова относительно характера тамг и закономерностей трансформации их форм, основанные на понимании образе жизни их носителей как оседлого иди полуоседлого, тем не менее, коррелируют с данными о наличие крупного рогатого скота в составе стада древнетюркского населения Центральной Монголии, позволяющими предполагать непосредственную связь с оседлостью [Бернштам, 1946, с. 41, 68, 71; Зуев, 1967, с. 60, 72, 85].

предлагающих новые переводы, в том числе было предложено читать здесь не одну, а две или даже три надписи [Тенишев, Новгородова, 1983; Barutcu Özönder, 2000, s. 150–151; Баярхүү, 2009, 39–43 дугаар тал.; Şirin User, 2010, s. 62; Аззаяа, 2012, 93–94 дугаар тал.; Васильев, 2013, с. 222–223; Сартқожаұлы, 2014, 123–125 б.], но все исследователи прочли фразу *tuγraγ urtïm*. Как считалось, само слово *tuγrāγ* впервые фиксируется в словаре Маҳмӯда ал-Ḳāшḡарӣ (последняя четверть XI в.), который передает его значение как *ṭābi‘ u’l-maliki wa tawqī‘uhū*, т.е. ‘знак правителей и их подпись’, отмечая, что это огузское слово, неизвестное другим тюркам, и добавляя «я не знаю его происхождения» (*wa-lā adrī aṣlahū*). В словаре Ибн Муханны (начало XIV в.) приводится форма *tūγrā*, представленная как эквивалент арабского *tawqī‘*, при этом автор поясняет, что «в Туркестане», – т.е. речь идет о карлукских наречиях, – слово произносится с сильно расчлененным *ġайн*’ом, а «в нашей стране», – т.е. речь идет об одном из огузских диалектов, – с *вāв*’ом. Форма *tuγrā* появилась в результате типичного для огузских языков явления – отпадения согласного в ауслауте (апокопа). По-видимому, начало официального использования этого слова следует связывать с временами сельджукских султанов Мелик шāха (1072–1092) и Мāс‘уда (1092–1094), когда впервые фиксируется титул *aṃ-ṃuγrā‘-ū*, данный автору «Лāмӣйат ал-‘аджам», бывшему везиром этих двух правителей, а позже так называлась важная должность человека, ответственного за султанскую канцелярию (см.: [Deny, 1987, p. 822; Doerfer, 1967, S. 342–346; Clauson, 1972, p. 471]; см. также: [Бартольд, 1963, с. 576–577; Самойлович, 2005, с. 215–216; Sümer, 1972, s. 53, dipnot 221]). Исходя из толкования, данного в «Дӣвāн луγāт ат-Турк» Маҳмӯда ал-Ḳāшḡарӣ, исследователи, как правило, понимают под этим термином личный знак конкретного предводителя [Кляшторный, 1980, с. 93; Şirin User, 2015, p. 2]. В пользу такой трактовки свидетельствуют и контексты двух приведенных надписей с территории Монголии. Это очень важный момент, несмотря на то, что пока нет возможности как-то более определенно датировать их. Как уже отмечал Д.Н. Соколов, наличие знаков с функцией обозначения не только признака собственности, но и удостоверения личности является важной характеристикой социальных трансформаций (см.: [Соколов, 1904, с. 16–17, 19]).

Таким образом, для древнетюркского времени мы можем выделить следующие термины, обозначающие тамговые знаки: (1) *tamqa* – по-видимому, общий термин, обозначающий какой-либо знак собственности, но фиксирующийся в контексте обозначения собственности, по крайней мере, на лошадей – клеймо, тавро; возможно, он является фонетической формой термина (2) **tamγa*, зафиксированного в составе титулов, вероятно, обозначающих хранителей печати, тогда сам термин должен обозначать знак, олицетворяющей все политическое объединение (изначально тамга правящей семьи?); (3) *belgü* / *bälgü* – по-видимому, также общий термин, обозначающий собственно ‘знак’, ‘метку’, но зафиксированный в употреблении для обозначения знаков (семейных групп), наносившихся на монументальные сооружения; (4) **in* ~ **ẹn* зафиксированный в составе производных форм – преимущественно личных имен, возможно, общий термин со значением ‘метка’, ‘отметина’; (5) термина *tuγraγ*, по-видимому, использовался для обозначения какого-то личного удостоверительного знака, оставлявшегося в местах пребывания его владельца. Таким образом, можно думать, что терминологические различия обусловлены самим функциональным контекстом использования знаков.

Сокращения

Вост. – восточная сторона
Е – енисейские надписи
МШУ – стела Могойн Шинэ Усу (Селенгинский камень)
О – западная сторона Онгинской надписи (основная надпись)
Сев. – северная сторона
Тер – Терхинская (Тариатская) стела

Тон – надпись советника Тоньюкука (I; II – две стелы)
Men. Fr. – Менандр Протектор «История» (фрагменты)

Литература

1. Абрамзон С.М. Формы семьи у дотюркских и тюркских племен Южной Сибири, Семиречья и Тянь-Шаня в древности и средневековье // Тюркологический сборник. 1972. Памяти П.М. Мелиоранского. М.: Наука, 1973. С. 287–305.
2. Аззаяа Б. Ямаан Усны Ханын Хадны Бичээс // Türk Moğol Araştırmaları. Prof. Dr. Tuncer Gülensoy Armağanı. Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, 2012. 93–97 тал.
3. Бабаяров Г.Б., Кубатин А.В. Новые предложения относительно чтения слов и фраз в некоторых древнетюркских Енисейских памятниках // Archivum Eurasiae Medii Aevi. 2016. Т. 22. С. 5–29.
4. Базылхан Н. Көне түрік бітіктастары мен ескерткіштері (Орхон, Енисей, Талас). Алматы : Дайк-Пресс, 2005 (Қазақстан тарихы туралы түркі деректемелері. II т.). 252 б., 144 бет жапсырма.
5. Бартольд В.В. Очерк истории туркменского народа // Бартольд В.В. Сочинения: в 9 т. М.: Наука, 1963. Т. II. Ч. 1. Общие работы по истории Средней Азии. Работы по истории Кавказа и Восточной Европы. С. 547–623.
6. Баттулга Ц. Монголын руни бичгийн бага дурсгалууд. Тэргүүн дэвтэр. Улаанбаатар, 2005 (Corpus Scriptorum. Т. I). 240 тал.
7. Баярхүү Н. Ямаан усны хавцлын Ханан хаднаас шинээр илрүүлсэн бичээсүүд // Оюуны хэлхээ. Эрдэм шинжилгээний бичиг. 2009. Fasc. 6. Боть II(04). 40–49 тал.
8. Бернштам, А.Н. Социально-экономический строй орхоно-енисейских тюрок VI–VIII вв. Восточно-тюркский каганат и кыргызы. М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1946 (Труды Института востоковедения. Т. XLV). 207 с.
9. Большой китайско-русский словарь по русской графической системе: в 4 т. : ок. 250 000 слов и выражений. М.: Наука, 1983. Т. 2. Иероглифы № 1–№ 5064. 1102 с.
10. Будагов Л.З. Сравнительный словарь турецко-татарских наречий : со включением употребительнейших слов арабских и персидских и с переводом на русский язык. СПб.: Тип. Имп. акад. наук, 1969. Т. I. X, 810, 3, 6 с.;
11. Вайнштейн С.И. Историческая этнография тувинцев. Проблемы кочевого хозяйства. М.: Наука, 1972. 316 с.
12. Васильев Д.Д. Восстановленные фрагменты тюркской рунической надписи стелы могильника Уйтаг (Республика Хакасия РФ) // Эпиграфика Востока. М.: ИВ РАН, 2016. Вып. XXXII. С. 40–56.
13. Васильев Д.Д. Древнетюркские надписи и петроглифы Южной Сибири как источник по истории периферии Тюркского каганата // Актуальные вопросы археологии и этнологии Центральной Азии: Мат-лы международной научной конференции. Улан-Удэ, 7–8 апреля 2015 г. Иркутск: Изд-во «Оттиск», 2015. С. 361–366.
14. Васильев Д.Д. Графический фонд памятников тюркской рунической письменности Азиатского ареала (опыт систематизации). М.: Наука, 1983а. 146 с.
15. Васильев Д. Д. Корпус тюркских рунических надписей Южной Сибири. Астана: ТОО «Proser Print», 2013. Ч. 1. Древнетюркская эпиграфика Алтая. 268 с.
16. Васильев Д.Д. Корпус тюркских рунических памятников бассейна Енисея. Л.: Наука, 1983б. 128 с.
17. Васильев Д.Д. Стела Окуневской культуры с тюркской рунической надписью и тамгой (курган Уйтаг, Хакасия) // Проблемы востоковедения. 2015. № 3(69). С. 43–46.
18. Васильев, Д.Д. Тюркские рунические надписи из урочища Кара-Булун и их орфографические особенности // Эпиграфика Востока. М. : ИВ РАН, 2009. Вып. XXVIII. С. 21–25.

19. Византийские историки: Дексипп, Эвнапий, Олимпиодор, Малх, Петр Патриций, Менандр, Кандид, Ноннос и Феофан Византиец, переведенные с греческого Спиридоном Дестунисом; прим. Гавриила Дестуниса. СПб. : Типография Леонида Демиса, 1860. [2], XIV, 496, 31 с.
20. Гродеков Н.И. Киргизы и каракиргизы Сыр-Дарьинской области. Ташкент: Типо-лит. С.И. Лахтина, 1889. Т. 1. Юридический быт. 544 с.
21. Древнетюркский словарь. Л.: Наука, 1969. XXXVIII, 714 с.
22. Есин Ю.Н. К проблеме идентификации тамг кыргызов и чиков из «Тан хуйяо» // Научное обозрение Саяно-Алтая. 2017. № 1(17). С. 57–75.
23. Зуев Ю.А. Древнетюркские генеалогические предания как источник по ранней истории тюрков : дис. ... канд. ист. наук. Алма-Ата, 1967. 220 с.
24. Зуев, Ю.А. Тамги лошадей из вассальных княжеств (Перевод из Китайского сочинения VIII–X вв. Танхуйао) / Ю.А. Зуев // Новые материалы по древней и средневековой истории Казахстана. Алма-Ата : Изд-во АН КазССР, 1960 (Труды Института истории, археологии и этнографии им. Ч.Ч. Валиханова АН КазССР. Т. VIII). С. 93–140.
25. Егоров В.Г. Этимологический словарь чувашского языка. Чебоксары: Чувашское книжное издательство, 1964. 355 с.
26. Кереитов Р.Х. Ногайцы. Особенности этнической истории и бытовой культуры. Ставрополь: Сервисшкола, 2009. 464 с.
27. Кляшторный С.Г. История Центральной Азии и памятники рунического письма. СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2003. 560 с.
28. Кляшторный С.Г. Памятники древнетюркской письменности и этнокультурная история Центральной Азии. СПб.: Наука, 2006. 591 с.
29. Кляшторный С.Г. Руническая надпись на каменном изваянии из Чойрэна // Страны и народы Востока. М.: Наука, 1980. Т. XXII. Средняя и Центральная Азия. География, этнография, история. С. 90–102.
30. Кляшторный С.Г. Эпиграфические работы в Монголии. 1978 // Археологические открытия 1978 года. М., 1979. С. 597–598.
31. Кляшторный, С.Г., Самбу И.У. Руническая надпись в Улуг-Хемском районе // Ученые записки Тувинского научно-исследовательского института языка, литературы и истории. 1971. Т. XV. С. 245–249.
32. Кормушин И.В. Тюркские енисейские эпитафии. Тексты и исследования. М.: Наука, 1997. 303 с.
33. Кормушин И.В. Тюркские енисейские эпитафии: грамматика, текстология. М. : Наука, 2008. 342 с.
34. Кубарев В.Д. Калбак-таш II: памятник наскального искусства Алтая // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Материалы Годовой сессии ИАЭТ СО РАН 2007 г. Новосибирск: Изд-во Ин-та археологии и этнографии СО РАН, 2007. Т. XIII. С. 282–287.
35. Кызласов И.Л. Азиатские рунические надписи на пиршественных сосудах. Часть I. Сосуды, изученные П.М. Мелиоранским // Вопросы тюркологии. 2010. № 1. – С. 36–63.
36. Кызласов Л.Р. Новая датировка памятников енисейской письменности // Советская археология, 1960. № 3. С. 93–120.
37. Кызласов Л.Р. О датировке памятников енисейской письменности // Советская археология, 1965. № 3. С. 38–49.
38. Кызласов, Л.Р. О древнехакасских личных тамгах // Проблемы истории Хакасии. Абакан, 1979. С. 130–136.
39. Малов С.Е. Енисейская письменность тюрков: тексты и переводы. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1952. 116 с.

40. Малов С.Е. Памятники древнетюркской письменности Монголии и Киргизии. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1959. 113 с.
41. Маḥмӯд ал-Ḳāшғарӣ. Дӣвāн Луғāт ат-Турк. Алматы: Дайк-Пресс, 2005. 1288 с.
42. Маḥмӯд ал-Ḳāшғарӣ. Дӣвāн Луғāт ат-Турк (Свод тюркских слов). М.: Вост. лит-ра РАН, 2010 (Памятники письменности Востока. Вып. CXXVIII). Т. 1. 461 с.
43. Наделяев В.М. Древнетюркская надпись из Ховд-Сомона МНР // Бронзовый и железный век в Сибири. Новосибирск: Наука, 1974 (Материалы по истории Сибири. Древняя Сибирь. Вып. 4). С. 163–166.
44. Осава Т., Сүзүки К., Лхүндэв Г. Заамарын шороон довоос олдсон мөнгөн сав дээрх руни бичээс // Археологийн судлал. 2011. Т. XXX. Fasc. 8. 140–146 тал.
45. Першиц, А.И., Хазанов А.М. Община у кочевых скотоводов // Народы Азии и Африки. 1979. № 2. С. 51–60.
46. Потапов Л.П. Очерки по истории алтайцев. М.; Л. : Наука, 1953. 442 с.
47. Радлов В.В. Опыт словаря тюркских наречий. СПб.: Тип. Имп. Акад. наук, 1893. Т. 1. Гласные. Ч. 1. XVII с., стб. 1–968; СПб.: Тип. Имп. Акад. наук, 1893. Т. 1. Гласные. Ч. 2. Стб. 969–1914, 66 с.
48. Рогожинский А.Е. Проблемы изучения удостоверительных знаков средневековых кочевников Казахстана // Известия Национальной академии наук Республики Казахстан. Сер. общ. и гум. наук. 2013. № 3. С. 226–240.
49. Рогожинский А.Е. Тамги-петроглифы средневековых кочевников Казахстана : итоги новейших исследований и перспективы дальнейшего изучения // Историко-культурное наследие и современная культура // «Тарихи-мәдени мұра және заманауи мәдениет» халықаралық ғылыми-тәжірибелік семинарының материалдар жинағы / Сборник материалов международного научно-практического семинара «Историко-культурное наследие и современная культура» [30 ноября 2012 г. Алматы, 2012]. Алматы: Service Press, 2012. С. 91–104.
50. Самойлович А.Н. О «пайцза» – «байса» в Джучиевом улусе (к вопросу о басме хана Ахмата) // Самойлович А.Н. Тюркское языкознание. Филология. Руника. М.: Вост. лит. РАН, 2005е. С. 210–221.
51. Сартқожаұлы Қ. Ямаан ус (ешкі суы) жазуы // Түркология. 2014. № 67. 122–128 б.
52. Севортян Э.В. Этимологический словарь тюркских языков (Общетюркские и межтюркские основы на гласные). М.: Наука, 1974. 767 с.
53. Севортян Э.В. Этимологический словарь тюркских языков. Общетюркские и межтюркские основы на букву «Б». М.: Наука, 1978. 349 с.
54. Серегин Н.Н., Тишин В.В. Социальная история тюрков Центральной Азии (вторая половина I тыс. н.э.). Часть 1: Очерки социальной структуры (по письменным и археологическим источникам). Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2017. 344 с.
55. Соколов Д.Н. О башкирских тамгах // Труды Оренбургской ученой архивной комиссии. Оренбург: Типо-литография П.А. Порхунова, 1904. Вып. XIII. [2], 94 с.
56. Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Лексика. М. : Наука, 1997. 800 с.; 2-е изд., доп. М. : Наука, 2001. 822 с.
57. Тенишев Э. Р., Новгородова Э. А. Новые рунические надписи в горах монгольского Алтая // История и культура Центральной Азии. М.: Наука, 1983. С. 205–208.
58. Тишин В.В. Некоторые вопросы изучения социальной организации древних тюрков VI–VIII вв. на основе данных о тамгах // Российская тюркология. 2015. № 1(12). С. 40–54.
59. Тишин В.В., Серегин Н.Н. Возрастная дифференциация у древних тюрков VI–X вв.: опыт комплексного анализа // Этнографическое обозрение. 2016. № 1. С. 136–152.
60. Толыбеков С.Е. Кочевое общество казахов в XVII – начале XX века (Политико-экономический анализ). Алма-Ата : Наука, 1971. 634 с.
61. Толыбеков С.Е. Общественно-экономический строй казахов в XVII–XIX веках. Алма-

Ата: Казах. гос. изд-во, 1959. 448 с.
62. Федотов М.Р. Этимологический словарь чувашского языка. Чебоксары: Чувашск. гос. ин-т гум. наук, 1996. Т. II. С – Я. 509 с.
63. Хазанов А.М. Кочевники и внешний мир. Изд. 3-е, доп. Алматы: Дайк-Пресс, 2002. 604 с.
64. Харузин А.Н. Киргизы Букеевской орды (Антрополого-этнологический очерк). М.: Типографія А. Левенсонъ и К°, 1889. Т. 1. 551 с.
65. Черемисин Д.В. Исследование наскальных изображений долины реки Чаганка (Алтай) в 2001 г. // Вестник Сибирской ассоциации исследователей первобытного искусства. 2002. Вып. 4. С. 12–16.
66. Черемисин Д.В. Результаты новейших исследований петроглифов древнетюркской эпохи на юго-востоке Российского Алтая // Археология, этнография, антропология Евразии. 2004. № 1(17). С. 40–51.
67. Щербак А.М. Тюркская руника. Происхождение древнейшей письменности тюрок, границы ее распространения и особенности использования. СПб. : Наука, 2001. 152 с.
68. Ямаева Е.Е. Родовые тамги алтайских тюрок (XIX–XX вв.). Горно-Алтайск, 2004. 56 с.
69. Aydın E. Dialectal Elements in the Vocabulary of the Uyghur Khanate Inscriptions // Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae. 2016. Vol. 69(3). P. 285–300.
70. Aydın E. Eski Türklerde Meslek Adları (Eski Türk Yazıtlarına Göre) // Journal of Turkish Linguistics. 2008. Vol. 2. Nu 1. P. 49–66.
71. Barthold W. Die historische Bedeutung der alttürkischen Inschriften // Radloff W. Die Alttürkischen Inschriften der Mongolei. Neue Folge. Nebst einer Abhandlung von W. Barthold: Die Historische Bedeutung der alttürkischen Inschriften. St. Petersburg : Kaiserliche Akademie der Wissenschaften, 1897. S. 1–36.
72. Barutcu-Özönder F.S. Eski Türk Çağı Yazıtları: I. Açit Yazıdan I–II, Yamanı-Us Kaya Yazıtı // Kök Araştırmalar. Kök Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi. 2000. Cilt II. Sayı 2. S. 147–154.
73. Bazin L. Les Turcs, des mots, des hommes. Paris: Arguments, 1994. XI, 428 p.
74. Clauson G. An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish. Oxford: Clarendon Press, 1972. xlviii, 989 p.
75. Deny J. Tughra // E.J. Brill's First Encyclopaedia of Islam, 1913–1936. Leiden: E.J. Brill, 1987. Vol. VIII. Ṭaʾif – Zūrkhāna. P. 822–826.
76. Divanü Lûgat-it-Türk ve Tercümesi. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basimevi, 1985. Cilt I. 530 s.; Cilt III. 329 s.
77. Doerfer G. Türkische und mongolische Elemente im Neupersischen unter besonderer Berücksichtigung älterer neupersischer Geschichtsquellen vor allem der Mongolen- und Timuridenzeit. Wiesbaden: Franz Steiner Verlag, 1963. Bd. I. Mongolische Elemente im Neupersischen (Akademie der Wissenschaften und der Literatur: Veröffentlichungen der Orientalischen Komission. Bd. XVI). XLVIII, 557 S.
78. Doerfer G. Türkische und mongolische Elemente im Neupersischen unter besonderer Berücksichtigung älterer neupersischer Geschichtsquellen vor allem der Mongolen- und Timuridenzeit. Wiesbaden: Franz Steiner Verlag, 1965. Bd. II. Türkische Elemente im Neupersischen (Akademie der Wissenschaften und der Literatur: Veröffentlichungen der Orientalischen Komission. Bd. XIX). V, 671 S.
79. Ecsedy H. Tribe and Tribal Society in the 6th Century Turk Empire // Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae. 1972. T. XXV. P. 245–262.
80. Erdal M. Die Sprache der wolgabolgarischen Inschriften. Wiesbaden: Harrassowitz, 1993 (Turcologica. Bd. 13). vi, 172 S.
81. Erdal M. Old Turkic Word Formation: A Functional Approach to the Lexicon. Wiesbaben: Harrassowitz, 1991 (Turcologica. Bd. 7). Vol. I–II. XIV, 874 p.

82. Gabain A. (von) Alttürkische Grammatik. Mit Bibliographie, Lesestücken und Wörterverzeichnis, auch Neutürkisch. Mit vier Schrifttafeln und sieben Schriftproben. 2. Verbesserte Auflage. Leipzig: Otto Harrassowitz, 1950 (Porta Linguarum Orientalium, Sammlung von Lehrbüchern für das Studium der orientalischen Sprachen, herausgegeben von Richard Hartmann. XXIII). XVIII, 357, [18] S.
83. Gabain A. (von) Inhalt und magische Bedeutung der alttürkischen Inschriften // Anthropos. 1953. Bd. 48. H. 3/4. S. 537–556.
84. Gabain A. (von) Köktürklerin Tarihine Kısa Bir Bakış I: Stepte Yaşayan Köktürkler (682–742) // Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi. 1944. Cilt II. Sayı 5. S. 685–695.
85. Gabain, A. (von) Steppe und Stadt im Leben der ältesten Türken // Der Islam. 1949. Bd. XXIX. Heft 1. S. 30–62.
86. Gülensoy T. Türkiye Türkçesindeki Türkçe Sözcüklerin Köken Bilgisi Sözlüğü: tarihi – yaşayan Türk lehçeleri (şiveleri/dilleri). Anadolu ağızları ve Altay dilleri ile karşılaştırmalı: (etimolojik sözlük denemesi). Ankara: Türk Dil Kurumu, 2007 (Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları; 911). Cilt I (A–N). 608 s.; Cilt II (O–Z). 596 s.
87. İnan A. Kazak-Kırgızlar'da "Yeğenlik hakkı" ve "konuk aşı" meseleleri // İnan A. Makaleler ve İncelemeler. Ankara, 1968a (Türk Tarih Kurumu Yayınları. VII. Dizi – Sa. 51a). Cilt I. S. 281–292.
88. Kara G. Zhou Tarihi'nin Türkler Bölümü Üzerinde Metin Çalışması // İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi. 2015. Cilt: 4. Sayı: 3. S. 542–562.
89. Khazanov A.M. Nomads and the Outside World. 2-nd ed. Madison: University of Wisconsin Press, 1994. xlix, 382 p.
90. Maḥmūd al-Kāšγarī. Compendium of the Turkic Dialects (Dīwān Luγāt at–Turk). Cambridge, Mass.: Harvard University Office of the University Publisher, 1982 (Sources of Oriental Languages and Literatures. 7; Turkish Sources. VII). Pt. I. XI, 416 p.; 1984. Pt. II. III, 381 p.;
91. Moravcsik Gy. Byzantinoturcica. 3. Unveränderte Auflage. Leiden: E.J. Brill, 1983 (Berliner Byzantinische Arbeiten. X). Bd. II. Sprachreste der Turkvolker in den byzantinischen Quellen. XXV, 376 S.
92. Orkun H.N. Eski Türk yazıtları. 3. bk. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1994 (Türk Dil Kurumu Yayınları. 529). 963 s.
93. Ōsawa T. Moğolistan'da Son Zamanlarda Keşfedilen "Olon Nuurin Khöndii"deki Anıt ve Yazıtı Üzerine – 2009 Yılının Japon ve Moğol Ortak Yüzey Araştırmalarına Dayanarak // I. Uluslararası Uzak Asya'dan Ön Asya'ya Eski Türkçe Bilgi Söleni, 18–20 Kasım 2009. Afyonkarahisar, 2010. S. 191–210.
94. Ögel B. Türk Kültürünün Gelişme Çağları. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1971. Cilt 1 (1000 Temel Eser: 49). xviii, 161 s.; Cilt 2 (1000 Temel Eser: 50). 168 s.
95. Radloff W. Die Alttürkischen Inschriften der Mongolei. St. Petersburg: Kaiserliche Akademie der Wissenschaften, 1895. III. Lief. viii, 460 S.
96. Ramstedt G.J. Zwei uigurische Runeninschriften in der Nord-Mongolei // Journal de la Societe Finno-Ougrienne. 1913. T. XXX. № 3. S. 1–63.
97. Räsänen M. Versuch eines etymologischen Wörterbuchs der Türksprachen. Helsinki: Suomalais-ugrilainen seura, 1969 (Lexica societatis Fenno-Ugricae. XVII/1). 533 S.
98. Rybatzki V. Die Toñuquq-Inschrift. Szeged, 1997 (Studia uralo-altaica. 40). 132 S.
99. Schafer E.H. The Golden Peaches of Samarkand: a Study of T'ang Exotics. Berkeley: University of California Press, 1963. xi, 399 p.
100. Sertkaya O.F. Tam+ka "duvar"a, tamga "damga" ve runa "işaret" üzerine" // Orkun. 2003. Sayı 63. S. 32–39.
101. Starostin S.A., Dybo A.V., Mudrak O.A. An Etymological Dictionary of Altaic Languages. Leiden; Boston: Brill, 2003. Pt. I. A – K (Handbook of Oriental Studies. Section

eight, Central Asia, vol. 8/1). P. 1–858; Pt. II. L – Z (Handbook of Oriental Studies. Section eight, Central Asia, Vol. 8/2). P. 859–1556.
102. Sümer F. Oğuzlar (Türkmenler): Tarihleri, Boy Teşkilâtı, Destanları. 2. bk. İstanbul, 1972 (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yaıynları: 170). XXV, 532 s.
103. Şirin User H. Bombogor Inscription: Tombstone of a Turkic Qunčuy ("Princess") // Journal of the Royal Asiatic Society. 2015. Vol. 26. Iss. 03. P. 1–9.
104. Şirin User H. Bömbögör Yazıtı: Bir Türk Kunçuyunun Mezar Taşı // Dil Araştırmaları. 2010. Sayı: 7. S. 61–73.
105. Şirin User H. Köktürk ve Ötüken Uygur Kağanlığı Yazıtları. Söz Varlığı İncelemesi. Konya, 2009 (Kömen Yayınları 32; Türk Dili Dizisi 1). 548 s.
106. Tekin T. A Grammar of Orkhon Turkic. Bloomington; The Hague: Mouton & Co, 1968 (Indiana University Publications. Uralic and Altaic Series. Vol. 69). 419 p.
107. Tekin T. Orhon Türkçesi Grameri. 2. bk. İstanbul, 2003 (Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi, 9). 272 s.
108. Yalgın A.R. Uludağ çevresinde Türk Damgaları // III. Türk Tarih Kongresi. Ankara 15–20 Kasım 1943. Kongreye sunulan tebliğler. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basimevi, 1948 (Türk Tarih Kurumu Yayınlarından IX. Seri: No. 3). S. 426–433.
109. Yıldırım F., Aydın E., Alimov R. Yenisey–Kirgizistan Yazıtları ve Irk Bitig. Ankara: BilgeSu, 2013. 512 s.

SOME ASPECTS OF A STUDY ON TAMGAS OF THE INNER ASIAN NOMADS OF OLD TURKIC PERIOD

Tishin V.V.
Institute for Mongolian, Buddhist and Tibetan Studies of the Siberian Branch of the RAS, Ulan-Ude, Russia, tihij-511@mail.ru

Abstract. The article discusses some theoretical problems of a studying of "tamga" signs' material of the Old Turkic period. The author draws his attention to the terminology for the designation of "tamga" symbols used in the sources and tries to specify the relationship between different terms, considering them in the context of the problem of the functional significance of certain signs. Considerable attention is paid to the discussion on social nature of Old Turkic "tamga" signs to be considered as personal or tribal.
Keywords: "tamga" sign, nomads, Ancient Turks, Inner Asia, social organization.

АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДНЕВЕКОВОГО КУНСКОГО И ВЕНГЕРСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (КРАТКИЙ ОБЗОР)

Марчик А.
Сегедский университет, Сегед, Венгрия

Аннотация. В статье анализируются антропологические показатели средневекового населения Карпатского бассейна. Выявлены захоронения людей европеоидного и монголоидного облика.
Ключевые слова: антропометрия, куны, бешеньё, европеоиды, монголоиды.

По теме антропологического характера кунов, поселившихся в Венгрии, вышло очень мало публикаций. Первый антропологический отчет был написан Лайошем Бартуцем в 1923 г. [Bartucz, 1923]. Речь идет о памятнике Карцаг–Кёдсаллаш пуста / Karcag–Ködszállás puszta, который в документах начала XVI – конца XVII вв. фигурирует как кунское поселение. В результате раскопок были найдены остатки нескольких домов, церкви и кладбища села. Антропологическому анализу подвергли всего 20 черепов, 5 скелетов и непотревоженные скелеты 15 индивидов. Автор определил рост в 17 случаях (13 мужчин и 4 женщины). Средний рост мужчин 164,92 см, женщин – 150,90 см, то есть эти люди были ниже среднего роста. Черепной указатель (отношение длины к ширине черепа) в среднем составил 81,69. Бартуц выделил две большие группы и две малые подгруппы. Первый тип он называет «кунским» (короткая, особенно высокая черепная коробка, лоб также высокий и широкий, лицевой отдел средней ширины и скорее низкий). Монголоидные черты не наблюдались или наблюдались только размыто. Второй тип характеризуется очень короткой черепной коробкой с широким лбом, лицевой отдел средней широты, широкая и плоская переносица с плоской лицевой частью. Этот тип, вероятно, был древним, оригинальным кунским элементом. Черепа этого типа были найдены также на памятниках, которые с исторической точки зрения принадлежали бешеньё, поэтому он был назван типом «бешеньё» (печенежским). Бартуц считал, что в среде кунов из Надькуншага было много элементов бешеньё. Третий тип характеризуется умеренно высокой черепной коробкой, выпуклым лбом, низкой черепной крышкой, высоким, узким лицевым отделом. Возможно, что это расовый элемент ясов. Четвертый тип так же располагает умеренно длинным черепом, но отклоненным назад лбом. Лицевой отдел достаточно узкий, высокий. Бартуц считал, что этот характер указывает на чужую этническую группу. Его работе придает особое значение тот факт, что это первый достоверный антропологический анализ, на основании которого можно сделать выводы об антропологическом характере кунов.

В этой статье Лайош Бартуц упоминает два черепа из Кишкунхалаша / Kiskunhalas, которые были представлены Брокой в 1875 г. на заседании парижского антропологического общества в качестве «кунских». Бартуц, однако, считает, что эти черепа не «кунские», так как у них черепная коробка удлиненная (долихокрания) [Bartucz, 1923, с. 85]. Позже, в 1938 г., он снова указал на то, что кунский костный материал скорее характеризуют короткие черепа[Bartucz, 1938, с. 132].

На основании данных Яноша Гашпара в своей статье Янош Баннер дает характеристику кунского женского скелета с памятника Надькамараш–Банкут / Nagykamarás–Bánkút [Banner, 1931][1]. Черепная коробка средней длины, лицевой отдел высокий и средневысокий. Повторное измерение черепа и длинных костей, а также некоторые новые измерения модифицировали данные, опубликованные в статье.[2] При фиксации морфологических

[1] В статье [Horváth, 2001, с. 309] под названием Надькамараш–Банкут.
[2] На основании данных автора, черепная коробка средней длины (мезокранный: 78,0), средней высоты (ортокранный: 71,65), лоб широкий (еврометопный: 72,6), лицевой отдел длинный (лептопросопный/lepten:

характеристик было замечено, что длинный череп сопровождается уплощенностью затылка. По типу череп принадлежит к европеоидной морфологической группе (грацильный средиземноморский-х) (рис. 1). Судя по данным Яноша Гашпара и автора, рост человека составлял 151 см. Наряду с доминантным европеоидным характером, зубы указывают на т.н. монголоидный дентальный комплекс [Kocsis, 2001, с. 331-333; анализированные характеристики см. на с. 333]. Скелет, анализированный выше, относится к кругу кунских княжеских погребений [Horváth, 2001, с. 309].

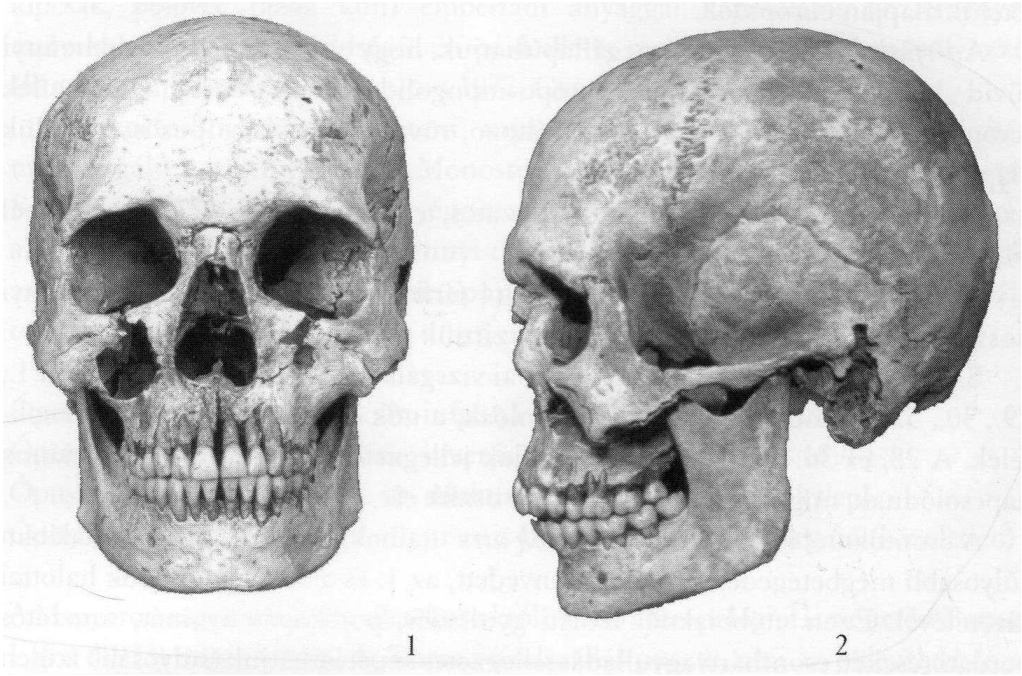


Рис. 1. Ченгеле–Богархат, погр. 57, мужской евро-монголоидный череп (по [Marcsik, 2001, с. 327]). 1 – анфас, 2 – профиль.

На памятнике Ченгеле–Богархат / Csengele–Bogárhát в результате раскопок 1975 г. было найдено 37 погребений, а при спасательных работах было обнаружено еще 12 скелетов [Horváth, 2001, с. 187]. Антропологический анализ был проведен у 36 скелетов из погребений и у 12 случайных находок. При археологических работах, связанных со строительством автострады M5 недалеко от этой территории, были найдены новые скелеты: отдельное погребение объекта 57 (за пределами прицерковного кладбища) и оссуарий, содержащий перемешавшиеся кости, по меньшей мере, 30 индивидов [Marcsik, 2001, с. 326].[3] В небольшой популяции, найденной на памятнике, на основании метрических данных есть как короткие (брахикранные), так и длинные (долихокранные) черепа. Индивиды с короткими черепами встречаются в первую очередь среди мужчин, но к этому же кругу принадлежит три женских черепа. Короткий мозговой череп сопровождается широким лицевым отделом, затылочный вид чаще всего округленный (curvoccipital). Биометрический анализ Ласло Сатмари выявил схожесть четырёх мужских и двух женских черепов [Szathmáry L. In: Marcsik, 2001, с. 328]. С точки зрения разделения типов, наряду с европеоидами значительно число монголоидов и евро-монголоидов. У монголоидов встречается центральноазиатский, у евро-монголоидов – туранидский тип. Длинных (долихокранных) черепных коробок меньше.

90,47/57,93), глазницы крупные (hypsikonch: 85,0), нас узкий (лепториния: 44,23), твёрдое нёбо широкое (brachystaphylin: 86,36), возраст: 23-25.

[3] По любезному сообщению Андраша Палоци Хорвата в Ченгеле–Богархат, около и внутри церкви, вероятно, хоронили усопших двух популяций, последовавших одна за другой: более раннее венгерское население и более позднее кунское.

Лицевой отдел тоже длинный, линия черепа в плане овальная, профиль затылка выраженно плоский.

По комплексу типов выявляется некоторое половое различие: мужчины, за одним исключением, характеризуются коротким черепом, они монголоиды, евро-монголоиды и европеоиды (cromagnoid-B). Рост: 157-173 см. Женские черепа разнообразны, есть короткие и длинные, все они европеоиды, рост: 148-157 см.

Патологические отклонения, наблюдаемые на костях, указывают на то, что эта группа населения не страдала тяжелыми болезнями, за исключением двух индивидов. У последних наблюдаются следы воспаления суставов, артроз, переломы ребер, периостит. На нескольких детских черепах видны отклонения, указывающие на недоброкачественное питание, у одного ребенка предполагается рахит. Во многих случаях на костях наблюдается увеличение мест прикрепления мышц, что указывает на тяжелый физический труд или особенный образ жизни [Marcsik, 2001, c. 328].

На основании генетических исследований модно сказать, что кунская популяция в Ченгеле не была гомогенна. Разделяются два генетических элемента: азиатский, который указывает на генетическое происхождение кунов, и европейский, который, вероятно, влился в народность в ходе кочеваний. Самая большая генетическая отдаленность наблюдается по отношению к современным финским, коми и тюркским этническим группам.[4]

Для дентального анализа общины из Ченгеле в распоряжении исследователей были челюсти 30 индивидов. Семеро из них характеризуются монголоидным дентальным комплексом [Kocsis, 2001, c. 331-333].

Из скелетов, найденных в оссуарии (примерно 30 индивидов), 8 черепов длинные или средне-длинные (долихокранные-мезокранные) с плоским («коническим») затылком. Нужно отметить, что один из детских черепов носит следы тяжелых врожденных дефектов (палатосхиз – расщепление нёба до верхнего края носового отверстия) [Hegyi – Kocsis, c. 2001, 334].

Погребение 57, найденное отдельно от могильника общины Ченгеле, принадлежало мужчине 25-30 лет. Могила входит в круг кунских княжеских захоронений [Horváth, 2001, 89-102, c. 308]. Его череп удивительно похож на три черепа, найденные в общинном могильнике [Szathmáry L. In: Marcsik, 2001, c. 328]. Черепная коробка короткая (брахикранная: 84,18), высокая (гипсикранная: 75,70), лоб средней ширины (eurymetop: 67,11), лицевой отдел широкий (euryprosop: 81,69), глазницы средние (mesokonch: 79.06), район носа также средний (mesorrhin: 50,94). Рост: 173 см. Морфологические характеристики: угловатые глазницы, выгнутый угол мандибулы (и, как следствие, угловатое лицо), заполненная fossa canina, прямой нос, fossa prenasalis и лопатовидные резцы.[5] Зубы принадлежат к монголоидному дентальному комплексу [Kocsis, 2001, c. 331]. Отклонения на предплечье и ключице указывают на интенсивное использование верхних конечностей. По типу индивид принадлежит к евро (cromagnoid-B)-монголоидному: туранидский (среднеазиатский)[6] (рис. 2).

Антропологически были проанализированы скелеты погребений 394 и 753 могильника Опустасер–Моноштор / Ópusztaszer-Monostor и погребения 38 и 42 могильника Опустасер–Каполнадюлё / Ópusztaszer–Kápolnadűlő, так как предполагается, что они также

[4] Bogácsi-Szabó Erika: Populációgenetikai és diagnosztikai célú mitokondriális DNS ás autoszomális marker vizsgálatok Magyarországon feltárt régészeti csontleletekből és modern mintákból. PhD Disszertáció tézisei. MTA Szegedi Biológiai Központ, Genetikai Intézet. Szeged. 2006.

[5] Эти метрические и морфологические характеристики сохранились в записях автора.

[6] На основании черепа Агнеш Куштар сделала реконструкцию лица: [Kustár, 2001, c. 338].

принадлежали кунам. Все материалы весьма фрагментированы, поэтому удалось определить только половозрастные группы, и в отношении погребения 38 – рост [Marcsik, 2001, с. 329].[7]

Рис. 2. Надькамараш–Банкут, женский череп типа грацильно-средиземноморский –х. 1 – анфас, 2 – профиль.

В 2004 г. был опубликован антропологический анализ 94 скелетов, найденных на территории памятника XI в. Перката(I)–Кёхалми-дюлё / Perkáta–Kőhalmi-dűlő (область Фейер) [Éry, 2004, с. 258-261]. По демографическому профилю, сделанному на основании половозрастного определения, скелетов младенцев не было обнаружено. Смертность детей была наиболее высокая в возрасте 1-4 года. Мужчины умирали обычно в возрасте 50-54 года, а женщины – 45-49. Тяжелых патологических случаев не было встречено.

По метрическим характеристикам мужчины и женщины представляли очень схожую картину. Их черепные коробки были длинные и узкие, лицо низкое. С таксономической точки зрения, они представляли тип длинноголовых (долихокранных) европеоидов. Несколько монголоидных черт появляется на черепе одного мужчины и четырёх женщин.

Самую близкую параллель Перката I находит в популяции памятников Залавар–Каполна / Zalavár–Kápolna и Талиандёрёгд I / Taliándörögd I, что указывает на то, что в этом регионе Задунавья жило население схожего характера. Позже деревня запустела. С конца XIII в. здесь поселилась новая группа, ее могильник проходит в литературе под названием Перката II [Éry, с. 2004, 261]. Новое население этнически принадлежало кунам. Всего было открыто 118 погребений. Смертность отличается от могильника Перката I гораздо менее благоприятными показателями. Пик смертности у женщин уже 15-19 лет, у мужчин – 45-49 лет. На костях необычайно мало патологических отклонений. От популяции Перката I здешние скелеты отличаются более сильной структурой костей. Черепа также отличаются, большей частью они короткие и широкие. Это обычно европеоиды, но во многих случаях наблюдаются и монголоидные черты. Рост меньше, чем у современных им популяций Карпатского бассейна. На основании метрических данных мужчины, в отличие от женщин, не похожи ни на один образец Карпатского бассейна.

[7] Кроме материала из Банкута и Ченгеле Г. Кочиш проанализировал зубы из погребений 38 и 42 могильника Опустасер–Каполнадюлё, определив, что оба индивида харатеризуется монголоидным дентальным комплексом [Kocsis, 2001, с. 331].

На основании данных, приведенных выше, вырисовывается картина антропологических характеристик двух небольших (Карцаг, Ченгеле) и одной крупной (Перката II) кунских и куно-венгерских находок скелетов. Длинноголовые (долихокранные) индивиды, вероятно, связываются с венграми эпохи Арпадов (вместе с материалами оссуария), в то время как короткоголовые (брахикранные) монголоидные черепа – с кунами. Это подкрепляется и публикациями кыпчакских, половецких антропологических материалов, в которых подчеркиваются короткоголовость, евро-монголоидный, монголоидный характер черепов [Ginzburg –Trofimova, 1972, Geraszimov et al., 1987 In: Marcsik, c. 2001, 329, 355]. На схожие результаты указывает предварительный анализ могильника Кишкунхалаш, где были найдены кунские и главным образом венгерские скелеты 13-14 вв.[8]

Из кунских княжеских погребений опубликованы антропологические результаты только двух индивидов: мужское погребение 57 из Ченгеле–Богархат и женское погребение памятника Надькамараш–Банкут [Marcsik, 2001, c. 326-330]. Евро-монголоидный типовой спектр черепа из Ченгеле однозначно указывает на евро-монголоидную, монголоидную принадлежность кунских мужчин, в то же время это не относится к женскому скелету из Банкута. Европеоидный (грацильный средиземноморский-х) характер, возможно, указывает на отличия кунских женских типов в группе европеоидов, что также наблюдается в женской группе могильников Ченгеле и Перката II.[9]

Литература

1. Banner 1931 = Banner János: A bánkúti lovassir – Das Reitergrab von Bánkút. DolgSzeg 7 (1931), 187-204.
2. Bartucz 1923 = Bartucz Lajos: Egy régi kuntelep embertani feltárása. (A Karcag – Ködszállási ásatások). Antropológiai Füzetek 4-6 (1923), 81-86.
3. Bartucz 1938 = Bartucz Lajos: A magyar ember. A magyarság antropológiája. In Magyar föld. Magyar faj. Szerk.: Prinz Gy., Cholnoky J., Teleki P., Bartucz L. IV. kötet. Budapest 1938, 7-495.
4. Éry 2004 = Éry Kinga: Perkáta középkori magyar és kun népességének embertani jellemzői. In: Hatházi 2004, 257-310.
5. Hegyi – Kocsis 2001 = Hegyi Andrea – Kocsis S. Gábor: Különleges fejlődési rendellenesség egy csengelei koponyán. In: Horváth 2001, 334-337.
6. Hatházi 2004 = Hatházi Gábor: A kunok régészeti emlékei a Kelet-Dunántúlon. Opuscula Hungarica V. Budapest 2004.
7. Horváth 2001 = Horváth Ferenc: A csengelei kunok ura és népe. Archaeolingua. Budapest 2001.
8. Kocsis 2001 = Kocsis S. Gábor: Miről árulkodik őseink fogazata? In: Horváth 2001, 331-334.
9. Kustár 2001 = Kustár Ágnes: Szemtől szemben a kun vezérrel. A plasztikus arcrekonstrukció módszere. In: Horváth 2001, 337-340.
10. Marcsik 2001 = Marcsik Antónia: A csengelei sírok embertani vizsgálata. In: Horváth 2001, 326-331.

[8] Marcsik A. – Varga Zs.– Molnár E.: Kiskunhalas – Katolikus temető 13-14. századi csontvázmaradványai. – В процессе разработки. За последние 30-40 лет были раскопано несколько кладбищ кунских саллашей (Карцаг–Оргондасентмиклош, Карцаг–Ассоньсаллаш, Сенткирай), их антропологический материал пока не обработан. Куны могли быть погребены около церкви в Ньарсентлёринце / Nyárlőrinc и около церкви францисканцев в Кечкемете, но в большинстве своем здесь были венгры. Этнические группы здесь пока не были выделены (любезное сообщение Андраша Палоци Хорвата).

[9] Автор выражает благодарность Андрашу Палоци Хорвату за рецензирование статьи и Яношу Балажу за фотографии черепа их Надькамараш–Банкута.

ANTHROPOLOGICAL CHARACTERISTICS OF MEDIEVAL KUN AND HUNGARIAN POPULATION (OVERVIEW)

Marcsik A.
University of Szeged, Szeged, Hungary

Abstract. The article analyzes the anthropological indicators of the medieval population of the Carpathian basin. The graves of peoples of Caucasoid and Mongoloid appearance were identified.
Key words: anthropometry, besenyő, kuns, Europeoids, Mongoloids.

ОБРАЗ ВРАГА В ОГУЗСКОМ КНИЖНОМ ЭПОСЕ

Аникеева Т.А.
ИВ РАН, Москва, Россия, tatiana.anikeeva@gmail.com

Аннотация. «Книга моего деда Коркута» состоит из двенадцати песен-сказаний, повествующих о подвигах огузских богатырей. Основным сюжетообразующим стержнем, вокруг которого группируются эти сказания, является борьба огузов с окружающими их со всех сторон иноверцами (*гяурами, кяфирами*) на землях Малой Азии, а также междоусобицы в среде самих огузов. Внешний враг для огузов имеет и конкретные, и в то же время мифологические черты, тем самым маркируя границу между миром кочевников и соседним оседлым миром (гяуры-владетели крепостей, набеги на которые совершают герои «Книги Коркута»).

Ключевые слова: книжный эпос, Закавказье, Восточная Анатолия, огузы, мусульмане, христиане.

Статья подготовлена в рамках проекта РФФИ № 17-01-50013.

Сказания, составляющие «Книгу моего деда Коркута» (*Kitab-i dedem Korkut*), довольно четко группируются вокруг определенных героев этого эпоса – Салор-Казана, Бамси Бейрека, так называемых «младших богатырей» (Амрана, Иекенка). «Книга моего деда Коркута» неоднородна в хронологическом отношении (более подробно см.: [Аникеева, 2018а]), к наиболее поздним сказаниям, составляющим памятник, относят V и VI сказания, сложившиеся уже на территории Малой Азии после переселения огузов в Закавказье.

«Книга моего деда Коркута» (по Дрезденскому списку[1]) состоит из двенадцати песен-сказаний, повествующих о подвигах огузских богатырей. Основным сюжетообразующим стержнем, вокруг которого группируются эти сказания, является борьба огузских племен с окружающими их со всех сторон иноверцами, не-мусульманами (*гяурами, кяфирами*) на землях Малой Азии и Южного Кавказа, а также многочисленные междоусобицы в среде самих огузов[2].

В нескольких песнях «Книги Коркута» (II, «Песнь о том, как был разграблен дом Салор-Казана»[3]; III, «Песнь о Бамси-Бейреке, сыне Кан-Буры»; IX, «Песнь об Амране, сыне Бекиля») упоминается «царь гяуров», христианин Шюкли-мелик (тур. *Şökli Melik*), названный «злейшим из гяуров»: «(Об этом) проведал разведчик гяуров, пошел, принес весть злейшему из гяуров, царю Шюкли. Семь тысяч черноволосых гяуров нечистой веры, врагов (истинной) веры, в кафтанах, разорванных сзади до половины, сели на своих пегих коней,

[1] Нам известно о двух рукописях «Китаб-и дедем Коркут» – это так называемые Дрезденский и Ватиканский списки. Ватиканский список «Книги моего деда Коркута» был, соответственно, обнаружен в библиотеке Ватикана, переведен и опубликован в 1950 г. Э. Росси. Данный список состоит из шести сказаний (сказание о Богач-хане, сказание о Бамси-Бейреке, сказание о разграблении дома Салор-Казана, сказание о пленении Уруз-хана сына Казана, сказание о Йегенеке сыне Казылык-Коджи, сказание о смерти Бейрека), тогда как Дрезденская рукопись (обнаруженная в библиотеке Дрездена Г. Дицем: немецкий востоковед опубликовал одно (VIII) сказание из рукописи в 1815 г.) – из 12. Хотя Ватиканская рукопись «Книги моего деда Коркута» и не обнаруживает больших расхождений с Дрезденской, по сравнению с ней содержит меньше ошибок, внесенных переписчиками.

[2] Особняком стоит пятое сказание («Рассказ об удалом Домруле, сыне Дука-коджи»), герой которого – Удалой Домрул (*Deli Domrul*) – борется с самим ангелом смерти Азраилом. Сюжет сказания о Домруле близок греческим легендам: Домрул пытается убить ангела смерти Азраила, но впоследствии раскаивается в своем обмане. Это сказание по своему сюжету стоит несколько особняком от остальных и от традиции тюркского эпоса. В этом рассказе объединено два сюжета, распространенных, прежде всего, в новогреческом фольклоре: борьба богатыря со смертью, ангелом смерти (связанный с византийским эпосом о Дигенисе Акрите, борющемся с Хароном) и жена, отдающая свою жизнь как выкуп у смерти за мужа после того, как это отказываются сделать мать и отец богатыря. Более подробно см.: [Аникеева, 2018б].

[3] Здесь и далее названия песен, имена собственные и цитаты приводятся по переводу В.В. Бартольда.

совершили набег; в полночь они пришли к орде Казан-бека» [Книга Коркута, II, с. 22]. Вместе с ним упомянуты и его соратники: Суну-Сандал, Кара-Тюкен, Богачик: «На правом крыле сын Кыян-Сельджука, удалой Дундаз, сошелся с царем Кара-Тюкеном, отрубил ему мечом правый бок, сбросил (его) на землю. На левом крыле сын Кара-Гюне, удалой Будак, сошелся с царем Богачиком, крепко ударил его по голове палицей-шестопером, мир перед его глазами покрылся мраком…» [Книга Коркута, II, с. 31].

Не вполне ясно, насколько историческим являются упомянутые персонажи, хотя некоторые исследователи (в частности, Этторе Росси) полагают, что прототипом эпического Шюкли-мелика мог стать и предводитель туркмен в Сирии XI в. Шёкли [Rossi, 1981, p. 359-360]. В сказании о Салор-Казане и других сказаниях «Книги Коркута» гяуры-христиане предстают как враждебные огузам-мусульманам «люди нечистой веры» (*azgun dinlü*, один из постоянных эпитетов неверных в эпосе), хотя исторической основой «Сказания о разграблении дома Салор-Казана» в сюжетном отношении являются некие отголоски преданий о войнах между огузами и печенегами в IX-X вв. на территории низовий Сыр-Дарьи, отраженные у Абулгази в «Родословной туркмен» (см.: [Жирмунский, 1962, с. 181]).

В сказаниях «Книги Коркута» упоминаются топонимы – в основном, это названия крепостей, – связывающие эпических врагов огузов с некоторыми конкретными географическими реалиями, в основном, на Южном Кавказе и в Восточной Анатолии: «злые гяуры крепости Оник» (Авник, «крепость округа Басин», по В.В. Бартольду, т.е. Пасен, неподалеку от совр. Эрзурума), «черное ущелье Пасенг» (Пасен), Грузия, куда везут товары купцы из Стамбула, крепости Алынджа, Мардин, Байбурт, Дизмерд на берегу Черного моря, Ахалцих (*Aksaka* - *Ahıska*) и другие. Хотя география «Книги Коркута» представляет собой тему отдельного исследования, в данном случае четкая локализация персонажей эпоса свидетельствует скорее о том, что большая часть сказаний прошла свое оформление и циклизацию уже на соответствующих территориях.

Другим внешним врагом для народа огузов в «Книге Коркута» предстает «трапезунтский *тагавор*»[4]. Столкновению с ним посвящено, в особенности, VI сказание «Книги Коркута» «Песнь о Кан-Турали, сыне Канлы-Коджи». Сказание повествует о Кан-Турали и его сватовстве; оно, как и предыдущее V сказание о Домруле, как уже было сказано, относится к наиболее поздним сказаниям «Книги Коркута», сложившимся уже на территории Закавказья. Отец Кан-Турали, «разумный муж» Казылык-Коджа, со своими джигитами отправляется на поиски подходящей невесты для сына: «Вошел в землю (внутренних) огузов, не мог найти девицу; обратился в другую сторону, вошел в землю (внешних) огузов, не мог найти девицу; обратился в другую сторону, пришел в Трапезунт».

Кан-Турали решает сватать дочь трапезунтского тагавора Сельджан-хатун, и для того, чтобы получить ее, он должен побороться с охраняющими ее свирепым львом, черным быком и черным верблюдом; после этого он вступает в битву и с самим тагавором. Победив при помощи Сельджан-хатун в битве войско тагавора, Кан-Турали вместе с ней возвращается в стан огузов к своему отцу. По словам В.В. Бартольда, «Песнь о Кан-Турали, сыне Казылык-Коджи» тесно связана с Трапезунтом[5] и Византией не только поворотами сюжета, но и с точки зрения литературной преемственности: по всей видимости, сюжет сватовства Кан-Турали тесно связан со средневековыми европейскими рыцарскими романами, в которых прославлялась красота трапезунтских невест[6], но в не меньшей степени – и с византийским фольклором. В этом отношении интересным представляется

[4] *Тагавор* – слово армянского происхождения, означающее один из титулов монарха, правителя.

[5] Трапезунтская империя – греческое государство на севере Малой Азии, просуществовавшее с 1204 по 1461 гг. со столицей в Трапезунте. В 1204 г. потомки византийского императора Андроника I Комнена заняли Трапезунт и окрестные прибрежные земли. В 1461 г. Трапезунтская империя окончательно прекратила свое существование, будучи завоеванной Мехмедом II.

[6] См., например, «Калоандро» (“Calloandro fedele”) Джованни Амброджо Марини, где речь идет о сватовстве туркменского витязя Сафара к Леонильде, наследнице престола Трапезунта [Бартольд, 1930, с. 2].

сопоставление «Песни о Кан-Турали» с возникшей в средневековом Трапезунте греческой песнью о Ксанфине (о ней см.: [Попова, 1974, с. 80-82; Дестунис, 1881]). С другой стороны, мотивы поиска невесты, борьбы со зверями, сна богатыря, сражения невесты вместе с ее женихом против отца, вышедшего в погоню, свойственны и всему тюркскому героическому эпосу, а роль отца как свата также восходит к древним тюркским обычаям.

Место обитания трапезунтского тагавора, несмотря на кажущуюся определенную географическую привязку, в этом сказании представлено как некое иномирное и враждебное по отношению к огузам – «стране огузов» (*Oğuz eli*) – пространство, «злые места» (*yavuz yerler*) – так, Канлы-Коджа говорит своему сыну Кан-Турали, отправляющемуся в путь: «Канлы-Коджа тут заговорил – посмотрим, хан мой, что он говорил: "Сын, там, куда ты пойдешь, дороги как водовороты; глина такова, что всадник, погрузившись, не выберется; лес таков, что пестрой змее не проползти; крепости возвышаются до небес; там красавицы поражают взоры, похищают сердца; там палач, не издав звука, отрубает голову… В злые места ты устремился"»[7] [Книга Коркута, VI, с. 65]. Точно также и образу царя гяуров Шюкли-мелику присущи демонические черты: «… через Железные Ворота, через Дербент прошла весть; всадник красного коня, царь Шюкли, сильно разгневался; *от его гнева пал туман на черные горы*[8]» [Книга Коркута, «Песнь об Амране, сыне Бекиля», IX, с. 86].

Таким образом, внешний враг в сказаниях «Книги Коркута» для огузов наделен как конкретными («трапезундский тагавор», «злые гяуры крепости Оник» и др.), так и в то же самое время мифологическими чертами, тем самым маркируя и подчеркивая границу между «своим» миром кочевников и окружающим его, пока чуждым, оседлым миром[9].

Необходимо отметить, что сходное явление можно увидеть и в памятниках средневековой французской и испанской эпической традиции, в центре сюжета которых стоит борьба с иноверцами-чужаками (в данном случае – мусульманами) – а именно «Песни о Роланде» и отчасти «Песни о моем Сиде»[10], а также романсеро (см., например романсы о Бернардо дель Карпио).

«Песнь о Роланде» (*Chanson de Roland*) – часть так называемой «королевской жесты»[11], дошла до нас в нескольких редакциях, наиболее ранней и совершенной из которых считается Оксфордская рукопись XII в.; историческую основу эпической поэмы составляет битва в Ронсенвальском ущелье[12], впоследствии переосмысленная, однако, в фольклоре как борьба с маврами-иноверцами. При описании войск мавров и перечислении их выдающихся воинов, говорится:

---

[7] "*Kanlı Koca burada soylamış, görelüm Hanum ne soylamış, aydur: Oğul, sen varacak yerün Dolamaç dolamaç yolları olur Atlu batup çıkamaz Anun balçığı olur Ala yılan sökemez Anun ormanı olur Gökile pehlu uran Anun kalası olur Göz kakuban gönül alan Anun görklüsü olur Hay demedin baş getüren Anun celladı olur... Yavuz yerlere yeltendün*" [Dedem Korkudun kitabı, s. 85].

[8] "*Pusduğundan kara dağlara duman düşmiş*" [Dedem Korkudun kitabı, s. 119]. Здесь и далее в цитатах курсив мой.

[9] Мир иноверцев в «Книге Коркута» при этом имеет и определенные формальные, очерченные (хотя и меняющиеся вследствие взаимных набегов) границы, пределы, за которыми и начинаются враждебные огузам земли, и которые неоднократно упоминаются, например, в «Песни о том, как сын Казан-бека Уруз-бек был взят в плен»: «…покажу место, где ударял мечом, рубил головы, возьму (его с собой), выйду *к пределам гяуров*» [Книга Коркута, IV, с. 50)], в турецком же тексте не отраженное в переводе В.В. Бартольда: «*kafir serhaddine Cızığlara, Ağlaagana, Gökçe Dağa aluban çıkayın*…» (букв. «к пределам гяуров, поднимусь на горы Джызыглар, Аглааган, [на] Синюю гору..»). Иными словами, граница мира неверных в эпосе довольно точно локализована у названных гор, по всей видимости, проходя по территории между совр. Карсом и Ахалцихе, см. также [Dedem Korkudun kitabı, s. 332-334].

[10] «Песнь о моем Сиде» (*Cantar del mio Cid*) – староиспанский эпос, один из древнейших романских памятников; поэма дошла до нас в единственной рукописи XIV в. [Ершова, 2018].

[11] Более подробно см.: [Ершова, 2018, с. 337].

[12] Разгром арьергарда войск Карла Великого во главе с Роландом, командующим армией, басками в Ронсевальском ущелье в 778 г.

Вот и Шернобль Монэгрский лошадь шпорит.
До пят свисают у него волосья.
Играючи он больший груз уносит,
Чем увезти семь вьючных мулов могут.
В краю, откуда этот нехристь родом,
Хлеб не родит земля, не светит солнце,
Не льется дождь, не выпадают росы,
Там черен даже каждый камень горный.
Есть слух: там у чертей бывают сходки.

[Песнь о Роланде[13], LXXVIII, 975-980, с. 57]

Таким образом, место обитания противника представлено как нечто враждебное, чуждое герою эпоса, с противоестественными законами природы, практически близкое аду («там у чертей бывают сходки»). Соответственно, и войско мавров, в которое входят подробно перечисляемые в жесте разнообразные народы, исповедующие иную веру, - описывается языком эпоса не только как «нехристи», но и как дикий, «злой народ», да и вовсе не-люди:

Полк первый – ботентротцы на подбор,
Набрал эмир мейсинов во второй:
Люд этот волосат, большеголов,
Щетиной весь, как кабаны зарос
…
Из курдов полк девятый целиком.
В десятом – из Балиды *злой народ*
…
В десятом – люди из Оксианской степи,
Проклятый род, что в господа не верит.
Не видел мир отъявленней злодеев.
Их кожа, как железо отвердела.
Им не нужны ни панцири, ни шлемы.
Жестоки и хитры они в сраженье

[Песнь о Роланде, CCXXXI-CCXXXII, 3220-3530, 3245, с. 122-123]

Эмир по латам бороду расправил.
Она белей боярышника в мае.
Что б ни было, он прятаться не станет.
К устам трубу язычник прижимает.
Трубит в нее, чтоб слышали все мавры,
Мчит по полю и нехристей скликает.
Заржали и завыли оксианцы[14],
Залаяли аргойльцы[15] по-собачьи,
На христиан неистово помчались…

[Песнь о Роланде, CCLIV, 3520-3525, с. 131]

[13] В этом издании – пер. Ю. Корнеева.
[14] Т.е. жители местности при Оксе – Аму-Дарье (см. также примечания к переводу «Песни о Роланде»: [Песнь о Роланде, с. 587-604].
[15] Согласно примечанию А. Смирнова, «допускают два толкования: 1) древнее население Гаскони; 2) жители города Эргели в Малой Азии» [Песнь о Роланде, с. 602].

Надо отметить, что риторика борьбы с неверными, священной войны за веру, газавата, хотя и присутствует в «Книге Коркута» («кто из гяуров поднял голову, того он убил, совершил подвиг за веру»), все же отходит на второй план: набеги огузов на крепости соседей-гяуров в сюжетном отношении обоснованы местью, освобождением из плена, грабежом, контролем над территорией. Однако она становится в значительной степени сильнее выраженной в более поздних памятниках средневекового турецкого фольклора XIV в. – «Сказании о Сейиде Баттале» (*Баттал-наме*) и «Сказании о Мелике Данышменде» (*Данышменд-наме*), исторической основой которых, являются, соответственно арабо-византийские войны IX-X вв. и борьба Данышменда (?-1104) за власть в XI в.

Будучи единственным сохранившимся памятником книжного эпоса у тюркских огузских народов, «Китаб-и дедем Коркут» всегда представлял особый интерес не только для тюркологов, но и для ученых, занимающихся сравнительным исследованием и типологией фольклора. Хотя очевидно, что на формирование нескольких сказаний «Книги моего деда Коркута» оказали сильнейшее влияние как современные им образцы византийского, греческого фольклора, так и архаические тюркские сюжеты более древнего периода (см. [Аникеева, 2018б]), также можно увидеть и прослеживаемое типологическое сходство с памятниками европейского книжного эпоса.

Литература

1. Аникеева Т.А. «Китаб-и дедем Коркут» как памятник книжного эпоса // Памятники книжного эпоса Запада и Востока: монография. Сост. и ред. С.Ю. Неклюдов, Н.В. Петров. М.: ИНФРА-М, 2018. С. 384-400.
2. Аникеева Т.А. «Китаб-и дедем Коркут» и византийский фольклор // Вестник ИВ РАН. М., 2018 (в печати).
3. Бартольд В.В. Турецкий эпос и Кавказ // Язык и литература. Т. V. Л., 1930.
4. Ершова И.В. Романский эпос: между эпикой и историей // Памятники книжного эпоса Запада и Востока: монография. Сост. и ред. С.Ю. Неклюдов, Н.В. Петров. М.: ИНФРА-М, 2018.
5. Жирмунский В.М. Огузский героический эпос и «Книга Коркута» // Книга моего деда Коркута. Огузский героический эпос. М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1962 (сер. Литературные памятники).
6. Книга моего деда Коркута. Огузский героический эпос. М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1962 (сер. Литературные памятники).
7. О Ксанфине: Греческая трапезунтская былина византийской эпохи / Автор вступ. ст., пер. и коммент. Г.С. Дестунис. СПб.: Типография Имп. Академии наук, 1881.
8. Песнь о Роланде. Коронование Людовика. Нимская телега. Песнь о Сиде. Романсеро. М.: Худ. лит., 1976 (сер. Библиотека всемирной литературы).
9. Попова Т.В. Византийский народный и книжный эпос // Византийская литература. Под ред. С.С. Аверинцева. М.: Наука, 1974.
10. Dedem Korkudun Kitabı. Haz. Orhan Şaik Gökyay. İstanbul: Milli eğitim basımevi, 2000.
11. Rossi E. Il “Kitab-i Dede Qorqut”: Racconti epico-cavallereschi dei Turchi Oguz. Tradotti e annotati con “Facsimile” del Ms. Vat. Turco 102. Rist. anastatica del 1952. Città del Vaticano: Bibl. apostolica vaticana, 1981.

THE IDEA OF THE ENEMY IN THE WRITTEN EPICS OF THE OGHUZ TURKS

Anikeeva Tatiana

Institute of Oriental Studies RAS, Moscow, Russia, tatiana.anikeeva@gmail.com

Abstract. “The book of Dede Korkut” consists of twelve songs-chapters, which tells about the exploits of the Oghuz heroes. The core plot of “The book of Dede Korkut” which is surrounded by these stories is the fight of the Oghuz people with the infidels (*kafir*) surrounding them on all sides in the lands of Asia Minor, and feuds among the Oghuz. An external enemy for the Oghuz has specific and at the same time mythological features, thereby marking the boundary between the world of the nomads and neighboring sedentary world (the infidels-the lords of fortresses, which is attacked by heroes of “the Book of Dede Korkut”).
Key words: written epic, Transcaucasia, Eastern Anatolia, the Oghuz Turks, Muslims, Christians.

ТЮРКСКИЙ КАГАН И САСАНИДСКИЙ ШАХАНШАХ: К ВОПРОСУ ОБ ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЯХ ДРЕВНИХ ТЮРКОВ У ИРАНЦЕВ

Дробышев Ю.И.
ИВ РАН, Москва, Россия, altanus@mail.ru

Аннотация. В статье анализируются некоторые сходные моменты в идеологии древних тюрков и иранцев VI-VIII вв., касающиеся фигуры верховных правителей тюркского и иранского обществ: кагана и шаханшаха. Обсуждаются возможные заимствования представлений о пределах власти, возможностях и обязанностях верховного правителя. Автор приходит к выводу, что тюркские заимствования из ираноязычного мира заметны в период Первого каганата, тогда как в эпоху Второго каганата очевидно мощное влияние китайской культуры.
Ключевые слова: древние тюрки, Сасанидский Иран, каган, шаханшах, идеология, заимствования.

Благодаря обширным завоеваниям, уже в VI в. тюрки могли познакомиться с идеологией и традициями управления многих народов, обладавших весьма высокой, древней культурой. Богатая история правящего клана Ашина (особенно его ранняя история, до времени распада созданного им каганата на западную и восточную части) позволяет предполагать его более или менее тесные контакты с носителями различных идеологических систем, в которых было развито представление о мироустроительной роли монарха: китайской, иранской, византийской, а позже – с арабской. Генезис Ашина до сих пор вызывает дискуссии. С.Г. Кляшторный полагал, что «В течение первого периода своей истории – ганьсуйско-гаочанского (III в. н.э. – 460 г.) – предки ашина обитали на территории, где преобладали иранские и “тохарские” языки. Именно здесь возникло само племя ашина, этническое смешение которого с автохтонным населением района отмечено и китайской историографией, и тюркскими генеалогическими легендами» [Кляшторный, 1964, с. 111]. Интересно, что название «ашина», несомненно, имеет иранское происхождение[1]. Во всех этих случаях представители клана могли познакомиться с идеей о космологической функции верховного правителя, сформировавшейся в культурах, значительно отличавшихся от степной культуры.

Об активных контактах и открытости древнетюркского общества для заимствований говорят, в частности, лингвистические данные. Титулы и должности тюркских государственных мужей и их ближайшего окружения заимствованные. Это: *qaγan, jaγbu, šad, tegin, qatun, qunčuj, tutuŋ, beg* [Щербак, 2001, с. 46-47]. Часть этих слов происходит из китайского языка [Ecsedy, 1965, p. 83-91; Баскаков, 1988, p. 1-8], часть – из иранских. Возможно, политическая терминология, к которой приобщились тюрки до и во время укрепления своей власти в Центральной Азии[2], могла быть несколькими веками ранее занесена в Бактрию или Маргиану с Алтая [Vaissière, 2007, p. 121-122] и влиться в ираноязычную среду, откуда затем быть заимствованной тюркскими вождями. Иными словами, номады могли вернуть себе то, что происходило из ареала их обитания, но на исторической родине было утрачено.

Д. Синор отметил, что «из пятидесяти с лишним имен, данных тюркским правителям в китайских источниках, лишь несколько имеет тюркские эквиваленты, и даже меньшее

[1] За консультации по вопросам иранистики, поднимаемым в настоящей статье, автор благодарит П.В. Башарина (РГГУ).
[2] Напомним, что в отечественной науке всегда было принято называть Центральной Азией засушливые пространства Монголии, Тувы, Синьцзяна, Ганьсу, северной части Тибета, и мы придерживаемся именно такого объема понятия «Центральная Азия».

количество подлинно тюркские» [Sinor, 1990, с. 290]. Такие личные имена как Бумын, Махан, Мухан, Таспар (Татпар) и Навар нельзя объяснить на тюркской основе, причем для первых трех напрашиваются иранские этимологии [Rybatzki, 2000, p. 217-218]. На нетюркское звучание имен большинства вождей ранних тюрков указывает также П. Голден [Golden, 1992, p. 121]. В. Рыбацки тоже приходит к выводу, что имена каганов Первого каганата, по-видимому, имеют не тюркский генезис. Уверенные трактовки могут быть даны лишь нескольким именам, и в этих случаях наблюдается сильное иранское влияние. Позже ситуация изменилась, и имена каганов Второго каганата, а также Уйгурского каганата, насколько они известны, тюркского происхождения [Rybatzki, 2000, p. 246]. С критикой подобных взглядов совсем недавно выступил А.В. Кубатин, по мнению которого, «большинство мнений исследователей относительно происхождения титулов и эпитетов, употреблявшихся в Тюркском каганате, можно охарактеризовать как по большей мере предположительные» [Кубатин, 2016, с. 89].

Есть основания думать, что определенное влияние на становление идеологии древнетюркского каганата оказала культура сасанидского Ирана. Именно в это время наладились дипломатические связи тюрков и иранцев, а в Иране окрепла концепция мироустроительной монархии, основанная на так называемой каянидской идеологии, которая возводилась к царям легендарной династии Каянидов[3]. В этой связи представляет интерес сравнение древнетюркской и сасанидской концепций верховной власти, однако, оно сильно затрудняется весьма неравномерным распределением источников: если политические воззрения сасанидских монархов нашли отражение в эпиграфике, нумизматике, торевтике, глиптике, сфрагистике, нарративных произведениях, то об идеологии тюркских каганатов мы узнаём, прежде всего, по декларациям рунических стел и в какой-то мере из китайских и некоторых других источников. Эволюция монархических идей в Сасанидской державе прослеживается достаточно хорошо и уже давно служит предметом исторических штудий, а в каганатах она, за недостатком источников, выглядит не столь очевидной. Пожалуй, единственное, что можно утверждать вполне определенно, так это то, что правители Первого каганата (552–603) в большей степени ориентировались на западные образцы благодаря значительному культурному воздействию согдийцев, тогда как имперские идеи Второго каганата (682–744) обнаруживают поразительное сходство с имперскими идеями Поднебесной. К сожалению, подавляющее большинство дошедших до нас рунических надписей было создано в эпоху Второго каганата. Ценнейшие автохтонные свидетельства из Первого каганата – надписи на Бугутской стеле имеют плохую сохранность. Примечательно, что одна из них выполнена на согдийском языке[4] и (если прочтение соответствует оригиналу) приравнивает основателей каганата Мухан-кагана (552–572) и Махан-тегина к божествам или, по меньшей мере, допускает их способность общения с божествами: «и (с тех пор и) впредь они были спасителями для всего мира» [Кляшторный, Лившиц, 1971, с. 139]. Титулование правителей божествами (согдийское *βγy* – «бог», но оно же и «господин»), но без обожествления, как, например, в Древнем Египте, было вполне обычно в Передней Азии и домусульманской Средней Азии, хотя С.Г. Кляшторный и В.А. Лившиц доказывают, что в данном тексте его следует переводить как «господин» в светском смысле [Кляшторный, Лившиц, 1971, с. 134]. Японские исследователи Ю. Ёсида и Т. Мориясу предложили следующую трактовку: «Затем, бого(подобный) Мухан-каган и бого(подобный)

[3] Каяниды – династия, якобы царствовавшая в Иране после династии Пишдадидов. Наименование династии произошло от названия сословия жрецов – кави. Традиция различает от трех до восьми старших Каянидов и двух младших, которые распространили «по всему миру» зороастризм. Основным занятием царей была война с племенами туранцев, возглавляемых Афрасиабом. Каяниды осуществляли правление посредством особой державной силы – фарра, на обладание которой претендовали поздние Сасаниды, возводившие себя к этой династии. Среди исследователей нет единого мнения об историчности Каянидов.

[4] Вторая надпись на этой стеле выполнена письмом брахми очень плохой сохранности. Заслуживает внимания факт отсутствия китайской надписи, значимость чего уже подчеркивал М.Р. Дромп [Drompp, 2011, p. 520].

Магха Татпар-каган были (двумя) правителями целого мира с востока на запад»[5]. В любом случае, представляется очевидным, что авторами текста Бугутской стелы были согдийцы, а не тюрки, в отличие от стел Второго каганата.

Второй, менее широко известный памятник – изваяние из красного гранита, датируемое эпохой Первого каганата, – был обнаружен летом 1953 г. в Синьцзяне в пяти километрах к юго-востоку от центрального города префектуры Чжао-су в бассейне реки Или. В нижней части изваяния также имеется согдийский текст, состоящий приблизительно из двадцати строк. Т. Озава высказал предположение, что оно изображает Нили-кагана, правившего в 587-599 гг., и было поставлено его сыном Чуло-каганом (619–620), который был вынужден действовать в нестабильной политической обстановке и хотел подчеркнуть свой статус законного правителя, поставив статую своего отца, могущественного потомка самого Мугана. Надпись, таким образом, подтверждала его права на престол и управление каганатом [Osawa, 2006, c. 471-504].

Заслуживает внимания сообщение средневекового историка Михаила Сирийца об обмене посольствами между Истеми-каганом (552–576) и византийским императором Юстином II (565–578) в 568 г., отсутствующие в других источниках. Истеми-каган был младшим братом Бумын-кагана и, по существу, проводил независимую западную политику каганата. Когда прибыл императорский посол, слезы якобы наполнили глаза кагана. Будучи спрошенным о причине этого, каган ответил, что духи предков сообщили ему, что для тюрков пришло время завоевать и разрушить весь мир [Chronique de Michel le Syrien, 1905, p. 150]. Трудно судить, правильно ли были поняты слова тюркского предводителя. Идея о «разрушении всего мира» кочевниками, несомненно, могла возникнуть только в подвергшихся нападению номадов оседлых обществах (исключая китайское, слишком хорошо знакомое с кочевым миром). Уцелевшим могло показаться, что вторгшиеся дикие орды имели цель уничтожить цивилизацию, но кочевники всего лишь устанавливали свой степной миропорядок на руинах чуждого им миропорядка горожан и земледельцев. Кроме того, насколько можно полагаться на тюркские рунические тексты, приказ о завоеваниях должно было отдавать Небо, а не духи предков, – именно этот посыл явно звучит в надписях эпохи Второго каганата. По-видимому, идеологические основы Второго каганата формировались, прежде всего, при дворе танских императоров, где, согласно политической практике того времени, находились в качестве заложников сыновья тюркских каганов. Поэтому после восстановления каганата в 682 г. на передний план выходит Небо и факт небоизбранности тюрков, в целом, и их каганов, в частности.

В настоящей статье мы попытаемся сопоставить представления, сложившиеся вокруг центральных фигур кочевой империи тюрков и Сасанидской империи: кагана и шаханшаха, соответственно. Несмотря на огромную разницу в образе жизни, общественном строе и историческом прошлом тюрков и иранцев, между этими фигурами обнаруживается больше сходства, чем можно было бы ожидать, и этот факт побуждает предполагать существование каких-либо идеологических заимствований. Поскольку источники представлений о природе и функциях верховной власти у Сасанидов известны – это развитие месопотамской традиции, восходящей, как обычно полагают, к Древнему Египту (мы вернемся к этому вопросу чуть позже), то причину сходства остается искать в приобщении тюркских каганов к сасанидскому наследию, а не наоборот. Однако прежде чем приступать к сравнениям, сделаем важную оговорку: обнаружение сходства само по себе отнюдь не дает нам права утверждать, что имело место заимствование. Каждое совпадение требует тщательной проверки на предмет своего генезиса. Поэтому пока ограничимся констатацией таких общих мест (а равно и различий), чтобы затем приступить к их более углубленному анализу.

Поскольку формирование идеи верховной власти в данных случаях протекало в далеко не секулярной атмосфере, необходимо отметить религиозную доминанту иранского и

[5] По: [Osawa, http://repository.enu.kz/bitstream/handle/data/9241/historical-significance.pdf].

тюркского обществ. В Сасанидской державе это зороастризм, в каганате – тэнгрианство, которое нередко отождествляют с шаманизмом, что не вполне корректно, так как оно делает акцент на поклонении Вечному Синему Небу и довольно заметно отличается от классического шаманизма народов Сибири и Севера. Хотя древние тюрки, как и другие центрально-азиатские кочевники до них или после, могли быть в какой-то мере знакомы с зороастризмом, сомнительно, чтобы он всерьез завладел умами номадов[6]. Твердых доказательств бытования зороастризма в тюркской кочевой среде до сих пор не представлено. Известный мифологический персонаж у целого ряда тюркских и монгольских народов – верховное божество Хормуста (Хурмаст, Хюрмас, Курбусту, Уч Курбустан) в качестве такого доказательства послужить не может, так как, несмотря на то, что его имя восходит к согдийскому Хурмазта, а последнее – к авестийскому Ахурамазда, еще в ходе проникновения в Согд буддизма Хурмазта был отождествлен с Индрой – главой 33-х богов, и уже в этом новом качестве воспринят уйгурами, а от них – монголами. Через посредство западных монголов – ойратов – Хормуста проник к алтае-саянским тюркам уже в Новое время [Неклюдов, 1992, с. 595-596]. Поэтому следует согласиться с Б.С. Дугаровым в том, что «Уйгурский Хормуста – это буддийское божество, ничего генетически общего не имеющее с зороастрийским Ахурамаздой, кроме известного сходства в именах» [Дугаров, 2007, с. 110]. Л.Р. Кызласов обосновывает передачу тюркам иранцами манихейского, а не зороастрийского вероучения [Кызласов, 2004, с. 5-20].

Институт царской власти в Сасанидском Иране проистекал из нескольких источников. Т. Дарйаи называет пять составляющих: 1) авестийскую традицию; 2) ахеменидскую идеологию; 3) эллинистическое понятие о власти царя, внедренное Александром Македонским и затем Селевкидами; 4) аршакидское (парфянское) наследие, впитавшее предыдущие традиции; 5) традицию, специфичную для Парса – родины династии Сасанидов [Daryaee, 2008, p. 61]. Осуществить подобную классификацию в случае древних тюрков сложнее. Можно предполагать, что идеология каганской власти сложилась на основе следующих традиций: 1) политической культуры номадов, известной еще в империи хунну, с ее доминирующей идеей объединения всех народов, «живущих за войлочными стенами» и «стреляющих из лука с коня»; 2) родовых традиций Ашина; 3) имперской политической культуры Китая; 4) идей, предположительно почерпнутых от ираноязычных народов, населявших земли к западу от каганата. Как указывалось выше, одним из вероятных источников могло быть сасанидское влияние.

Титулатура тюркского (каган) и иранского (шаханшах) самодержцев в переводе звучит одинаково: «царь царей», что должно означать их власть над всеми прочими правителями[7]. В идеале, и тот, и другой руководили всем обитаемым миром, но на практике, разумеется, дело обстояло совсем не так. Вопреки запечатленным в камне утверждениям тюркских (а за ними и уйгурских) каганов о том, что их славные предки подчинили себе все «четыре угла света» и поставили на колени всех имевших колени, их власть не особенно далеко простиралась за пределы степного пояса Евразии, из чего можно уверенно заключить, что для тюрков и

[6] По одной из версий, зороастризм возник где-то к югу от Урала, скорее всего, в районе Хорезма, как своеобразная духовная реакция на кровопролития, грабежи и угон скота у мирных оседлых общин, - совокупность брутальных явлений, которую В.И. Абаев назвал «скифским бытом» и против которой, по его мнению, выступил со своей проповедью Зороастр [Абаев, 1990а, с. 35]. Кочевники не отличались миролюбием, и проповедь Зороастра явно не нашла бы в их сердцах отклик, как и принятие буддизма утихомирило их далеко не сразу (да и то в условиях относительной политической стабильности под цинским протекторатом). Среди исследователей большее распространение получила гипотеза, согласно которой родиной зороастризма были восточные районы современного Ирана, прежде всего Систан (см.: [Gnoli, 1989, p. 70]).

[7] Аналогичную (и даже более высокую) титулатуру порой имели правители государств гораздо менее влиятельных. Например, владетель Хотана Вижита Симха титуловался как «Великий царь Хотана, царь над царями, командующий армией, бог» [Bailey, 1970, p. 68].

уйгуров VI-IX вв. «весь мир» по существу ограничивался степями, как и для прочих создателей кочевых империй до них.

Несмотря на громкие декларации о том, что «Впереди, к солнечному восходу, справа, (в стране) полуденной, назади, к солнечному закату, слева (в стране) полночной, - (повсюду) там (*т.е.* в этих пределах) живущие (*букв*. находящиеся внутри) народы – все мне подвластны; столь много народов я всех устроил» [Малов, 1951, с. 34] (так описывает свои подвиги Бильге-каган, возглавлявший Второй Тюркский каганат в 716-734 гг.), древние тюрки не только не покорили всех соседей (в том числе Иран), но даже признавали равенство некоторых враждебных правителей своим каганам. Так, они величали каганским титулом императора Китая («табгачский каган») и тибетского *ценпо*, и даже предводителей тюргешей, токуз-огузов и кыргызов. Барс-бегу они сами даровали титул кагана кыргызов [Малов, 1951, с. 38]. И это в апогей тюркского могущества в Центральной Азии! Исходя из согдийского выражения *βγβwmyn γ'γ'n* (Бумын-каган) в тексте Бугутской надписи (о которой говорилось выше и к которой мы еще вернемся), венгерский лингвист Я. Харматта предположил, что этот титул являлся производным от иранского *būmi* («земля» >ср.-перс. *būm*; согд. *βwmh* /*βūm*/) с аффиксом *-na* и означал «государь Земли», т.е. демонстрировал претензию на универсальное правление уже у основателя Первого каганата (по: [Добрович, 2013, с. 162]).

Как же совместить утверждения древних тюрков о подчинении ими всех «углов света» с реальной политической картой, оставляющей место для мощных независимых государств? Вероятнее всего, тюркское мировидение той эпохи исключало централизованные оседло-земледельческие страны из понятия «всего мира». Их не нужно было завоевывать, с их правителями необязательно было меряться силами. Степная внешнеполитическая доктрина предполагала навязывание этим странам, в первую очередь Китаю, системы дистанционного эксплуатирования, детально разобранной американским этнологом и историком Т. Барфилдом [Барфилд, 2009], но не более.

Познакомившись, надо полагать, с позднеантичными географическими представлениями, правители тюрков взяли на вооружение понятие «климатов», на которые делится земная поверхность. В частности, оно используется в письме тюркского кагана византийскому императору Маврикию (582–602), которое, по-видимому, было доставлено тюркским посольством в 598 г.: «Царю ромеев каган, великий владыка семи племен и повелитель семи климатов вселенной» [Феофилакт Симокатта, 1996, с. 188]. За точность цитированной фразы особо ручается включивший ее в свое историческое произведение Феофилакт Симокатта. Какими бы удачами ни сопровождались походы тюрков во второй половине VI в., слова о владычестве над «семью климатами» (в то время как их на Земле, согласно средневековым географам, всего семь и есть), звучат, мягко говоря, несколько преувеличенно. Интересно, что и сасанидские монархи назывались «правителями семи климатов».

Необходимо отметить и еще одно обстоятельство, касающееся взглядов древних тюрков на институт верховной власти. В Первом Тюркском каганате было довольно много лиц, носивших титул «каган», во Втором – только одно. Эта разница может объясняться, по нашему мнению, различной политической и культурной ориентацией каганатов: если элита Первого каганата многому научилась у согдийцев с их рыхлой государственной структурой, то создатели Второго каганата воспитывались в танском Чанъане и усвоили китайские идеи жесткой централизации власти.

В случае «царя царей» ситуация была в определенном смысле похожей. Сасаниды владели примерно теми же землями, что и их предшественники Аршакиды (Парфянское царство), а до них – Селевкиды и Ахемениды, то есть Иранским плато, Месопотамией, Закавказьем, некоторыми территориями в Средней Азии и нынешних Пакистане и Афганистане, частью Аравийского полуострова, а в период максимальной экспансии при Хосрове II Парвизе (591–628) империя включала также земли Египта, Иудеи и Малой Азии.

Первый сасанидский монарх Ардашир I (224–241) до своей коронации в 227 г. имел титул «Владыка Ардашир, царь, сын владыки Папака, царя», а после коронации сменил его на «Поклоняющийся Мазде, владыка, Ардашир, царь царей Ирана, происходящий от богов». Начиная с Шапура I (242–273) Сасаниды в течение некоторого времени носили титул «Царь царей Ирана и не-Ирана». На первый взгляд, здесь можно ожидать претензию на мировое господство: шаханшахи утверждают, что они властны не только над землями, населенными ираноязычными народами, но и над всеми остальными. В частности, Дж.К. Чокси понимает эту фразу как декларацию их сакральной власти над всем миром; аналогичного мнения придерживается Е.Б. Мирзоев [Choksy, 1988, p. 45; Мирзоев, 2016, с. 214]. На самом же деле они всего лишь констатируют тот факт, что под их юрисдикцию попали некоторые периферийные земли, перечисление которых можно найти в наскальной надписи на «Каабе Зороастра» в Накш-е Рустаме, сделанной от имени Картира – предприимчивого священнослужителя, сделавшего карьеру от скромной должности «толкователя Авесты» до верховного жреца Ирана при нескольких шаханшахах: Шапуре I, Бахраме I (273–276), Бахраме II (276–293) и Бахраме III (293). Картир утверждает: «Мною также в странах не-Ирана, именно в тех, куда дошли кони и люди царя царей: в Антиохии, городе и в сирийской стране и в провинции Сирии Тарсе, городе и в киликийской стране и в провинции Киликия, в Кайсарии, городе и в каппадокийской стране и в провинции Каппадокия и вплоть до греческой страны и Иберии, и Алании, и Баласакана – вплоть до “Аланских ворот”, - [там], где Шапур, царь царей, со своими конями и людьми совершил разгром и пожарища, и опустошения…» (цит. по: [Луконин, 1979, с. 19])[8].

Симптоматично, что это добавление к титулу – «и не-Ирана» появилось именно в годы правления Шапура I, когда в результате неоднократных побед над римскими войсками, а особенно после разгрома римлян под предводительством императора Валериана I (253–260) при Эдессе в 260 г. к Сасанидской империи отошли Вавилония и Сирия [Alram, Blet-Lemarquand, Skjærvø, 2007, p. 26]. Гораздо менее удачливый сын Шапура I шаханшах Нарсе (293–302), уступив римлянам часть земель империи, убрал слова «и не-Ирана» из надписи на некоторых выпусках своих монет [Daryaee, 2009, p. 13]. Впоследствии, когда уже никого не надо было убеждать в своей легитимности, Сасаниды пошли по пути упрощения титулатуры и отказались от мемориальных надписей на скалах.

Управляя иранской ойкуменой, шаханшах тоже признавал наличие равноправных соперников в лице римского или византийского императора, царя кушан или эфталитов, а позже – тех же тюрков и арабов. Хотя все эти правители считались в зороастрийской картине мира ставленниками Ахримана и служителями Лжи, де-юре они были равны шаханшаху, и с ними заключали договора как с равными[9]. Пероз I (459–483/484) налаживал отношения даже с Китаем, направляя туда ценные подарки и диковины (например, однажды он послал

[8] Более подробно владения Шапура I перечисляются в его надписи на «Каабе Зороастра»: «Я – поклоняющийся Мазде, владыка (bgy) Шапур, царь царей Ирана и не-Ирана, происходящий от богов, сын поклоняющегося Мазде владыки Арташира, царя царей Ирана, происходящего от богов, внук владыки Папака, царя. Я – господин (Ph. hwtwy, греч. δεσπότης) Ираншахра. И владею я шахрами: Парсом, Партавом, Хузистаном, Мешаном, Ассирией, Адиабеной, Аравией, Атурпатаканом, Арменией, Вршаном (греч. Иберия), Сиканом, Арданом (греч. Албания), Баласаканом вплоть до гор Кап и Аланского прохода и всей горной цепи Паришхвар, Мадом, Врканом, Мервом, Харивом (греч. ‘Ρην – Герат) и всем Апаршахром, Кареном, Сакастаном, Тураном, Макураном, Партаном, Хиндустаном, Кушаншахром, вплоть до Пашкабура и дальше до Каша, Согда и границ Шаша. А с другой стороны моря – Мазунхшатр. И все эти многочисленные шахры и шахрдары (ẖštrdr) и владетели областей (ptykwspn) – все они платили Нам дань и подвластны были» [Луконин, 1979, с. 218-219].

[9] Если древнетюркская и древнеиранская политика были в этом пункте близки, то совершенно иное послание несли миру монголы в первой половине XIII в. Они категорически отрицали наличие независимых от Монгольской империи государств и правителей. Для монголов никакого равноправия на внешнеполитической арене существовать не могло; остаться во главе своих владений правитель мог только в случае немедленного подчинения монгольскому хагану. Причины столь радикального изменения взглядов кочевников заслуживают пристального внимания, однако, их анализ выходит за рамки данной статьи (см.: [Дробышев, 2012, с. 274-314]).

дрессированного слона). Однако следует заметить, что в V в. Китай не представлял собой единое целое, это была эпоха «Южных и северных династий», и посольства Пероза отправлялись в Северную Вэй – сильное государство, созданное потомками кочевого сяньбийского племени тоба [Ecsedy, 1977, p. 227-236]. Хосров I Ануширван пошел еще дальше. Установив союз с тюркским Истеми-каганом и взяв в жены его дочь, он в 560-х гг. совместно с тюрками разгромил эфталитов. Земли последних были поделены между каганатом и Сасанидской империей, граница пролегла по Амударье. И хотя этот союз был недолговечным, каган оказался дедом иранского шаханшаха Хормизда IV (579–590) и прадедом Хосрова II Парвиза. Как об этом сказано у «арабского Геродота» Абу-л-Хасана Али ибн ал-Хусейна ал-Масуди (896–956): «После него правил его сын Хормузд, мать которого была Факим, дочь хакана, царя тюрков, или дочерью одного из хазарских царей, обитающих поблизости от Баб ал-Абваб» (цит. по: [Колесников, 2012, с. 57]).

В VI в. иранская идеология сделала новый виток. На сасанидских монетах расположение солнца и луны предполагало, что шаханшах находится в центре мира, а светила вращаются вокруг него. Согласно старой месопотамской идее, он был «царем четырех сторон света», а все остальные правители были его подчиненными, как можно заключить из изображения трех других мелких престолов, предназначенных для римского, тюркского и китайского правителей [Daryaee, 2009, p. 41]. Подобно торевтике, Сасаниды использовали монеты как средство пропаганды, порой существенно расходящейся с политической реальностью.

Высшим источником легитимации тюркского кагана было Вечное Небо. При этом каган не считался «сыном» Неба, хотя мог принять сам или получить от китайского императора титул, в котором это словосочетание присутствовало бы, например, «Божественный (и) благословенный Бюгю Чор, великий каган тюрков, сын Неба, получивший награду на Небе» [Rybatzki, 2000, p. 226]. Шаханшах называл себя «произошедшим от семени богов», хотя не претендовал на причисление себя самого к божествам. Следовательно, каган получал инвеституру от лишенного какого бы то ни было антропоморфизма Неба, а шаханшах – от персонифицированных богов, как правило, от высшего божества зороастрийского пантеона и творца всего сущего – Ахурамазды. На высеченных в скалах Накш-е Рустама и Накш-е Раджаба рельефах до сих пор можно видеть акт наделения властью Ардашира I или неутомимого борца с римлянами Шапура I перед лицом Ахурамазды, который внешне ничем – ни фигурой, ни одеянием, ни лошадью, на которой сидит, не отличается от своих земных протеже. Ахурамазда протягивает шаханшаху диадему власти.

Оба властелина – и каган, и шаханшах, как считалось, обладали особой благой метафизической силой. У тюрков она известна под название «*кут*». Древние иранцы называли ее «*фарром*» или «*фарном*» (ср. авестийское «*хварэна*»). Свойства этой силы в обеих культурах сходны [Tezcan, 2005, p. 242-243][10]. Она дается избранному индивиду Свыше, и именно ее посредством суверен осуществляет руководство страной, разбивает врагов, гарантирует подданным безопасность и процветание. Он может усиливать ее своими подвигами, но может и потерять в результате военного поражения. Особенно активно придворная пропаганда наделяла *фарром* шаханшахов начиная с Хосрова II, при котором сформировалось представление о родственной связи царей Сасанидской династии с легендарными Каянидами, якобы этим *фарром* обладавшими. Однако, несмотря на очевидное подобие и едва ли не тождество, *кут* и *фарр* неодинаково воздействуют на окружающую среду: первый, найдя свое воплощение в кагане, гармонизирует не только социум, но и природу; за вторым такой функции с очевидностью не просматривается, хотя от праведного либо неправедного управления шаханшаха страной зависят жизненно важные природные явления: «Правитель увеличивает всеобщее благо от дождя и искупает отдельный вред посредством хороших повелений, законности и высшего могущества, а угнетатель и

[10] Весьма обстоятельно этот вопрос освещен на страницах труда А. Бомбачи, не утратившего своего значения по сей день: [Bombaci, 1965, p. 284-291; Bombaci, 1966, p. 13-43].

преступник увеличивает отдельный вред от дождя и уничтожает всеобщее благо посредством дурных повелений и беззакония. Правитель от вызывающих дождь божеств увеличивает полезное действие и силу дождя и уменьшает мощь противостояния дождю у противостоящих дождю дэвов» (цит. по: [Мишин, 2014, с. 151]). В целом, наглядным признаком нахождения у кормила власти в Иране легитимного, праведного царя служило материальное изобилие и процветание всех его подданных [Choksy, 1988, p. 38] – идея, которую смело можно назвать универсальной для всего человечества. Она была хорошо известна и степным кочевникам, нередко использовавшим ее в борьбе за власть.

В религии и мифологии иранцев бедствия и раздоры связывались с царями, чье происхождение не было «божественным» и, следовательно, сакральным. Таковыми были не только узурпаторы иранского трона, но также правители тюрков, арабов и других народов. Такие самодержцы в глазах иранцев олицетворяли злого духа – Ахримана в материальном мире. Религиозный долг предписывал сместить такого царя и заменить его выбранным согласно зороастрийской доктрине [Choksy, 1988, p. 39]. Обвинения могли пасть и на голову вполне легитимного монарха. Так, по словам историка и вазира при дворе Саманидов Абу Али Мухаммада ал-Балами (ум. 974), подданные считали шаханшаха Пероза I злосчастным правителем из-за небывалой засухи, длившейся семь лет подряд в годы его царствования [Мишин, 2014, с. 151][11]. Впрочем, если верить источникам, засуха обошлась почти без жертв: Пероз предпринял ряд эффективных практических мер, чтобы помочь обездоленным, а заодно не забывал молиться о ниспослании дождя.

Древние тюрки – первые из центрально-азиатских номадов, у которых констатируется оформленное представление о сверхфизической силе монарха. Увы, для более ранних кочевников, таких как жуаньжуани, сяньби, хунну, юэчжи, подобной информацией наука не располагает[12], что отчасти объясняется отсутствием аутентичных источников, которые могли бы оставить эти народы, если бы имели письменность. Внешние источники, в первую очередь, конечно, китайские, проливают на этот вопрос кое-какой свет, подтверждая, во всяком случае, степную идею о связи верховного правителя с Небом, но каков характер этой связи и происходит ли наделение достойнейшего из родовичей особой небесной силой, остается, к сожалению, неясным. Время появления понятия «*кут*» в политическом лексиконе тюрков неизвестно. Говоря более строго, отмечается не появление, а лишь его фиксация благодаря возникновению рунической письменности. Политическую окраску оно могло приобрести либо вследствие внутреннего развития в кочевой среде, либо под неким внешним влиянием, под которым допустимо понимать влияние западных по отношению к каганату земель: Западного края (Си юй), Согда, государства эфталитов или восточных частей Сасанидской империи. Некоторые исследователи даже выводят сам термин из иранских языков, что, впрочем, выглядит недостаточно убедительно. Например, согласно старой гипотезе немецкого ираниста Х.Х. Шедера, термин *qut* в манихейских текстах и в титулах уйгурских каганов служил для передачи среднеперсидского *farrah* и, следовательно, обозначал «царское счастье». Х.Х. Шедер полагал, что тюркское слово *qut* не просто калька, а скорее заимствование, происходящее из древнеперсидского, наверное из **kauta*- [Schaeder, 1928, s. XCIV-XCVI].

Будучи наделены небесной силой, тюркский каган и иранский шаханшах исполняют важную космологическую роль, хотя ее понимание в тюркской (шире – кочевой) и иранской культурах имеет некоторые различия.

Каган соединяет в одно целое Небо и Землю, поскольку он воспринимает с Неба его благую силу и затем распространяет ее на подвластные территории. Вот почему его задачей

[11] См. также: [The History of al-Tabari, 1999, p. 111-112].

[12] На основании сообщения китайских источников об изготовлении хуннуским Лаошан-шаньюем (174–161 гг. до н.э.) чаши для питья из черепа убитого вождя юэчжей можно предполагать сакральность фигуры правителя – носителя небесной силы, которая, согласно более поздним источникам, локализуется именно в голове (черепе).

было подчинить всю землю себе: только в этом случае она могла бы вся питаться небесными эманациями, и наступило бы тотальное благоденствие и для людей с их стадами и хлебами, и для дикой природы. Разумеется, наивно надеяться, что каждый степной суверен мыслил подобными категориями. Для подавляющего большинства основным, если не единственным мотивом завоеваний было личное обогащение и слава; кроме того, орхонские тюрки[13] не оставили после себя политических или философских трактатов, в которых эта мысль была бы четко прописана. Предложенная совместными усилиями тюркологов реконструкция может в итоге оказаться ошибочной. Тем не менее, слова другого кочевого властелина – монгольского хагана Мункэ (1251–1259) «Когда силою вечного Бога весь мир от восхода солнца и до захода объединится в радости и в мире, тогда ясно будет, что мы хотим сделать» [Гильом де Рубрук, 1997, с. 176], адресованные французскому королю Людовику IX (1214–1270), заставляют задуматься. Правда, это все-таки другая эпоха, а мировидение монгольских владык принципиально отличалось от такового тюрков: для них «всей землей» действительно стала вся земля, то есть все населенное людьми пространство, а не только степи. Функции кагана, как они обрисованы в рунике, сводились к «мироустроению» только в пределах кочевых степей: переселению побежденных племен, распределению захваченных земель между своими соплеменниками, «устроению» тюрков на их коренных землях; иными словами, утверждалась забота лишь о своих кочевых сородичах и некоторых полезных иммигрантах, таких как согдийцы [Кляшторный, 2004, с. 101; Васютин, 2011, с. 81-89]. Таким образом, в теории законный тюркский каган несет мир и процветание всему и вся, что есть под *тюркским* Небом.

По существу, точно такова была и сверхзадача шаханшаха, который обязан неустанно бороться против сил тьмы в специфическом зороастрийском их понимании. Подобно тому, как Ахурамазда создал порядок из хаоса, сражаясь в космосе, так и шаханшах сражается с хаосом, чтобы навести порядок на земле. Путем осуществления правосудия он обеспечивает благополучие народа, но, если он отступает от принципов справедливости, то общество вновь повергается в хаос. С другой стороны, если общество пришло по какой-то причине в беспорядочное состояние, его обязанностью является вернуть порядок [Daryaee, 2009, p. 42].

Помимо неукоснительного соблюдения правды как одной из высших добродетелей зороастризма, в чем это вероучение солидаризуется с остальными мировыми религиями, «царь царей» был должен покровительствовать жречеству и всемерно поддерживать деятельность священнослужителей, которые как раз и находились на переднем крае этой борьбы. В так называемом «Завете Ардашира», написанном, скорее всего, уже в годы правления Хосрова I Ануширвана, и дошедшем до нас в нескольких арабских версиях, союз алтаря и трона сформулирован фактически как оплот государства: «Знайте, что царская власть и вероучение – братья-близнецы, которые не могут устоять друг без друга. Ведь вероучение – основа царской власти, а царская власть – страж вероучения. Царской власти не обойтись без основы, а вероучению – без стража, ибо то, что лишено стража, погибает, а то, у чего нет основы, разрушается» (цит. по: [Мишин, 2014, с. 438]).

Позже Абу-л-Касим Фирдоуси (935–1020) облек эту идею в поэтическую форму:

> «Коль вере владыка привержен всегда,
> Держава и вера сроднятся тогда.
> И вера в престоле опору найдет,
> И в вере престол обретает оплот» [Фирдоуси, 1984, с. 148].

[13] В отличие от их собратьев, завладевших оседлыми народами на западе, тюрков Восточно-Тюркского каганата нередко называют орхонскими потому, что центральная ставка их предводителей находилась в долине реки Орхон в Монголии. Тем самым подчеркивается кочевой характер созданной ими империи.

Особенно настойчиво эта мысль прописывается в объемистом богословском произведении «Денкард» («Деяния веры»), созданном по большей части в IX в. *мобедом* (зороастрийским жрецом) Адурфарнбагом Фаррохзаданом и затем пополнявшемся и редактировавшемся другими священнослужителями. Из первоначальных девяти книг не сохранились две первые и начало третьей. Взаимоотношения алтаря и трона обсуждаются в третьей книге «Денкарда». Однако необходимо учитывать, что ко времени его составления Сасанидская империя не существовала уже свыше двух веков, и *мобед* нарисовал скорее идеальную, чем реальную картину.

Итак, из изложенного следует, что на сасанидских самодержцев не возлагались жреческие функции, и они не служили первосвященниками империи[14], а оставались светскими лидерами и считались гарантами порядка в своем государстве. Исключением из этого правила мог быть Ардашир I, возможно, какое-то время исполнявший жреческие функции в храме Анахиты в Истахре. По-видимому, жрецом этого храма был также его отец Папак.

Иное нужно сказать о тюркских каганах. Хотя, за редкими исключениями, народы в степях до прихода буддизма в конце XVI в. не были объединены в какие-либо церковные организации и отправляли свои традиционные культы индивидуально либо в форме родовых молений и жертвоприношений, кочевые империи имели фигуру, фактически исполнявшую роль верховного жреца, и ею был как раз каган. Он, а не шаманы, имел право апеллировать к Вечному Небу, его голос доносил до Тэнгри благодарения и просьбы от имени всей империи, что совсем неудивительно, ибо он и был избранником Неба. Каган тюрков со своими приближенными ежегодно «приносит жертву в пещере предков; а в средней декаде пятой луны собирает прочих, и при реке приносит жертву духу неба» [Бичурин, 1950, с. 230-231]. На этом основании его обычно считают главным священнослужителем древнетюркского общества. Впрочем, необходимо признать, что прямых указаний на выполнение каганом этой роли дошедшие до наших дней источники содержат крайне мало, хотя имеющиеся в рунике сообщения о доверительных отношениях между тюркскими правителями и Небом позволяют предполагать ее достаточно уверенно. В случае же монгольского «хана ханов» подобное предположение будет уже точно справедливым и основательно фундированным[15]. Владыка степей сочетал в себе светские и жреческие функции; между ним и Небом не было посредников. Впрочем, история Центральной Азии знает случаи разделения обязанностей кагана и священнослужителя: это происходило еще в Жуаньжуаньском каганате (402–555 гг.), но логического завершения достигло в принципе «двух правлений», принятом при дворе монгольского хагана Хубилая (1260–1294) – основателя династии Юань в Китае, и просуществовавшего до падения Юань (1368 г.). В обоих случаях *vis-à-vis* суверена оказывался буддийский монах. Корни этого дуализма власти уходят в Древнюю Индию.

Всякая власть, считающая себя легитимной, расценивает посягательства на себя как вызов, брошенный закону и мировому порядку, в случае древних тюрков именуемому термином *тору (törü)*[16], а у древних иранцев называемому *аша*. Согласно этому неписаному закону существует мироздание, учреждается и наследуется верховная власть, осуществляется управление и вершится суд. Поэтому в зороастрийском Иране мятеж против

[14] Вопреки попыткам выстроить генетическую связь между Сасанидами и Ахеменидами, в вопросах статуса царя как первосвященника эти династии расходились. В отличие от сасанидского шаханшаха, ахеменидский царь выполнял функции верховного жреца империи, руководил жертвоприношениями и являлся главной фигурой в праздновании Нового года. Особое одеяние символизировало его власть над Вселенной, хотя представления о «космическом» характере его власти считаются не столь очевидными [Фрай, 2002, с. 68].

[15] Данному вопросу посвящены многочисленные статьи Т.Д. Скрынниковой, а также ее обобщающая монография: [Скрынникова, 1997] (2-е изд. СПб.: Евразия, 2013).

[16] Существует предположение, что этот термин произошел от древнееврейского «тора» [Poucha, 1970, p. 218-223].

царя был равносилен мятежу против Правды, то есть подлинным потрясением основ бытия. В Центральной Азии такое деяние приравнивали к бунту против самого Неба.

Неудивительно, что народы, не пожелавшие изъявить покорность имперской власти, считались пребывающими во мраке Лжи или, по меньшей мере, неустроенности. Подчинение этих народов власти шаханшаха или кагана давало им надежду на обретение лучшей доли – во всяком случае, в этой жизни. Зороастризм был и до некоторой степени остается прозелитической религией. Он обещает своим адептам посмертное пребывание на небесах – разумеется, при условии исполнения ими требований и ограничений, этой религией налагаемых, а затем еще и вечную счастливую жизнь на очищенной от зла Земле. Тэнгрианство не было и не могло быть прозелетическим (даже слово «религия» по отношению к нему не всеми исследователями признается правомерным). По меткому замечанию известного кочевниковеда А.М. Хазанова, «эта религия не обещала покоренным народам ничего, кроме легитимации их подчинения» [Хазанов, 2004, с. 389]. Признать Тэнгри высшим божеством фактически означало признание кагана своим господином. Какой-либо посмертной награды тэнгрианец-неофит ожидать не мог.

Как уже говорилось, каган не считался божеством и во внутренней политике не титуловался «Сыном Неба». Скорее, он был «первым среди равных» в кочевой элите, и его персона не была отделена от его соратников реальными или символическими преградами. Позже Чингис-хан возвел эту всегда удивлявшую китайцев «простоту нравов» в ранг закона. По-видимому, в степях изоляция правителя от собственного народа равнозначна добровольному заточению и поэтому категорически неприемлема[17]. Напротив, в оседлых обществах, где сам образ жизни и менталитет населения облегчал и, можно сказать, даже провоцировал изоляцию монарха, обнаруживается много примеров создания материальных и символических барьеров. Так, в сасанидском Иране «царь царей» во время приемов был скрыт от глаз рядовых посетителей за специальной занавесью [Daryaee, 2009, p. 41].

Еще более различалась посмертная судьба рассматриваемых нами лиц, что было напрямую связано с религиозными представлениями доисламских тюрков и иранцев. В тэнгрианской культуре глава кочевой империи продолжал, в определенном смысле, «оставаться при делах» и после своей смерти. Приобщившись к сонму духов предков правящего клана, он усиливал его спиритуальную мощь и покровительствовал своим потомкам и всему государству. При этом была принципиально важна сохранность его останков. Нарушение целостности костяка не приветствуется во многих культурах мира; в кочевом же социуме это не просто оскорбление памяти предков, но еще и посягательство на совокупную силу рода, ведущее к разбалансировке социальных и природных процессов. Вот почему кочевники стремились отыскать и осквернить могилы своих врагов, в первую очередь выходцев из элиты. Первое такое деяние, зафиксированное в китайских источниках, произошло в начале I в. до н.э., когда восставшие ухуани разрыли могилы хуннуских *шаньюев* [Материалы, 1984, с. 65], однако, более всего этой практикой прославились монголы в эпоху завоеваний. Наиболее вероятно, что именно по этой причине номады тщательно скрывали места захоронений своих каганов, даже если земле предавалось не тело, а прах.

В зороастрийской культуре мертвое тело расценивается как источник скверны; нельзя допускать его соприкосновения с чистыми стихиями – огнем, водой, почвой, растениями, поэтому покойных оставляли в скалах или других неплодородных местах, пока

[17] Здесь можно вспомнить противоположную, хазарскую практику превращения кагана в живой талисман, тщательно укрываемый от контактов с внешним миром и фактически находящийся в пожизненном заточении, в то время как реальной полнотой власти обладал царь (малик). П. Голден полагает, что этот дуализм власти сложился в Хазарском каганате под влиянием хорезмийско-иранской стражи кагана и первого министра. Ближайшие параллели столь далеко зашедшей сакрализации кагана ученый находит именно в иранской традиции [Golden, 2007, p. 187-188]. См. также: [Петрухин, 2001, с. 73-78]. В кочевом социуме подобные случаи неизвестны.

естественным образом не очистятся кости, которые затем собирали и помещали в специальные сосуды из обожженной глины – *оссуарии*. Позже для этих целей стали создавать особые башни (*дахмы*), где в очищении костей от плоти активную роль играли птицы. Останки шаханшаха тоже считались ритуально нечистыми, но простое выставление их на растерзание хищникам, по-видимому, все-таки расценивалось как нечто кощунственное. Царские захоронения Сасанидов до сих пор не атрибутированы, но можно более или менее уверенно предполагать, что эта династия пошла по компромиссному пути, проторенному еще Ахеменидами, которые бальзамировали скончавшихся царей и замуровывали их в склепе на специальной платформе, очевидно, предназначенной для избегания контакта трупа с землей. Один из таких склепов, принадлежавший ахеменидскому царю Киру II Великому (559–530 г. до н.э.) в Пасаргадах и сохранившийся до наших дней, был взломан воинами Александра Македонского [Страбон, 1964, с. 677-678]. Вероятно, останки «царя царей» не играли той интегрирующей роли, которой традиция наделяла останки кагана.

Будучи участниками (или свидетелями) приема сасанидскими самодержцами иностранных послов, тюрки, вероятно, могли познакомиться с пышным придворным этикетом, в котором находили отражение идеологемы Ирана. Однако на вопрос, взяли ли они что-либо из увиденного на вооружение, обогатили ли собственную культуру сасанидскими идеями и ритуалами, пока трудно дать положительный ответ. Скорее, можно полагать, что, если заимствования действительно имели место, то они были опосредованными, прежде всего, через согдийцев, культурное и политическое влияние которых на древних тюрков было очень большим и теперь практически общепризнанным. Согдийцы водили торговые караваны по Великому шелковому пути, создавали колонии в глубинах Центральной Азии и несли кочевникам достижения древних цивилизаций Ближнего Востока и Средней Азии. Пэй Цзюй, бывший ранее наместником Западного края, доносил императору династии Суй: «Тюрки сами по себе простодушны и недальновидны, и можно внести между ними раздор. К сожалению, среди них живет много согдийцев, которые хитры и коварны; они научают и направляют тюрков» [Liu Mau-Tsai, 1958, s. 87-88]. Даже сами тюркские каганаты, в принципе, могли быть не только достижением тюркских вождей, но и в определенном смысле «проектами» согдийцев, несомненно, нуждавшихся в стабильности в центрально-азиатских степях и пустынях. Сильная централизованная власть могла обеспечить им безопасные условия для торговой и миссионерской деятельности. Более того, она имела религиозную поддержку.

В ряде своих статей В.И. Абаев отстаивает взгляд, что Зороастр ратовал за сильную добрую власть – *хшастру*, которая могла бы обеспечить защиту мирных скотоводов и их скота от набегов, грабежей и убийств со стороны соседей-кочевников. Хшастра – одно из центральных понятий в Гатах, там оно (а также производные от него слова) встречается 63 раза [Абаев, 1990б, с. 62-63]. Ясна (один из важнейших разделов Авесты) содержит следующие красноречивые сентенции: «Вскрикнула Душа Быка: “Разве слабосильный нужен мне человек, чье слово – пыль: всемогущего желаю я! Пусть грядет он наконец и десницей скот оборонит!”» [Авеста, 1997, с. 130]; «Добрый правитель понесет смерть и истребление в лагерь врагов и таким образом воздвигнет мир для радостных» [Авеста, 1997, с. 145]. Поэтому зороастризм должен был оказаться очень полезной религией для автократов, и был взят на вооружение еще Ахеменидами, которые возвысили ее статус до династийной и государственной.

Может показаться, что трудно было в рассматриваемую в данной статье эпоху найти народ менее всего годящийся для реализации идеалов «доброй власти», чем тюрки. Последние были воинственными номадами, склонными к насилию, кровопролитию и угону чужого скота. Однако анализ взаимоотношений тюрков и оседлых народов Восточного Туркестана, Ферганы, Чача, Согда, Уструшаны приводит к выводу об их сравнительно мирном сосуществовании. Тюрки не устроили здесь ни массовой резни, ни повального

грабежа, чем несколько веков спустя прославились в этих же краях монголы. Упрочив свое господство, они оставили местных династов, но поставили при них своих наместников – *тудунов*. Политика тюрков по отношению к странам Запада заметно отличалась от их политики по отношению к Китаю. Номады не стремились владеть китайскими землями как бесполезными с точки зрения кочевого образа жизни, да и возможностей таких они не имели. Их целью был грабеж и террор, посредством которого они воздействовали на китайский императорский двор, побуждая его к открытию рынков на границе и к бесперебойному снабжению кочевой элиты «подарками». Владения на Западе, оставлявшие им место для кочевания, они подчинили себе и, надо полагать, имели заинтересованность в поддержании там мира и порядка.

Сам Согд, очевидно, не произвел ничего похожего на имперскую идеологию. Эта историческая область входила в состав Ахеменидской державы, государства Селевкидов, Греко-Бактрийского и Кушанского царств, затем подчинялась эфталитам, а с VI в. – тюркам. Ко времени арабского нашествия она была разделена на несколько относительно автономных владений. Как отметил выдающийся знаток этого региона Б.И. Маршак, «История Согда, пожалуй, дает столь же яркий пример “неимперского пути” эволюций на Среднем Востоке, как Иран можно назвать классическим примером имперского варианта эволюции в этом регионе» [Маршак, 1987, с. 235]. Не имея собственной имперской идеологии, мог ли Согд транслировать в кочевой мир чужую имперскую идеологию, например сасанидскую? Если мог, то как и зачем?

Можно предположить следующее: и торговые караваны, и согдийские диаспоры в Центральной Азии были кровно заинтересованы в стабильной политической среде, предпосылки для которой могла создать крепкая единоначальная власть наряду с наличием отлаженных механизмов ее передачи. Поэтому согдийцы должны были в меру своих возможностей способствовать политической консолидации каганата, и их наличие в ближайшем каганском окружении, подтверждаемое источниками, более чем оправданно. Известно, что именно выходцы из Согда выполняли в Первом каганате дипломатические функции и отправлялись с посольствами в независимые государства Северного Китая и позже в Византию. Пример сасанидского Ирана мог быть полезен для внушения тюркской элите великодержавных идей, а вот политически раздробленный и слабый Китай на эту роль тогда явно не годился.

Нельзя исключать и прямое, целенаправленное идеологическое воздействие иранцев на окружающие народы, в том числе на тюрков. В «Книге деяний Ануширвана» сообщается о том, что тюрки просились на службу к Хосрову Ануширвану, и тот разместил их у северных границ своего царства. Чтобы гарантировать их лояльность, шаханшах отдал такие распоряжения: «Я приказал построить храмы нашим жрецам. Я поручил им научить тюрок, подчинившихся нашей власти, тем прямым преимуществам, которые приносят покорность царям в этом мире и награды, следующие за это, в загробной жизни. Я повелел им внушить тюркам обязанность любить нас, быть праведными и верными, воевать с нашими врагами; и [я попросил их] обучить молодых людей нашим верованиям и обычаям» (цит. по: [Бойс, 1987, с. 162]). Хотя в этой цитате говорится об идеологии подчинения иранской власти, несложно представить и противоположный эффект подобного воздействия: научившись выражению покорности и дворовому церемониалу, тюрки впоследствии могли попытаться воспроизвести его, но уже в свою пользу, в сношениях с другими народами. По крайней мере, велика вероятность того, что тюрки из благородных семейств, находившиеся на службе танских императоров (фактически в заложниках), использовали приобретенный опыт против самого же Китая после возрождения каганата в конце VII в., тем самым подтверждая правоту некоторых прозорливых китайских чиновников, которые предупреждали о потенциальной опасности такой практики заложничества для Поднебесной.

Вернемся к Бугутской стеле, о которой говорилось выше. Она была поставлена на территории нынешнего Архангайского аймака Монголии не позднее 581 г. в прославление

Мухана и Бумына – основателей Первого Тюркского каганата, и несет надписи на согдийском языке. Однако в самом Согде не было традиции устанавливать стелы. Кто научил тюрков увековечивать память о своих героях подобным образом?

Та традиция, которую принято называть степной или кочевой, не донесла до наших дней принадлежащих ранним номадам камнеписных памятников – возможно, просто в силу отсутствия у них письменности и невозможности по какой-то причине воспользоваться услугами своих «грамотных» соседей. В конце бронзового и начале железного веков в Центральной Азии появляются испещренные рисунками «оленные камни», но надписей на них нет. Тюркскую эпоху знаменует широкое, практически по всему евразийскому степному поясу, распространение каменных изваяний, причем известны случаи использования «оленных камней» для изготовления этих изваяний. Обычно считается, что тюрки оживили древнюю статуарную традицию скифского населения Евразии [Ольховский, 2005, с. 147], хотя между этими культурами лежит большая временна́я лакуна. Кажется достаточно правдоподобной эволюция монументов от лишенных надписей к имеющим надписи, но кто же привнес в древнетюркскую культуру саму идею письменно запечатлевать послания потомкам на камнях?

Казалось бы, роль Китая здесь несомненна. Ставить стелы при могилах знатных людей было принято в Поднебесной. На стелах вырезали иероглифы, повествующие о жизни и деяниях покойного [Eckfeld, 2005]. Форма стел у тюрков Второго каганата была типично китайской, с драконами, черепахой в основании, павильоном над стелой. Они стояли там же, где и у китайцев – на *шэньдао* («дороге духов»), то есть аллее, ведущей к заупокойному храму. Оформление стелы и во многом планиметрия самого поминального комплекса также взяты у китайцев. Вероятно, в отличие от иероглифики, эти материальные особенности не воспринимались номадами как чисто китайские, а были общим достоянием восточно- и центрально-азиатского круга культур, хотя исторически форма поминальных стел восходит к Южному Китаю, V век. Вопрос, почему кочевники до тюрков не заимствовали эту практику при том, что они весьма много взяли у Китая, требует более углубленного осмысления, и не входит сейчас в наши задачи.

Много споров породило навершие Бугутской стелы, весьма плохая сохранность которого позволяет по-разному интерпретировать высеченное на нем изображение. Одни исследователи видят в нем типичного китайского дракона [Кореняко, 2001, с. 355-369], другие – волка, а под волком – человеческие фигуры (фигуру). Каждая точка зрения имеет солидную аргументацию: если это дракон, то именно он должен увенчивать всю композицию согласно китайским канонам, а если все-таки волк, то его наличие легко объясняется известной древнетюркской генеалогической легендой о происхождении клана Ашина от брачного союза мальчика и волчицы. Порой проводятся параллели с римской волчицей, что теоретически тоже возможно, поскольку этот сюжет был известен на Ближнем Востоке в античное время и мог оттуда перекочевать в Среднюю Азию[18], а затем и в Монголию. В споре вокруг навершия стелы мы разделяем «волчью» гипотезу. Как справедливо отметил М.Р. Дромп, изображение тотема элиты каганата служило целям легитимации ее власти не только над своими тюрками, но и над другими кочевыми народами, вряд ли владевшими навыками чтения согдийских письмен, но прекрасно понимавшими имперскую символику волка [Drompp, 2011, p. 526].

Весьма интересна находка каменного изваяния древнетюркского времени в Завханском аймаке Монголии, близ аймачного центра – г. Улясутай. Мастер придал изваянию особый, так называемый бактрийский, тип женского лица, широко распространенный на изобразительных памятниках Средней Азии и Северной Индии I тыс. до н.э. и впоследствии

[18] В ходе раскопок в Бунджикате дворца афшинов – правителей Уструшаны на одной из стен была обнаружена выполненная киноварью волчица с двумя припавшими к ее соскам младенцами [Негматов, Соколовский, 1975, с. 438-458].

известный в согдийском искусстве. Он характеризуется крупными, широко раскрытыми миндалевидными глазами и специфическим расширением лица, при котором нижняя его часть, оконтуренная мягкой линией подбородка, выглядит как бы слегка припухшей. Аналоги этой скульптуре в монументальной литопластике древних тюрков пока не известны [Ожередов, 2010, с. 258-262; Yatsenko, 2013, p. 75-76].

С жанром надписей сложнее. В нем не просматривается китайских черт, зато много иранских, уходящих своими корнями к ахеменидско-ассирийско-вавилонским царским надписям. Формуляр текстов с ассирийских времен до Шапура I не претерпел кардинальных изменений. В какой-то форме он мог попасть и к тюркам.

Кроме текстов, древнетюркские стелы и изваяния донесли до нас тамги и изображения, наводящие на мысль о возможном иранском влиянии. Как известно, тамгой элитного клана Ашина был горный козел. Его схематическое изображение обычно встречается в верхней части стел, над надписями. Есть мнение, что этот козел аналогичен барану в культуре ираноязычных народов и тоже символизирует царственный *фарр*. Так, Д.Г. Савинов проводит параллель между этими зооморфными образами и приходит к выводу, что «По своему значению образ горного козла в древнетюркской социальной символике, скорее всего, соответствует понятию древнеиранского *фарна*» [Савинов, 2015, с. 72]. Смена власти в 744 г. привела, в частности, к тому, что на стелах, которые ставились теперь уже в честь уйгурских каганов, появилась тамга клана Яглакар, а горный козел либо исчез, либо «перебрался» в самый низ памятников, символизируя, очевидно, подчинение бывших хозяев степей новой власти [Савинов, 2015, с. 70-71].

«Крылатый» головной убор Кюль-Тегина с изображением птицы посередине напоминает сасанидскую корону так называемого «типа Пероза», получившего свое название по короне, которую, судя по изображению на монетах, носил шаханшах Пероз I после 476/477 г. Японский исследователь Э. Кагеяма считает, что этот тип короны скопировали эфталиты, а у них его позаимствовали согдийцы. Он известен также среди согдийском знати, проживавшей на территории Китая [Kageyama, 2007, p. 11-22], и уже отсюда несложно предположить его рецепцию тюрками. Аналогичная тиара, выполненная из золота, также была обнаружена при раскопках мемориального комплекса Бёгю-кагана в Хошо-Цайдаме.

Изображение птицы известно на тюркском памятнике из Их-Асгата в Монголии, предположительно датируемом серединой VIII в. и посвященном Текешу и его двум безвременно скончавшимся сыновьям: «(Памятник) Текеша, младшего брата Кюль-тудуна... в день поклонения я вырезал. Муж Азганаз хорошо устроил. Так как мы не могли быть на похоронах Алтун Тамган-тархана, младшего брата Кюль-тудуна (мы сделали этот памятник)... Оставшиеся два сына его, Торгул и Йэльгек, в год свиньи вы умерли. По уходе мы грустим, разлучившись (с вами)» [Малов, 1959, с. 45]. На каменной плите высечены три мужские фигуры: скорее всего, это сам Текеш и его сыновья, изображенные в сцене заупокойного пира, а справа вверху, над тамгой Текеша, помещено изображение птицы, по-видимому, сокола [Кызласов, 1964, с. 34-35]. Чаще всего оно трактуется как символ отлетающей души, в пользу чего говорят как лингвистические данные (в древнетюркском языке, особенно в орхоно-енисейских памятниках, глагол *uč-* «летать» регулярно используется в значении «умирать, скончаться»), так и этнографические материалы, касающиеся верований современных тюркоязычных народов.

Можно ли, тем не менее, считать его символом *фарра*, которым обладал этот знатный тюркский герой? В настоящее время затруднительно дать однозначный ответ, но, по-видимому, можно довольно уверенно говорить о согдийском влиянии. Представляется неслучайным, что ближе к ираноязычному миру, в Семиречье, на правой руке статуй древнетюркской эпохи иногда изображали птицу, а изображения кубков на ножках напоминают кубки, до недавнего времени использовавшиеся народами Средней Азии в торжественных случаях и восходящие, видимо, к согдийской художественной традиции; согдо-буддийское влияние прослеживается также в технике исполнения пальцев и лиц

некоторых изваяний [Шер, 1966, с. 43-44, 58; Кубарев, 1984, с. 35-36; Елеукенова, 1999, с. 78-79; Ермоленко, 2004, с. 47; Hayashi, 2006, p. 245-259]. Более того, если птица действительно символизировала отлетающую душу, тогда ее, казалось бы, должны были изображать на всех без исключения древнетюркских изваяниях, но на самом деле она встречается весьма редко, причем в типичном случае занимает место кубка или чаши в правой руке[19]. Анализ материалов по истории и этнографии Средней Азии подталкивает нас к предположению, что птица на статуях древних тюрков символизировала самое себя, то есть хищную ловчую птицу, а памятник такого типа ставился в честь прославленных охотников, причем необязательно тюрков, а, скорее, ассимилировавшихся в тюркской среде представителей местной элиты [Дробышев, 2017, с. 93-97].

Изображения на монетах и металлической посуде выполняли пропагандистскую роль, подчеркивая величие иранских монархов и владение ими царственным *фарром*. Поэтому, если некоторая иноплеменная элита желала продемонстрировать свое не менее высокое положение, она должна была тоже оперировать символами, понятными не только соплеменникам, но и соседям, как это было, по-видимому, в рассмотренном выше случае использования образа волка на Бугутской стеле. Отсюда же, в частности, проистекает жажда заимствований титулатуры, царственных регалий и тому подобного, причем претенденты обычно ориентируются на регионального лидера. В раннее средневековье на Дальнем Востоке и в Центральной Азии это был Китай, на Ближнем Востоке – Иран. Тюрки оказались между этими двумя лидерами, и в их легитимации власти, в элитарной культуре заметно влияние и того, и другого, хотя бесспорно доказать такое влияние не всегда просто.

В целом, следует, по-видимому, признать довольно незначительные шансы прямых заимствований тюрками имперской идеологии у сасанидского Ирана. Гораздо больше было передано тюркам согдийцами. Поэтому более корректно говорить о сильном влиянии на тюркскую культуру ираноязычного мира, чем о влиянии собственно Ирана, который, кроме того, в середине VII в. был захвачен арабами, а уцелевшие потомки шаханшахов нашли убежище в Китае. Далее, после распада единой тюркской империи на западную и восточную части, это влияние должно было постепенно ослабевать, и Второй Тюркский каганат уже демонстрировал глубокую связь с культурой Китая.

Литература

1. Абаев В.И. Скифский быт и реформа Зороастра // Избранные труды: Религия, фольклор, литература. Владикавказ: «Ир», 1990а. С. 9-51.
2. Абаев В.И. Миф и история в Гатах Зороастра // Избранные труды: Религия, фольклор, литература. Владикавказ: «Ир», 1990б. С. 52-70.
3. Авеста в русских переводах (1861-1996). Сост. И.В. Рак. СПб.: «Летний сад», 1997. 480 с.
4. Барфилд Т.Дж. Опасная граница: кочевые империи и Китай (221 г. до н.э. – 1757 г. н.э.) / Пер. Д.В. Рухлядева и В.Б. Кузнецова. СПб.: Ф-т филологии и искусств СПбГУ; Нестор-История, 2009. 488 с.
5. Баскаков Н.А. К проблеме китайских заимствований в тюркских языках // Turcica et Orientalia. Studies in Honour of Gunnar Jarring on his Eightieth Birthday. Stockholm: Swedish Research Institute in Istanbul, 1988. P. 1-8.
6. Бичурин Н.Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. Т. I. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950. 384 с.
7. Бойс М. Зороастрийцы. Верования и обычаи. М.: Наука, 1987. 316 с.
8. Васютин С.А. Образ правителя в ментальных представлениях кочевников Центральной Азии в период раннего средневековья (по письменным и эпическим

[19] Некоторые исследователи указывают на одновременное наличие и сосуда, и птицы (см., например: [Ермоленко, 2004, с. 31]).

памятникам тюркоязычных народов) // Тюркологический сборник 2009-2010. М.: Восточная литература, 2011. С. 79-108.
9. Гильом де Рубрук. Путешествие в восточные страны // Путешествия в восточные страны. М.: Мысль, 1997. С. 85-189.
10. Добрович М. Силзибул // Иран-наме. 2013. № 4 (28). С. 162-173.
11. Дробышев Ю.И. У истоков имперской идеологии средневековых монголов // Общество и государство в Китае. Т. XLII. Ч. 3. М.: ИВ РАН, 2012. С. 274-314.
12. Елеукенова Г.Ш. Очерк истории средневековой скульптуры Казахстана. Алматы: Гылым, 1999. 220 с.
13. Ермоленко Л.Н. Средневековые изваяния казахстанских степей (типология, семантика в аспекте военной идеологии и традиционного мировоззрения). Новосибирск: Изд-во Ин-та археологии и этнографии СО РАН, 2004. 131 с.
14. Кляшторный С.Г. Древнетюркские рунические памятники как источник по истории Средней Азии. М.: Наука, 1964. 216 с.
15. Кляшторный С.Г. Образ кагана в орхонских памятниках // Монгольская империя и кочевой мир. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2004. С. 100-103.
16. Кляшторный С.Г., Лившиц В.А. Согдийская надпись из Бугута // Страны и народы Востока. Т. X. М.: Наука, 1971. С. 121-146.
17. Колесников А.И. Сасанидский Иран: История и культура. СПб.: Нестор-История, 2012. 520 с.
18. Кореняко В.А. Об изображении на Бугутской стеле // Мировоззрение древнего населения Евразии. М.: ТОО Старый Сад, 2001. С. 355-369.
19. Кубарев В.Д. Древнетюркские изваяния Алтая. Новосибирск: Наука, 1984. 232 с.
20. Кубатин А.В. Система титулов в Тюркском каганате: генезис и преемственность. Ташкент: Yangi nashr, 2016. 192 с.
21. Кызласов Л.Р. О назначении древнетюркских каменных изваяний, изображающих людей // Советская археология. 1964. № 2. С. 27-39.
22. Кызласов Л.Р. Историко-культурное взаимодействие иранских и тюркских народов в средние века (язык, письменность, религия) // Вестник Московского ун-та. Сер. 8. История. 2004. № 3. С. 5-20.
23. Луконин В.Г. Иран в III веке. Новые материалы и опыт исторической реконструкции. М.: Наука, 1979. 176 с.
24. Малов С.Е. Памятники древнетюркской письменности. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1951. 452 с.
25. Малов С.Е. Памятники древнетюркской письменности Монголии и Киргизии. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1959. 112 с.
26. Маршак Б.И. Искусство Согда // Центральная Азия: новые памятники письменности и искусства. М.: Наука, 1987. С. 233-248.
27. Материалы по истории древних кочевых народов группы дунху / Пер. В.С. Таскина. М.: Наука, 1984. 488 с.
28. Мирзоев Е.Б. Шапур I. Триумф над Римом. СПб.: Нестор-История, 2016. 352 с.
29. Мишин Д.Е. Хосров I Ануширван (531–579), его эпоха и его жизнеописание и поучение в истории Мискавейха. М.: ИВ РАН, 2014. 696 с.
30. Негматов Н.Н., Соколовский В.М. «Капитолийская волчица» в Таджикистане и легенды Евразии // Памятники культуры. Новые открытия. Письменность. Искусство. Археология. Ежегодник, 1974. М.: Наука, 1975. С. 438-458.
31. Ожередов Ю.И. Древнетюркские изваяния в Завхане (к своду археологических памятников Западной Монголии) // Древние культуры Монголии и Байкальской Сибири: материалы международной научной конференции. Улан-Удэ: Изд-во БГУ, 2010. С. 258-262.

32. Ольховский В.С. Монументальная скульптура населения западной части евразийских степей эпохи раннего железа. М.: Наука, 2005. 300 с.
33. Петрухин В.Я. К вопросу о сакральном статусе хазарского кагана: традиция и реальность // Славяне и их соседи: Славяне и кочевой мир. Вып. 10. М.: Наука, 2001. С. 73-78.
34. Савинов Д.Г. Тамгообразные изображения горных козлов, или к определению фарна древнетюркских каганов // Реальные и знаковые формы социальной дифференциации в архаике. Миф и формы его отражения в ритуальной практике. СПб.: МАЭ РАН, 2015. С. 64-74.
35. Скрынникова Т.Д. Харизма и власть в эпоху Чингис-хана. М.: Восточная литература, 1997. 216 с.
36. Скрынникова Т.Д. Харизма и власть в эпоху Чингис-хана. 2-е изд. СПб.: Евразия, 2013. 384 с.
37. Страбон. География / Пер., ст. и комм. Г.А. Стратановского. М.: Наука, 1964. 957 с.
38. Феофилакт Симокатта. История / Пер. С.П. Кондратьева. М.: Арктос – Вика-пресс, 1996. 272 с.
39. Фирдоуси. Шахнаме. Т. V (От начала царствования Искендера до начала царствования Йездгерда, сына Бехрама Гура) / Пер. Ц.Б. Бану-Лахути и В.Г. Берзнева. М.: Наука, 1984. 392 с.
40. Фрай Р. Наследие Ирана. М.: Восточная литература, 2002. 464 с.
41. Хазанов А.М. Мухаммед и Чингис-хан в сравнении: роль религиозного фактора в создании мировых империй // Монгольская империя и кочевой мир. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2004. С. 382-406.
42. Шер Я.А. Каменные изваяния Семиречья. М.; Л.: Наука, 1966. 140 с.
43. Щербак А.М. Тюркская руника. Происхождение древнейшей письменности тюрок, границы ее распространения и особенности использования. СПб.: Наука, 2001. 148 с.
44. Alram M., Blet-Lemarquand M., Skjærvø P.O. Shapur, King of Kings of Iranians and Non-Iranians // Des Indo-Grecs aux Sassanides: Données pour l'histoire et la géographie historique. Res Orientales. Vol. 17. Paris: Peeters Press, 2007. P. 11-40.
45. Bailey H.W. Saka Studies: The Ancient Kingdom of Khotan // Iran. 1970. Vol. 8. P. 65-72.
46. Bombaci A. Qutluγ bolzun! A Contribution to the concept of 'fortune' among the Turks // Ural-Altaische Jahrbücher. 1965. Vol. 36. Fasc. 3-4. P. 284-291; 1966. Vol. 38. P. 13-43.
47. Choksy J.K. Sacral Kingship in Sasanian Iran // Bulletin of Asia Institute. New Series. 1988. Vol. 2. P. 35-52.
48. Chronique de Michel le Syrien, patriarche jacobite d'antioche (1166–1199). Tr. par J.-B. Chabot. T. III. Paris: Leroux, 1905. 538 p.
49. Daryaee T. Kingship in Early Sasanian Iran // The Idea of Iran. Vol. 3. The Sasanian era. L.; N.-Y.: I.B. Tauris & Co. Ltd, 2008. P. 60-70.
50. Daryaee T. Sasanian Persia. The Rise and Fall of an Empire. L.; N.-Y.: I.B. Tauris & Co. Ltd, 2009. 225 p.
51. Drompp M.R. The Lone Wolf of Inner Asia // Journal of the American Oriental Society. 2011. Vol. 131. № 4. P. 515-526.
52. Eckfeld T. Imperial Tombs in Tang China, 618-907: The Politics of Paradise. N.-Y.: Routledge, 2005. 164 p.
53. Ecsedy I. Early Persian Envoys in the Chinese Courts // Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae. 1977. Vol. 25. P. 227-236.
54. Ecsedy H. Old Turkic Titles of Chinese Origin // Acta Orientalia Hungarica. 1965. Vol. 18. P. 83-91.
55. Gnoli G. The Idea of Iran: an Essay on its Origin. Roma: Istituto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente, 1989. 216 p.

56. Golden P. An Introduction to the History of the Turkic Peoples. Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1992. 483 p.
57. Golden P.B. Irano-Turcica: The Khazar Sacral Kingship Revisited // Acta Orientalia Hungaricae. 2007. Vol. 60. № 2. P. 161-194.
58. Hayashi T. Sogdian Influence Seen on Turkic Stone Statues Focusing on the Fingers Representation // Eran ud Aneran. Studies Presented to Boris I. Marshak in Occasion of His 70th Birthday). Venice: Libreria Editrice Cafoscarina, 2006. P. 245-259.
59. Kageyama E. The Winged Crown and the Triple-crescent Crown in the Sogdian Funerary Monuments from China: Their Relation to the Hephthalite Occupation of Central Asia // Journal of Inner Asian Art and Archaeology. 2007. Vol. 2. P. 11-22.
60. Liu Mau-Tsai. Die chinesischen Nachrichten zur Geschichte der Ost-Türken (T'u-küe). Buch I. Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1958. 484 s.
61. Osawa T. Historical Significance of the Coexistence of Languages, Cultures and Cult-Believes under the Early Old Turkic Kaghanate from the Ötükän Yïš to the Tianshan Regions // Наследие Л.Н. Гумилева и современная евразийская интеграция: Труды IX Евразийского научного форума, посвященного 100-летию со дня рождения Льва Николаевича Гумилева [16 p.] (Режим доступа: http://repository.enu.kz/bitstream/handle/data/9241/historical-significance.pdf; дата обращения: 24.04.2017).
62. Osawa T. Aspect of the Relationship between the Ancient Turks and the Sogdians Based on a Stone Statue with Sogdian Inscription in Xinjiang // Eran ud Aneran: Studies Presented to Boris I. Marsak on the Occasion of His 70th Birthday. Venice: Libreria Editrice Cafoscarina, 2006. P. 471-504.
63. Poucha P. Tocharisch A tiri, B teri, mongolisch törü, hebräisch torah // Orbis. 1970. Vol. 23. № 1. P. 218-223.
64. Rybatzki V. Titles of Türk and Uigur Rulers in the Old Turkic Inscriptions // Central Asiatic Journal. 2000. Vol. 44. № 2. P. 205-291.
65. Schaeder H.H. Über einige mittelindische und osttürkische Ableitungen aus altir. kavi // Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. Neue Folge. Bd. 7 (82). Leipzig, 1928. S. XCIV-XCVI.
66. Sinor D. The Establishment and Dissolution of the Türk Empire // The Cambridge History of Early Inner Asia, 285-316. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. P. 290.
67. Tezcan M. The Concept of Qut among the Ancient Turks and its Comparison with X^{v}arena in Ancient Iranians // Центральная Азия от Ахеменидов до Тимуридов: археология, история, этнология, культура. Материалы международной научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения Александра Марковича Беленицкого (СПб., 2-5 ноября 2004 г.). СПб.: ИИМК РАН, 2005. С. 242-243.
68. The history of al-Tabari. Vol. V. The Sasanids, the Bizantines, the Lakhmids, and Yemen / Tr. and annotated by C.E. Bosworth. Albany: SUNY Press, 1999. 493 p.
69. Vaissière, de la E. Is There a "Nationality of the Hephtalites"? // Bulletin of the Asia Institute. 2007. Vol. 17. P. 119-132.
70. Yatsenko S.A. Some Observations on Depictions of Early Turkic Costume // The Silk Road. 2013. Vol. 11. P. 70-81.

TURKIC KAGHAN AND SASANIAN SHAKHANSHAH: THE ISSUE OF IDEOLOGICAL BORROWINGS BY THE ANCIENT TURKS FROM THE IRANIANS

Drobyshev Yu.I.
Institute of Oriental studies RAS, Moscow, Russia, altanus@mail.ru

Abstract. The article deals with some similar moments in the ideology of the Ancient Turks and the Iranians in VI-VIII centuries, concerning the figure of the supreme rulers of Turkic and Iranian societies: kaghan and shakhanshah. Possible borrowings of ideas about the limits of power, possibilities and duties of the supreme ruler are discussed. The author comes to the conclusion that Turkic borrowings in the Iranian-speaking world are noticeable in the period of the First Kaghanate, while in the era of the Second Kaghanate the strong influence of Chinese culture is obvious.
Key words: Ancient Turks, Sasanian Iran, kaghan, shakhanshah, ideology, borrowings.

КОЧЕВНИКИ И ВЕНГРЫ В X-XIV вв.

Ковач С., Зимоньи И.
Сегедский университет, Сегед, Венгрия

Аннотация. Основываясь на широком фактическом материале, авторы реконструируют картину взаимодействия кочевых и оседлых народов на территории нынешней Венгрии. Детально рассмотрена история кунов (куманов), сыгравших значительную роль в исторических событиях средневековой Восточной Европы.
Ключевые слова: кочевники, куны, венгры.

I. Печенеги и венгры (мадьяры)[1]

В VIII в. древнейшее известное нам место расположения печенегов, вероятно, находилось к западу от Джунгарии. Из этого региона они переселились в окрестности реки Урала. Об этой новой населённой территории нас информируют мусульманские и византийские источники. Первое вооружённое столкновение между печенегами и находящимися в стадии возникновения племенным союзом мадьяр связывают с фрагментом императора Константина VII (Багрянородного) о нападении печенегов (под этнонимом кангар) на мадьяр (под этнонимом саварты асфали). Вследствие этой атаки племенной союз мадьяр разделился на две части, одна часть перекочевала на запад, в страну Этелкёз, а другая часть поселилась к востоку «в краях Персии» [DAI, 1991, с. 159-161]. Поскольку это столкновение было «первой войной» между печенегами и мадьярами, то оно обычно датируется около 850 г. и связано с появлением этнической группы *севорди* армянских источников, но раньше в исторической литературе это событие связывали с годом 889 хроники монаха Регинона Прюмского. Но возникла и такая гипотеза, по которой борьба с кангарами произошла в том раннем периоде, когда кангары ещё слились с печенегами. В этом случае война между кангарами и савартами была датирована около 750 г., но по другому мнению, это событие произошло в VI-VII вв. Итак, пока в нашем распоряжении не появятся новые данные, определение хронологии и территории не имеет твёрдой основы.

В конце IX в. произошли значительные преобразования в соотношении сил тюркоязычных племён (карлуки, огузы, кимаки, печенеги), обитавших в казахской степи, обусловленные, вероятно, походом саманидского эмира Исмаила на западный центр карлуков, Талас. Из-за нападения огузов большинство печенегов пустилось в дорогу в западном направлении, переправилось через Волгу и напало на населённую мадьярами территорию к северу от Чёрного моря. Во время атаки печенегов армия мадьяр находилась в состоянии войны с дунайскими болгарами, таким образом, мадьярский племенной союз был вынужден оставить свою территорию и переселился в Карпатскую котловину около 895 г. То есть нападение печенегов привело к занятию Карпатской котловины мадьярами, о котором свидетельствуют независимо друг от друга византийские, латинские и мусульманские источники. По мнению венгерского историка Дьёрдя Дьёрффи, в венгерской исторической традиции также сохранилась память нападения печенегов на мадьяр, в форме народной этимологии. В венгерских латиноязычных источниках XI в. встречается этноним *Bessi* как название печенегов, и этот этноним созвучен с древневенгерским словом *bese* «хищная птица». Соответствующая латинская форма этого слова имеется и в хронике XIV в. По сведению этого источника, эти хищные птицы напали на мадьяр и съели их скот и лошадей, так мадьяры вынуждены были найти новую территорию [Györffy, 1990, с. 108].

Печенеги, заняв территорию мадьяр к северу от Чёрного моря, расположились по племенам. По сведениям византийского императора Константина VII, печенежское племя

[1] Письменные источники о печенегах, обитавших в Венгрии, были собраны Дьёрдем Дьёрффи в диссертации: Besenyők és magyarok (Печенеги и венгры), в обработанной форме работа была опубликована в 1990 г.: [Györffy, 1990, с. 94-191].

Языкапан (Yazïqapan) обитало на Нижнем Дунае, в Валахии, а племя Кавуксин Юла (Qaßuqšïn Yula) на территории нынешней Молдавии, в соседстве с мадьярами. Кроме того, император пишет и о том, что византийский посол клирик Гавриил посетил мадьяр в Карпатском бассейне когда-то в первых десятилетиях X в. и уговаривал их вернуться на старую родину, которая была занята печенегами, но мадьяры отклонили византийское предложение [DAI, 1991, с. 157, 45]. В сочинении ал-Масуди сохранился фрагмент о событиях 934 г. В этом году разгорелась война между печенегами и мадьярами из-за торговли, но они сразу же заключили мир, когда в союзе с печенегами успешно вели войну против византийцев на Балканах. Печенежско-мадьярские отношения упорядочились, и сын мадьярского князя Золты /Zolta/ (907–947) Такшонь (Taksony) женился на женщине из «Кумании», то есть, по всей вероятности, из страны печенегов. По словам венгерского Анонима, при Такшоне (955–970) в Венгрию переселился печенежский князь Тонузоба (Tonuzoba). По средневековой исторической традиции, он был предком рода Томай (Tomaj) и владел территорией недалеко от пристани Абад (Abád) (ныне Абадсалок /Abádszalók/, область Хевеш /Heves/) [Györffy, 1990, с. 109]. В 970 г. киевский князь Святослав (945–972) вместе с печенегами и мадьярами напал на Балканы [Moravcsik, 1984, с. 86-87]. Таким образом, печенежско-мадьярские отношения были мирные и союзнические в течение X в.

У нас есть сведения о том, что при короле Иштване /István/ (Стефане) I (Святом) (997–1038) в 1014-1017 гг. печенеги вторглись в Венгрию, скорее всего, в связи с венгеро-польским конфликтом, то есть печенеги, которые были, вероятно, союзниками русского князя на стороне поляков, участвовали в этом вторжении. На охлаждение печенежско-венгерских отношений указывает и тот факт, что король Иштван I приказал ослепить своего родственника, князя Вазула (Vazul), исключив его таким образом из престолонаследия, и после 1031 г. сыновья Вазула, Андраш (András) и Бела (Béla) бежали из Венгрии во Владимирско-Волынское княжество, а оттуда к печенегам (в хроникальном своде к «куманам») [Györffy, 1990, с. 110-112].

В 1032-1036 гг. печенеги вторглись в Болгарию, которая в это время была под контролем Византии. В 1036 г. киевский князь Ярослав Мудрый одержал победу над печенегами, потом огузы (торки) вытеснили их с востока на запад. Один из печенежских князей, Кеген (Kegen) вместе с частью печенегов просил византийцев пустить их в империю, потом, около 1048 г. их другой князь Тырек (Tirek) со своим народом тоже был вынужден приютиться на территории Византийской империи. Часть печенегов, оттеснённая из южнорусской степи, переселилась в Венгрию, а другая, большая часть перекочевала на Балканы [Spinei, 2009, с. 107-112].

Имея в виду этот факт, Дьёрффи анализировал отрывок краткой легенды короля Иштвана, в котором идёт речь о том, что 60 знатных печенегов бежали из Болгарии в Венгрию на повозках, нагружённых золотом и серебром, но подверглись ограблению, и король Иштван восстановил справедливость. По мнению Дьёрффи, это событие, скорее, нужно датировать временем короля Андраша I (1046–1060). По венгерским источникам, в 1068 г. половцы вторглись в Венгрию через перевал Месеш (Meszes), но потерпели поражение. Дьёрффи считал, что эти «половцы» на самом деле были печенеги, но по другим мнениям, это были узы (uz) (огузы).[2] В 1071 г. печенеги, жившие около Нандорфехервара (Nándorfehérvár) (ныне Белград в Сербии), вторглись в область Серемшег (Szerémség), но войска короля победили их, и часть печенегов захватили в плен. В XII в. ещё одна группа печенегов переселилась в Венгрию, в это время, при короле Иштване II (1116–1131) нашли приют те печенеги, которые были побеждены византийским императором в битве при Берое (Beroé) в 1123 г. и бежали с Балкан [Györffy, 1990, с. 113, 115-117, 119].

Письменные источники свидетельствуют о печенегах/бешеньё (besenyő), которые расселялись в Венгрии в связи с разными военными действиями. Они вводились в бой в передовой линии королевской армии, как и другие подданные союзники. Так, когда

[2] См. главы «Венгры и узы (огузы)».

немецкий император Генрих (Henrik) III в 1051 г. начал поход против Венгерского королевства, печенеги нападали на немецкую армию ночными атаками, и немцы носили большие потери от ядовитых стрел. В 1074 г. печенежский князь Золтан (Zoltán) предложил венгерскому королю Гезе (Géza) I (1074–1076) отразить нападение бывшего венгерского короля Шаламона (Salamon) (1063–1074), исходящее из крепостей Мошон (Moson) и Пожонь (Pozsony). Венгерские источники информируют нас о том, что в XII в. бешеньё служили венгерскому королю. Например, когда в 1116 г. король Иштван II (1116–1131) схватился с чешским князем на берегу реки Олшава (Olšava), в венгерской армии воевали печенежское лучники, точно так же, как в 1146 г., когда король Геза II (1141–1162) вёл поход против баварского князя, на передовой линии и на этот раз воевали бешеньё (печенеги) и секлеры (székely) [Györffy, 1990, c. 113-114, 119-120].

Архивные данные и топонимы, связанные с бешеньё (besenyő), расселёнными в разных регионах Венгрии, были собраны Дьёрдем Дьёрффи. Он нашёл и определил 190 населённых пунктов, где обитали бешеньё. По этим топонимам и топонимам, связанным с племенными названиями бешеньё, а также по нарративным источникам возможно реконструировать группы их территорий. Самая большая группа находилась в Задунавье, возле реки Шарвиз (Sárvíz).[3] Можно обрисовать другие группы вблизи западной границы: около озера Фертё (Fertő), в низовьях реки Раба (Rába), на острове Дуная в Чаллокёзе (Csallóköz) и к северу от него. Но были плотно населённые бешеньё регионы и в среднем течении Тисы, в основном в области Хевеш (Heves), в регионе речной системы Кёрёша (Kőrös) (Кришул), а также к югу от реки Марош (Maros). В Трансильвании мы имеем довольно спорадичные данные о поселениях. О переселении бешеньё в эти регионы имеются сведения, но их точная локализация сомнительна. Бешеньё, переселившиеся в Венгрию в разных волнах, не составляли единую группу, а обитали рассеянно. Только одной самой большой их группе, обитавшей в регионе реки Шарвиз, удалось сформировать самостоятельный *ишпаншаг* (жупанство) при Анжуйской династии [Györffy, 1990, c. 123-169].

В X в. печенеги могли переселиться и в связи с династическими браками. В середине XI в. большая часть печенегов переселилась с причерноморских кочевий на Балканы из-за восточного натиска. Венгерское королевство смогло отвести угрозу массового вторжения печенегов в Карпатский бассейн, поэтому переселились только небольшие группы, но переселились печенеги и с Балканского полуострова. Их следы сохранились в венгерских латиноязычных нарративных источниках, в топонимах и собственных именах.

II. Узы (огузы) и мадьяры

Огузы, которые раньше входили в состав Тюркского каганата, в IX-X вв. уже составляли сильный племенной союз (племенную конфедерацию). Та часть, которая укочевала на юг, приняла ислам, а другая часть, переселившаяся на запад от Волги, сохранила свои традиционное верования. Эта часть огузов упоминается в византийских источниках под названием Οὐζοι, в древнерусских летописях *торки*, в мусульманских источниках *гузз* и *туркмен*, а в венгерской историографии *уз*(*ы*) (uz). Ни одного из упомянутых здесь этнонимов не встречается в средневековых венгерских латиноязычных источниках, эти сочинения также молчат о переселении больших групп огузов в Венгрию. Вопреки этому, в историографии два похода против Венгерского королевства XI в. было связано с узами, то есть под этнонимом 'Cuni', 'Cunus' нарративных источников в двух случаях надо подразумевать «узы». Более того, считается, что этноним венгерских хроник «чёрные куманы»[4] тоже тождествен узам, и они связаны с чёрными клобуками древнерусских летописей [Kossányi, 1924, c. 534-535].

---

[3] Об истории поселений в регионе Шарвиза в эпоху династии Арпадов и о реконструкции территории бешеньё см. [Hatházi, 1996; Hatházi, 2004].

[4] Nigrorum Comanorum (Pl. gen.) (Gesta Hungarorum – Kézai) [SRH, I, c. 148], Nigrum Cumanorum (Pl. gen.) (Képes Krónika) [SRH, I, c. 257].

Один из двух выше упомянутых походов произошел в 1068 г. под командованием князя Ошула. В этом году кочевники перешли через трансильванский перевал Месеш (Meszes) и произвели грабительские набеги, доходили до крепости Бихар (Bihar), а потом около Керлеша (Kerlés) (ныне Хыралеш / Chiraleş в Румынии) король Шаламон (1063–1074) и князья Геза и Ласло победили их. В Иллюстрированной хронике имеется этноним «куны» (Cuni) [SRH, I, c. 366-369][5], но в Пожоньской летописи (Bissenorum) [SRH, I, c. 126][6] и в «Деяниях венгров» Шимона Кезаи встречаются «печенеги» (Bessi) [SRH, I, c. 182].[7] Венгерский историк Дьюла Паулер уже в XIX в. указал на то, что куманы/куны в это время еще не достигали территории Венгерского королевства, но он считал, что наступающие кочевники были печенеги [Pauler, 1899, c. 115-116, 432-433]. Бела Кошшани был первым, кто, опираясь на византийские источники и ПВЛ, пришёл к выводу, что в 1068 г. кочевники, потерпевшие поражение около Керлеша, тождественны узам. Он считал, что в 1060-1070 гг. печенеги располагались у Нижнего Дуная, а куманы (половцы) в это время кочевали между восточной границей Руси и Днепром. Он локализовал узов на запад от Руси до границы Византийской империи. По мнению Кошшани, поскольку территория Молдовы находилась во владении узов, а кочевники, упомянутые в Иллюстрированной хронике, проходят под этнонимом «куны», а не «печенеги», кочевников керлешской битвы следует отождествлять с узами [Kossányi, 1924, c. 530-534].

Следующий поход, который, вероятно, тоже связан с узами, датируется 1085 г. По данным подробнейшего источника – Иллюстрированной хроники, бывший король Венгрии, Шаламон, освободившись из тюрьмы, перебежал к князю «кунов» Кутешку (Kutesk) и хотел добиться его поддержки. В обмен на поддержку узов король предложил жениться на дочери Кутешка и уступить Трансильванию узам. Затем он напал на Венгрию вместе с «множеством кунов». Они вторглись, опустошая страну вплоть до комитатов Унг (Ung) и Боршова (Borsova), но были разбиты королем Св. Ласло (1077–1095). Шаламон с «кунами» напал на Византийскую империю, но там тоже потерпел поражение [SRH, I, c. 408-409]. Этому предшествовало, что Шаламон освободился из заточения в Вишеграде (Visegrád) 20 августа 1083 г., сначала обратился за помощью к императору Генриху IV, но, поскольку тот ему отказал, он выбрал Кутешка.[8] В 1085 г. союзники Шаламона атаковали Венгрию с северо-восточного направления, как и в 1068 г. Поражение Шаламона и их союзников в Византийской империи подтверждается и «Алексиадой» Анны Комнины. В описании этого похода встречаются архаические этнонимы: скифы, савроматы (во главе с Тзелгу/Cselgü/) и даки (во главе с Шаламоном). Они напали на Византийскую империю [AK VII. i. 1].[9] Даки –

[5] Этот источник является самым подробным из трёх.

[6] В Пожоньской летописи события 1068 г. находятся под годом 1071, а события 1071 г. под 1068, то есть она неточная.

[7] Кезаи соединил три разных источника. Первый из них – т.н. «Большое житие» короля Св. Иштвана, и легенда Иштвана, написанная епископом Хартвиком (оба 11 в.). По этим источникам во время короля Иштвана печенеги (Bessi) напали на Венгрию [SRH, II, c. 389, 423]. Вторым источником Шимона Кезаи была легенда короля Св. Ласло, написанная около 1192 г. В ней упоминаются тоже печенеги (Bisseni [SRH, II, c. 520]). А в третьем источнике, предположительно в древнейшем своде «Деяния венгров» (текст которого сохранился в Иллюстрированной хронике) встречаются куны, которые боролись с королем Ласло. Можно полагать, что автор легенды Св. Ласло под влиянием легенд короля Св. Иштвана упоминал печенегов и связал их со сведениями древнейшего хроникального свода о битве около Керлеша.

[8] По мнению Матьяша Дьони [Gyóni, 1944, c. 86], Кутешк был главой племени узов, проживавший в Молдавии или Валахии. Он хотел переселиться в Трансильванию, поэтому поддерживал Шаламона.

[9] Этот поход против Византийской империи датируется 1087 г. [Reinsch, 1996, c. 234]. Дёрффи [Györffy, 1990, c. 186] считал, что Кутешк венгерского источника и Тзелгу византийского источника один и тоже самый. Но это не подтверждается ничем.

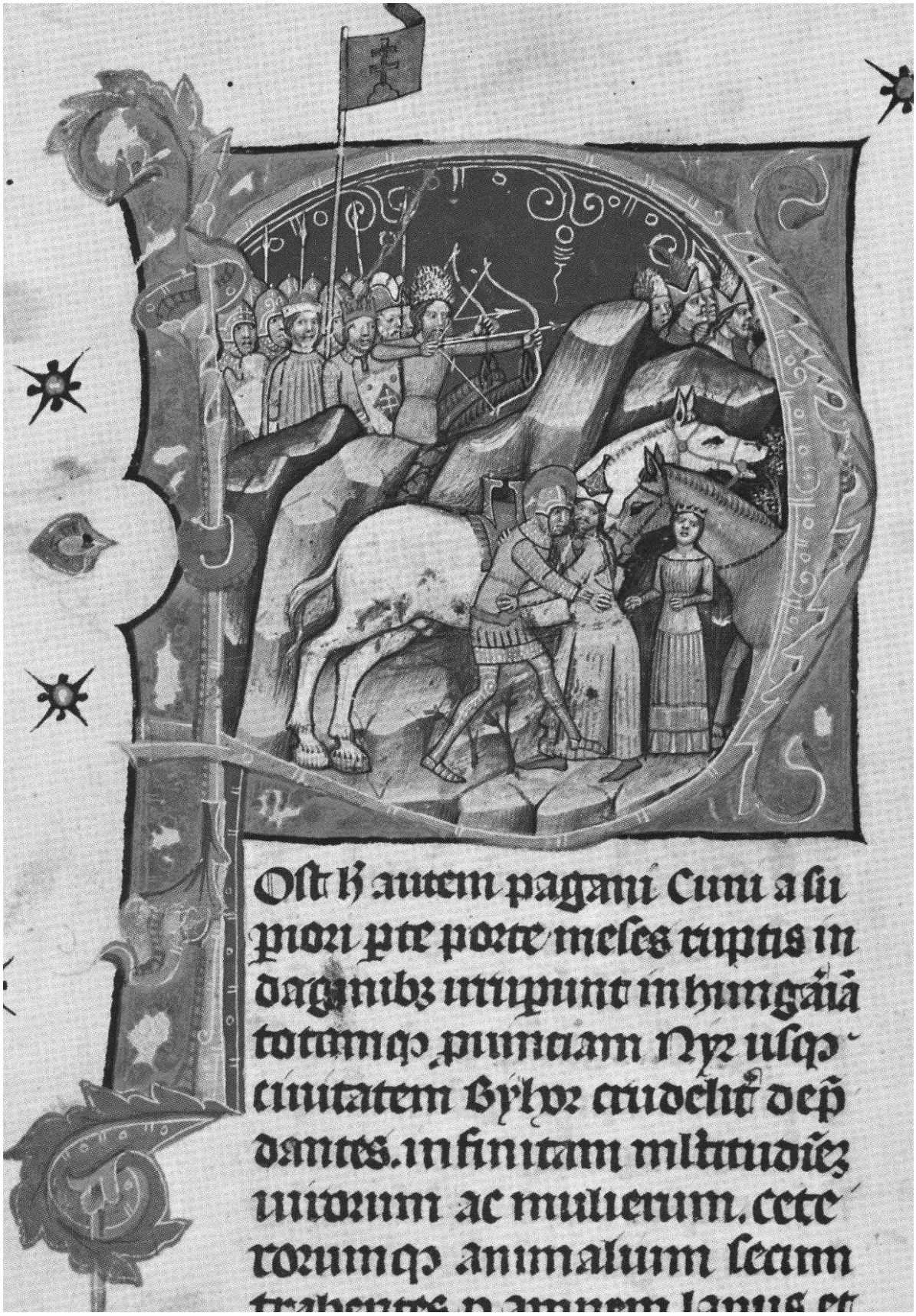


Рис. 1. Бой венгерского князья Ласло (с 1192 г.: Святой) с куманом, похитителем венгерской девушки. Инициал Венгерской иллюстрированной хроники (I. 72).

это венгры, и венгерский историк Матьяш Дьёни доказал, что савроматы, упомянутые Анной Комниной, тождественны узам [Gyóni, 1944, с. 74-80; ByzTurc, II, с. 270]. Таким образом, кочевники, напавшие на Венгрию в 1085 г., по всей вероятности, тоже были узами.

Связи между венграми и узами не ограничиваются этими двумя столкновениями. Остатки узов оседали на королевских землях в пограничной зоне и несли пограничную службу. Географические названия, связанные с узами, подтверждают их присутствие в средневековой Венгрии и Трансильвании (в период династии Арпадов). К таким топонимам относятся, в частности, Озд (Ózd) в Северо-Восточной Венгрии (область Боршод-Абауй-Земплен /Borsod-Abaúj-Zemplén/), Узд (Úzd) в южной части Задунавья (область Толна /Tolna/), Уздисентпетер / Úzdiszentpéter/ (ныне Сынпетру де Кымпие / Sânpetru de Câmpie в Румынии, область Муреш), Узон /Uzon/ (ныне Озун / Ozun в Румынии, область Ковасна). Из географических названий можно отметить ущелье Узи (Úzi) в Восточных Карпатах и ручей Уз (Úz) [Kristó – Makk – Szegfű, 1973, с. 21-22; Rásonyi, 1981, с. 93-94; Rácz, 2011, с. 197-199]. Ещё больше географических названий тюркского происхождения связывал с узами, переселившимися в Венгрию, Ласло Рашони (Чик /Csík/, ущелье Ойтози /Ojtozi/, ручей Барца /Barca/ – все в Румынии) [Rásonyi, 1981, с. 94-105]. В то же время, Лайош Лигети обратил внимание на то, что, если элементы огузского языка вошли в венгерский, то трудно отделять их от других тюркских слов венгерского языка [Ligeti, 1986, с. 537-538].

III. Куны (куманы) и венгры

1. Этноним *кун(kun)*

В современной историографии в связи с этносом, который завоевал восточноевропейские степи в середине XI в. и часть которого переселилась в Карпатский бассейн в XIII в., распространилось название *кун* (*kun*). Этот этнос обычно упоминается в восточных источниках (китайские, монгольские, мусульманские) как *кыпчак* (*qipčaq*) (в разных формах), а в западных источниках как *куман* (*quman*) (византийские и латиноязычные). В связи с древнерусской формой *половцы* нужно отметить, что с этой формой, использованной восточными славянами, связано название этнической группы *палоц* (palóc) в Венгрии, в регионе гор Матра (Mátra). Но само название появилось только в XVII в., и связь между венгерскими палоцами и восточноевропейскими половцами является спорной. Единство этнонимов кыпчак-куман-половец подтверждается и древнерусскими летописями (*Кумани рекше Половци*) [PSRL (ПСРЛ), I, с. 234] и сочинением Рубрука (*Comani*, *qui dicuntur Capchat*, *a Teutonicis vero dicuntur Valani*) [Sin.Fran, I, с. 194].

В венгерских источниках XI в. этноним *кун* (*Cunus*/*Cuni*) является общим названием кочевников восточных степей. Этноним *кунус* (*Cunus*) сохранялся в средневековых источниках в связи со следующими этносами: в 1068 г. печенеги или узы; в 1085 г. тоже печенеги или узы; в 1091 г. куны; в 1099 г. печенеги и куны. Так как предки этноса кун/куман/кыпчак, переселившегося в Карпатский бассейн в XIII в., дошли до Нижнего Дуная только в последней трети XI в., этноним *куман* может связываться с ними только с этого времени, но и после этого он не всегда обозначает именно их (например, куны, переселившиеся в Венгрию при короле Иштване II, на самом деле были печенеги). В венгерских латиноязычных источниках на смену этнониму кунус (*Cunus*) с начала XIII в. пришел куманус (*Cumanus*), который соответствует формам западноевропейских латиноязычных источников. В сочинении венгерского Анонима встречается форма куманы (*Cumani*).

Позже в венгерском языке этноним *кун* однозначно стал обозначать тюркоязычных кочевников, которые переселились в Венгрию в XIII в. Им пользуются в этой смысле до наших дней. Самоназванием кочевников-мигрантов, вероятно, было *куманам*, и это название сохранилось в топонимах, в личных именах и в венгерском слове *комондор* (*komondor*) «овчарка могучего телосложения». Слово состоит из двух элементов, *куман* и *дур*, и в венгерском языке оригинальная форма *кумандур эб (kumandur eb)* «куманская собака»

укоротилась на *кумандур* (> *комондор*) [Rásonyi, 1931, c. 316; Róna-Tas – Berta, 2013, c. 559-560]. Куманы после освоения венгерского языка ещё в состоянии двуязычия стали называть самих себя кунами.

Многие считают, что этнонимы *кун* и *куман* имеют общую этимологию, но другие исследователи отвергают эту гипотезу. По одному толкованию, слово *куман* состоит из двух элементов: *кун* (*qun*) и *ман* (*man*), как этноним «туркмен». Другой версией этой интерпретации является то, что первый член словосложения *ку* (*qu*) значит «палевый, бесцветный, восковой», и к этому присоединяется *-ман*. Андраш Рона-Таш и Арпад Берта, следуя интерпретации Дьюлы Немета, реконструировали пратюркское слово **куба* (**quba*) как «палевый, бесцветный», из которого, вероятно, сформировались два варианта в древнетюркском, *куба* (*kuba*) и *кова* (*kowa*). В соединении слова *куба* и суффикса коллективности *-н* сформировалось слово *кубан*, которое превратилось в форму *куман* под влиянием носового звука. А форма *кун,* вероятно, образовалась следующим путём: *кова* + *н* > *кован* > *кун* (*kūn*) или *кува* + *н* > *кун* (*kūn*). Во всяком случае, по мнению Рона-Таша и Берты, этноним *кун* в венгерском является заимствованием из хазарского или болгаро-тюркских языков. В то же время Дьёрдь Дьёрффи интерпретировал происхождение венгерского слова *кун* иначе. Он опирался на прежнюю теорию Немета, по которой этноним *кун* произошел из этнонима *хун*/*гун*. Рона-Таш отвергает эту этимологию на лингвистической основе [Róna-Tas – Berta, 2013, c. 605-611].

Взаимосвязь между этнонимами *куман* и *кун* осложняет ещё тот факт, что этноним *кун* упоминается в нескольких мусульманских источниках первой половины XI в. в восточной части евразийского степного пояса. Связи между вышеупомянутыми этнонимами до сих пор не выяснены.[10]

2. Кунский язык

Язык кунов входит в кыпчакскую группу тюркских языков. О языке кунов, живущих с середины XIII в. в Венгрии в компактных зонах, свидетельствуют записанные позднее короткие тексты, личные имена, топонимы и заимствованные слова в венгерском языке.

Иштван Мандоки Конгур реконструировал текст так называемого кунского «Отче наш». Первый вариант был записан в 1744 г., и после этого текст был переписан в 80 случаях. Мандоки пользовался 63 текстами для реконструкции:

Biziŋ atamïz kim-siŋ kökte
Sentlensin seniŋ adïŋ
Düššün seniŋ köŋlüŋ
Nečik kim jerde alay kökte
Biziŋ ekmegimizni ber bizge büt-bütün künde
Ilt biziŋ minimizni
Nečik kim biz de iyermiz bizge ötrü kelgenge
Iltme bizni ol jamanga
Qutqar bizni ol jamannan
Sen barsïŋ bu küčli bu čïn iygi teŋri amen
[Mándoky Kongur, 2012, c. 138; 2015, 181].

Отче наш, сущий на небесах!
Да святится имя Твоё (да придёт Царство Твоё);
Да будет воля Твоя и на земле, как на небе;
Хлеб наш насущный дай нам на сей день;
И прости нам долги наши,

[10] Об археологическом материале венгерских кунов, с экскурсом об этногенезе и археологическом материале восточноевропейских половцев: [Pálóczi-Horváth, 1994].

Как и мы прощаем должникам нашим;
И не введи нас в искушение,
Но избавь нас от лукавого.
Ибо Твоё есть Царство и сила и слава во веки. Аминь.

Мандоки определил, что текст возник, вероятно, в XVI в. в эпоху реформации и является переводом кальвинистской молитвы, так как в тексте встречается порядок слов венгерского типа и корень слова венгерского происхождения. Подлинность письменного памятника кунского языка не подлежит сомнению [Mándoky Kongur, 2012, с. 113-138, 2015, 156-159]. Мандоки Конгур еще успешно реконструировал считалку кунского языка на основе вариантов XX в. [Mándoky Kongur, 2012, с. 139-155; 2015, 183-201].

Большая часть так называемого «среднего слоя» тюркских заимствований венгерского языка происходит из кунского. В эту группу входят и заимствованные слова венгерского и диалектные слова регионов Кишкуншаг и Надькуншаг (Kiskunság, Nagykunság). Мандоки Конгур уделил ним несколько статей, а в труде Рона-Таша и Берты перечислено 35 достоверных и 2 сомнительных слов кунского происхождения [Mándoky Kongur, 1993, с. 93-129].[11]

Имре Башки суммировал результаты исследования кунских личных имён. Он же опубликовал список имён, в котором встречается 234 этимологий названий племенных, личных имён и названий местностей [Baski, 2007, с. 235-290].

3. Куны и венгры в XI-XII вв.

В 1091 г. на Венгерское королевство снова напал народ, называемый кунами (*Cunus*) [SRH, I, с. 412-414]. Сравнивая венгерские источники с византийскими,[12] можно с уверенностью утверждать, что куны, вернувшиеся из Византийской империи, совершили набег на венгерскую территорию и два раза потерпели поражение от войска короля Св. Ласло I (1077–1095).

Почему только в это время можно считать, что они действительно были куны? На основе ПВЛ ясно, что кочевники, называемые половцами, первый раз появились на южной границе Руси в 1054/1055 гг. Их дальнейшее продвижение тоже обосновано источниками: к 1071 г. они уже бесспорно находились к западу от Днепра, в 1078 г. совершили набег на Балканы вместе с печенегами, в 1085 или 1087 гг. могли быть союзниками короля Шаламона, но более вероятно, что эти союзники во главе с князем Кутешком были узы, обитающие на территории Молдавии и Валахии. В эти годы настоящая территория кунов, вероятно, находилась к востоку от Днестра.

Летом 1091 г. на Венгерское королевство нападали два раза [SRH, I, с. 412-414]. Первый из этих набегов, направленный на восточную часть страны, то есть на Трансильванию и междуречье Дуная и Тисы, произошёл под командованием некого куна Копулча (*Cunis nomine Copulch*). После лебунийской битвы (1091 г.) войско кунов, возвращаясь из Византийской империи [Kovács, 2014; Pálóczi Horváth, 1994, с. 31; Васильевский, 1908, с. 106], по словам Иллюстрированной хроники, вторглось в Венгрию, опустошая Трансильванию вплоть до комитата Бихар [SRH, I, с. 412]. Нападение, вероятно, настигло Трансильванию с юга[13] или юго-запада [Pauler, 1899², с. 448]. По сведениям хроники, куны

[11] Список „кунских” слов: [Róna-Tas – Berta, 2013, с. 1340-1342].

[12] По свидетельству Анны Комнины и других авторов, император Алексий Комнин I (1081–1118) одержал победу над печенегами в лебунийской битве с помошью кунов (куманов).

[13] Исследователи считают, что маршрут первого нападения проходил через перевал Ойтози [Bóna, 1988³, с. 232; Györffy, 1987², с. 936]. Клады с монетами короля Ласло Святого и императора Алексия I, найденные около г. Торды (Torda), с. Мадьярфраты (Magyarfráta) и Бихарсентандраша (Biharszentandrás), показывают направление похода Копулча [Bóna, 1988³, с. 232]. Но сами клады не доказывают, что куны перешли через ущелье Ойтози, потому что если они перешли через ущелье Вёрёшторонь (Vöröstorony), по долине реки Олт или через ущелье Тёрчвари (Tölcsvári) в Южных Карпатах, то они так же могли коснуться вышеупомянутых поселений.

после Бихара переплыли Тису около Токая (Tokaj), а потом войско разделилось на три части, совершая набеги на территории, которые находились на запад от Тисы. Около Бече /Becse/ (ныне Бечей в Сербии) они решили вернуться на родину. Недалеко от этого места, около притока реки Темеш (Temes), на берегу ручья Поганиш /Poganis/ (ныне Poganiş в Румынии), король Ласло I победил кунов Копулча.[14] По данным хроники, куны хотели отомстить венграм за поражение и ещё раз напали на Венгрию. Но этот новый поход тоже закончился поражением около Дуная, и князь кунов Акош (Ákos) был убит самим венгерским королем.[15]

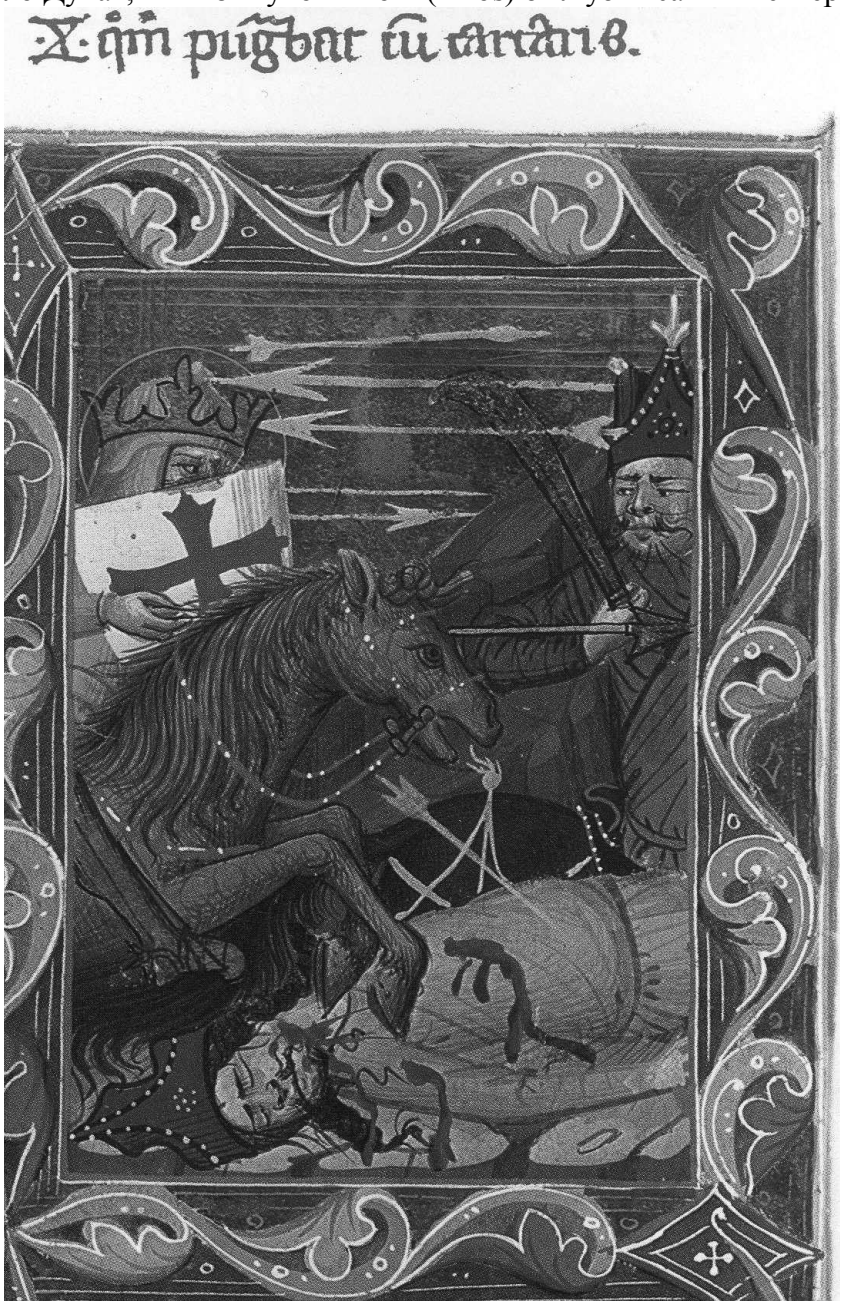


Рис. 2. Бой князя Ласло с куманами. (Magyar Anjou Legendárium, XLIV/10).

[14] Король Ласло I (Святой) вернулся со своей армией из Хорватии; по мнению некоторых исследователей, он прошел около 735-750 км [Doberdói Breit, 1929, с. 15-16].
[15] [SRH, I, с. 412-414].

Рис. 3. Бой князья Ласло с куманом, похитителем девушки. Цветная гравюра на дереве. (Хроника Туроци. Ioannes de Thwrocz: Chronica Hungarorum. Augsburg 1488. Аугсбургское издание, с. 2a).

В исторической литературе в вопросах причин и датировки двух походов мнения расходятся.[16] Мы считаем, что оба похода кунов произошли летом 1091 г. Первое нашествие, вероятно, было связано с возвращением на родину из Византии после лебунийской битвы, и

[16] Обзор мнений см. [Kovács, 2014].

оно было, возможно, самостоятельным набегом. Причиной второго похода могло явиться стремление к мести за поражение. Итак, можно считать, что два похода кунов против Венгерского королевства были случайными набегами.

В XI в. куны (половцы) ещё раз схватились с венграми. В этом походе войско короля Коломана /Kálmán/ (1095–1116) потерпело поражение от кунов Алтунопы и Боняка на Руси. О битве около Перемышля (ныне Przemyśl, Польша) в 1099 г. сохранились сведения венгерских и древнерусских источников. Из них выявляется, что и венгры, и куны участвовали в междоусобных боях русских князей. Венгерский король воевал на стороне великого князя киевского Святополка (1093–1113), а куны поддерживали владимирского князя Давида (1085–1086, 1086–1099, 1099–1100) [PVL (ПВЛ), с. 179, 381-382]. На самом деле, по обоим источникам куны победили и обратили в бегство армию короля Калмана.[17]

Половцы и венгры могли сталкиваться на Руси в XII в., когда вмешивались в междоусобицы русских князей. В венгерских источниках такие столкновения не упоминаются, кроме одного случая. Это было при короле Гезе /Géza/ II (1141–1162), когда венгеро-русские контакты стали интенсивными. Великий князь Изяслав Мстиславич (1146–1154) шесть раз получал помощь от своего зятя, венгерского короля во время борьбы с русскими князьями в 1148-1152 гг. [Font, 2005, с. 166-167]. Половцы поддерживали соперников Изяслава. В венгерской хроникальной компиляции сохранился только один короткий отрывок: король Геза начал войну против галицкого князя, Владимирко Володаревича (1141–1153) (в хронике: Lodomerius), чтобы отомстить ему за своего шурина, князя Изяслава (в хронике: Minosloy). Геза раньше уже посылал войска оказывать помощь великому князю, но они потерпели поражение от половцев (в хронике: Cuni) [SRH, I, с. 460]. Этот поход можно определить по данным русских летописей. В этот период было всего шесть походов из Венгрии: 1. ранняя весна 1148 г., 2. рождество 1149 г., 3. осень 1150 г., 4. февраль-март 1151 г., 5. июнь/лето 1151 г., 6. первая половина 1152 г. [Font, 2005, с. 167-175]. Из шести походов речь идет, вероятно, об июне 1151 г. Автор летописи пишет о том, что сын великого князя пил вместе с венграми-союзниками около Сапогини, а потом пьяные венгры не смогли удержать наступление войска галицкого князя Владимира и потерпели поражение [PSRL (ПСРЛ), II, с. 441-442]. Хотя в источнике нет речи о том, что венгров победили половцы, но Владимир был союзником князя Юрия Долгорукого, которого половцы поддерживали в борьбе за Киев в течение сего времени. С другой стороны, из шести походов венгры потерпели поражение только в этом. После этого венгры вторглись на Русь ещё один раз, в 1152 г., под руководством самого короля [PSRL (ПСРЛ), II, с. 441]. Итак, в XII в. между половцами и венграми имеется только косвенная связь, то есть обе стороны участвовали в междоусобных войнах русских князей.

4. Куны и венгры в первой половине XIII в.

Участие половцев и венгров в войнах русских князей продолжалось и в XIII в. Венгры вступали в эти конфликты не только в качестве простых союзников князей, а с целью получить власть над галицкими князьями. Кроме того, в XIII в. в результате стремления короля Андраша /András/ II (1205–1235) по венгерской инициативе началось проповедование христианства среди половцев. В силу этого монахи-доминиканцы при поддержке венгерского короля начали обращать половцев восточноевропейских степей. Наконец, в конце века двумя волнами половцы переселились в Венгрию.

В XIII в. одним из мест действия политической активности короля Андраша была Русь, на которую венгры совершили несколько походов в целях овладения Галицким княжеством. Из этих походов следует обращать внимание только на один: первый галицкий поход венгров в XIII в. В древнерусском описании этого события в первый раз появляется половецкий князь Котян (Kötöny), который стал хорошо известным в венгерской истории.

[17] О битве см. [Font, 2005, с. 143-147; Hodinka, 1913, Kovács, 2013].

Осеню 1205 г.[18] Котян вместе с братом Сомогуром воевал с венграми. Наверно, это был первый контакт между ними и венграми [PSRL (ПСРЛ), II, с. 717-718].

Начало XIII в. – один из наиболее интенсивных периодов распространения западного христианства в истории средневековья. Венгерское королевство тоже включилось в борьбу против язычества и ереси, вероятно, по политическим интересам и под действием миссионерских идей эпохи. В эти годы произошёл крестовый поход во главе венгерского короля на Святую землю, и было основано четыре новых епископства на территории Венгрии или по соседству с ней для крещения населения, живущего в этих регионах, которое считали язычниками или еретиками.[19] Снова начинались нападения кунов, которые обитали по соседству с Венгерским королевством. В этом, по-видимому, сыграло роль второе Болгарское царство (1187–1396), которое, ввиду того, что оно отчасти образовалось при поддержке кунов, само хотело подчинить соседних кочевников.

Король Андраш для защиты юго-восточных границ Венгерского королевства от кунских набегов сначала поселил Тевтонский орден (1211 г.). В историографии господствует мнение, что в регионе Барцашаг (Barcaság) перед тевтонцами было две задачи: с одной стороны, защищать юго-восточные границы, а с другой стороны, проповедовать христианство среди кунов. Но по грамотам и на основе деятельности ордена в Прибалтике создается впечатление, что они занимались только пограничной охраной [Kovács, 2004, с. 139-150], хотя нельзя исключить, что они обеспечивали военное сопровождение для миссионеров, а позже монахов-доминиканцев, выезжающих в страну половцев. Возможно, на это указывает то, что венгерские доминиканцы (которые поселились в Венгрии в 1221 г.), в ходе первой миссии на земли половцев за пределы Карпат в 1223-1224 гг. хотя и не достигли успехов, но никто из них не умер смертью мученика. Доминиканцы не оставляли своих планов, и во второй раз отправились в путь, чтобы обратить половцев. На этот раз уже без сопровождения тевтонцев, потому что орден был изгнан из Венгрии королем Андрашем в 1225 г. Тогда доминиканцы отправились в Поднестровье. Их деятельность продолжалась несколько лет до тех пор, пока они не достигли результатов, и на этот раз некоторые из них приняли мученичество. По одной папской грамоте, которая была оформлена 30 июля 1227 г., выясняется, что сын некого князя (*princeps*) по имени Борца (Borc) во главе депутации доминиканцев и кунов обратился к эстергомскому (Esztergom) архиепископу с просьбой крестить его и сопровождающих лиц из язычников, а потом его отца [Hurmuzaki, 1887, I/1, с. 102]. Услыхав об этом, архиепископ в сопровождении многих епископов и престолонаследника князя Белы (Béla) отправились в путь, чтобы крестить половецкого князя [Hurmuzaki, 1887, I/1, с. 108]. Присутствие князя Белы при принятии христианства половецкого князя указывает на то, что Борц не только крестился, но и, вероятно, предложил покориться венгерскому королю. Может быть, половцы хотели найти нового союзника, потому что они недавно потерпели поражение от монголов в битве на Калке в 1223 г. А что касается наследника венгерского престола, то не исключается, что он выехал в Куманию с епископами для создания контроля светской власти [Makkai, 1988³, с. 306]. По сведениям источников, было крещено множество половцев вместе с семьёй половецкого князя, и они дали вассальную клятву. Возможно, это подтверждается письмом папы Григория IX в 1229 г., в котором идёт речь о том, что грамота короля Андраша II о свободе и защите половцев была снабжена золотой буллой [Hurmuzaki, 1887 I/1, с. 112-113]. Вследствие принятия христианства было организовано кунское епископство с целью продолжения миссионерской деятельности, создания христианской организации для новокрещеных половцев, и по политическим мотивам – для охраны границы. Из источников выясняется и радиус активности епископства: западной границей, вероятно, были хребты Восточных Карпат, но

[18] Событие описано под годом 6710, то есть 1202, но на самом деле его можно датировать 1205 г. [Font, 2005, с. 189-195]. О Котяне см. [Polgár, 1999].

[19] Кроме миссионерского епископства кунов, также были серемское, боснийское и нандорфехерварское (szerémi, boszniai, nándorfehérvári) епископства.

территория к западу от реки Олт (банство Сёрень /Szörény/) не входила в его состав. По сочинению современника – Рогерия, границей на востоке была река Серет [SRH, II, с. 564; Rogerij, 2012, с. 31].[20] На юге территория епископства соприкасалась с Болгарским царством, а на севере она достигала территории русского епископства, организованного в 1233 г. [Richard, 1977, с. 25].[21]

Надо отметить, что, по всей вероятности, из половцев-христиан вышли члены эскорта князя Белы, которые участвовали в галицком походе 1230 г.[22] Под влиянием половецкой миссии в 1233 г. венгерский король принял титул «король Кумании» (*Rex Cumaniae*).[23]

Название центра епископства, которое просуществовало на практике лишь 14-15 лет, встречается в трёх грамотах, оформленных после монгольского нашествия (1279, 1332, 1347 гг.). Не ясно, однако, где находилось Милко (*Civitas Mylko, episcopatus in Milcovia*). Его локализацию затрудняет то, что источники домонгольского периода не упоминают город Милко (Milkó) или название другого центра.[24] Но резиденция епископа не могла быть далеко от границы Трансильвании, чтобы было легко поддерживать связь с Венгерским королевством и церковью.

Молодое епископство не было долговечным. Часть половцев во главе с князем Котяном переселилась в Венгрию (в 1239 г.),[25] спасаясь от монгольского нашествия, начавшегося 1236 г. Они подчинились венгерскому королю и, более того, половцы обещали обратиться в христианство. Не исключается, что в сближении Котяна и короля Белы IV (1235–1270) сыграли какую-то роль доминиканцы. На это указывает, что члены посольства венгерского короля, посланного к Котяну, которые передали решение короля о приюте в Венгрии, включали и доминиканцев [SRH, II, с. 553-554; Rogerij, 2012, с. 18-19].

Переселение половцев весьма устраивало венгерского короля, причем с различных точек зрения. С одной стороны, таким образом он сам мог участвовать в распространении христианства (в том числе он был крестным отцом Котяна), а с другой стороны, он мог опираться на половцев (кунов) в борьбе против «внутренней» оппозиции, и, кроме того, государство могло использовать кунов для защиты против монголов. Исследователи пытались определить численность переселенцев, возглавляемых Котяном, на основе сведений Рогерия (*preter ipsorum familias*, *circa quadraginta milia dicebantur*). Но общеизвестно, что цифры средневековых авторов часто не точные, к тому же число 40 000 в связи с кунами в сочинении Рогерия упоминается подозрительно часто (в 1091 г. 40 тысяч кунов воевало в Византийской империи, и в начале XII в. половцы переселились в Грузию в таком же количестве). Таким образом, мы не можем определить количество мигрантов, но знаем, что сначала они заселились в единственном контингенте, а затем в Кёмоношторе (Kőmonostor) было принято решение о расселении кочевников.[26] Венгерские крестьяне отнеслись к кунам враждебно, а позже, когда передовые отряды монголов вторглись в Венгрию, многие считали, что куны будут соединятся с ними, потому что они втайне являются частями монгольской армии. Весной 1241 г. князь Котян был убит венграми, а куны уехали из страны и переселились на Балканы. Так король Бела IV как раз накануне монгольского наступления потерял своих союзников.

---

[20] Существует мнение, что восточные границы епископства совпадали с территорией, на которой половцы кочевали [Richard, 1977, с. 25].

[21] Монахи-доминиканцы проповедовали и в Руси, на это указывает отрывок в сочинении Длугоша, по которому киевский великий князь Владимир Рюрикович в 1233 г. изгнал доминиканцев из Киева. Римский папа поддерживал монахов и в 1232 или 1233 г. назначил епископа [Fonnesberg-Schmidt, 2007, с. 223].

[22] Поход, в летописи под годом 1229 [PSRL/ПСРЛ, II, с. 754-762], был датирован годом позже (1230), об аргументах этого датирования см. [Font, 1991, с. 131; Senga, 1988, с. 38].

[23] По грамоте: *Bela dei gratie primogenitus Regis Hungariae… Bulgariae Comanieque* [Hurmuzaki, 1887, I/1, с. 127]. Однако, подлинность грамоты сомнительна [Jakó, 1997, I, с. 177].

[24] О разных гипотезах локализации епископства см. [Kovács, 2005; Spinei, 2008, с. 413-456].

[25] О миграции Котяна и его половцев см. [Balogh, 2001; Polgár, 2005].

[26] „*Et sic ipsi postea sine offensione cuiusquam cum suis tentoriis filtreis, iumentis, pecoribus terram vacaum Hungarie peragrabant*" [SRH, II, с. 557; Rogerij, 2012, с. 22-23].

5. Оседание кунов в Венгерском королевстве[27]

Из-за катастрофических последствий монгольского нашествия король Бела IV разработал новый план для защиты страны. В рамках новой концепции он вернул кунов в королевство около 1244-1246 гг. и поселил их на восток от Тисы и в междуречье Дуная и Тисы. Эти регионы были наиболее опустошены монголами. С этого момента король Бела мог распоряжаться военной силой кунов в случае нового наступления монголов. В 1247 г. союз между венграми и кунами был укреплён династическим браком: сын Белы, наследник венгерского королевского престола Иштван женился на дочери куманского князя. По приложению люксембургской рукописи сочинения Плано Карпини, тогда десять половцев (куманов) подтвердил клятвой над трупом разрубленной пополам мечом собаки, что будут защищать венгерскую землю [Gyárfás, II, c. 404]. Хотя в источнике, написанном в 1247 г., идёт речь о браке, но на самом деле в этот момент Иштвану было всего 8 лет, и он женился на кунской девушке, окрещенной Эржебет (Erzsébet), только в 1254 г. Так как в одной грамоте 1255 г. упоминается кунский князь (*dux*) Сейхан (Szejhán), как родственник короля Белы, Дьёрффи отождествил его с отцом Эржебет.

На кунов распространялось коллективное правовое положение уже во время первого переселения, они стояли под защитой короля. Положение не изменилось и после их второго переселения. «Младший король» Иштван (позже король Иштван V) после брака с дочерью кунского князя принял титул «властелин кунов» (*dominus Cumanorum*), который обеспечивал верховное господство над кунами с 1262 по 1270 гг. После его вступления на престол (в 1270 г.) куны снова попали под непосредственное покровительство короля. Это положение изменилось только в той мере, что с 1270 г. до нового времени, с короткими перерывами, второй сан королевского двора, наместник короля (надор) носил титул судьи кунов [Berend, 2001, c. 87-88]. Знать и средний слой кунов были обязаны нести военную службу в случае войны, а в обмен на это они получили коллективное право на свободу.

В XIII-XIV вв. общество кунов было родовым. В законе 1279 г. о кунах упоминается семь родов, но это были группы-остатки, которые оторвались от половецких родов южнорусских степей. Не исключается, что эти роды, живущие в Венгрии, были искусственно созданы. Из семи родов мы знаем по имени только шесть (1266: *Borchol* / Borcsol / Борчол, 1315: *Koor* / Kór / Кор, 1328: *Olaas* / Olás / Олаш, 1343: *Ilunchuck* / Iloncsuk / Илончук, 1347: *Chertan* / Csertán /Чертан, 1371: *Kuncheg* / Köncsög / Кёнчёг [Gyárfás, III, c. 56, 508, 48, 482, 72].[28]

Куны, переселившиеся во второй раз, упоминаются впервые в 1246 г., когда они участвовали в походе венгерского короля против австрийского герцога Фридриха II. Хотя в битве у реки Лайта 15 июня 1246 г. венгры были побеждены, но Фридриху, сыгравшему важную роль в убийстве Котяна, кунская стрела нанесла смертельную рану. В 1250, 1252, 1253 и 1260 гг. куны регулярно участвовали в походах против Австрии, Моравии, Каринтии и Штирии. Эта борьба шла между Белой IV и чешским королем Оттокаром за господство над Австрией и Штирией. Наконец, в 1260 г. армия Белы потерпела поражение и была вынуждена сдать территории. В 1260 г. в первый раз появляется новый князь кунов, Алпра (Alpra). Его имя упоминается также в законе о кунах 1279 г. Наследник Иштван или, скорее, его окружение не довольствовались обладанием Трансильвании и постепенно расширяли границы своих владений до Дуная. В 1262 г. Иштван принял титул «младшего короля» и «властелина кунов». В этом году родился сын Иштвана и Эржебет по имени Ласло (László).

---

[27] Общие труды об истории кунов в Венгрии: [Gyárfás, II, c. 277-389], сборник источников: 391-462; [Golubovskij, 1889; Györffy, 1990a, c. 274-304; Pálóczi Horváth, 1989a, c. 52-61, 68-119; Pálóczi Horváth, 1996, c. 23-34; Selmeczi, 2011]. История Венгерского королевства (вторая половина XIII в.): [Szűcs, 1993].

[28] О роде Илончука и Кёнчёга нет уверенности, старые ли это названия родов или они сформировались позже от личных имён и являлись названиями ветвей [Györffy, 1990a, c. 276]. О родах, поселениях и общественной организации кунов: [Györffy, 1990a, c. 274-304; Pálóczi, Horváth, 1974].

Вследствие междоусобной борьбы отношения между отцом (Бела IV) и сыном («младший король» Иштван) испортились. Ситуация привела к войне, в которой куны перешли на сторону короля Белы. После победы Иштвана около Ишасега /Isaszeg/ (1265 г.) стороны заключили мир на острове Маргариты /Margit/ (ныне в Будапеште), отец и сын пришли к соглашению друг с другом и разделили страну на две части. Границей между ними стал Дунай. Кроме того, они дали обещание друг другу, что не будут переманивать к себе приверженцев другой стороны (так, старый король не будет привлекать к себе кунов).

После смерти короля Белы IV (1270 г.) и вступления на престол Иштвана, сторонники Белы бежали к чешскому королю Оттокару. Таким образом, чешско-венгерские отношения снова ухудшились. В 1270 г. куны вторглись в Австрию, потом в 1271 г. Оттокар напал на Венгрию, но около реки Рабца (Rábca) венгры – в частности, при помощи кунов – подстроили ему ловушку и выбили его из страны. Король Иштван V скоро умер (1272 г.), и его сын (ребёнок от брака Иштвана и Эржебет) был коронован в возрасте 10 лет.

Вельможи и магнаты страны воспользовались несовершеннолетием короля для расширения своей власти. Разные группы магнатов вели жестокую борьбу друг с другом за приобретение влияния над королем. Параллельно с этим во внешней политике произошли события, которые обеспечивали значительную роль для короля Ласло IV и для кунов. В 1273 г. на германском имперском соборе германским королем был избран Рудольф Габсбург, а не Оттокар. В борьбе между сторонами венгерский король поддерживал Рудольфа. Куны участвовали в походах 1273 и 1276 гг. и позже, в решающей битве около Дюрнкрута (Dürnkrut) на реке Морава (1278 г.). Венгерский король, объявленный к тому времени совершеннолетним, вёл войска кунов на поддержку Рудольфа и против Оттокара. Куны решили битву, в которой пал и сам Оттокар. Эта победа, одержанная с помощью кунов, обосновала восточное господство Габсбургов.

Во внутренней политике в 1277 г. открылась возможность для консолидации королевской власти. Этот процесс был расстроен прибытием папского легата. Его приоритетом было крещение кунов, а не прекращение самоуправства вельмож и их деятельности, направленной на нарушение единства королевства [Szűcs, 2002, с. 419].

Вследствие обострения «кунского вопроса» перед королем (кунского происхождения по женской линии) стояла дилемма: или будучи христианским королем он вступит в союз с кунами против страны и церкви, или предпочтёт пренебречь возможностью создания сильной королевской власти, станет послушным орудием папы и церкви. В 1279 г. папский легат вместе с королевским советом разработали план, который был письменно закреплён в королевской грамоте. По этому приказу всех кунов обязывали креститься, оставить кочевнические юрты, поселиться в селах, следовать образу жизни и обычаям христианского населения. Кроме того, они должны прекратить акты насилия, убийства христиан, и вернуть незаконно занятые церковные и светские владения. Предводители кунов, Ушук (Usuk) и Толон (Tolon) от имени кунов признали эти распоряжения обязательными для себя. На государственном собрании 1279 г. в Тетене (Tétény) рассматривали дело в присутствии кунских вождей Алпара (Alpar) и Узура (Uzur), и стороны пошли на компромисс по сравнению с предыдущим документом. Кунам разрешили растить бороду и волосы по своим традициям, носить традиционную одежду, и они были обязаны вернуть только тех христианских пленных, которых взяли в плен в Венгрии, это не относилось к захваченным за границей. С другой стороны, свободные куны по своему правовому положению находились под юрисдикцией венгерского короля и имели одинаковую свободу с венгерской знатью, в частности, несли военную службу в армии короля поголовно. Эта грамота от 10 августа 1279 г. является единственным и фактическим законом о кунах, но она сохранилась только в копии XVIII в., и некоторые историки сомневаются в её подлинности, считая аутентичным только предварительный план документа, датированный 23 июня 1279 г. [Szűcs, 2002, с. 420-423].

Применение закона вызвало напряжения, потому что распоряжения, навязанные папским легатом, наносили удар по одной из важнейших опор короля, кунам. А ведь Ласло IV,

опираясь на них, мог бы парализовать власть групп вельмож (магнатов), поэтому не удивительно, что король откладывал исполнение закона. Из-за этого папский легат отлучил его от церкви. Тогда король дал обещание исполнять закон, но бежал к кунам. С этого времени Ласло начал следовать кунским обычаям. У него была кунская любовница по имени Эдуа (Édua). Ласло передал папского легата кунам, после этого магнаты схватили короля. Ласло IV был вынужден снова согласиться на исполнение закона, но этот шаг вызвал бунт кунов, обитавших между реками Кёрёш (Körös) и Нижним Дунаем. Они разграбили территорию и хотели покинуть Венгрию, но король успел воспрепятствовать им в их намерении [Györffy, 1990a, c. 285; Szűcs, 2002, c. 428]. Однако прежнее спокойствие не вернулось, и в 1280 г. король снова был вынужден взяться за оружие против кунов и нанёс им тяжёлый удар в битве при озере Ходто (Hódtó) [SRH, I, c. 471-472]. Вследствие этого куны ушли из междуречья Кёрёша (Körös) и Мароша (Maros) и бассейна реки Темеш (Temes).

Рис. 4. Смерть (убийство) венгерского короля Ласло IV („Кун”). Миниатюра в инициале „P” Венгерской иллюстрированной хроники (Képes Krónika I. 129).

В целях создания сильной королевской власти король следовал обычаям кунов (поэтому он получил прозвище «Кунский»). Таким образом, он вступил на путь, заведомо обреченный на неудачу: попробовал вырвать власть из системы христианских координат. Об этом свидетельствует появление кунской личной охраны короля (нёгеры, *neugarii*) [Németh, 1953,

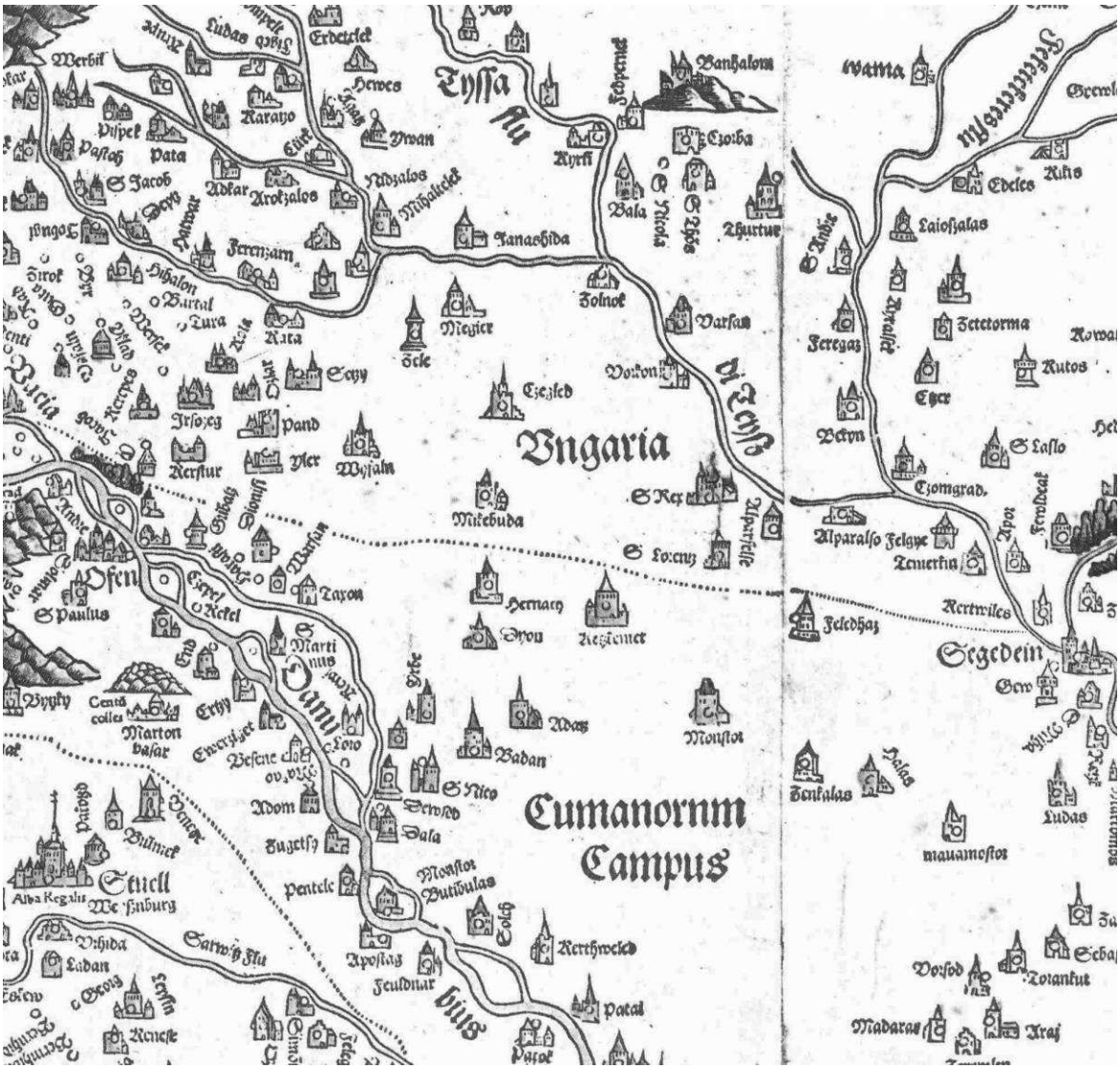
с. 1-23], которая была характерна для кочевнических обществ. Но попытка обратиться к кочевническим традициям была обречена на провал. Наконец, в 1290 г. Ласло был убит кунскими вельможами (Арбуз, Тёртел и Кемече / Arbuz, Törtel, Kemecse), не исключено, что при поддержке венгерской знати (рис. 4).[29]

Рис. 5. Знатные в костюме «восточного» типа – военачальники лейбгвардии или вспомогательных отрядодв короля по левую сторону от сидящего на троне короля Лайоша I (Великого). Первая миниатюра титульной страницы Венгерской иллюстрированной хроники (деталь) (Képes Krónika I.1).

Куны, которые оставались в Венгрии, из-за кунского закона попали в невыгодное экономическое положение по сравнению с предыдущим периодом. Они были вынуждены отпустить венгерских пленных, прекратились походы на западные страны, поэтому они не могли восполнить потери путём захвата добычи. Король Андраш III (1290–1301) пытался поправить положение кунов, распорядившись, чтобы дворяне, в том числе и средний слой

[29] Сборник источников о жизни и правлении короля Ласло IV с вводной статьей был опубликован Дьюлой Кришто: *Kun László emlékezete*.

кунов (по закону 1279 г. они стали равными с венгерскими дворянами) были обязаны поступать на военную службу только за счёт короля. То есть куны получали жалование, если участвовали в походах короля. Это некоторым образом компенсировало недостающую добычу (плату за пленных) [Györffy, 1990a, c. 286-288]. Так в войнах королей Кароя Роберта/Károly Róbert (Карл Роберт / Шаробер) (1301–1342) и Лайоша/Lajos (Людовика) Великого (1342–1380) куны участвовали в качестве наёмников. Церковь тоже стремилась некоторое время угождать кунам. Для того, чтобы крестить как можно больше из кунов, в 1328 г. римский папа освободил их от десятины. В 1351 г. их обязали платить только тридцатую долю (вид пошлины).


Tyssa flu
Vngaria
Cumanornm
Campus
Ofen
Segedin
Stuell
Vdom
Pentele
Monaſter
Butibulas
Mikebuda
Mezier
Czegled
Varſan
Tolnok
Banhalom
Czoiba
Bala
Thurtue
Tanaſchida
Ferenczarm
Laioſalas
Jeregaz
Rutos
Eger
Czomgrad.
Alparalſo
Feldhaz
Kertwiles
Monaſtor
Ludas
Madaras
Araj
Kerthwelcd
Patal
Feuldmur
Aposlag
Dala
Badan
Hermacy
Dyou
Taxon
Paſtag
Pata
Werbil
Erdeticlek
Narayo
Dwan
Ryrki
Adkar
Arokzalos
Nadzalos
Mihalecke
Ferenczarm
Bartal
Tura
Arta
Scepy
Irſoscz
Pand
Wyſalin
Kerſtur
Ozora
Ozmo
Ozmo
Ozmo

(*dominus*, *comes capitaneus*) и вместо них появился новый титул: капитан саллаша (szállás ’поселения’) или капитан сека (szék ’кунской административной единицы’), первое упоминание о котором сохранилось в документе 1388 г. [Gyárfás, III, c. 509; Györffy, 1990a, c. 299-304]. Территория кунских родов превратилась в секи,[30] обладавшие административной и правовой автономией, и они не входивших в систему королевских комитатов. Во главе каждого сека стоял капитан, дань королю платили через сек. На территории рода Чертан сначала сформировался сек Чортьян (Csortyán-szék, 1418 г.), а потом сек Халаш (Halas-szék, 1451 г.). На территории рода Кор (Kór) образовался сек Сентельт (Szentelt-szék). На территории рода Олаш (Olás) сформировался сек Колбаз (Kolbaz-szék, 1440 г.). Что касается административных единиц Кечкемет (Kecskemét), Кара (Kara), Миже (Mizse) и Хантош (Hantos) (последний в регионе Мезёфёльд /Mezőföld/ в Задунавье), то увязка между родами и территориями является проблематичной [Pálóczi Horváth A.: kun nemzetségek. In: KMTL, c. 383; Pálóczi Horváth: kun székek In: KMTL, c. 385].

Переход от кочевого образа жизни к оседлому представлял собой длительный процесс. Вопреки тому, что доминиканцы и францисканцы продолжали крестить кунов, даже в XIV в. часто бывало, что куны принимали новую веру без сопротивления, но это не влияло на их образ жизни. В это время их значительная часть еще не осела окончательно, но уже начиналось формирование комплексного хозяйства на родовых территориях. На это указывают и поселение крепостных и бегство (миграция) слуг на соседние феодальные имения венгерских владельцев. По свидетельству папского документа 1399 г., куны, ясы и татары не имели городов и земельных владений. Они кочевали с юртами, семьями, скотом по всей Венгрии [Gyárfás, III, c. 532]. Но это всё более отходило на второй план, и куны постепенно приспосабливались к новой среде. Старейшины родов стали помещиками, а их семьи наследственными дворянами. Средние и нижние слои кунского общества были закрепощены. Куны постепенно перенимали христианскую религию, венгерские обычаи, например, присвоения имени, общественную систему и структуру поселений, одежду и народные традиции,[31] и, наконец, переняли венгерский язык. Ассимиляция кунов прошла настолько успешно, что в XIV-XV вв. Алфёльд (Alföld) (Венгерская низменность) стал одним из наиболее быстро развивающихся регионов Венгрии, и сельская жилищно-бытовая культура также была наиболее развита здесь.

Процесс ассимиляции кунов закончился в XV-XVI вв. Позже, в XVI-XVII вв., вследствие османского завоевания кунские области в междуречье Дуная и Тисы были опустошены, но области на восток от Тисы ещё процветали в течение века. Именно этим фактом объясняется, что во время османского ига территория на восток от Тисы называлась Надькуншагом (Nagykunság 'Великий Куншаг'), а на запад от Тисы, опустошенная часть называлась Кишкуншагом (Kiskunság 'Малый Куншаг') (округа г. Кечкемета /Kecskemét/ и г. Кишкунхалаша /Kiskunhalas/) [Pálóczi Horváth András: Kunság. In.: KMTL, c. 385].

Литература

1. Baski 2007 = Baski Imre: Csagircsa. Török és magyar névtani tanulmányok 1981-2006. Karcag 2007.
2. Balogh 2001 = Balogh László: Mikor költözött Kötöny kun fejedelem Magyarországra? (When did Kuthen the Cuman prince proceed to Hungary?) Acta Universitatis Szegediensis Acta Historica 113 (2001), 53-61.
3. Berend 2001 = Berend, Nora: At the Gate of Christendom, Jews, Muslims and ‘Pagans’ in Medieval Hungary c. 1000 – c. 1300. Cambridge 2001.

[30] Об образовании кунских секов, их системе и функционировании см. [Györffy, 1990a, c. 274-304; Hatházi, 2004; Hatházi, 2006, c. 111-146].

[31] О погребальных обрядах и костюме в археологическом материале венгерских кунов см. [Hatházi, 2005; Selmeczi, 2011].

4. Berta – Róna-Tas 2001 = Berta, Árpád – Róna-Tas, András: West Old Turkic. Turkic Loanwords in Hungarian. With the assistance of László, Károly. I-II. Turcologica 84. Wiesbaden 2001.
5. Bóna 1988³ = Bóna István: Daciától Erdőelvéig. A népvándorlás kora Erdélyben (271-896). In: Erdély története a kezdetektől 1606-ig. I. Szerk. Makkai L. – Mócsy A. Budapest 1988, 107-234.
6. ByzTurc = Moravcsik, Gyula: Byzantinoturcica II. Sprachreste der Türkvölker in den byzantinischen Quellen. Leiden 1983².
7. DAI 1991 = Константин Багрянородный. Об управлении империей / Ред. Г.Г. Литаврин, А.П. Новосельцев. Москва, 1991².
8. Doberdói Breit 1929 = Doberdói Breit József: A hódító hadjáratok és a keleti háborúk időszaka (1077- 1235-ig). In: A magyar nemzet hadtörténelme IV. rész. Budapest 1929.
9. Fonnesberg-Schmidt 2007 = Fonnesberg-Schmidt, Iben.: The Popes and the Baltic Crusades 1147-1254. Leiden 2007.
10. Font 1991 = Font Márta: II. András orosz politikája és hadjáratai (Политика Андраша II-ого в отношении России и его походы). Századok 125/1-2 (1991), 107-144.
11. Font 2005 = Font Márta: Árpád-házi királyok és Rurikida fejedelmek. Szegedi Középkortörténeti Könyvtár 21. Szeged 2005.
12. Golubovskij 1889 = Голубовский, Петр.: Половцы в Венгрии. Киев 1889.
13. Göckenjan 1972 = Göckenjan, Hansgerd: Hilfsvölker und Grenzwächter im mittelalterlichen Ungarn. Wiesbaden 1972.
14. Gyárfás 1870-1885 = Gyárfás István: A jász-kúnok története I-IV. I. köt.: Kecskemét 1870; II. köt.: Kecskemét 1873; III. köt.: Szolnok 1883; IV. köt.: Budapest 1885.
15. Gyóni 1944 = Gyóni Mátyás: Zur Frage der rumänischen Staatsbildungen im XI. Jahrhundert in Paristrion (Archaisierende Volksnamen und ethnische Wirklichkeit in der „Alexias“ von Anna Komnene). Budapest 1944.
16. Györffy 1987² = Györffy György: A magyar állam megszilárdulása. In: Magyarország története. Előzmények és magyar történet 1242-ig. I/2. Főszerk. Székely Gy. Szerk. Bartha A. Budapest 1987, 893-1006.
17. Györffy 1990 = Györffy György: Besenyők és magyarok. In: Györffy 1990, 94-191.
18. Györffy 1990a = Györffy György: A magyarországi kun társadalom a 13-14. században (A kunok feudalizálódása). In: Györffy 1990, 274-304.
19. Györffy 1990 = Györffy György: A magyarság keleti elemei. Budapest 1990.
20. Hatházi 1996 = Hatházi Gábor: Besenyők és kunok a Mezőföldön. In: Zúduló sasok. Új honfoglalók — besenyők, kunok, jászok — a középkori Alföldön és Mezőföldön. Szerk. Havassy P. Gyulai Katalógusok 2. Gyula 1996, 37-56.
21. Hatházi 2004 = Hatházi Gábor: A kunok régészeti emlékei a Kelet-Dunántúlon (Die archäologischen Funde der Kumanen in Ost-Transdanubien). Opuscula Hungarica V. Budapest 2004.
22. Hatházi 2005 = Hatházi Gábor: Sírok, kincsek, rejtélyek. Híres középkori régészeti lelőhelyek Kiskunhalas környékén (Berühmte mittelalterliche archäologische Schatzfunde in der Nähe von Kiskunhalas. Famous Medieval Archeological Finds Around Kiskunhalas). Halasi Albumok 7. Kiskunhalas 2005.
23. Hatházi 2006 = Hatházi Gábor: A kun és jász székközpontok kérdéséhez. In: Testis temporum, vita memoriae. Ünnepi tanulmányok Pálóczi Horváth András 65. születésnapjára. Studia Caroliensia 7/3-4 (2006), 111-146.
24. Hodinka 1913 = Hodinka Antal: Kálmán királyunk 1099-i peremyśli csatája. Hadtörténelmi Közlemények (1913), 322-346, 524-544.
25. Horváth 2001 = Horváth Ferenc: A csengelei kunok ura és népe. Budapest 2001.
26. Hurmuzaki 1887 = Hurmuzaki, Eudoxiu: Documente privitóre la istoria Românilor I/1-2. Bucureşti 1887.

27. Jakó 1997 = Jakó Zsigmond: Erdélyi okmánytár. Oklevelek, levelek és más írásos emlékek Erdély történetéhez. I. 1023-1300. Budapest 1997.
28. KMTL = Korai magyar történeti lexikon (9-14. század). Főszerk. Kristó Gyula Budapest 1994.
29. Keller 2001 = Keller László: Qïpčaq, kuman, kun. Megjegyzések a polvecek önelnevezéséhez. In: Nomád népvándorlások, magyar honfoglalás. Szerk. Felföldi Sz. – Sinkovics B. Magyar Őstörténeti Könyvtár 15. Budapest 2001, 138-147.
30. Kossányi 1924 = Kossányi Béla: Az úzok és kománok történetéhez a XI-XII. században. Századok 58 (1924), 519-537.
31. Kovács 2004 = Kovács Szilvia: A Német Lovagrend és a kunok közötti fegyveres hódítás és térítés. In: Fegyveres nomádok, nomád fegyverek. III. Steppetörténeti Konferencia Szeged, 2002. szeptember 9-10. Szerk. Balogh L. – Keller L. Magyar Őstörténeti Könyvtár 21. Budapest 2004, 139-150.
32. Kovács 2005 = Ковач, Сильвия: Экспансия западного христианства: миссия доминиканцев среди половцев (куманов). Бюллетень (Newsletter). 12. Hungaro – Russica II. История и культура евразийской степи.. 2-й Сборник статей российских и венгерских востоковедов. Москва 2005, 52-73.
33. Kovács 2013 = Kovács Szilvia: A peremisli csata (1099). In: Keller L. (szerk.) Ábrándjaink kora: X. Nemzetközi Vámbéry Konferencia. Dunaszerdahely 2013, 104-117.
34. Kovács 2014 = Kovács, Szilvia: The Cuman Campaigns in 1091. Golden Horde Review (in print).
35. Kun László emlékezete. Szerk. Kristó Gyula. Szeged 1994.
36. Ligeti 1986 = Ligeti Lajos: A magyar nyelv török kapcsolatai a honfoglalás előtt és az Árpád-korban. Budapest 1986.
37. Kristó – Makk – Szegfű 1973 = Kristó Gyula – Makk Ferenc – Szegfű László: Adatok "korai" helyneveink ismeretéhez (Данные к знанию „ранних" венгерских географических названий. Données à la connaissance des toponymes hongrois „anciens") I. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae. Acta Historica 44. Szeged 1973.
38. Makkai 1936 = Makkai László: A milkói (kun) püspökség és népei. Debrecen 1936.
39. Mándoki Kongur 1993 = Mándoki Kongur István: A kun nyelv magyarországi emlékei. Karcag 1993.
40. Mándoki Kongur 2012 = Mándoki Kongur István: Kunok és magyarok. Budapest 2012.
41. Mándoky Kongur 2015 = Mándoky Kongur, István: Newcomers from the East. Hungarians and Kipchak-Turks in Europe. Ed. Molnár, Ádám. Budapest 2015.
42. Moravcsik 1984 = Moravcsik Gyula: Az Árpád-kori magyar történet bizánci forrásai. Budapest 1984.
43. Németh 1953 = Németh, Julius [Gyula]: Wanderungen des mongolischen Wortes nökür 'Genosse'. Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae 3 (1953), 1-23.
44. PSRL = Полное собрание русских летописей. Лаврентьевская летопись. Издательство Академии Наук СССР. Ленинград 1926.
45. PVL = Повесть Временных Лет. 1. Текст и перевод: Лихачев, Д. С. – Романов, Б. А., ред: Адрианова-Перетц, В. П. Москва – Ленинград 1950.
46. Pálóczi Horváth 1974 = Pálóczi Horváth András: A kunok megtelepedése Magyarországon. Archaeologiai Értesítő 101 (1974), 244-259.
47. Pálóczi Horváth 1989a = Pálóczi Horváth, András: Pechenegs, Cumans, Iasians. Steppe peoples in medieval Hungary. Budapest 1989.
48. Pálóczi Horváth 1994 = Pálóczi Horváth A.: Hagyományok, kapcsolatok és hatások a kunok régészeti kultúrájában. Keleti Örökségünk 2. Karcag 1994.
49. Pálóczi Horváth 1996 = Pálóczi Horváth András: Nomád népek a kelet-európai steppén és a középkori Magyarországon. In: Zúduló sasok. Új honfoglalók — besenyők, kunok, jászok

— a középkori Alföldön és a Mezőföldön. Kiállítási katalógus. Szerk. Havassy P. Gyulai Katalógusok 2. Gyula 1996, 7-36.
50. Pauler 1899 = Pauler Gyula: A magyar nemzet története az Árpádházi királyok alatt. I. Budapest 1899².
51. Polgár 1999 = Polgár Szabolcs: Kötöny, kun fejedelem. In: Tanulmányok a középkori magyar történelemről. Az I. Medievisztikai PhD-konferencia (Szeged, 1999. július 2.) előadásai. Szerk. Homonnai S. – Piti F. – Tóth I. Szegedi Középkorász Műhely. Szeged 1999, 91-102.
52. Polgár 2005 = Полгар, Саболч: Последние годы половецкого князя Котяна (заметки к биографии). Бюллетень (Newsletter). 12 Hungaro-Russica II. История и культура Евразийской степи. 2-й Сборник статей российских и венгерских востоковедов. Отв. ред. Д. Д Васильев. Москва 2005, 74-85.
53. Rácz 2011 = Rácz Anita: Adatok a népnévvel alakult régi településnevek történetéhez. A Magyar Névarchívum Kiadványai 19. Debrecen 2011.
54. Rásonyi 1931 = Rásonyi László: "A honfoglaló magyarság kialakulásá"-hoz. Magyar Nyelv 27 (1931), 314-316.
55. Rásonyi 1981 = Rásonyi László: Hidak a Dunán. A régi török népek a Dunánál. Budapest 1981.
56. Reinsch 1996 = Alexias. Anna Komnene. Übersetzt, eingeleitet und mit Anmerkungen versehen von Dieter Roderich Reinsch. Cologne 1996.
57. Richard 1977 = Richard, Jean: La papauté et les missions d'orient au Moyen Age (XIIIe-XVe siècles). Roma 1977.
58. Rogerij 2012 = Магистр Рогерий: Горестная песень о разорении Венгерского королевства татарами. Пер., вступ., комм.: А. С. Досаев. Санкт-Петербург 2012.
59. Selmeczi 2011 = Selmeczi László: Kötöny népe Magyarországon. Karcag 2011.
60. Senga 1988 = Senga Toru: Béla királyfi bolgár, halicsi és osztrák hadjárataihoz (К военным походам королевича Белы в Болгарию, Галицию и Австрию). Századok 122 (1988), 36-51.
61. Sin.Fran. = Sinica Franciscana. I. Itinera et relationes Fratrum Minorum saeculi XIII et XIV. Collegit, ad fidem codicum redegit et adnotavit Anastasius van den Wyngaert. Quarrachi-Firenze 1914.
62. Spinei 2008 = Spinei, Victor: The Cuman Bishopric. Genesis and Evolution. In: The other Europe in the Middle Ages. Avars, Bulgars, Khazars and Cumans. Ed. by Curta, F. with the assistance of Kovalev, R. East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450-1450. Vol 2. Leiden – Boston 2008, 413-456.
63. Spinei 2009 = Spinei, Victor: The Romanians and the Turkic Nomads North of the Danube Delta from the Tenth to the Mid-Thirteenth Century. Leiden – Boston 2009.
64. SRH I-II. = Scriptores Rerum Hungaricarum tempore ducum regumque stirpis Arpadianae gestarum. Edendo operi praefuit Emericus Szentpétery. Vol. I-II. Budapestini 1937-1938. Reprint kiadás: Az utószót és a bibliográfiát összeállította, valamint a Függelékben közölt írásokat az 1. Kiadás anyagához illesztette és gondozta Szovák Kornél és Veszprémy László Budapest 1999.
65. Szűcs 1993 = Szűcs Jenő: Az utolsó Árpádok. Budapest 1993.
66. Vasil'evskij 1908 = Васильевский, Василий. Г.: Византия и печенеги (1048-1049). In: Труды В.Г. Васильевскаго. Том I. Санкт-Петербург 1908, 1-175.

NOMADS AND HUNGARIANS IN X-XIV CENTURIES

Kovács S., Zimonyi I.
University of Szeged, Szeged, Hungary

Abstract. Based on a wide factual material, the authors reconstruct the picture of interaction of nomadic and settled peoples on the territory of present Hungary. History of the Kuns (Kumans), which played a significant role in the events of medieval Eastern Europe, is considered in detail.
Key words: nomads, Kuns, Hungarians.

РОЛЬ ТЮРКОВ СРЕДНЕЙ АЗИИ В МУСУЛЬМАНСКОМ РЕНЕССАНСЕ

Камолиддин Ш.С.
Институт истории АН РУз, Ташкент, Узбекистан, shamskamol@gmail.com

Аннотация. В правление первых ‘Аббасидов во второй пол. VIII – IX вв. тюрки играли важную роль в политической жизни Арабского халифата. Весь период IX–XII вв. характеризуется господством тюрков в Арабском халифате. Тюрки стояли у руля культурного процесса, который мы теперь называем «исламским ренессансом», более того, они были его движущей силой. До принятия ислама тюрки имели сильную государственность, Тюркский каганат, и высокую культуру, сформировавшуюся в период их господства на огромной территории Евразии. В этом отношении они были предшественниками арабов, так же, как и в процессе культурного возрождения. В Средней Азии процессу «исламского ренессанса» предшествовал аналогичный культурный процесс, протекавший в эпоху Тюркского каганата (VI–VIII вв.), который можно условно назвать «тюркским возрождением». В этот период, который характеризуется бурным развитием градостроительства, архитектуры и искусства, возрождаются многие культурные ценности кушанского времени, которые пришли в упадок и были утрачены в застойный период правления хионитов и эфталитов (IV–V вв.). Имея богатый опыт возрождения и развития культурных традиций, накопленный в эпоху Тюркского каганата, тюрки были инициаторами и активными участниками аналогичного процесса в эпоху Арабского халифата.
Ключевые слова: арабы, Арабский халифат, тюрки, Тюркский каганат, культурное возрождение, симбиоз культур, наука, архитектура, искусство.

Термин «Мусульманский Ренессанс» впервые был введен в научный оборот в одноименной работе А.Меца, который писал о глубоких переменах, произошедших в IX–X в. в культурной жизни мусульманского общества, и о признаках преемственности древней культуры, имевших сходство с аналогичным процессом, происходившим в XIV–XV вв. в Европе [Мец, 1966, с. 230]. Изучение всемирной истории убеждает, что «Эпоха возрождения» характерна для народов, прошедших достаточно длительный период развития своей культуры. Так, в истории Китая она определяется VIII–XII вв., Среднего Востока – Средней Азии, Ирана и северо-западной Индии – IX–XII вв., Запада – XIV–XV вв. [Конрад, 1972, с. 209-244].

Эпоха мусульманского возрождения (IX–XII вв.) характеризуется стремительным взлетом науки и культуры. В Арабском халифате эпоху «мусульманского ренессанса» принято условно делить на два этапа. Первый этап, IX–X вв., отличается бурным развитием различных наук, а второй этап, XI–XII вв., – архитектуры и искусства. Этим двум периодам предшествовала кропотливая работа в области текстологии и источниковедения. Еще при первых праведных халифах в Мадине был составлен критический текст Корана, а при Умайядах проведен критический отбор достоверных хадисов. В результате этих работ в Халифате был накоплен большой опыт критического анализа источников. Затем последовала колоссальная работа по переводу на арабский язык научных трудов и литературных произведений различных народов – Индии, Ирана, Греции, Сирии и др. Все это вместе создало почву для возникновения такого феномена, как «мусульманский ренессанс». В целом, IX–XII вв. – период стремительного взлета науки и культуры народов Востока. Арабы, будучи кочевниками с относительно невысоким уровнем культурного развития, благодаря новой идеологии и хорошей организации смогли использовать культурные достижения завоеванных ими высокоразвитых народов Ближнего и Среднего Востока и сделать их достоянием арабо-мусульманской цивилизации. В результате слияния культурных традиций арабов и персов были созданы великолепные памятники литературы, с которыми не может сравниться ни один из дошедших до нас литературных памятников

доисламского времени ни в Иране, ни в Средней Азии. В исламский период стремительное развитие получили наука, архитектура, искусство. Сасанидский период характеризуется как «период застоя» по сравнению с быстрым развитием науки и прогрессом форм исламской архитектуры и искусства [Бартольд, 1971, с. 250].

Важную роль в процессе мусульманского возрождения играли и тюрки, часть которых изначально вела оседлый образ жизни, занимаясь земледелием и садоводством Камолиддин, 2015]. Именно синтезом арабской, персидской и тюркской культур можно объяснить творческий взлет в эпоху раннего ислама. В период правления первых ‘Аббасидских халифов во второй пол. VIII – IX вв. тюрки играли важную роль в политической жизни Арабского халифата. Тюркские отряды имелись еще в составе армии Абу Муслима, возглавившего движение в пользу ‘Аббасидов в Хорасане. Вскоре после прихода к власти партии ‘Аббасидов тюрки Средней Азии наряду с персами стали занимать ключевые и стратегически важные должности, прежде всего, в столичном Багдаде, а также в других городах и областях центральной части халифата [Kennedy, 2004, с. 261-296; Osman, 1966, с. 12]. Большую часть их составляла тюркская знать из Ферганы, Чача и Уструшаны. Постепенно тюрки захватили всю полноту власти в халифате, убивали неугодных им халифов и назначали на их место своих ставленников [Macoudi, VII, с. 118, 122, 259-268; ас-Сули, с. 56, 159, 161]. Многие тюрки из числа тюркской военной аристократии были крупными собственниками и имели огромные земельные владения, пожалованные им в качестве *икта‘* самими халифами, причем не только в Ираке, но и в Сирии, Египте, Малой Азии и на Кавказе [Ахундова, 2004, с. 258]. Арабские поэты в своих стихах и специальных трудах восхваляли величие и достоинства тюрков [al-Djahiz, с. 17-23].

Одним из ключевых центров науки и культуры в IX–X вв. была Средняя Азия, где правили Саманиды, первая исламская династия местного происхождения. Новейшие исследования показывают, что Саманиды были потомками верховных тюркских каганов [Камолиддин, 2008, с. 39-63]. В XI–XII вв. в Средней Азии правили тюркские династии: Газнавиды и Караханиды, а на Ближнем и Среднем Востоке – Сельджукиды. Таким образом, весь указанный период характеризуется господством тюрков как в городах центральной части Арабского халифата, включая Ирак, Египет, Сирию и Кавказ, так и в восточной его части – Хорасане и Мавераннахре. Обращает на себя внимание одновременность двух процессов – мусульманского ренессанса и тюркского внедрения в систему управления Арабского халифата. Тюрки стояли у руля культурного процесса, который мы теперь называет «мусульманским ренессансом». Более того, они были движущей силой этого процесса. Известно, что кочевым племенам, особенно тюркам, исторически принадлежала катализирующая миссия в развитии цивилизации. Благодаря кочевому образу жизни тюрки обладали широтой мировоззрения, их обществу были присущи черты демократии и коллективизма. С одной стороны, иранские тюрки, имея общую историю с персами и другими народами сасанидского Ирана, были активными сторонниками возрождения сасанидских традиций. С другой стороны, они, вступив в тесный военно-политический и этнокультурный союз с арабами, были проводниками исламской политики и стремились приспособить культурные ценности доисламского времени к новым реалиям.

До принятия ислама тюрки имели сильную государственность – Тюркский каганат, и высокую культуру, сформировавшуюся в период их господства на огромной территории Евразии. В этом отношении они были предшественниками арабов. Если арабы смогли сплотить вокруг себя все арабские племена и завоевать огромную территорию, населенную народами с более высоким уровнем культуры, то тюрки смогли сплотить все тюркоязычные племена и завоевать огромные просторы Евразии. Можно сказать, что и в процессе культурного возрождения тюрки были предшественниками арабов. Процессу «мусульманского ренессанса» в Арабском халифате предшествовал аналогичный культурный процесс, протекавший в эпоху Тюркского каганата (VI–VIII вв.), который можно условно назвать «тюркским возрождением». Ключевую роль в обоих процессах играл

Среднеазиатский регион. В период Тюркского каганата, который характеризуется бурным развитием градостроительства, архитектуры и искусства, возрождаются многие культурные ценности кушанского времени, пришедшие в упадок и утраченные в застойный период правления хионитов и эфталитов (IV–V вв.) [Камолиддин, 2004, с. 354-373; Гюль, 2005, с. 66-89]. Тюрки, большую часть которых составляли кочевники, находясь на относительно невысоком уровне культурного развития, смогли использовать культурные достижения подчиненных им высокоразвитых народов Центральной Азии и сделать их достоянием тюркской цивилизации. В отличие от арабов, у них не было новой идеологии и единой веры, поэтому они были толерантными к другим религиям. В период их правления на всей подвластной им территории не было ни одного антитюркского восстания, не считая межплеменных разногласий. Более того, тюрки пользовались большим авторитетом у подчиненных им народов, в частности, у согдийцев, которые стремились к заключению смешанных браков с ними, что в конечном итоге привело к их ассимиляции среди оседлых и городских тюрков Средней Азии и Восточного Туркестана [Krippes, 1991, с. 67-80; Камолиддин, 2005, с. 93-104].

Арабы (Умаййады), в отличие от тюрков, проводили на завоеванных территориях оккупационную политику великодержавного национал-шовинизма с применением насилия, дискриминации и религиозной нетерпимости. Это вызывало недовольство местного населения, поэтому весь период их правления сопровождался непрерывными восстаниями, что в конечном итоге привело к перевороту и смене власти. Пришедшие к власти при помощи персов и тюрков ‘Аббасиды стали вести совершенно другую политику по отношению к принявшему ислам населению завоеванных стран. В управлении государственными делами наряду с арабами впервые стали принимать участие представители других народов, в первую очередь, персы и тюрки. Именно с началом их правления связано зарождение культурного процесса, который мы называем теперь «мусульманским ренессансом». Главными советниками арабов в этом вопросе были персы и тюрки. Первые имели высокую культуру, но они были консервативными и ортодоксальными. Последние вместе с согдийцами имели не менее высокую культуру, но в отличие от персов, они были толерантными, а самое главное, имели к тому времени большой опыт в возрождении и преумножении культурных достижений династий былых времен. Именно эти их достоинства и качества сыграли решающую роль в формировании новой культурной среды под властью Арабского халифата.

Начальный этап процесса «культурного возрождения», происходившего в VIII–XII вв. в Китае, так же как и в Арабском халифате, происходил в условиях тюркского внедрения в китайское общество [Конрад ,1972, с. 209-214]. Когда в начале VII в. Тюркский каганат был подчинен Китаем, тюрки добровольно или вынужденно стали служить в корпусе охраны китайского императора. В VII–VIII вв. тюрки составляли основу этого корпуса и доминировали в высших эшелонах военной структуры Китая. До сер. XI в. генералами и военными правителями в Китае назначались, в основном, не китайцы, а выходцы из Внутренней Азии [Beckwith, 1984, с. 30-35; Kamalov, 2001, с. 243-253]. Тюрки пользовались у соседних народов высоким авторитетом, что было важно для межъязыковых и межкультурных влияний. В VII в. в Танском Китае, где умели ценить прекрасное и любить далекое, возникла мода на все тюркское – одежду, блюда, домашний реквизит, и особенно музыку, поэзию и танцы [Исмаилова, 1984, с. 180]. Метрика стиха некоторых произведений китайской поэзии танского времени обнаруживает влияние тюркских народных песен. Тюркский язык имел среди китайцев широкое распространение и уже в VII в. в Китае был составлен тюркско-китайский словарь «Tou-kiue-iuy» («Тюркская речь»), доступный серьезным ученым [Шефер, 1981, с. 48]. Отсутствие каких-либо упоминаний о существовании в Китае согдийско-китайского словаря указывает на то, что языком межнационального общения между согдийцами и китайцами был именно тюркский.

Поэтому есть основания полагать, что процесс культурного возрождения, начавшийся в Тюркском каганате, был продолжен сначала в Китае, а затем в Арабском халифате.

Арабы еще на заре ислама были наслышаны о силе и могуществе, достоинствах и качествах тюрков. Поэтому они хотели иметь таких союзников и стремились привлечь их на свою сторону. В сирийских источниках приводится интересное сообщение, согласно которому «тюрки так быстро объединились с арабами потому, что они услышали от них изречение пророка Мухаммада: „Когда они (т. е. тюрки) отрекутся от почитания идолов и его веру (т.е. ислам) будут исповедовать, будет им дана земля, хорошая и красивая, и они воцарятся в ней". Поэтому они приняли ислам» [Гусейнов 1960, с. 52]. Это изречение пророка Мухаммада, как известно, было впоследствии успешно претворено в жизнь. Под управление тюрков, находившихся на службе у халифов, были переданы многие города и области в Египте, Сирии, Армении и других странах, завоеванных арабами. Многим из них за хорошую службу были пожалованы крупные земельные владения.

Тюрки не только стояли у руля культурного процесса «мусульманского ренессанса», но и, имея богатые культурные традиции, сами были его активными участниками. В VII–VIII вв. среди тюрков Средней Азии был широко распространен манихеизм. У манихеев были широко распространены школы, которые тюрки называли *Otuz oγlan* (Тридцать юношей). В них помимо религиозных предметов дети изучали точные науки, философию и живопись [Зуев 2002, с. 201]. Отмечая стремление тюрков к накоплению знаний, арабский поэт ал-Джахиз (IX в.) писал: «... и необходимо для него знание лошадей и оружия, и осведомленность в отношении людей, стран, наук, местностей, времен, хитростей и всего того, что полезно для него…» [al-Djahiz, с. 39]. Одним из показателей уровня развития культуры того или иного народа является письменность. Древние тюрки имели свою руническую письменность, но также широко использовали другие виды письменности. Многочисленные находки памятников древнетюркской рунической письменности на обширной территории свидетельствуют о необычайно широком распространении грамотности среди древних тюрков [Васильев 1980, с. 53-59; 1981, с. 23-24]. Образцы высокой поэзии, которые приводит Махмуд ал-Кашгари в своем словаре «Диван лугат ат-турк» («Словарь тюркский наречий»), так же как и поэтический труд «Кутадгу билиг» Йусуф Хас-хаджиба, свидетельствуют о том, что древнетюркская художественная литература имела очень давнюю историю [Короглы 1980, с. 171]. Наиболее ранними образцами тюркской поэзии являются древнетюркские рунические памятники, в частности, надпись Кюль-тегина, представляющая собой текст, построенный, как иногда полагают, в форме стихотворного повествования. Одним из самых древних тюркских памятников литературы можно считать «Хуастуанифт» («Покаянную молитву манихеев»), переведенную с согдийского в V в. [Стеблева 1969, с. 125-133; 2013]. Анализ сохранившихся древнехакасских текстов, написанных тюркоязычным енисейским письмом, показал, что у древних хакасов существовала самобытная поэзия, имевшая свои литературные традиции [Кызласов 1963, с. 75]. Рунические надписи зафиксированы не только на коже, памятных камнях, скалах, скульптурах, балбалах, монетах и бытовых предметах, но и на печатях, что является показателем высокого уровня тюркской культуры в эпоху раннего средневековья [Alyilmaz 2004, с. 177-179]. В VII–VIII вв. в Восточном Туркестане наряду с руническим алфавитом начинает использоваться уйгурский алфавит, построенный на основе согдийской графики, который получает распространение и в Средней Азии [Mansuroglu 1964, с. 81].

В первых веках ислама тюркский язык еще не был приспособлен к арабской графике, и принявшие ислам тюрки, так же как и персы, писали свои труды на арабском языке. В условиях того времени сочинение, написанное тюркоязычным автором на родном языке, не могло рассчитывать на успех, а написанный на арабском языке труд распространялся по всему мусульманскому миру от Средней Азии до Испании [Наджип, 1989, с. 148]. Тюрки, имея богатые литературные традиции доисламского времени, сочиняли также прекрасные стихи на арабском языке и внесли огромный вклад в развитие арабского языкознания.

Тюрки внесли вклад и в развитие литературы на новоперсидском языке *фарси*. Сохранилось приветственное стихотворение на *фарси*, произнесенное при въезде халифа ал-Ма'муна (правил в 198–218 / 813–833 гг.) в Мерв в 193/809 г. неким ал-'Аббасом ал-Марвази, в котором отмечается, что никто раньше на этом языке стихов не сочинял [Bosworth, 1978, с. 67]. Ибн Хордадбех приводит еще один образец ранней поэзии на *фарси*, автором которого был Абу-т-Таки (Абу-л-Йанбаги) ал-'Аббас ибн Тархан, уроженец Самарканда или аш-Шаша [Ибн Хордадбех, с. 64, 176, прим. 84]. Он жил в Багдаде в правление халифа ал-Васика (правил в 227–232 / 842–847 гг.) и писал стихи как на арабском, так и на новоперсидском (*фарси*) языках. В.В. Бартольд отождествлял его с предыдущим поэтом 'Аббасом ал-Марвази [Бартольд, 1966, с. 177; Бартольд, 1971, с. 451]. Из его стихов явствует, что он, скорее всего, был уроженцем аш-Шаша, а затем некоторое время жил в Самарканде. В 186/802 г. он находился в Мерве, когда ал-Ма'мун прибыл туда в качестве наместника Хорасана. Когда в 198/813-814 г. ал-Ма'мун стал халифом, он, так же как и многие другие ученые и поэты Хорасана, приехал вместе с ним в Багдад, жил там до конца жизни и умер в правление халифа ал-Васика. Имя отца этого поэта, Тархан[1], указывает на то, что он, скорее всего, был тюрком родом из аш-Шаша. В самом Иране династии персидского происхождения, Тахириды, Зийариды и Буиды, не воспринимали персоязычную поэзию и отвергали поэтов, сочинявших стихи на *фарси*, считая это несовместимым с правоверием. Поэтому персоязычная поэзия, зародившаяся при дворе Саффаридов, продолжала развиваться при дворе потомков тюркских каганов, Саманидов, которые покровительствовали персоязычной литературе и создали при своем дворе все условия для ее развития [Камолиддин, 2012, с. 271-274, 285-286].

В связи с возрастанием роли тюрков в Арабском халифате в конце VIII – нач. IX вв. Багдад становится центром притяжения и для представителей среднеазиатской интеллигенции, которая надеялась на поддержку своих земляков и сородичей. Уже в конце VIII – нач. IX вв. в Багдаде и других городах Ближнего Востока проживали целые группы ученых хадисоведов и законоведов из числа принявших ислам тюрков, о чем свидетельствуют их родословные и *нисбы* «ат-Турки» и «ал-Хазари». Такие *нисбы* имели, главным образом, тюрки, происходившие из кочевых племен Евразийских степей. Что касается оседлых тюрков Средней Азии, то они имели *нисбы* по месту своего происхождения: ал-Фаргани, аш-Шаши, ал-Х^{в}аразми, ал-Бухари, ас-Самарканди и т.д. В средневековом Багдаде были отдельные кварталы, называвшиеся именами их жителей: Рабад ал-Х^{в}аразмиййа (пригород Хорезмийцев), Рабад ал-Бухариййа (пригород Бухарцев), Рабад ал-Маравиза (пригород Мервцев), Рабад ас-Сарахсиййа (пригород Серахсцев) и др. [Ибн ал-Факих, с. 19, 22, 24].

В IX в. круг тюркских ученых – выходцев из Средней Азии, получивших известность сначала в арабском, а затем и во всем мусульманском мире, значительно увеличивается благодаря деятельности так называемой мусульманской Академии (*байт ал-хикма*), функционировавшей в правление халифа ал-Ма'муна. Значительную часть ученых этого крупнейшего в исламском мире научного учреждения, как известно, составляли выходцы из Средней Азии, в т.ч. и среднеазиатские тюрки, известные не только в области таких гуманитарных наук, как арабское языкознание, литература, история, философия, хадисоведение, законоведение и др., но и в области точных наук: алгебры, астрономии, химии и геометрии. Один из тюркских военачальников в своей речи, произнесенной при дворе ал-Мутаваккила, говоря о жителях Мавераннахра, отмечал: «...И нет на земле выдающегося искусства из (области) литературы, философии, счета, геометрии, музыки, ремесла, законоведения, знания традиций, в котором бы ты не увидел хорасанцев,

[1] По существу, *тархан* это титул, применявшийся в системе управления Тюркского каганата. В эпоху раннего ислама он, так же как титул *каган* и этноним *ашина*, использовался тюрками в качестве имени собственного. Если тюрки в зависимости от своего вероисповедания могли быть носителями различных имен, в т.ч. и иранских, то этнические персы, в отличие от них, как правило, не носили тюркские имена.

побивающих главных (знатоков) и побеждающих (известных) ученых… Мы сильны в каллиграфии и письме, богословии и преданиях. Весь Багдад принадлежит нам. Мы воспитатели при халифах и живем вместе с *вазирами*. Мы гордимся своей знатностью, соперничаем и состязаемся в ней друг с другом. Мы родились во дворцах наших государей, под покровительством наших халифов, восприняли их воспитание и следовали их примеру. Никого кроме них мы не знаем и ни при ком другом о нас не знают» [ал-Джахиз, с. 64, 65, 69; Мандельштам, 1956, с. 27-28].

У древних тюрков были богатые традиции в области медицины. В коллекции древнетюркских рукописей из Восточного Туркестана, хранящейся в Берлине, имеется лечебник, написанный уйгурским письмом на 10 сложенных вдвое листах (всего 201 строка). В этой же коллекции есть фрагменты 5 различных сочинений медицинского содержания, написанные уйгурским письмом. Еще несколько фрагментов медицинского содержания, написанные уйгурским письмом, имеются в коллекции документов из Турфана [ДТС, с. XXXIV, XXXVII]. Материалы этих рукописей свидетельствуют о том, насколько обширными знаниями обладали древние тюрки в области медицины. Поэтому они имели богатую терминологию, связанную с названиями различных заболеваний, лекарственных средств лечебных процедур и различных состояний человеческого организма.

Как известно, в Танское время более всего медицина была развита в Китае, где китайские лекари производили различные лекарства и снадобья из лекарственных трав и материалов как местного происхождения, так и привозившихся из далеких и близких стран. Из Туркестана привозили смешанную с древесной крошкой и щелочной землей камедь (*такамахак*), которая применялась лекарями для исцеления от «сильных ядовитых лихорадок» и желудочных приступов, а также для вызывания рвоты. В 761 г. из Ферганы к танскому двору была прислана конкреция, якобы извлеченная из дракона, именовавшаяся «змеиной желтизной», которая произвела на всех большое впечатление. Из области Карашар в Восточном Туркестане привозили «зеленую соль», т.е. медный купорос, которая употреблялась для лечения глазных болезней [Шефер, 1981, с. 247, 251, 257, 260]. Эти и многие другие лекарственные снадобья использовались также тюркскими лекарями, о чем свидетельствует богатая и разнообразная терминология древних тюрков в области медицины [Камолиддин, 2016: Глосс. 3.2.5].

Беруни в своей «Фармакогнозии» приводит тюркские названия некоторых лекарственных растений и средств [Беруни, 1974, с. 192, 711, 810, 871]. Он упоминает также *тирйак турки* (ترياق تركى) – «тюркский терьяк», который использовался в качестве противоядия. Он отмечает: «В своей молодости я видел одного старика туркмена, который привозил в Хорезм различные терьяки и сложные лекарства из трав. Он утверждал, что все простые и сложные лекарства, содержащиеся в книгах, он приготовляет из растений. Я был свидетелем того, что его *мумийа* оказывала действие подобное чуду» [Беруни, 1974, с. 314]. В «Минералогии» Беруни более подробно говорит об этом старике: его звали Субай Хирма, он приезжал из окрестностей Пайкенда (около Бухары), и его *мумийа* исцелила сломанную ногу главного сокольничего хорезмшаха [ал-Бируни, с. 193].

Древние тюрки поклонялись божеству неба – Тангри, а в эпоху раннего средневековья среди них широкое распространение получил манихеизм, в котором особая роль отводилась небесным светилам – Солнцу и Луне, а также планетам и звездам. Кроме того, кочевым тюркам знания в области астрономии были необходимы для ориентации в пути. Поэтому в доисламское время у них, несомненно, была развита астрономия и астрология. Планеты и звезды тюрки называли *julduz* (=*jultuz*) [ДТС, с. 278], а астрологов – *julduzči* [ДТС, с. 278]. Для названий созвездий, звезд и планет тюрки широко употребляли санскритскую, тибетскую, китайскую и согдийскую терминологию. Вместе с тем, у них была также своя исконная номенклатура [Камолиддин, 2016: Глосс. 3.2.6]. Среди астрономов, работавших в знаменитой академии халифа ал-Ма’муна «Байт ал-хикма» («Дом мудрости») в Багдаде было

много выходцев из Средней Азии, в т.ч. и тюркского происхождения [Матвиевская, Розенфельд, 1983, II, с. 46-47, 55-58, 128, 226, 255].

Древние тюрки имели также свои традиции в области музыкальной культуры. В Чуйском районе Джамбульской области найдено каменное изваяние человека с изображением музыкального инструмента (арфы) в руке, которое датируется XII в. [Чариков, 1981, с. 289-291]. В танское время многие страны присылали ко двору императора различные дары, среди которых были и музыканты-исполнители, певцы и танцоры, привозившие с собой не только музыкальные инструменты, но и музыкальные вкусы. Так, в 733 г. тюркский владетель Хутталя прислал «женщин-музыкантов». Иностранные оркестры включались в состав многочисленного придворного персонала, им предписывалось играть для придворных и вассалов во время «неофициальных» дворцовых торжеств. Привычка слушать экзотические мелодии и вообще проявлять к ним великосветский интерес распространилась из придворных кругов на знать, а затем во все слои городского населения, оказывая влияние на дальнейшее развитие китайской традиционной музыки [Шефер, 1981, с. 78, 80, 84]. В танской империи была популярна музыка Сериндии, т. е. Восточного Туркестана, откуда китайцы приглашали учителей музыки. Старший брат императора Сюань-цзуна был серьезным музыкантом и читал книги с музыкальными партитурами (нотами) из Кучи. В Дуньхуане была обнаружена музыка для лютни, записанная средневековой нотной грамотой. Музыка была написана под сильным влиянием Кучи [Шефер, 1981, с. 364]. В коллекции художественных изделий из Китая, хранящийся Детройтском Институте искусств (США) представлены глиняные фигурки 5 уйгурских и согдийских музыкантов танского времени из Турфана, составлявших единый оркестр. Музыканты изображены сидящими на стульях и играющими на различных инструментах [Schloss, 1969: no. 32]. О развитии музыкального искусства у древних тюрков свидетельствует наличие у них своей терминологии в этой области [Камолиддин, 2016: Глосс. 3.2.2].

Эпоха мусульманского возрождения характеризуется стремительным взлетом не только науки, но и искусства народов Востока. Расцвет мусульманского искусства проходил под знаком активизации «тюркского внедрения» как в Средней Азии, так и на всем Переднем и Среднем Востоке, что побуждает обратить внимание на роль тюрков в развитии исламского искусства. В I тыс. до н.э. в искусстве кочевников Евразийских степей был широко распространен так называемый «звериный стиль», характеризующийся реалистичным изображением животного мира – зверей и птиц. Этот стиль был свойственным также для искусства *хунну* и тюрков. Известно, что в период раннего ислама было запрещено изображать людей и живых существ, особенно в общественных помещениях. Поэтому в исламском искусстве вместо живописи получили развитие другие направления, такие как растительный и геометрический орнамент, каллиграфия, миниатюра и др. [Большаков, 1969, с. 142-156]. Тюрки первыми позволили себе нарушить этот запрет и стали изображать людей и животных в общественных местах в живописи и скульптуре. Корни этой традиции уходили в доисламское время, когда среди древних тюрков был широко распространен манихеизм, одной из отличительных черт которого была живопись – как монументальная настенная, так и по материи, на металле и в виде постраничных иллюстраций в книгах. Сам Мани многие века считался выдающимся живописцем, положившим начало этой традиции, не свойственной другим религиям [Зуев, 2002, с. 184, 192]. Зороастризму были абсолютно чужды храмовая иконография и культовые изображения в каком бы то ни было проявлении. Наличие богатой настенной сюжетной живописи в храме Панджикента позволило исследователям прийти к заключению, что этот храм мог принадлежать манихеям [Беленицкий, 1954, с. 47-48, 64, 66-68, 81]. Один сюжет, изображенный в настенных росписях Панджикента, представляет собой сцену оплакивания покойника. Предполагается, что здесь изображен похоронный обряд [Беленицкий, 1954, с. 32, 74, 75, 81, 82; Беленицкий, 1973, с. 45]. В этой сцене мог быть запечатлен момент погребения знатного тюрка, возможно, правителя Панджикента Чакын Чур Билга, правившего в течение 15 лет до

прихода к власти в 708 г. Деваштича. Великолепные памятники высокохудожественной живописи сохранились также на поверхностях различных предметов из металла и керамики – серебряных чашах, блюдах, кувшинах, кружках, оссуариях, изготовленных в Средней Азии в VI – VIII вв. [Пугаченкова, Ремпель, 1965: илл. 120-134].

Стены дворца ‘Аббасидских халифов в Самарре были украшены портретами халифов, а также тюркских военачальников и вельмож, служивших при дворе ‘Аббасидов [Esin, 1973, с. 47-88]. Во дворце халифа ал-Мутаваккила была специальная комната, на стенах которой были изображения Багира ат-Турки и других тюркских военачальников [ас-Сули, с. 121]. Первый сельджукский *султан* Тогрул-бек, освободив Багдад от Буидов, в 435/1063 г. женился на дочери халифа ал-Ка’им би-амри-ллаха (правил в 422–467 / 1031–1075 гг.) и ознаменовал это событие выпуском памятного золотого медальона, на Av которого был изображен халиф ал-Ка’им би-амри-ллах, а на Rv – Тогрул-бек [Агаджанов, 1964, с. 10-16].

Итак, тюрки Средней Азии не только стояли у руля культурного процесса «мусульманского ренессанса» в Арабском халифате, но и сами были активными участниками этого процесса. В этой связи хотелось бы вспомнить о движении *шу‘убиййа*, широко распространенном в IX–X вв. среди интеллигенции неарабских народов халифата. Представители этого культурно-политического движения (от арабского *шу‘уб* – народы, т.е. иные народы), зародившегося еще в сер. VIII в. в среде принявшей ислам интеллигенции неарабских народов (сирийцев, набатейцев, египтян, греков, андалузцев, иранцев и евреев), отрицали претензии арабов на руководящую роль в культурной, а иногда и политической жизни стран ислама [Бартольд, 1971, с. 359-370]. Среди них наиболее многочисленными и яростными были иранские шу‘убиты. Это движение, особенно четко проявившееся в литературе, было связано с оппозицией политическому господству арабов и со стремлением к возрождению местных литературных языков и традиций, что приводило к возникновению различных еретических течений в исламе [Фильштинский, 1965, с. 141-142].

Зарождение иранского *шу‘убизма*, несомненно, было связано с приходом в сер. VIII в. к политической власти в халифате партии ‘Аббасидов, которая, как известно, в значительной мере опиралась на поддержку жителей Хорасана. Известно, что во всех завоеванных странах арабы встречали ожесточенное сопротивление местного населения, которое, как правило, не оказывало им никакой поддержки. К началу второй четверти VIII в. недовольство народов покоренных стран дискриминационной политикой Умаййадов достигло предела, чем и воспользовались их соперники – ‘Аббасиды, потомки ‘Аббаса – дяди пророка Мухаммада. ‘Аббасидская пропаганда была начата ими в 30-х гг. VIII в. именно в Хорасане и Мавераннахре, где покоренные народы были особенно недовольны политикой Умаййадов и в 115/733-734 г. подняли против них восстание под руководством мятежного арабского военачальника ал-Хариса ибн Сурайджа (убит в 128/746 г.), в ходе которого восставшие захватили власть почти во всех городах и областях Мавераннахра и Тохаристана. Одним из их руководителей был сам верховный тюркский *хакан*. Хотя это восстание потерпело поражение, оно предопределило конец правления династии Умаййадов, вместо которых при помощи жителей Хорасана и Мавераннахра к власти пришла династия ‘Аббасидов.

Движение *аш-шу‘убиййа* в восточной части Арабского халифата не было однородным и делилось, по крайней мере, на два направления – иранское и тюркское, которые были тесно взаимосвязаны. Арабской культуре противопоставлялась персидская. Формой выражения этой оппозиции был персидский язык, тогда как движущую силу этого движения составляли тюрки, которым принадлежала военная и политическая власть [Schanzlin, 1936, с. 281]. Начальный этап формирования среднеазиатско-тюркского *шу‘убизма* также был связан именно с началом ‘аббасидской пропаганды, среди активных сторонников которой, наряду с персами и курдами, были и хорасанские тюрки. Поэтому вскоре после прихода к власти партии ‘Аббасидов хорасанские тюрки наряду с персами стали занимать ключевые и стратегически важные должности прежде всего в столичном Багдаде, а также в других городах и областях центральной части халифата. Кроме того, многие из ‘аббасидских

халифов имели тюркских жен и, следовательно, их престолонаследники генетически наполовину были тюрками. По данным Абу Бакра ас-Сули, служившего придворным *надимом* нескольких ‘аббасидских халифов и написавшего историю их правления, многие из багдадских халифов носили тюркскую одежду, хорошо говорили по-тюркски и проявляли склонность ко всему тюркскому [ас-Сули, с. 117, 122, 148, 150, 154, 167]. История правления ранних ‘Аббасидов делится на два периода: персидский и тюркский. Персидский период продолжался от начала правления ас-Саффаха (132/749-750 г.) до начала правления ал-Мутаваккила (233/847-848 г.). Хорасанцы, обеспечившие приход к власти ‘Аббасидов, сами занимались формированием системы управления, назначали своих *вазиров*, правителей, писцов и секретарей. Они положили конец шовинизму Умаййадов, которые дискриминировали *маула* (клиентов). Тюркский период начинается с правления ал-Мутаваккила (233/847-848 г.), когда тюрки (т.е. армия) стали абсолютными хозяевами Аббасидского халифата, и продолжался до захвата власти дайламитами (334/945-46 г.). Между этими двумя периодами не было разделительной черты. Напротив, они были взаимосвязанными. Тюркский шу‘убизм, в отличие от иранского, безусловно, имел некоторые особенности. Если иранский шу‘убизм был направлен против господства арабов и арабской культуры в исламском мире, то тюркский был связан с массовым принятием ислама оседлыми тюрками Средней Азии и со стремлением высшей тюркской военной аристократии и интеллигенции занять достойное место в общественно-политической и культурной жизни Арабского халифата. При этом они делали ставку не на противостояние арабам, а на тесный военно-политический союз с ними, который вскоре перерос в еще более тесный тюрко-арабский этнокультурный симбиоз.

Следующий этап в развитии тюркского шу‘убизма был связан с правлением халифа ал-Ма’муна (правил в 198–218 / 813–833 гг.), который в 182/798-799 г. стал наместником Хорасана, Мавераннахра и всей восточной части Арабского халифата [Михайлова, 1951, с. 10-20]. Через некоторое время его резиденция в Мерве превратилась в центр политической жизни Арабского халифата. В 186/802 г. ал-Ма’мун сам переехал в Мерв и провел здесь 12 лет (до 198/813-814 г.) в качестве наместника и еще около 5 лет (до 202/817-818 г.) в качестве халифа. Сам ал-Ма’мун был по матери иранского происхождения, поэтому с пониманием относился к судьбам местных народов, в т.ч. и тюрков. В его правление, т.е. в конце VIII – нач. IX вв., происходит окончательное формирование тюркского шу‘убизма. При помощи тюрков ал-Ма’мун захватил власть в Багдаде, куда вместе с ним из Средней Азии переселилось все его хорасанское окружение. Таким образом, Ирак дважды был завоеван хорасанцами: сначала для Абу-л-‘Аббаса (133/750-751 г.), а затем для ал-Ма’муна (197/812-813 г.), что обусловило их высокое положение в Арабском халифате, особенно при дворе халифов.

Обращает на себя внимание то, что именно с ал-Ма’муном связано начало активной фазы культурного процесса, который мы теперь называем «Мусульманским Ренессансом». Мы считаем, что его зарождение происходило в Хорасане в период пребывания ал-Ма’муна в Мерве. Здесь сформировались его главные идеи, собраны основные действующие лица, после чего готовая модель новой мусульманской культуры была перенесена в Багдад и претворена в жизнь в мусульманской академии «Байт ал-хикма» («Дом мудрости»). Творческий взлет в эпоху раннего ислама объясняется синтезом арабской, персидской и тюркской культур. Именно Хорасан был кузницей скрещения культур, при Сасанидах персидской и тюркской, а при Аббасидах арабской, персидской и тюркской. Главными дирижерами и действующими лицами в этом процессе были ал-Ма’мун и его брат ал-Му‘тасим. Первый был сыном Харуна ар-Рашида от персианки, а второй сыном от турчанки родом из Самарканда. Именно они положили начало процессу скрещивания культур – арабской, персидской и тюркской.

Таким образом, вышеприведенные данные позволяют прийти к следующим выводам:

- Культурному процессу в Арабском халифате, который мы называем «Мусульманским Ренессансом», предшествовал аналогичный культурный процесс, происходивший в VI–VIII вв. в Тюркском каганате, который можно условно назвать эпохой «Тюркского возрождения». В этот период, который характеризуется бурным развитием градостроительства, архитектуры и искусства, возрождаются многие культурные ценности кушанского времени, пришедшие в упадок и утраченные в период правления хионитов и эфталитов (IV–V вв.). Именно тюрки были зачинателями и архитекторами аналогичных культурных процессов, происходивших позднее в Китае (в VIII–IX и X–XII вв.) и в Арабском халифате (в IX–X и XI–XII вв.).

- Зарождение «Мусульманского Ренессанса» происходило в Хорасане в период правления ал-Ма'муна, сначала в качестве наместника (182–198 / 798–813 гг.), а затем в качестве халифа (198–202 / 813–817 гг.). В этот период его резиденция в Мерве фактически превратилась в центр политической жизни Арабского халифата и одновременно в кузницу новой мусульманской культуры. Именно здесь происходила начальная фаза синтеза различных культур – арабской, персидской и тюркской.

- После прихода к власти ʻАббасидов тюрки играли важную роль в политической жизни Арабского халифата. История правления ранних ʻАббасидов условно делится на два периода: «персидский» и «тюркский». Персидский период продолжался от начала правления ас-Саффаха (132/749-750 г.) до начала правления ал-Мутаваккила (233/847-848 г.). Тюркский период начинается с правления ал-Мутаваккила (233/847-848 г.), когда тюрки стали абсолютными хозяевами ʻАббасидского халифата, и продолжался до захвата власти дайламитами (334/945-946 г.). Между этими двумя периодами не было разделительной черты. Напротив, они были взаимосвязанными.

- Тюрки не только стояли у руля культурного процесса, который мы называет «Мусульманским Ренессансом», но и сами были его активными участниками. Имея высокую культуру, созданную совместно с согдийцами в период Тюркского каганата, богатый литературный язык и письменную культуру, они продолжили процесс культурного строительства, начатый в Тюркском каганате, в новых условиях и на более обширном этнокультурном пространстве. Большую роль в этом сыграли такие достоинства и качества тюрков и согдийцев, как толерантность, тяга к знаниям, восприимчивость ко всему новому, стремление к интеграции и прогрессу, а также демократия и коллективизм.

Литература

Источники

1. Беруни 1974 – Беруни, Абу Райхан. Фармакогнозия в медицине (Китаб ас-сайдана фи-т-тибб) / Иссл., пер., прим. и указ. У.И.Каримова / Избр. произв. Т. 4. Ташкент: Фан, 1974.
2. ал-Бируни – Абу-р-Райхан Мухаммед ибн Ахмед ал-Бируни. Собрание сведений для познания драгоценностей (Минералогия) / Пер. с араб. А.М.Беленицкого. М.: Наука, 1963.
3. ал-Джахиз – Абу Усман Амр ибн Бахр ал-Джахиз. Послание ал-Фатху ибн Хакану «О достоинствах тюрков и остального халифского войска» / Пер. с араб. Ф.М.Асадова // Асадов Ф.М. Арабские источники о тюрках в раннее средневековье. Баку: Элм, 1993. С. 56 – 103.
4. Ибн ал-Факих – Ибн ал-Факих, Абу Бакр Ахмад ибн Мухаммад ибн Исхак ал-Хамадани / Факсимиле главы о Багдаде Мешхедской рукописи // Цкитишвили О.В. К истории города Багдада (Материалы к истории возникновения и развития феодального города на Ближнем Востоке). Тбилиси: Мецниереба, 1968.
5. Ибн Хордадбех – Ибн Хордадбех. Книга путей и стран / Пер. с араб., коммент., иссл., указ. и карты Н. Велихановой. Баку: Элм, 1986.

6. ас-Сули – Абу Бакр Мухаммад ас-Сули. Китаб ал-аврак («Книга листов») / Крит. текст и пер. на рус. яз. В.И.Беляева и А.Б.Халидова. СПб.: Петербургское востоковедение, 1998.
7. al-Djahiz – Abu Othman Amr ibn Bahr Basrensi al-Djahiz. Tria opuscula / Ed. G. van Vloten (edition photomechanice iterate). Lugduni Batavorum: E.J.Brill, 1968.
8. Macoudi – Macoudi, Les prairies d'or / Text et traduction C.Barbier de Meynard, t. I – IX, Paris: Societe Asiatique, 1861 – 1877.

Научная литература

9. Агаджанов 1964 – Агаджанов С.Г. Уникальная медаль с изображением сельджукского султана Мухаммада Тогрул-бека // Изв. АН ТуркмССР. СОН. 1964, 4. С. 10 – 16.
10. Ахундова 2004 – Ахундова Н. Тюрки в системе государственного управления Арабского халифата (VIII – сер. X вв.). Баку: Элм, 2004.
11. Бартольд 1966 – Бартольд В.В. Культура мусульманства // Соч. в 9 томах. Т. 6. М.: Наука, 1966. С. 143 – 206.
12. Бартольд 1971 – Бартольд В.В. Иран. Исторический обзор / Соч. в 9 томах. Т. 7. М.: Наука, 1971. С. 229 – 334.
13. Бартольд 1971 – Бартольд В.В. Персидское шу'убиййа и современная наука // Соч. в 9 томах. Т. 7. М.: Наука, 1971. С. 359 – 370.
14. Бартольд 1971 – Бартольд В.В. К вопросу о ранней персидской поэзии // Соч. в 9 томах. Т. 7. М.: Наука, 1971. С. 450 – 452.
15. Беленицкий 1954 – Беленицкий А.М. Вопросы идеологии и культов Согда по материалам Пянджикентских храмов // Живопись древнего Пянджикента. М.: Изд-во АН СССР, 1954. С. 25 – 82.
16. Большаков 1969 – Большаков О.Г. Ислам и изобразительное искусство // Тр. ГЭ, т. 10 (вып. 7). Л.: Советский художник, 1969. С. 142 – 156.
17. Васильев 1980 – Васильев Д.Д. О распространении грамотности у древних тюрков // Средневековый Восток: история, культура, источниковедение. М.: Наука, 1980. С. 53 – 59.
18. Васильев 1981 – Васильев Д.Д. Наскальные тюркские рунические надписи VIII – X вв. как историко-филологический источник // БЧ, 1981, год пятый (ТД). М., 1981. С. 23 – 24.
19. Гусейнов 1960 – Гусейнов Р. Сирийские источники XII – XIII вв. об Азербайджане. Баку: Изд-во АН Азерб.ССР, 1960.
20. Гюль 2005 – Гюль Э. Диалог культур в искусстве Узбекистана. Античность и средневековье. Ташкент: Print-S – Mir Inform, 2005.
21. ДТС – Древнетюркский словарь. Л.: Наука ЛО, 1969.
22. Зуев 2002 – Зуев Ю.А. Ранние тюрки: очерки истории и идеологии. Алматы: Дайк-Пресс, 2002.
23. Исмаилова 1984 – Исмаилова Э.М. К вопросу о танцевальном искусстве уйгуров // Восточный Туркестан и Средняя Азия. История. Культура. Связи. М.: Наука, 1984. С. 180 – 187.
24. Камолиддин 2004 – Камолиддин Ш.С. О градостроительной культуре у древних тюрков // Урбанизация и номадизм в Центральной Азии: история и проблемы. Материалы Международной конференции. Алматы: Дайк-Пресс, 2004. С. 354 – 373.
25. Камолиддин 2005 – Камолиддин Ш.С. К биографии Ахмада Йугнаки // ОНУ, 2005, № 1 – 2. С. 93 – 104.
26. Камолиддин 2008 –Камолиддин Ш.С. К вопросу о происхождении Саманидов // AEMA, 15 (2006/2007). Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2008, p. 39 – 63.
27. Камолиддин 2012 – Камолиддин Ш.С. Саманиды: Из истории государственности Узбекистана в IX – X вв. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2012.

28. Камолиддин 2016 – Камолиддин Ш.С. Металлургия и ремесленное производство у древних тюрков. Ташкент: Extremum Press, 2016.
29. Конрад 1972 – Конрад Н.И. Об эпохе возрождения / Запад и Восток. Статьи. М.: Наука, 1972. С. 209 – 244.
30. Короглы 1976 – Короглы Х. Огузский героический эпос. М.: Наука, 1976. С. 38
31. Кызласов 1963 – Кызласов Л.Р. Низами о древнехакасском государстве // СА, 1963, № 4. С. 69-76.
32. Мандельштам 1956 – Мандельштам А.М. Отрывок из «Послания Фатху ибн Хакану ал-Джахиза // КС ИИМК АН СССР, вып. 61. М., 1956. С. 24 – 28.
33. Матвиевская, Розенфельд 1983 – Матвиевская Г.П., Розенфельд Б.А. Математики и астрономы мусульманского средневековья и их труды (VIII – XIII вв.). В 3-х томах. М.: Наука, 1983.
34. Мец 1966 – Мец А. Мусульманский ренессанс / Пер. с немец., предисл., библиогр. и указ. Д.Е. Бертельса. М.: Наука, 1966.
35. Наджип 1989 – Наджип Э.Н. Исследования по истории тюркских языков XI – XIV вв. М.: Наука, 1989.
36. Пугаченкова, Ремпель 1965 – Пугаченкова Г.А., Ремпель Л.И. История искусств Узбекистана с древнейших времен до середины девятнадцатого века. М.: Искусство, 1965.
37. Стеблева 1969 – Стеблева И.В. Еще раз об орхоно-енисейских текстах // НАА, 1969, № 2. С. 125 – 133.
38. Стеблева 2013 – Стеблева И.В. Тюркская поэтика. М.: Восточная литература, 2013.
39. Фильштинский 1965 – Фильштинский И.М. Арабская классическая литература. М.: Наука, 1965.
40. Чариков 1981 – Чариков А.А. Статуя музыканта XII в. // СА, 1981, № 2. С. 289 – 291.
41. Шефер 1981 – Шефер Э. Золотые персики Самарканда. Книга о чужеземных диковинках в империи Тан. М.: Наука, 1981.
42. Alyilmaz 2004 – Alyilmaz C. Mutrin Temdeg Inscription (Seal of Auspiciousness) // Археология и история Средней Азии / Сб. ст. к 70-летию Ю.Ф.Бурякова. Ташкент, 2004. С. 177 – 179.
43. Beckwith 1984 – Beckwith C.I. Aspects of the Early history of the Central Asian Guard Corps in Islam // AEMA, 4 (1984). Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 1984, p. 29 – 43.
44. Esin 1973 – Esin E. The Turk al ‘Ajam of Samarra and the paintings in Gawsaq asl-Khaqani // Kunst des Orients, 9 (1973-74), p. 47 – 88.
45. Kamalov 2001 – Kamalov A. Turks and Uighurs During the Rebellion of An Lu-shan Shih Ch’ao-yi (755 – 762) // CAJ, 45 (2001), p. 243 – 253.
46. Kennedy 2004 – Kennedy H. The Court of the Caliphs. The Rise and Fall of Islam’s Greatest Dynasty. London: Weidenfeld & Nicolson, 2004.
47. Krippes 1991 – Krippes K. Sociolinguistic Notes on the Turcification of the Sogdians // CAJ, vol. 35, 1991, p. 67 – 80.
48. Mansuroglu 1964 – Mansuroglu M. Turkish Literature through the ages // CAJ, vol. 9, 1964, p. 81 – 112.
49. Osman 1966 – Osman S.A. Ismail. Mu’tasim and the Turks // BSOAS, vol. 29, 1966, p. 12 – 24.
50. Schloss 1969 – Schloss E. Foreigner in Ancient Chinese Art (China House Gallery). New York, 1969.

THE ROLE OF THE TURKS OF CENTRAL ASIA IN THE MUSLIM RENAISSANCE

Kamoliddin Sh.S.
Institute of History, Academy of Sciences of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan, shamskamol@gmail.com

Abstract. In the reign of the first ‘Abbasids in the second half of 8^{th} – 9^{th} centuries the Turks played an important role in the political life of the Arabic Caliphate. The entire period 9^{th} – 12^{th} centuries characterized by domination of the Turks in the Arabic Caliphate. The Turks were at the helm of the cultural process, which we now call the “Islamic Renaissance”, moreover, they were its motive power. Before the adoption of Islam the Turks had a strong statehood, the Turkic Qaghanate, and a high culture, formed during their rule in the vast territory of Eurasia. In this respect, they were the forerunners of the Arabs, as well as in the process of cultural revival. In Central Asia the process of the “Islamic Renaissance” was preceded by a similar cultural process that took place during the era of the Turkic Qaghanate (6^{th} – 8^{th} centuries), which can be provisionally called the “Turkic Renaissance”. During this period, which is characterized by rapid development of urban planning, architecture and art, many cultural values of the Kushan time are being revived, which fell into decay and were lost during the stagnant period of the reign of the Chionites and Ephtalites (4^{th} – 5^{th} centuries). Having rich experience in the revival and development of cultural traditions, accumulated in the era of the Turkic Qaghanate, the Turks were the initiators and active participants in a similar process in the era of the Arabic Caliphate.
Keywords: Arabs, Arabic Caliphate, Turks, Turkic Qaghanate, cultural revival, symbiosis of cultures, science, architecture, art.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ТЮРКСКИХ КОЧЕВЫХ ПЛЕМЕН В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И ВОЕННОЙ СИСТЕМЕ ХОРЕЗМА XII – НАЧАЛА XIII ВВ.

Тимохин Д.М.
ИВ РАН, Москва, Россия,horezm83@mail.ru

Аннотация. Статья посвящена истории формирования тюркской военной и политической элиты Хорезмийского государства в годы правления хорезмшахов Ил-Арслана, Ала ад-Дина Текиша и Ала ад-Дина Мухаммада. Автор подробно анализирует информацию из арабо-персидских источников не только об истории включения кочевых тюркских племен Дешт-и Кыпчака в состав Хорезма, но и об особенностях распределения военных и административных постов среди тюркской кочевой аристократии. Подробно изучается эволюция этого явления и те изменения, которые привносили указанные правители в положение тюркской элиты в Хорезме. Наибольшее внимание в виду особенностей корпуса исторических источников уделено правлению хорезмшаха Ала ад-Дина Мухаммада, а также его старшего сына – Джалал ад-Дина Манкбурны. В работе также представлен анализ ключевых положительных и отрицательных аспектов функционирования тюркской военной и политической элиты Хорезма накануне монгольского вторжения и влияние данного фактора на результат монголо-хорезмийской войны 1219-1221 гг.
Ключевые слова: Хорезм, арабо-персидские источники, кочевые тюркские племена, военные и административные должности, Ил-Арслан, Ала ад-Дин Текиш, Ала ад-Дин Мухаммад, Дешт-и Кыпчак.

История государства хорезмшахов из династии Ануштегинидов неразрывно связана с кочевыми тюркскими племенами Дешт-и Кыпчака, которые, прежде всего, составляли ядро военной системы этой державы. Начиная с хорезмшахов Абу-л-Фатха Ил-Арслана (1156–1172), Султан-шаха Махмуда и Ала ад-Дина Текиша (1172–1200) тюркские племена активно призываются на хорезмийскую службу, а при их наследниках, хорезмшахе Ала ад-Дине Мухаммаде (1200–1220) и Джалал ад-Дине Манкбурны (1220–1231), становятся, по сути, главной военной опорой Хорезма. Несомненно, исследователи истории Хорезмийской державы указывали на данный факт, предлагая при этом качественно разные оценочные характеристики данного исторического явления. Однако лишь в отдельных публикациях, например в монографии З.М. Буниятова, можно встретить качественный анализ присутствия представителей тюркских кочевых племен в государственной и военной системе Хорезма в период с XII по начало XIII вв. Задача данного исследования не столько выделить те должности в военном и государственном аппарате, которые занимали представители указанных кочевых племен, сколько проанализировать сам этот процесс, проследить его динамику и дать ему исчерпывающую, насколько это возможно, характеристику. Помимо этого, в статье нам особое внимание хотелось бы уделить времени правления последнего хорезмшаха, Джалал ад-Дина Манкбурны, который, несмотря на потерю власти в самом Хорезме из-за монгольского вторжения, попытался организовать собственное государство сначала в пределах Северной Индии, а затем в землях Ирана, Ирака и Южного Кавказа. Любопытно было бы проследить, насколько этот последний правитель продолжил традицию своих предшественников в отношении тюркских кочевых племен, делал ли он ставку на представителей этих племен в военном и государственном управлении или же отказался от этой практики на новых землях. Таким образом, нами будет предпринята попытка рассмотреть указанное историческое явление в рамках деятельности практически всех представителей династии Ануштегинидов вплоть до ее ликвидации в 1231 г.

Прежде чем рассматривать непосредственно присутствие представителей тюркских кочевых племен в государственной и военной системе Хорезма в период с XII по начало XIII вв., необходимо очертить круг используемых в данном исследовании исторических источников, которые преимущественно будут представлены арабо-персидскими

историческими сочинениями. Если пытаться структурировать корпус источников по данной исторической проблематике, то следует отметить тот факт, что в большей или меньшей степени информация об участии представителей тюркских кочевых племен в работе военного и государственного аппарата Хорезмийской державы содержится во всех средневековых арабо-персидских исторических сочинениях, включающих сведения по истории Хорезма накануне и во время монгольского вторжения. Однако в рамках данного исследования нами будут преимущественно использоваться наиболее для нас информативные из подобного рода памятников, то есть содержащие не отрывочные сведения, а более или менее обширные текстовые фрагменты по данной проблеме. Эти сочинения можно условно разделить на две группы: первая из них названа нами «ранними» памятниками исходя из времени написания и также по той причине, что в них авторы, в основном, описывают события до начала XIII в. Здесь отметим сочинения Захир ад-Дина Нишапури [Nishaburi, 1953], Садр ад-Дина ал-Хусайни [ал-Хусайни, 1980], Мохаммада Раванди [Ravandi, 1955], ибн Исфандийара [Ibn Isfandiyar, 1941]. Ко второй группе условно «поздних» источников относятся в рамках нашего исследования труды ал-Бундари [al-Isfahani, 1889], Ибн ал-Асира [ал-Асир, 2006], ан-Насави [ан-Насави, 1973], Джувейни [Джувейни, 2004], Джузджани [Djuzdjani, 1960] и Рашид ад-Дина [Рашид ад-Дин, 2002].

Отдельно хотелось бы сказать несколько слов относительно историографии истории государства хорезмшахов-Ануштегинидов для того, чтобы понять, на каком уровне научной разработанности находится вопрос о присутствии представителей тюркских кочевых племен в государственной и военной системе Хорезма в период с XII по начало XIII вв. Прежде всего, хотелось бы отметить малое число специальных исследований истории государства хорезмшахов-Ануштегинидов: в большинстве случаев, отечественные и зарубежные исследователи обращали внимание на период монголо-хорезмийской войны 1219-1221 гг. в рамках более общих исследований, посвященных истории монголов, монгольских завоевательных походов или личности Чингиз-хана. Более ранние этапы истории Хорезма зачастую оказывались вне поля авторского внимания или же были представлены крайне поверхностно. При этом сама по себе научная проблема участия представителей тюркских кочевых племен в государственной и военной системе Хорезма в указанный период специальным образом практически никем не рассматривалась. Лишь отчасти она нашла свое отражение в следующих исследованиях, которые будут для нас ключевыми при написании данной работы. Прежде всего, хотелось бы отметить классическое исследование по истории Хорезмийского государства в отечественной историографии, а именно труд З.М. Буниятова «Государство Хорезмшахов-Ануштегинидов 1097–1231 г.» [Буниятов, 1986], где интересующей нас проблеме посвящено целых две главы. Не менее важны работы С.М. Ахинжанова по истории взаимоотношений кочевых тюркских племен Дешт-и Кыпчака и Хорезма, из которых особенно стоит выделить «Из истории взаимоотношений кипчаков и Хорезма в 12 – начале 13 века» [Ахинжанов, 1970], как наиболее важную для предпринятого нами исследования. В рамках зарубежной историографии выделяется труд И. Кафесоглу «История Хорезмшахов (1092–1229)» [Kafesoğlu, 1956], как один из немногих опытов написания целостной истории Хорезма в эпоху династии Ануштегинидов, в том числе и по интересующей нас проблематике. Еще больше информации по теме данного исследования можно найти в работе Х. Хорста [Horst, 1964], где специально рассмотрены особенности функционирования государственного аппарата Великих Сельджуков и Хорезмшахов. Наконец, определенный объем информации по проблеме, особенно касаемо периода 1225-1231 гг., то есть времени правления последнего хорезмшаха Джалал ад-Дина Манкбурны, содержится в работе «Султан Джалал ад-Дин Хорезмшах» [Dabir Seyagi, 1977] Мохаммада Дабира Сейаги. Таким образом, число специальных исторических исследований по интересующей нас проблематике не велико, и при написании этой работы нами, безусловно, были привлечены те разделы по истории государства Хорезмшахов, которые содержатся в более общих исследованиях или написанных по смежной проблематике.

Переходя непосредственно к объекту исследования, хотелось бы прежде всего подчеркнуть следующий момент: представители тюркских кочевых племен Дешт-и Кыпчака переходят на хорезмийскую службу, и это становится массовым явлением, уже в годы правления хорезмшаха Абу-л-Фатха Ил-Арслана (1156–1172). Последний, вступив в войну за «сельджукское наследство» с кара-китаями, решил заручиться поддержкой именно кочевых тюркских племен, однако, источники не дают точного ответа на вопрос – с кем именно этот союз был заключен. В более ранних источниках такими племенами признаются карлуки [ал-Хусайни, 1980, с. 131], а в более поздних таковыми союзниками Хорезма признаются кыпчаки [Ṭabakāt-i-Nāṣirī, 1881, vol. 1, p. 239]. С нашей точки зрения, более правдоподобным в данном случае выглядит первый вариант, поскольку именно он нашел отражение в более ранних памятниках, в частности, в труде Садр ад-Дина ал-Хусайни. При этом нельзя сказать, что мы обладаем исчерпывающими сведениями в отношении правления хорезмшаха Ил-Арслана в рамках существующего корпуса исторических источников, в том числе и о том, какие должности при нем занимали выходцы из кочевой тюркской среды. Для нас гораздо важнее отметить тот факт, что начало перехода на хорезмийскую службу кочевых тюркских племен станет фактической точкой отсчета формирования новой военной и политической элиты внутри Хорезма.

Однако отдельные эпизоды в памятниках все-таки присутствуют, и на их основании можно делать отдельные, очень осторожные выводы. Так, описывая события 1160 г., Садр ад-Дин ал-Хусайни в своем сочинении приводит такие сведения о карлуках на службе у хорезмшаха Ил-Арслана: «Что касается Инанджа, то хорезмшах Ил-Арслан отправил к нему большую часть своего войска и приказал провести весну в Джурджане, пока кони не будут откормлены, а затем двинуться в Ирак. Он назначил командиром войск Шамс ал-Мулка сына Хусайна ʻАййар-бека – одного из карлукских эмиров и кочевников Мавераннахра. Его отец захватил Самарканд, а затем подвергся нападению кочевников хитаи. В сражении он был убит, а этот его сын бежал в Хорезм. Хорезмшах встретил его с честью и почетом, окружил его вниманием и милостью. Он выдал за него свою сестру и сделал его командующим своих войск» [ал-Хусайни, 1980, с.131-132]. Таким образом, перед нами не только прямое указание на переход карлуков на хорезмийскую службу, но и описание включение карлукской элиты в состав военной системы Хорезма. Сам этот факт арабо-персидские историки, в частности, Ибн ал-Асир, будут объяснять противостоянием карлуков и кара-китаев: последние рассматривали данные племена в качестве собственных подданных и предполагали, согласно арабскому историку, переселить из Мавераннахра в Кашгар, где заставить карлуков поменять кочевой образ жизни на оседлый. «Хан ханов ас-Сини, царь хитаев, поручил управление Самаркандом и Бухарой ильхану, Чагры-хану, сыну Хасан-тегина, и сделал его наместником над ними. Он из царского рода древнего происхождения и проживал в Самарканде, руководя его делами. В настоящее время царь хитаев послал ему [распоряжение] выселить тюрков из областей Бухары и Самарканда в Кашгар, чтобы они перестали носить оружие и занялись земледелием и другими делами. Чагры-хан отдал им приказание об этом, но они отказались. Он их обязывал и настойчиво требовал от них переселения. Тогда они объединились, сговорились между собой, собрались во множестве и двинулись в Бухару. Законовед Мухаммад ибн ʻУмар ибн Бурхан ад-дин ал-ʻАзиз ибн Маза, глава Бухары, послал к Чагры-хану, уведомляя его об этом, и побуждал его прибыть к ним со своими войсками, прежде чем зло от них [карлуков] увеличится и они [карлуки] разграбят страну» [ал-Асир, 2006, с. 267-268]. Как видно из предшествующего рассказа Садр ад-Дина ал-Хусайни, хорезмшах Ил-Арслан использовал карлуков не только для охраны собственных владений против кара-китайской угрозы, но и для решения иных внешнеполитических задач. При этом выходец из карлукской среды становится командующим хорезмийской армии, что говорит нам о том, что уже на первом этапе взаимоотношений между династией Ануштегинидов в Хорезме и кочевыми тюркскими племенами Дешт-и Кыпчака выходцы из среды последних занимают ключевые посты в военной системе Хорезмийской державы.

Вторая волна миграции тюркских кочевых племен на территорию государства Хорезмшахов приходится на период правления Ала ад-Дина Текиша (1172–1200) и ознаменовывается женитьбой последнего на Теркен-хатун, которая была, по мнению З.М. Буниятова, дочерью кыпчакского хана Джанкиши [Буниятов, 1986, с. 62]. В рамках этого исследования мы не будем подробно останавливаться на проблеме происхождения самой Теркен-хатун, несмотря на то, что в известных арабо-персидских источниках существуют разногласия по данному вопросу, и приведем лишь основные точки зрения, указанные средневековыми историками. Прежде всего, это связано с тем, что нами уже была проделана определенная работа в данном направлении, и она нашла свое отражение в следующем издании, где нами подчеркивается кыпчкаское происхождение Теркен-хатун [Тимохин, Тишин, 2016]. Для данного исследования не столько важно решить вопрос, к какому конкретно тюркскому племени принадлежала сама Теркен-хатун, сколько сам механизм включения представителей тюркских кочевых племен в военную и политическую элиту Хорезма, начиная с правления хорезмшаха Ала ад-Дина Текиша. Итак, наиболее раннее указание на ее племенную принадлежность дает труд персидского историка ан-Насави, где подчеркивается, что она «была из племени Баят, а это одна из ветвей [племени] Емек» [Ан-Насави, 1973, с. 87; An-Nasavi, 1945, s. 58], а далее историк пишет, что «она была дочерью хана Джанкиши, одного из тюркских государей» [Ан-Насави, 1973, с. 87]. В более поздних трудах это происхождение всячески оспаривается, так, в сочинении другого персидского историка, Джузджани, отмечается, что она была дочерью хана кыпчаков Акрана (Yqrān) [Ṭabakāt-i-Nāṣirī, 1881, vol. 1, p. 254]. В сочинении Джувейни присутствует целых две точки зрения на данный вопрос: в одном месте указано, что Теркен-хатун происходила из племени канглы [Djuveini, 1959, vol. 2, p. 465], а в другом – из племени Уран (Uraniyan) [Джувейни, 2006, с. 266]. Из более поздних арабо-персидских исторических сочинений следует отметить труд Мирхонда, где мы находим тот же взгляд на проблему, что и Джувейни [Golden, 1986, p. 23, note 78]. Как уже говорилось, для данного исследования не столь важно выяснить реальную племенную принадлежность Теркен-хатун, сколько указать, что большинство авторов указывает на ее высокое социальное положение внутри тюркской племенной структуры, что, в свою очередь, приводит к массовой волне миграции этих племен, вместе с правящей элитой на территорию Хорезма и прием их на службу к Ала ад-Дину Текишу [Kafesoglu, 1956, s. 130-131]. В годы правления последнего хотелось бы отметить несколько, на наш взгляд, крайне важных моментов.

Первый из них заключается в том, что основной угрозой с севера для своих владений Ала ад-Дин Текиш продолжал считать, и, как покажет практика, вполне справедливо, государство кара-китаев. Для того, чтобы обезопасить себя от этой угрозы хорезмшах максимально насыщает северные границы военными соединениями, состоявшими из кочевых тюркских племен, как уже служивших Хорезму, так и, как отмечают отдельные арабо-персидские авторы, теми, кто только перешел на его службу. Именно этот факт отмечает в своем труде «ат-Тавассул ила ат-Тарассул» («Книга искания доступа к деловой переписке») Баха ад-Дин ал-Багдади, указывая, что Ала ад-Дин Текиш приказал дополнительно переселить в Дженд с прилегающими к нему районами, который без того был одним из традиционных центров расселения тюркских племен, кочевников, недавно перешедших к нему на службу и еще не закрепленных за конкретным местом несения службы: «те из них, кто в бедственном (безвыходном – прим. авт.) положении находился на службу его милости (т.е. Ала ад-Дина Текиша) в пределы Дженда направились бы» [al-Bagdadi, 1937, s. 158]. В данном случае легко сопоставить данный эпизод у Баха ад-Дина ал-Багдади с событиями, произошедшими около 1181 г., когда на службу к Ала ад-Дину Текишу переходит большое количество кыпчаков и других кочевых тюркских племен под командованием Алп-кара и его сына Кырана, которых хорезмшах предполагал использовать против кара-китаев [Буниятов, 1986, с. 46; al-Bagdadi, 1937, s. 156-161]. Однако далеко не во всех случаях нам удается точно идентифицировать племенную принадлежность того или иного военачальника или военного отряда на службе Ала ад-Дина Текиша, поскольку

источники применительно ко времени правления этого хорезмшаха чаще используют термин «тюрки» без уточнения. В частности, можно вспомнить описание борьбы за земли Хорасана, в которой участвовал в том числе и Ала ад-Дин Текиш, в тексте Ибн ал-Асира, где он, в частности, пишет следующее: «Затем Хинду-хан собрал в Хорасане многочисленное войско, и дядя его, хорезмшах, направил против него армию во главе с Чакыром ат-Турки. Когда Хинду-хан услышал об их приближении, он бежал из Хорасана и направился к Гийас ад-Дину, прося у него помощи против его дяди» [ал-Асир, 2006, с. 288]. Указанный глава хорезмийской армии никак не соотносится в тексте Ибн ал-Асира с конкретным тюркским племенем, однако саму его принадлежность к ним, исходя из упомянутого имени, отрицать сложно.

Следующий момент, который хотелось бы отметить применительно к анализу правления Ала ад-Дина Текиша, это указанная выше значимость охраны северных территорий и особенно Дженда и прилегающих земель. По всей видимости, и после правления Текиша данный регион оставался сферой преимущественного присутствия кочевых тюркских племен, что отмечают авторы арабо-персидских исторических сочинений при описании событий времени монгольского нашествия. «(В это время) настигло его (т.е. хорезмшаха Ала ад-Дина Мухаммада) известие, что один из военачальников Туркестана, именуемый Тугта-хан, двигается в направлении канглы, которые проживали в округе Дженда. На основании этого (известия) собрал полки храбрецов, сопровождавших его, и отправился в направлении Дженда» [Khondamir, 1954, s. 649]. Можно предположить, что именно северные территории государства хорезмшахов-Ануштегинидов оставались областями преимущественного присутствия военных соединений из представителей тюркских кочевых племен, а также областью их проживания, а не только несения военной службы, вплоть до монгольского нашествия. Что не отменяет того факта, что, будучи основной составляющей хорезмийской армии, тюркские отряды активно использовались Ала ад-Дином Текишем и его наследниками при завоевании земель не только Хорасана и Мавераннахра, но и Ирана, Афганистана и Ирака. В этой связи нельзя не подчеркнуть и тот факт, на который обратил внимание уже З.М. Буниятов, а именно ключевое значение кочевых тюркских племен в военной организации Хорезма: «Армия, которую собирали хорезмшахи в период образования государства, состояла из воинов тюрок; войсковые подразделения и части формировались по племенному признаку. Даже в период расцвета государства, когда в войска рекрутировались представители других племен и народов, тюрки составляли основную и главную ударную силу» [Буниятов, 1986, с. 83]. При этом в годы правления хорезмшаха Ала ад-Дина Текиша фиксируются случаи, как, например, в труде Джувейни, когда хорезмийская армия бывала наголову разбита именно по причине отсутствия в ней тюркских военных соединений. Персидский историк указывает на подобный случай при описании событий 1194/1195 г., когда хорезмшах выступил в поход против тюркских племен Сыгнака и прилегающих к нему регионов, а тюрки племени Уран, служившие в хорезмийском войске, перешли на сторону противника, не желая сражаться с соплеменниками: «Когда подошла к концу зима 591 года (1194/1195), он отправился в Сугнак и те земли, чтобы напасть на Кайир-Буку-хана. Когда султан со всеми своими полками достиг Дженда, Кайир-Буку-хан узнав о его приближении, повернул поводья и бежал; и султан поспешил вдогонку за ним. А в армии султана было много оранов (которые обычно служили аджамами[1]), которые прислуживали султану. И эти люди тогда послали Кайир-Буку-хану письмо, в котором говорилось, чтобы он проявил твердость и что когда обе

[1] В комментариях к изданию труда Джувейни 2004 г. со ссылкой на Gibb H. A. R. and Bowen Harold: Islamic Society and the West. (Vol I: Islamic Society in the Eighteenth Century, Part I. 12, 386 pp. Issued under the auspices of the Royal Institute of International Affairs, Oxford University Press, 1950. 329, n. 4) данный термин объясняется как «варвары, в том числе в том смысле, который вкладывали в это слово греки» [Джувейни, 2004, с. 608]. С нашей точки зрения, в данном контексте термин нуждается в дополнительных пояснениях, чему мы постараемся уделить внимание в последующих работах (Прим. автора).

армии сойдутся, они отвернут свои лица и покажут спины. Положившись на эти заверения, Кайир-Буку возвратился, и две армии выстроились в боевом порядке в пятницу, 6-го дня месяца джумады II того года (7 февраля 1195). Ораны султана покинули центр войска и разграбили обоз. Армия ислама потерпела сокрушительное поражение; многие погибли под ударами меча, а еще больше умерло в пустыне от зноя и жажды. Сам султан прибыл в Хорезма через восемнадцать дней» [Джувейни, 2004, с.212]. Здесь следует отметить не только поражение хорезмийской армии по причине бегства тюркских частей, возможно далеко не всех, которые составляли значительную ее часть, но отсутствие в тексте Джувейни указаний на последующие действия власти в отношении изменников. Если следовать логике событий, то хорезмшах Ала ад-Дин Текиш после подобного события должен был бы начать ответные репрессивные действия, в том числе и для того, чтобы избежать в будущем подобных проблем, однако в тексте памятника ничего подобного мы не находим. При этом, как отмечает и сам Джувейни, тюрки племени Оран (Уран) продолжали составлять большую часть хорезмийской армии, поскольку были родственниками его жены и матери хорезмшаха Ала ад-Дина Мухаммада – Теркен-хатун: «А большую часть его войска (в данном случае речь идет о хорезмшахе Ала ад-Дине Мухаммаде – прим. авт.) составляли тюрки из племени, к которому принадлежали родственники его матери, называемому оран» [Джувейни, 2004, с. 266]. Здесь хотелось бы остановиться на последнем моменте, который связан с правлением Ала ад-Дина Текиша, прежде чем говорить о событиях в годы правления его сына, Ала ад-Дина Мухаммада, а именно на существенных изменениях внутри военной системы государства хорезмшахов в период с 1172 по 1200 гг.

При хорезмшахе Ил-Арслане, как уже говорилось выше, на хорезмийской военной службе состояли преимущественно карлуки, которые составляли не только сами военные отряды, но и занимали позиции военачальников, иногда очень высокого ранга. Арабо-персидские исторические сочинения не содержат информации о том, что карлуки продолжали занимать те же высокие военные должности и при Ала ад-Дине Текише, хотя окончательно исключать их присутствие внутри воинских соединений все-таки нельзя. По всей видимости, женитьба на Теркен-хатун и переход на хорезмийскую военную службу новых тюркских кочевых племен существенно поменяли состав военной элиты державы Ануштегинидов, в результате чего карлуки были вытеснены из нее, и не упоминаются и в период правления Ала ад-Дина Мухаммада. При этом не имеет существенного значения, к какой племенной группе принадлежала сама Теркен-хатун, поскольку среди вариантов ее происхождения источники совершенно точно не указывает на то, что она была из карлуков. В связи с этим можно констатировать тот факт, что, по всей видимости, именно под влиянием Теркен-хатун и ее окружения карлуки, игравшие заметную роль при хорезмшахе Ил-Арслане, практически исчезают со страниц источников, а их место на ведущих постах в военной машине Хорезма занимают представители иных тюркских кочевых племен. В результате, подобное положение вещей приводит к тому, что при хорезмшахе Ала ад-Дине Мухаммаде военная элита Хорезма была в большей степени связана с его матерью, Теркен-хатун, а по сути, состояла из ее родственников и соплеменников, как это отмечено у ан-Насави при описании событий времени начала монгольского вторжения. Речь о судьбе Инал-хана, одного из родственников Теркен-хатун, которого Чингиз-хан требовал выдать ему для расправы: «Султан отказался отослать к нему Инал-хана, несмотря на страх, который охватил его душу, и боязнь, лишившую его разума. Ведь он не мог отправить его к нему (Чингиз-хану), потому что большая часть войск и эмиры высоких степеней были из родни Инал-хана. Они составляли узор его шитья и основу его узла и распоряжались в его государстве» [ан-Насави, 1973, с. 80]. Безусловно, подобное положение вещей оказывало на государство негативное воздействие, и подробнее об этом нами будет сказано ниже. Здесь отметим лишь, что арабо-персидские источники не сообщают нам о существенной дестабилизации обстановки в Хорезме внутри правящей военной и политической элиты в период с 1172 по 1200 гг., а приведенные выше сведения ан-Насави касаются лишь времени правления Ала ад-Дина Мухаммада. В связи с этим можно констатировать, что новая

военная элита Хорезма начала свое формирование именно в годы правления Ала ад-Дина Текиша, но существенной значимости и самостоятельности, как это было в случае с Инал-ханом, добилась лишь при его наследнике.

Еще одним моментом, касающимся присутствия тюркских кочевых племен в Хорезмийской державе, следует признать изменения не только военной элиты этого государства, но качественную эволюцию занимаемых тюрками должностей в военной и политической системе Хорезма. Как видно из той части данной статьи, где речь шла о правлении хорезмшахов Ил-Арслана и Ала ад-Дина Текиша, кочевые тюркские племена составляли основу армии этих правителей, а представители кочевой аристократии – высокое положение внутри военной элиты Хорезма. При этом, как отметил в своей работе З.М. Буниятов, выходцы из среды кочевых тюрков не занимали высоких постов в административной системе Хорезмийской державы, то есть в системе политического управления при Ил-Арслане и Ала ад-Дина Текише указаний на их присутствие мы не встречаем. Так, по крайней мере, было в отношении поста везира хорезмшаха, который при всех правителях из династии Ануштегинидов занимали выходцы не из тюркоязычной среды. «Везиры хорезмшахов, как правило, принадлежали к арабо-персидской служилой чиновной среде (в списке везиров хорезмшахов мы не находим тюркских имен). Решающее значение в выборе везира имели владение арабским и персидским языками, административные способности, знание правил придворного этикета, а не родовая принадлежность» [Буниятов, 1986, с. 94]. Однако при этом среди дворцовых и государственных должностей существовали и такие, особенно при хорезмшахах Ала ад-Дине Мухаммаде и Джалал ад-Дине Манкбурны, которые занимали преимущественно выходцы как раз из тюркской среды. Так, сам З.М. Буниятов отмечает, что «как правило, хаджибами становились представители тюркской знати. Хаждиб докладывал хорезмшаху о делах, касающихся самого повелителя, следил за соблюдением церемониала. У хорезмшаха могло быть несколько хаджибов, они выполняли самые важные поручения султанов и повсюду сопровождали их» [Буниятов, 1986, с. 98]. В качестве примера можно вспомнить эпизод из сочинения ан-Насави о хорезмшахе Джалал ад-Дине Манкбурны: «По просьбе посла он указал, чтобы Бадр ад-Дин Тутак ибн Инандж-хан, личный хаджиб (хаджиб ал-хасс) и военный наместник (аш-шихна) дивана, находился как свидетель при после, пока не будет возвращено все взятое имущество» [ан-Насави, 1973, с. 206]. Со своей стороны, хотелось бы отметить, что на должность хаджиба хорезмшахи, по крайне мере начиная с Ала ад-Дина Мухаммада, предпочитали назначать не только выходцев из тюркских кочевых племен, но и перешедших к ним на службу подданных соседних государственных образований. Здесь наиболее ярким примером будет Барак, который достиг не только должности хаждиба, но и, воспользовавшись временным безвластием в Иране после нашествия Чингиз-хана в пределы Хорезмийского государства, сумел захватить отдельный регион, Керман, и создать там собственную династию атабеков. «Первым из них (атабеков Кермана – прим. авт.) был хаджеб Барак, бывший эмиром Гур-хана кара-китаев: он и брат его Таянку носили звание эмиров улуса. В то время, когда хорезмшах Мухаммад на территории кара-китаев одержал ряд побед, хаджеб Барак вместе с другим братом, по имени Хамид, поступили на службу к хорезмшаху и под сенью его государства свои титулы приумножили» [Natanzi, 1957, s. 23]. У Джувейни мы встречаем схожие сведения об этой исторической личности: «Барак-Хаджеб и его брат Хамид-Пур были родом из Кара-китая, и в правлении хана Кара-китая Хамид-Пур участвовал в нескольких посольствах к султану. Когда же был захвачен в плен Таянку из Тараза, они были доставлены вместе с ним и добились успехов на службе у султана: Хамид-Пур со временем стал эмиром, а Барак стал Хаджебом» [Джувейни, 2004, с. 339]. Относительно звания «эмира улуса», так же как и о региональных тюркских правителях внутри Хорезмийского государства, мы подробно расскажем ниже.

Еще одной важной придворной должностью, которую в большинстве случаев, по данным арабо-персидских источников, занимали именно представители кочевых тюркских племен, была должность «амир-ахура» - «конюший, в ведении которого находились

верховые лошади султана» [Буниятов, 1986, с. 99]. В данном случае уверенность, с которой данная должность ассоциируется с выходцами из тюркской среды, базируется на упоминаемых в источниках именах амир-ахуров. В частности, ан-Насави приводит сведения о такой должности при дворе Джалал ад-Дина Манкбурны: «Он (т.е. Джалал ад-Дин Манкбурны – прим. авт.) отправил к Гийас ад-Дину амир-ахура Одека, одного из самых хитрых своих придворных…» [ан-Насави, 1973, с. 141]. При этом тот же источник упоминает, что занимающий данную должность придворный активно участвовал и в военной деятельности; в частности, упомянутый Одек был одним из участников сражения с монголами при Исфахане в 1227 г. и сумел выжить в этом сражении: «Но ханы и эмиры, командиры левого крыла, стояли твердо, до самой смерти оставаясь верными своей клятве. Из них остались в живых только трое: Куч Тегин Пахлаван, хаджию ал-хасс Ханберди и эмир ахур Одек» [ан-Насави, 1973, с. 184]. Можно также отметить и амир-ахура хорезмшаха Ала ад-Дина Мухаммада, Кочидека, информацию о котором также можно найти в труде ан-Насави: «из известных воинов и прославленных героев в этот день погибли за веру Саркангу и эмир-ахур Кочидек, равные по славе в ударах мечом и копьем» [ан-Насави, 1973, с. 113]. Здесь опять же речь идет о сражении, в данном случае с монгольскими войсками, в котором принимают участие различные представители тюркских кочевых племен, в том числе и занимающий должность амир-ахура, Кочидек. Таким образом, как уже говорилось выше, исходя из известных нам имен, должность амир-ахура также была преимущественно занята выходцами из тюркской среды, при этом занимавшие ее люди выполняли как военные, так и, как в случае с Одеком, дипломатические функции.

Еще одним важным сюжетом, который необходимо отметить при описании правления хорезмшаха Ала ад-Дина Мухаммада, становится расширение полномочий и управленческих возможностей, которыми обладали в его правление выходцы из среды тюркских кочевых племен. Здесь самым ярким примером станет судьба Инал-хана или Гаир-хана, который, а для нашего исследования это наиболее важный момент, был наместником Отрара и прилегающих территорий. Ан-Насави предоставляет нам по этому поводу любопытные сведения: «Здесь с двадцатью тысячами всадников находился Инал-хан, сын дяди – по матери – султана, управлявший Отраром в качестве на'иба султана» [ан-Насави, 1973, с. 79]. Таким образом, Инал-хан не просто был наместником города, но и располагал значительными военными силами, позволявшими ему вести себя достаточно самостоятельно по отношению к центральной власти. Недаром целый ряд источников при описании Отрарского инцидента, а именно ограбления монгольского каравана и убийства купцов в Отраре, указывает на то, что приказ об убийстве отдавал именно Инал-хан в обход решения хорезмшаха Ала ад-Дина Мухаммада или вовсе без его ведома. «Его низкая душа стала жадной к имуществу этих купцов, и с этой целью он написал султану письмо лжеца и лицемера, утверждая, что „эти люди, прибывшие в Отрар в одежде купцов, вовсе не купцы, а лазутчики, высматривающие то, что не касается их деятельности. Когда они остаются наедине с кем-либо из простонародья, они угрожают ему и говорят: ’Вы в полном неведении относительно того, что творится вокруг вас; скоро к вам придет такое, против чего вы не устоите’ – и далее в том же духе”. Тогда султан разрешил ему принять меры предосторожности к ним, пока он не примет своего решения. Когда он отпустил узду Инал-хана, так как разрешил принять подобные меры, тот преступил все пределы [дозволенного], превысил свои права и схватил [этих купцов]. После этого от них не осталось следа и не слышно было вестей. А упомянутый (Инал-хан) единолично распорядился тем многочисленным добром и сложенными товарами, из злого умысла и коварства. „И последствия его дела оказались убытком”» [ан-Насави, 1973, с. 79-80]. Справедливости ради следует отметить, что в целом ряде арабо-персидских памятников указывается на то, что приказ об убийстве купцов отдавал все-таки сам хорезмшах Ала ад-Дин Мухаммад. «Когда эта группа [купцов] прибыла туда (т.е. в Отрар – прим. авт.), он послал к хорезмшаху, сообщая ему о прибытии и извещая о том, что они имеют ценного. Хорезмшах послал к нему [гонца], приказывая убить их, забрать все, что у них было и отправить к нему» [ал-Асир,

2006, с. 348]. Конечно, есть и более интересные варианты описания данного события, приведем лишь один из них: «Неожиданно группа из купцов Чина и Хота с товарами тех государств, с шелковыми тканями и тому подобным со стороны Чингиз-хана прибыли в город Отрар, который является пограничным городом владений хорезмшаха. Вали Отрара об этих событиях отправил весть хорезмшаху, от него хотел получить приказ, чтобы знать каким образом с ними поступить. Фирман шаха по этому поводу был следующего содержания, что имущество их забрать, а их самих предварительно изуродовав лица обратно в города их отправить» [Ibn Battuta, 1969–1970, J. 1, s. 415]. Последний вариант описания в той части, где говорится о приказе изуродовать купцов, практически нигде в арабо-персидских исторических текстах более не встречается, однако и здесь мы видим указание на фирман самого хорезмшаха о разграблении каравана.

Несмотря на то противоречие в источниках относительно действий Инал-хана, которое было нами указано выше, его положение в тогдашней государственной элите Хорезма и возможности говорят нам о том, что ситуация в государстве в годы правления Ала ад-Дина Мухаммада существенно изменилась. Представители тюркской военной элиты, по сути, становятся локальными полунезависимыми правителями, если учитывать данные ан-Насави, имевшими все возможности действовать вопреки центральной власти. Выше нами приводился отрывок из текста ан-Насави, где объясняется, что после событий в Отраре хорезмшах отказался выдать Инал-хана монголам, поскольку «большая часть войск и эмиры высоких степеней были из родни Инал-хана. Они составляли узор его шитья и основу его узла и распоряжались в его государстве» [ан-Насави, 1973, с. 80]. Именно здесь и кроется ответ на вопрос, как такое могло произойти: чрезвычайное усиление матери Ала ад-Дина Мухаммада приводит к тому, что представители тюркской военной элиты, ориентирующиеся на нее, занимают ключевые посты в военной системе Хорезма и становятся неподвластны самому хорезмшаху. В связи с этим вполне логичны выводы исследователей о том, что в Хорезмийской державе в годы правления Ала ад-Дина Мухаммада складывается фактическое двоевластие: «Абсолютным владыкой считался хорезмшах и султан Ала ад-Дин Мухаммад, но в действительности Ала ад-Дин оказался в полном подчинении у своей матери Теркен-хатун, которая во внутренних и во внешнеполитических делах государства была, можно сказать, вторым государем, а в некоторых вопросах противостояла своему сыну» [Буниятов, 1986, с. 128]. У ан-Насави мы находим описание того, как усиливалась в государстве власть Теркен-хатун и ее эмиров: «Когда власть перешла к султану Мухаммаду по наследству от его отца Такиша, к нему примкнули племена Емек и соседние с ними. Благодаря им умножились силы султана, а он возвысил их положение. По этой причине Теркен-хатун и хозяйничала в государстве, и как только султан захватывал какую-нибудь страну, обязательно выделял там для ее приближенных важную область» [ан-Насави, 1973, с. 87]. Таким образом, сложившееся двоевластие фактически подрывало военные и политические силы Хорезма, ослабляя центральную власть перед лицом любой внешней угрозы.

При этом нельзя не отметить, что и внутри тюркской военной и политической элиты существовали собственные разногласия, которые не позволили ей сплотиться даже в годы монгольского вторжения в пределы Хорезмийской державы. Речь идет о конфликте между Теркен-хатун и старшим сыном Ала ад-Дина Мухаммада, Джалал ад-Дином Манкбурны, причины которого нами были подробно проанализированы в предшествующей работе [Тимохин, Тишин, 2016]. Отметим лишь, что указанное противостояние внутри тюркской элиты Хорезма привело к тому, что Ала ад-Дин Мухаммад вынужден даже накануне монголо-хорезмийской войны передать престол младшему сыну, ставленнику Теркен-хатун Кутб ад-Дину Узлаг-шаху, вместо старшего сына, Джалал ад-Дина Манкбурны [Бартольд, 1963, т. 1, с. 500; Буниятов, 1986, с. 129]. А когда последний в 1220-м г. все-таки получит власть из рук собственного отца в самый разгар монголо-хорезмийской войны, эмиры Теркен-хатун даже в этой сложной ситуации предпочтут не подчиняться наследнику престола и, более того, составят против него заговор: «Несмотря на согласие самого бывшего

наследника (т.е. Узлаг-шаха), тюркские эмиры не могли примириться с такой переменой; во главе недовольных встал Туджи-Пехлеван, носивший титул Кутлуг-хана… Был составлен заговор с целью захватить или убить Джалал ад-Дина» [Бартольд, 1963, т. 1, с. 500]. У Казвини мы находим описание этого события: «Эмиры Хорезма разделились в этом вопросе поровну. Джалал ад-Дин не мог больше оставаться здесь, ни сопротивляться этим эмирам; он направился к Газне. Его братья – Азерлаг и Ак-султан отправились в погоню за ним, чтобы вернуть обратно; но не смогли его догнать. Затем эти два брата выступили с войсками против монголов и были убиты» [Kazvini, 1903, vol. 1, p. 420]. В результате, в годы правления Ала ад-Дина Мухаммада выходцы из кочевых тюркских племен не только заняли важнейшие посты в военной системе Хорезма и также обладали высоким положением в административной системе этого государства, но и были во многом независимы от центральной власти. Однако внутри тюркской военной и политической элиты противоречия были настолько существенны, что не позволили им объединиться даже в период войны с монголами, что во многом следует считать важнейшей причиной победы последних и разгрома Хорезмийской державы.

Подводя итоги, хотелось бы остановиться на следующих, с нашей точки зрения, важнейших аспектах. Прежде всего, кочевые тюркские племена Дешт-и Кыпчака переходят на хорезмийскую службу, начиная с правления хорезмшаха Ил-Арслана, а их лидеры занимают высокое положение изначально лишь в военной системе Хорезма. При Ала ад-Дине Текише процесс миграции и перехода тюркских кочевых племена на службу хорезмшаху принимает массовый характер, а сам Текиш женится на дочери одного из ханов. При этом в годы правления Ала ад-Дина Текиша в отношении занимаемых тюрками должностей у нас нет качественно новых сведений – это по-прежнему преимущественно военные должности, хотя, судя по всему, количественно тюрок в военной системе Хорезма в этот период становится существенно больше. Однако уже в годы правления Ала ад-Дина Мухаммада представители кочевых тюркских племен Дешт-и Кыпчака занимают должности в административном аппарате Хорезма, что не мешает при этом им участвовать в военных кампаниях Хорезма. Подобная практика будет присутствовать и в государстве Джалал ад-Дина Манкбурны уже после монгольского нашествия. Качественным изменением в положении тюркской элиты в годы правления Ала ад-Дина Мухаммада следует признать усиление положения матери хорезмшаха, Теркен-хатун, что приведет к появлению региональных тюркских наместников, ведущих полунезависимую политику в подчиненных им регионах. Также это станет причиной установления фактического двоевластия и ослабления Хорезмийской державы. Все это на фоне глубочайшего раскола внутри тюркской военной и политической элиты Хорезма станет одним из важнейших факторов, обеспечивших победу монголов в годы монголо-хорезмийской войны 1219-1221 гг. Ни Ала ад-Дин Мухаммад, ни Джалал ад-Дин Манкбурны не смогли объединить перед лицом общей угрозы всю существовавшую на тот момент тюркскую элиту, что повлекло за собой указанные последствия. Таким образом, именно кочевые тюркские племена Дешт-и Кыпчака и их представители в военной и политической системе Хорезма были изначально важнейшим фактором успеха этой державы в деле борьбы за «наследство» Сельджуков и в становлении ее как ведущего государства исламского Востока начала XIII века, а затем – важнейшим дестабилизирующим фактором в годы монгольского нашествия.

Литература

1. ал-Асир ибн. «Ал-Камил фи-т-тарих» «Полный свод по истории». Избранные отрывки / Пер. П. Г. Булгаков, Ш. С. Камолиддин. Ташкент, 2006. 560 с.
2. Ахинжанов С.М. Из истории взаимоотношений кипчаков и Хорезма в 12 – начале 13 века. Алма-Ата,1973. 136 с.
3. Ахинжанов С.М. Кипчаки в истории средневекового Казахстана. Алмааты, 1995. 294 с.

4. Ахинжанов С.М. Кипчаки и Хорезм в канун монгольского нашествия // Вестник АН КазССР. 1970. № 1. С. 23–34.
5. Бартольд В.В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия // Бартольд В.В. Сочинения. М., 1963. Т. 1. 760 с.
6. Буниятов З.М. Государство Хорезмшахов-Ануштегинидов 1097–1231 г. М., 1986. 247 с.
7. Джувейни. Чингиз-хан. История завоевателя мира / Пер. Е. Е. Харитонова. М., 2004. 690 с.
8. Ан-Насави. Жизнеописание султана Джалал ад-Дина Манкбурны / Пер. З. М. Буниятова. Баку, 1973. 450 с.
9. Рашид ад-Дин. Сборник летописей: в 3 т. / Пер.: А.К. Арендс, Ю.П. Верховский, О.И. Смирнова, Л.А. Хетагуров. М., 2002. Кн. 1–2.
10. Садр ад-Дин ʻАли ал-Хусайни. Ахбар ад-Даулат ас-Селджукиййа (Зубдат ат-таварих фи ахбар ал-умара ва-л-мулук ас-селджукиййа) («Сообщения о Сельджукском государстве». «Сливки летописей, сообщающих о сельджукских эмирах и государях») / Пер. З.М. Буниятов. М., 1980. 519 с.
11. Тимохин Д.М. Тишин В.В. Хорезм, восточные кыпчаки и Волжская Булгария в конце XII – начале XIII вв. // Золотая Орда в мировой истории. Коллективная монография. Казань: Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ, 2016. С. 25-41.
12. Baha ad-Din Mohammad ibn al-Bagdadi. at-Tavassul ila at-Tarassul («Книга искания доступа к деловой переписке»). Tehran, 1937. 389 s.
13. Ibn Battuta. Safar nama-i Ibn Battuta / Tard. Muhammad Ali Muvvahid. Tehran, 1969–1970. J. 1–2.
14. Dabir Seyagi M. Sultan Djalal ad-Din Horezmshah. Tehran, 1977. 210 p.
15. Djuveini. The History of the World-conqueror / Trad. J. A. Boyle. Manchester, 1959. Vol. 1-2.
16. Djuzdjani. Tabakat-i Nasiri / Trad. H.G. Raverty. Calcutta, 1960. Vol. 1–2.
17. *Golden P.B. Cumanica II: The Ölberli (Ölperli): The Fortunes and Misfortunes of an Inner Asian Nomadic Clan // Archivum Eurasiae Medii Aevi. 1986 [1988]. T. VI. P. 5–29.*
18. Histoire des seldjoucides de l'Iraq par al-Bondari d'apres Imad ad-din al-Katib al-Isfahani // Recueil de textes relatifs a l'histoire des seldjoucides. / Ed. M. Th. Houtsma. Vol. II. Leiden, 1889. 324 s.
19. Horst H. Die Staatsverwaltung der Grosselğüqen und Horazmsahs (1038–1231). Wiesbaden, 1964. 192 p.
20. Ibn Isfandiyar. Tarih-i Tabaristan. Tehran, 1941. J.1-4.
21. Kafesoglu I. Harezmsahlar devleti tarihi (485–617/1092–1229). Ankara, 1956. 420 p.
22. Kazvini, Hamdallah. Tarihi gouzide / Trad. Y. Le Strange. Paris, 1903. Vol. I. 732 p.
23. Khondamir. Tarih-e habib. Tehran, 1954. J. 1–3.
24. An-Nasavi Nur ad-Din Muhammad Zeydary. Sirat-e Jelal-e ad-Din ya Tarih-e Jelali / Trans. Mohammad Ali Naseh. Tehran, 1945. 354 s.
25. Natanzi Moin ad-Din. Montahab at-tavarih-e Moini. Tehran, 1957. 492 s.
26. Nishaburi Zahir ad-Din. Salguk-name. Tehran, 1953. 100 s.
27. Ravandi Mohammad. Rahat as-sudur va ayat as-sorur. Tehran, 1955. 575 s.
28. Ṭabakāt-i-Nāṣirī: A General History of the Muhammadan Dynasties of Asia, Including Hindustan; from A.H. 194 (810 A.D.) to A.H. 658 (1260 A.D.) and the Irruption of the Infidel Mughals into Islam / by Minhāj-ud-dīn, Abū-'Umar-i-ʻUsmān; transl. from original Persian manuscripts by H.G. Raverty. London, 1881. Vol. I. xlix, 518 p.

THE REPRESENTATIVES OF THE TURKIC NOMADIC TRIBES IN THE STATE AND MILITARY SYSTEM OF KHOREZM OF XII – BEGINNING OF XIII CENTURY

Timokhin D.M.
Institute of Oriental Studies RAS, Moscow, Russia, horezm83@mail.ru

Abstract. The article is devoted to the history of formation of the Turkic military and political elite of Khorezm state during the rule of khorezmshakhs Il-Arslan, Ala ad-Din Tekish and Ala ad-Din Muhammad. The author in detail analyzes information from the Arab-Persian sources not only about the history of the inclusion of the nomadic Turkic tribes of Dasht-i Kipchak into the composition of Khorezm, but also features of the distribution of military and administrative posts among the Turkic nomadic aristocracy. The evolution of this phenomenon and the changes that these rulers brought to the position of the Turkic elite in Khorezm are studied in detail. The greatest attention because of the peculiarity of the case of the historical sources given to the board of Khorezmshah Ala ad-Din Muhammad, and his eldest son, Jalal ad-Din Mankburni. The paper also presents an analysis of the key positive and negative aspects of the functioning of the Turkic military and political elite of Khorezm on the eve of the Mongolian invasion and the impact of this factor as a result of the Mongol-Khorezmian war of 1219-1221.
Keywords: Khorezm, Arab-Persian sources, Turks nomadic tribes, military and administrative positions, Il-Arslan, Ala ad-Din Tekish, Ala ad-Din Muhammad, Dasht-i Kipchak.

ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ КАШКАЙСКИХ ПЛЕМЕН

Аверьянов Ю.А.
ИВ РАН, Москва, Россия, avanta_yuriy@mail.ru

Аннотация. Статья посвящена социальной структуре конфедерации кашкайских племен, живущих в иранском остане Фарс и в соседних областях. Указывается на особое положение правящего клана ильханов Шахилу, фактически превратившегося в княжескую династию. Несмотря на смешение с индоиранскими племенами, кашкайцы продолжают считать себя «тюрками» и гордятся наследием кочевой культуры. Отношения кашкайцев с соседними полукочевыми племенами были довольно напряженными. Ильханы кашкайцев брали на себя функции судебной и религиозной власти над соплеменниками. Главы отдельных племен как правило были выборными. Власть ильханов поддерживалась воинским кланом амале. Племена кашкайцев на протяжении истории дробились и формировались заново, принимали различные названия, что затрудняет изучение их происхождения.
Ключевые слова: кашкайцы, племенная структура, аристократия, ильханы, правящий клан, шиизм, суфии, дружина.

Во главе конфедерации кашкайских племен, населяющих провинцию (остан) Фарс на юге Ирана, стояли и стоят потомки Амира Гази Шахилу, военачальника эпохи шаха Исмаила Сафави (правил в 1502–1524 гг.). Основателем собственно конфедерации обычно считают его потомка Джани-агу, жившего в XVIII в. Правящий клан (или династия) ильханов Шахилу пользуется среди кашкайцев непререкаемым авторитетом. Правители кашкайцев всегда оставались открытыми для общения со своими соплеменниками, независимо от статуса последних. Персидская культура была для них чуждым явлением и предметом для насмешек в кругу «своих». Этим они отличались даже от соседних ханов Бахтиарии, заметно отдалившихся от своего народа [Beck, 1986, p. 24]. Кашкайцы проживают в глубине территории Ирана, вдали от границ с другими государствами, что способствовало их относительно мирному сосуществованию с доминирующим этносом (персами). В то же время, удаленность кашкайцев от столицы, Тегерана, позволяла им длительное время сохранять в неприкосновенности свой племенной уклад и относительную самостоятельность. Но их миграции между зимними пастбищами на побережье Персидского залива и летними пастбищами в горном массиве Загрос делали их зависимыми от властных структур Ирана, которые располагали возможностями перекрыть кашкайцам доступ к жизненно важным для них районам. Кашкайцы продолжают считать себя «тюрками», несмотря на то, что в их состав влилось достаточно много групп нетюркского происхождения: луров, курдов, лаков, арабов, цыган. Вместе с тем, кашкайцы не спешат сливаться с другими тюркскими народностями Ирана, часть из которых обитает в соседних провинциях. Для Иранского государства важнейшей задачей было держать кашкайцев в относительном подчинении, не нарушая при этом племенных вольностей. Однако, кашкайцы не были освобождены от налогов в пользу центральной власти, и эти налоги собирались самими верховными вождями (ильханами), которые выполняли некоторые функции государственных чиновников (обладая, в том числе, и судебной властью над племенными коллективами). Вряд ли можно рассматривать конфедерацию кашкайцев как самостоятельное княжество («вилайат-е Кашкаи»), хотя в отдельные периоды истории она приближалась к такому статусу [Beck, 1986, p. 29].

Своеобразные отношения складывались у кашкайцев с земледельческим оседлым населением, для которого они иногда выступали в роли защитников против произвола центрального правительства. Кашкайцам приходилось сталкиваться во время своих сезонных перекочевок и с другими племенными конфедерациями, в том числе, с объединением хамсе («пяти племен»), искусственно созданном государством для поддержания племенного

баланса в провинции Фарс. Сложные отношения складывались у кашкайцев и с их северо-западными соседями – лурами племенной области Кухгилуйе. С бахтиарской конфедерацией, располагавшейся к северу, отношения кашкайцев были, по большей части, натянутыми. Наконец, на побережье Персидского залива проживали разнородные племена даштистани, тангистани и дашти («пустынники»), часто соединявшиеся с кашкайцами для борьбы против британского влияния (сильного в южной части Ирана вплоть до 1950-х гг.). Шиитское вероисповедание кашкайцев заставляло их признавать авторитет ведущих шиитских (исна-ашаритских) богословов, но это было скорее вынужденной политической мерой, так как ильханы сами не прочь были позиционировать себя в качестве религиозной инстанции для своих подчиненных [Beck, 1986, p. 33]. Становища кашкайцев представляли собой временные объединения патриархальных домохозяйств (как и у других огузских племенных групп). Во главе отдельных племен стояли выборные вожди (*калантар*), осуществлявшие взаимодействие с верховными вождями.

Самоназвание кашкайцев часто производят от тюркского слова, означающего «беглецы». Предполагается, что их предки убежали в Фарс в XIV в., скрываясь от преследований Тимура. Иногда их связывают с туркменами-иомудами, сопровождавшими правителей из династии Салгуридов (правила в 1148–1284 гг.) и заселившими Фарс уже в конце XII столетия. Есть даже версия их происхождения от монголоязычных (или тунгусоязычных) каракитаев [Oberling , 1974, p. 27]. Другая версия настаивает на переселении кашкайцев из Кашгара уже в эпоху монгольских завоеваний [Curzon, 1892, p. 112]. Среди кашкайцев присутствуют такие племенные подразделения как аккойунлу, каракойунлу, афшары, байаты, шабанкара (последнее – курдского происхождения) и другие. При этом правящий клан Шахилу мог первоначально вообще не входить в кашкайский союз племен. Сами члены этого клана претендуют на происхождение от знаменитого султана туркменов аккойунлу Узун-Хасана (ум. 1478 г.), чьим третьим сыном якобы был их предводитель Амир Гази, который придерживался суфийских взглядов. Гробница Амира Гази близ Гандомана до сих пор является местом паломничества дервишей. Несомненно, члены клана Шахилу служили сафавидским шахам в качестве преданных мюридов (отсюда и их прозвище *шахилу*, означающее сторонников шаха). Но имя кашкайцев не встречается в списке племен, подчиненных Сафавидам [Tadhkirat al-Muluk, 1943, p. 193-195]. Лишь при шестом поколении потомков Амира Гази выдвигается вождь Джани Мохаммад-ага, ставший основателем кашкайской конфедерации. Его сыновья Исмаил-хан и Хасан-хан продолжили дело защиты владений Сафавидов от новых завоевателей – афганцев. Они участвовали затем в походе Надир-шаха Афшара (правил в 1736–1747 гг.) в Индию в 1739 г. Оба хана пострадали от гнева могущественного завоевателя: Исмаил был ослеплен, а Хасан скончался от ран в результате наказания со стороны Надира (оскопления). Несмотря на это, новый властитель Ирана Карим-хан Зенд (1756–1779 гг.) назначил Исмаил-хана *ильбеги* – то есть, главой всех племен областей Кухгилуйе, Фарса и Исфахана [Beck, 1986, p. 49-50]. После него в 1779 г. этот пост унаследовал его сын Джани-хан, однако уже с титулом ильхана (*ильхани*). Он правил кашкайцами до 1823 г. В последующие два столетия традиционная структура кашкайского этноса (конфедерации, *иль*) не претерпела значительных изменений, сохраняя определенную устойчивость до начала XXI в. [Beck, 1986, p. 163].

Семейство Шахилу занимало особое положение среди аристократических кланов (*тире*) кашкайских племен, гораздо выше остальных ханских родов. Налогообложение находилось в руках ханов и было, в целом, необременительным (налог скотом). У ханов имелись собственные земельные владения, домены, обеспечивающие их нужды и полученные разными путями (за службу государства, приобретенные за деньги, наследственные и конфискованные). Пастбища кашкайцев были малодоступны для чужаков. Сложившаяся социальная структура конфедерации помогла кашкайцам сохранить многие культурные особенности, препятствуя их поглощению со стороны более многочисленного оседлого населения.

Отдельные кланы кашкайцев во главе со старейшинами (*кадхуда*) объединяются в племена (*тайефе*), возглавляемые ханскими родами. Всего насчитывается 14 племен, из которых пять по численности выделяются среди других (по 50 тысяч человек в каждом). Мелкие племена в среднем насчитывают до 10 тысяч человек каждое. Кланы внутри каждого из племен, в принципе, считаются и являются на деле равными между собой («племенная демократия»). Их принадлежность к тому или иному племени определяется благодаря наличию тесных традиционных связей с тем или иным предводителем-калантаром. Племенной лидер защищает интересы своего племени, прежде всего его пастбища и права на земельные участки. Племя амале («трудящихся») фактически представляло собой личную дружину ильханов. Часть из членов этого племени (примерно пятьсот семейств) постоянно проживала поблизости от ставки ильханов и носила наименование *довребар* («те, кто вокруг ставки»). Ханы племени даррешури ведут свое происхождение от Хайдара Минбаши, который был одним из лидеров религиозно-политического объединения кызылбашей во времена шаха Аббаса Первого (1587–1629 гг.). Дед Хайдара Аллахкули был простым бахтиаром со смуглой кожей, зависимым человеком вождя клана надерлу. Он вступил в тайную связь с дочерью своего господина. Однажды полил необычайно сильный дождь, и Аллахкули накрыл ханскую дочь, оказавшуюся вдали от шатра, войлочным плащом, чтобы она не промокла. Ее отец приказал своему сыну прекратить разговор слуги с дочерью вождя, а тот по ошибке понял приказание иначе и зарезал свою сестру. Аллахкули после этого бежал из становища, искал убежища в святилище и, в конце концов, оказался на службе у кызылбашей, где он проявил себя как смелый воин. Впоследствии он был назначен управляющим в свою родную местность. До сих пор члены клана надерлу считают себя выше по происхождению, чем ханы племени даррешури, в которое они входят, и отказываются именовать последних вождями. Вообще это племя состоит из 44 кланов, насчитывающих по нескольку тысяч человек каждый [Beck, 1986, p. 181-182].

Племя кашкули получило наименование от *кашкуля* – чаши для подаяния, носимой странствующими суфиями. Раньше они проживали в районе Керманшаха и, скорее всего, были связаны с курдским племенем кальхоров, но после переселения в Фарс при Карим-хане стали «тюрками». Ильхан кашкайцев Джани-хан, проезжая через земли кальхоров, увидел прекрасную девушку из этого племени по имени Назлы, спасшую на его глазах теленка из бурного водоворота. Хан послал сватов к братьям смелой девушки и взял ее в жены. Сами братья были им назначены вождями племени кашкули. В дальнейшем племя раскололось на три части: «больших» кашкули, «малых» кашкули и карачахи. В целом это племя также насчитывает от 40 до 50 различных кланов.

Племя шиш болуки («шесть подразделений») иногда считается происходящим от народности халаджей, проживающей в окрестностях Кума, или же от передовых отрядов монголов Чингис-хана. Они жили в Фарсе еще до прихода туда правящего семейства Шахилу. Племя шиш болуки в наши дни состоит из 20 более значительных кланов (*бонку*) и 20 менее значимых. Также от халаджей происходит и племя фарсимадан («не знающие персидского языка»), которые в 1590 г. уже проживали в Фарсе, так как в это время они подняли восстание против сафавидского наместника [Фасаи, 1965, с. 124]. Племена сафихани и намади, по всей видимости, откололись от дружины-амале и сохраняют более тесные связи с администрацией ильханов. Часть племен могли сохранять верность прежним ханам, другие – искать себе новых предводителей. Те, кто был недоволен своими собственными племенными ханами, могли искать прибежища напрямую у ильханов всей конфедерации; такие группы обычно рассматриваются как часть дружины-амале.

Племя карачахи («черный колодец») отделилось от кашкули. Возможно, они также были связаны с Сафавидами и пришли в Фарс вместе с правящим кланом Шахилу [Christian, 1919, с. 50]. Это племя состоит всего из восьми кланов. «Малые» кашкули представляют собой смешение кланов разного происхождения: клан нафар считается тюркским, остальные – курдами, лурами, бахтиарами, лаками и т.д. Племя сафихани переселилось из Луристана и включает в себя десять кланов; племя намади – четыре клана. В кашкайскую конфедерацию

входят также отдельные небольшие племена различного происхождения – игдир, джафарбеглу, боллу, рахими, галлезан [Beck, 1986, p. 185].

Часть кашкайцев осела на землю в сельской местности и в городах, но продолжает поддерживать интенсивные или не очень интенсивные связи со своими полукочевыми сородичами. Среди оседлых кашкайцев выделяются абиварди (тюркские переселенцы из Хорасана, возможно, по происхождению афшары), которых, по их собственным словам, переселил в Фарс шах Надир. Часть абиварди по традиции занимается разъездной торговлей среди кашкайцев. Некоторые из них даже были личными коммерческими представителями семейства ильханов в Ширазе. Среди кашкайских племен действуют также и другие профессиональные группы (касты), как то: музыканты (*уса*, *ашег*), кузнецы (*ларгар*, *горбат*), пастухи верблюдов (*корош*, *джадд*), торговцы крупным рогатым скотом (*гавбаз*). Частично эти группы, вероятно, имеют индоарийское происхождение и в иерархии кашкайцев не занимают высокого места по сравнению с «настоящими» кочевниками. Короши говорят на белуджском языке и происходят из Белуджистана. Оседлое племя сорхи также фактически не входит в кашкайскую иерархию (происходят от луров). Племя кордшули отделилось от кашкайцев во времена шахов Пехлеви (Пахлави) и подчинилось конфедерации хамсе. Но сами кашкайцы продолжали считать членов этого племени тюрками и «настоящими» кашкайцами по происхождению [Beck, 1986, p. 187]. Однако среди самих кордшули больше распространен в настоящее время лурский язык.

Крестьяне, обрабатывающие земли кашкайских ханов (*райат-е кашкаи*), не будучи членами кашкайских племен, пользуются правом защиты со стороны последних. Они предупреждали кашкайских предводителей о передвижениях правительственных войск, за что получали права на покровительство. Общее количество земледельцев Фарса, переданных под управление кашкайских ильханов, век назад превышало сто тысяч человек [Sykes, 1930, p. 478]. Эти связи сохраняются между кашкайцами и оседлыми группами земледельцев и поныне. Иногда они даже заключают межнациональные браки, что способствует интеграции полукочевников.

Ильханы кашкайцев считались носителями таинственной благодати (*барака*), передаваемой по наследству. С божьей помощью они могли исцелять больных. Их способности по управлению племенами, улаживанию конфликтов, их мастерство в охоте и в стрельбе также объяснялись наличием некой харизмы. Старая одежда ильханов считалась целительной. Места прежних стоянок (камни, поддерживавшие палатки; пепел из очага) правителей почитались как священные. Сами члены клана Шахилу часто позиционировали себя как суфиев, обладающих высокими духовными качествами [Beck, 1986, p. 189-190]. Они сражались против тирании и деспотизма иранских шахов и многие из них заслужили ореол мучеников. Шахилу не отделяли себя от рядовых кашкайцев, считая их и себя частью одного народа, и не отождествляли себя с персидской аристократией. Внутри правящего семейства никогда не происходило кровопролитных стычек, в отличие, скажем, от семейства бахтиарских ильханов. Клан Шахилу в целом старался придерживаться эндогамии и не родниться с другими кашкайскими племенами, сохраняя свою «избранность». Если приходилось брать жен со стороны, то Шахилу ограничивались лишь одним ханским семейством «больших» кашкули. Некоторые из женщин Шахилу вообще никогда не выходили замуж, чтобы не уронить свой социальный статус. Даже Мохаммаду Реза-шаху было отказано в руке дочери ильхана кашкайцев. Все мужчины клана имели право на титул хана, все женщины именовались *биби* («княжна», «царевна»). Матери, старшие жены и старшие сестры ильханов пользовались большим авторитетом (они имели свои личные печати) и часто вмешивались в дела управления. Многие из них прекрасно владели оружием и искусством верховой езды. Власть передавалась в ханских семействах только по мужской линии. Вожди отдельных племен и их семейства не обладали харизматической властью, в отличие от клана Шахилу, чье положение среди кашкайцев было уникальным.

Литература

1. Фасаи Х. Фарснама-йе Насери. Дж.-е доввом. Техран, 1965 (репринт издания 1896 г.) (на перс. яз.).
2. Beck L. The Qashqa'i of Iran. New Haven and London: Yale University Press, 1986.
3. Christian A.J. A Report on the Tribes of Fars. Simla: The Governement Monotype Press, 1919.
4. Curzon G.N. Persia and the Persian Question. Vol. II. New York: Barnes and Noble, 1892.
5. Oberling P. The Qashqa'i nomads of Fars. The Hague: Mouton, 1974.
6. Sykes P.M. A History of Persia. Vol. II. L.: MacMillan and Co, 1930.
7. Tadhkirat al-Muluk: A manual of Safavid Administration. Ed. and trans. by V. Minorsky. Cambridge: E.J.W. Gibb Memorial Trust, 1943.

FEATURES OF THE TRADITIONAL SOCIAL STRUCTURE OF QASHQAI TRIBES

Aver'yanov Yu.A.
Institute of Oriental studies RAS, Moscow, Russia, avanta_yuriy@mail.ru

Abstract. The article considers the social structure of the confederation of Qashqai tribes living in the Iranian province of Fars and in neighboring areas. It indicates the special position of the ruling clan Ilkhanov Shahilu, who in fact turned into a princely dynasty. Despite the confusion with the Indo-Iranian tribes, the Qashqais continue to consider themselves "Turks" and are proud of the legacy of nomadic culture. Relations between the Qashqais and the neighboring semi-nomadic tribes were rather tense. Ilkhans of the Qashqais assumed the functions of judicial and religious power over their fellow tribesmen. The heads of individual tribes have been generally elected. The authority of the Ilkhans was supported by the military clan of the Amale. The tribes of the Qashqais throughout history have been fragmented and formed as new tribes, taking different names that makes it difficult to study their origins.
Key words: Qashqais, tribal structure, aristocracy, ilkhan, ruling clan, Shiism, Sufis, military corpus.

СЛУЖИТЕЛИ КУЛЬТА У КОЧЕВНИКОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В ЭПОХУ ПОЗДНЕЙ ДРЕВНОСТИ

Дашковский П.К.
АлтГУ, Барнаул, Россия, dashkovskiy@fpn.asu.ru

Аннотация. В статье на основе письменных и археологических источников рассматривается возможность выявления в социальной структуре кочевых народов Центральной Азии эпохи поздней древности категории священнослужителей, которые более профессионально были включены в религиозную сферу. При этом совершение основной массы культовых действий, прежде всего обрядов погребально-поминального цикла, производилось главами больших семей и родов.
Ключевые слова: кочевники, Центральная Азия, служители культа, поздняя древность.

В последние годы проблема существования служителей культа в кочевых обществах Южной Сибири и Центральной Азии в эпоху поздней древности, включающей скифо-сакский и хуннуско-сяньбийско-жужанский периоды, все активнее обсуждается в номадологии. Во многом импульс изучению этой проблемы в конце XX в. был задан исследованиями элитных комплексов пазырыкской культуры на плато Укок на Алтае, а также дискуссии, развернувшейся после публикации в 1996 г. в материалах международной конференции «Жречество и шаманизм в скифскую эпоху» статьи В.Ю. Зуева [1996] «Научный миф о савроматских жрицах». Размышляя об историографической ситуации вокруг вопроса о жрицах у савроматов, а в широком контексте исторических аналогий и о служительницах культа у других кочевых народов скифской эпохи, ученый указал, что «признанные многими учеными гипотезы существуют только благодаря силе и авторитету научной традиции» [Зуев, 1996, с. 54–55]. Историографический и методологический аспекты возникшей дискуссии более подробно рассмотрены автором в отдельном исследовании [Дашковский, 2011]. В этой связи следует только отметить, что дискуссия относительно наличия или отсутствия священнослужителей у кочевников Евразии скифо-сакского периода разделила исследователей на два лагеря. По нашему мнению, такая социальная группа как служители культа (священнослужители) стала формироваться у кочевников Центральной Азии в скифо-сакский период, а в последующий хуннуско-сянбийско-жужанский период эта тенденция продолжила свое развитие. Для обоснования данного утверждения в рамках представленной работы планируется рассмотреть имеющийся спектр письменных и археологических источников, отражающих особенности функционирования данной социальной группы в пазырыкском обществе, а также у хунну (сюнну), сяньби и жужаней. Кроме того, планируется затронуть вопрос терминологической корректности использования терминов «жрец», «шаман», «маг», «колдун» и т.п. в отношении лиц, занимавшихся религиозной практикой в кочевых обществах Центральной Азии.

Несмотря на отсутствие специальных работ по данной проблеме, тем не менее, ряд отечественных и зарубежных ученых в разной степени касались ее рассмотрения, прежде всего, в отношении «пазырыкцев» Алтая. Еще в середине XX в. Ф. Ханчар [1952] высказал предположение о том, что отправление религиозных обрядов у «пазырыкцев» совершалось специальной категорией лиц – шаманами. В качестве подтверждения своей идеи он указывал на отдельные предметы погребального инвентаря мужчины из Второго Пазырыкского кургана. Среди таких вещей шаманской практике, по мнению исследователя, наиболее соответствовали бубен, струнный музыкальный инструмент, набор для ритуального курения конопли и ряд других находок [Hancar, 1952]. Однако с критической оценкой точки зрения F. Hancar выступил С.И. Руденко [1953; 1960]. Во-первых, археолог высказался против отождествления погребенного мужчины из Второго Пазырыкского кургана с шаманом, а также был, в целом, не согласен с «шаманистической окраской» всей пазырыкской религии.

Во-вторых, С.И. Руденко [1953, с. 339] полагал, что в обществе кочевников Горного Алтая еще не сложилось специального слоя священнослужителей – жрецов.

В то же время анализ логики рассуждений ученого позволяет предположить, что он признавал наличие достаточно развитой религиозно-мифологической системы у номадов, включающей в себя широкий спектр сложных обрядовых действий, в т.ч. бальзамирование [Руденко, 1953; 1960]. Вероятнее всего, непосредственное признание существования жреческого слоя в социальной организации номадов Горного Алтая осложнялось, с одной стороны, ограниченностью в то время источниковой базы для таких выводов. С другой стороны, подобное утверждение противоречило бы исходным методологическим принципам марксистского материалистического понимания истории и идеологическим установкам, постулирующим ограниченный уровень социального развития кочевников и отсутствие у них каких-либо форм государственности. Именно эти признаки «пазырыкского» социума позволяли вписать его в традиционную для советской науки того времени формационную теорию.

В последующее время идею Ф. Ханчар о существовании в «пазырыкском» обществе шаманов стали активно обсуждать С.С. Сорокин [1969; 1978], Ф.Б. Балонов [1987], Н.Ю. Кузьмин [1992], Г.Н. Курочкин [1993], Вл.А. Семенов [1996, с. 28], Н.А. Боковенко [1996] и ряд других исследователей. Ученые достаточно подробно изучили материалы раскопок из больших Пазырыкских курганов, что позволило отчасти расширить круг предметов, относимых к шаманским атрибутам.

В связи с рассмотрением данной темы важно обратить внимание на ряд идей Г.Н. Курочкина [1993]. Во-первых, он сделал предположение о том, что в «пазырыкском» обществе существовала теократическая (или сакрализованная) модель управления. Во-вторых, по мнению ученого, Пазырыкский могильник можно рассматривать как «корпоративное кладбище жрецов, поскольку на Алтае был размещен сакральный центр скифского мира». В данном случае следует особо отметить, что Л.Н. Курочкин не делал принципиальной разницы между дефинициями «жрец» и «шаман», используя их как синонимы. Между тем представители религиоведческой науки указывают не только на сходство этих категорий лиц, но и на их принципиальное различие, что обстоятельно рассмотрено автором в отдельном исследовании [Дашковский, 2011]. Не останавливаясь на анализе указанных дефиниций, отметим лишь то, что большинство отечественных религиоведов под понятием «жрец» понимают представителя «особой иерархической группы религиозной общины, профессионально» занятого «отправлением религиозных обрядов, сохранением и развитием религиозного знания» [Токарев, 1990, с. 561–562; Трофимова, 2006].

По мнению А.М. Хазанова, одна из основных функций жречества заключалась в обеспечении благосклонности высших сил по отношению ко всему социуму. Кроме этого, в обязанности священнослужителей входило идеологическое и мировоззренческое обоснование единства всех социальных групп населения, что должно было обеспечить его стабильное развитие [Хазанов, 1973; 1975]. При этом социальный статус жречества был обусловлен следующими факторами: 1) наличие представлений о данной группе как о посредниках между людьми и божественными силами, обладающими способностями вмешиваться в социокультурную жизнь общества и человека через общение с высшими существами; 2) определенная степень монополизации религиозно-магических знаний; 3) частичное участие в разных формах жрецов в распределении материального богатства общества; 4) отправление представителями этой группы судебно-карательных функций [Хазанов, 1975, с. 179]. Важно также обратить внимание, что жречество, как институт, слабо связано с другими социальными структурами и имеет тенденцию к закрытому характеру функционирования [Крадин, 1991б, с. 285].

Под вторым из рассматриваемых терминов – «шаман», в науке подразумевается человек, который способен вступать в непосредственный контакт с духами и оказывать на них влияние [Басилов, 1997; Токарев, 1990, с. 266–291]. Некоторые религиоведы также

отмечают, что шаман способен выполнять функции мага, знахаря, мистика, поэта и жреца [Элиаде, 1998, с. 17].

Следует отметить, что ряд зарубежных ученых высказывают мнение о теократическом характере власти в ранних государствах и, соответственно, о значительной роли в социальной структуре священнослужителей [см. обзор: Крадин, 1991а, с. 286]. Между тем, современные отечественные исследователи считают, что о теократии можно говорить только в случае полного контроля жречества над всеми административно-политическими процессами. Поэтому не стоит рассматривать простую сакрализацию власти или верховного правителя как теократию [Крадин, 1991б, с. 286; Крадин, 1991а, с. 306–307; Куббель, 1988; и др.].

При определении социального статуса и функций священнослужителей, безусловно, особую важность приобретают характер и структуры господствующей религиозно-мифологической системы и общий уровень социально-политического развития. Эти проблемы более обстоятельно рассматривались в работах многих исследователей. В данном случае важно указать, прежде всего, на то, что пазырыкская религия носила синкретический характер [Боковенко, 1996; Дашковский, 2011, с. 128-129; Тишкин, Дашковский, 2003; и др.], включая в себя, с одной стороны, блок индоиранских верований и обрядов, а с другой – общераспространенные элементы шаманизма, при условии широкого понимания этого термина как ранней формы политеизма. При этом нужно отметить, что у «пазырыкцев» данный компонент в структурном и содержательном отношении практически идентичен той форме, в которой он зафиксирован и у индоиранцев. Поэтому признание существования у кочевников «шаманов» автоматически ведет к утверждению шаманизма в качестве господствующей формы религии, что не совсем соответствовало исторической действительности. В этой связи использование слова «шаман» как социальной категории представляется неверным и в методологическом плане. Очевидно, понимая создавшуюся терминологическую сложность, некоторые исследователи в отношении кочевников скифской эпохи стали использовать понятие «жречество» [Могильников, 1997, с. 90–91; Шульга, 1999; Зуев, 1992, с. 132; Полосьмак, 2001, с. 279–281; Марсадолов, 2000; и др.]. Данный термин имеет более нейтральное по отношению к конкретным конфессиям содержание, что допускает его применение в определенных пределах.

Между тем нужно отметить, что категория «жречество» обычно используется в науке при характеристике конкретного социального института, о котором уже упоминалось выше. При этом существование такой структуры характерно для обществ, политическое устройство которых находится преимущественно на уровне не ниже ранней государственности. В данном случае важно лишь отметить, что номады Алтая, судя по имеющимся материалам, прошли в своем социально-политическом развитии стадию позднего вождества и встали на путь поиска формы раннегосударственного устройства [Тишкин, Дашковский, 2005]. В этой связи представляется более оправданным с методологической и культурно-исторической точек зрения использовать понятие не «жречество», а «служители культа» («священнослужители»).

Подтверждением того, что в кочевых обществах скифо-сакского периода жречество еще не сложилось в законченном виде как социальный институт, является и сложность выявления погребений людей данной группы. В археологическом отношении это проявляется в трудности обнаружить специфичные ритуальные предметы, которые подтверждали бы не факт их использования в обрядах (поскольку в определенном смысле все вещи из погребений носят ритуальный характер), а подчеркивали бы их сугубо религиозную значимость и принадлежность к атрибутам исключительно священнослужителей. Надо отметить, что категории таких предметов могут быть как универсальными для других культур Евразии скифского времени, так и носить уникальный характер для какого-то конкретного общества. Существование именно такой ситуации можно обнаружить при знакомстве с религиозной практикой «тагарцев», «саглынцев», «таштыкцев», саков, скифов, «уюкцев» и других этнокультурных объединений евразийских

степей раннего железного века [Вадецкая, 1996, с. 46–49; Матвеева, 2000, с. 190–191; Чугунов, 1996, с. 69–80; Банников, 2000, с. 177–183; Кузнецова, 1988, с. 17–23; Королькова, 1999, с. 58–61; Гусева, 1983, с. 89–95; Алтынбеков, 2013; и др.].

К числу ритуальных предметов, являющихся маркерами захоронений «жрецов» («шаманов») у кочевников Алтая пазырыкского времени, первоначально С.С. Сорокин [1978, с. 184] отнес такие вещи, обнаруженные в кургане № 2 могильника Пазырык: бронзовые жаровни с камнями, зерна конопли, «шестиноги». Позднее к этой группе добавились каменные алтарики, специфичные зеркала [Могильников, 1997, с. 90]. Кроме состава сопроводительного инвентаря, а также изображений на татуировках, в последние годы археологи стали обращать внимание при выявлении «жреческих» курганов и на планиграфию могильников. В частности, Н.В. Полосьмак указала на одиночный курган (№ 1) из могильника Ак-Алаха-III, который она интерпретировала как захоронение жрицы [Полосьмак, 2001, с. 279–281]. Кроме того, вероятно, определенным маркером погребения служителей культа могут выступать и определенного типа головные уборы, которые отражали сложные представления о модели мироздания и надевались во время совершения определенных ритуалов. К числу таких уникальных женских головных уборов пазырыкской культуры можно отнести женский убор из упомянутого выше кургана № 1 могильника Ак-Алаха-III [Полосьмак, 2001]. Кроме того, аналогичного типа головной убор обнаружен автором статьи при исследовании погребения региональной элиты пазырыкского общества, раскопанного автором в кургане № 15 могильника Ханкаринский дол в Северо-Западном Алтае [Дашковский, 2016].

В целом же, исходя из обозначенных учеными критериев, к числу погребений служителей культа относят следующие объекты: курган № 2 могильника Пазырык, Каракольский курган, курган № 1 могильника Ак-Алаха-III [Шульга, 1999; Могильников, 1997, с. 96; Полосьмак, 2001, с. 279–280]. Отдельные исследователи высказали предположение о возможности включения в эту группу кургана № 1 могильника Кутургунтас и кургана № 1 могильника Ак-Алаха-I [Полосьмак, Молодин, 2000, с. 82]. Однако, понимая гипотетичность такого предположения, ученые, вероятно, отказались от этой идеи. Во всяком случае, в своей итоговой работе по исследованию на плато Укок Н.В. Полосьмак [2001, с. 279–281] относит к числу «жреческих» захоронений только курган № 1 могильника Ак-Алаха-III.

Если учитывать все отмеченные выше признаки погребального обряда священнослужителей «пазырыкского» общества, то в эту группу, вероятно, можно включить еще курганы № 2 и 27 могильника Тыткескень-VI [Кирюшин, Степанова, Тишкин, 2003]. В этих объектах были погребены женщины, у которых среди достаточно многочисленных предметов инвентаря были обнаружены каменные алтарики (курильницы ?), бронзовые зеркала, а в кургане № 27 в одной могиле с человеком находилось захоронение лошади. Во всех отмеченных выше курганах, кроме кургана № 2 могильника Тыткескень-VI, наблюдается сочетание таких признаков, как алтарик, зеркало и сопроводительное захоронение лошади (или нескольких особей животных). При этом только в кургане № 2 могильника Пазырык женщина была похоронена вместе с мужчиной, а в остальных случаях – это одиночные женские захоронения. Отдельного внимания заслуживает курган № 15 могильника Ханкаринский дол, который выявлен в центре курганной цепочки. В нем обнаружено женское погребение с сопроводительным захоронением лошади, которая, как отмечено выше, выступала признаком социального статуса и достаточно редко встречается в женских погребениях пазырыкской культуры. Кроме уникального головного убора, в погребении также выявлено бронзовое полноразмерное, а не миниатюрное зеркало, бронзовая гривна и железные заколки, обложенные золотой фольгой, и золотые серьги. Кроме того, курган № 15 – один из наиболее крупных не только на могильнике Ханкаринский дол, но и среди других раскопанных объектов скифской эпохи в Северо-Западном Алтае. Анализ всей совокупности погребений пазырыкской культуры не только Чинитиского археологического микрорайона, но и других памятников Северо-Западного

Алтая, позволил отнести женское погребение в кургане № 15 могильника Ханкаринский дол, а также курганы № 21 и №3 1 могильника Чинета-II, к памятникам региональной элиты пазырыкского общества [Дашковский, Мейкшан, 2015]. Учитывая вышеназванные особенности погребального обряда и инвентаря, а также особый социальный статус женщины, можно предположить, что, возможно, она выполняла и определенные религиозные функции. Кроме того, важно учитывать, что в могильнике Ханкаринский дол были похоронены люди (возможно клан), которые занимали более высокое социальное положение по отношению к остальной части населения, населявшего долины р. Иня [Дашковский, 2016, с. 58]. Во всяком случае, данное погребение № 15 наиболее масштабное и социально значимое среди более 30 курганов скифской эпохи, раскопанных автором в Северо-Западном Алтае на могильниках Ханкаринский дол, Чинета-II, Инской дол. К этому нужно добавить серию погребений скифской эпохи, исследованных в данном регионе другими учеными.

В то же время надо признать, что сопроводительные конские захоронения и находки зеркал встречаются и в других женских погребениях. Поэтому, хотя лошадь и свидетельствовала о высоком социальном статусе умершего человека, тем не менее, этот признак в отдельности не может служить надежным маркером погребений «служителей культа» женского пола. Очевидно, то же можно сказать и о зеркалах, хотя полисемантичность данной категории предметов, выполняющих, кроме утилитарных, и ряд символических функций, несомненна [Левин, 1988; Kubarev, 1996; Тишкин, Серегин, 2011].

Что касается третьего признака «жреческих» погребений – наличия алтариков («жертвенников», «курильниц»), то здесь следует отметить следующее. В европейском савроматоведении уже много лет не утихает дискуссия по поводу утилитарного и символического назначения данных предметов [Зуев, 1996, с. 54–68; Банников, 2000, с. 177–182; Васильев, 1998, с. 25–43; Федоров, 2000; Федоров, 2001; и др.]. В то же время, учитывая всю совокупность особенностей погребений «пазырыкцев», в которых обнаружены немногочисленные алтарики (достоверно в курганах найдено 5 экземпляров), а также общий характер религиозно-мифологической системы номадов, вероятно, можно предположить символическое назначение таких предметов. Аналогичная семантическая нагрузка зафиксирована для данной категории вещей и по материалам сакского времени из Казахстана. По мнению Б.А. Литвинского [1991, с. 66], жертвенники (в семантическом отношении приравниваются к алтарикам, курильницам и т.п.) свидетельствуют о широком распространении среди иранских народов, в том числе у саков, культа Огня и культа Солнца, которые восходят к общим индоевропейским представлениям.

Вероятно, с этими же культами можно связать и алтарики-курильницы из пазырыкских курганов, которые, наряду с металлическими «жаровнями», использовались для окуривания «дурманящими» растениями (конопля, кориандр). Примечательно, что в кургане № 1 могильника Ак-Алаха-III были обнаружены семена кориандра на таком предмете непосредственно в погребении [Полосьмак, 2001, с. 69], что дополнительно подтверждает высказанное предположение.

Наконец, относительно такого признака священнослужителей, как специфичные головные уборы, отражающие представления о тернарной модели мироздания, следует отметить следующее. Вполне очевидно, что конструкция и сложная семантика таких предметов свидетельствует о том, что их надевали при необходимости совершения определенных ритуалов, а не в повседневной жизни. Примечательно, что близкий по семантическому значению и отчасти конструктивным особенностям головной убор обнаружен в женском погребении скифсо-сакского периода на могильнике Таксай-I, которое по результатам анализа погребального обряда и инвентаря, тоже интерпретируется как жреческое [Алтынбеков, 2013; Лукпатова, 2015].

Таким образом, учитывая все вышеизложенные обстоятельства, к специфичным погребениям служителей культа более или менее достоверно можно отнести шесть курганов. Данная цифра представляется более чем незначительной, если учесть, что в Горном Алтае

исследовано уже около 700 курганов пазырыкского времени. Поскольку необходимость в совершении определенных религиозных действий (прежде всего погребального обряда) была постоянной, то достаточно вероятной представляется ситуация, в которой отправление культовых функций было возложено (в зависимости от сложности и значимости ритуала) на глав патриархальных семей и родов (кланов). Данное предположение выглядит еще более убедительным, если принять во внимание устоявшееся в науке мнение, что цепочка курганов – это погребения семейно-родственной группы. Могильник же, состоящий из двух или нескольких таких цепочек, компактно расположенных в одном месте, принадлежал нескольким родственным общинам (своеобразному клану) [Суразаков, 1992, с. 53; Шульга, 1989].

Весьма интересными представляются наблюдения, сделанные В.Д. Кубаревым при изучении могильников номадов в долине р. Юстыда. Ученый обратил внимание на то, что в большинстве случаев цепочки курганов открывали парные захоронения мужчин и женщин, которые, вероятно, состояли в браке и являлись главами больших семей [Кубарев, 1991, с. 38]. Возможно, именно эта категория людей занималась отправлением религиозных культов, в том числе следила за соблюдением канонов погребального обряда на семейно-родовом уровне.

В то же время при изучении вопроса о месте и роли служителей культа в кочевом обществе важно обратить внимание на сложность религиозно-мифологических представлений номадов и их отражение в обрядовых действиях. Об этом, в частности, можно судить по таким установленным особенностям «пазырыкской» религии, как дифференцированная культовая практика; разнообразные приемы бальзамирования [Руденко, 1960; Полосьмак, 2001]; определение сторон горизонта при совершении погребального обряда, а также при сооружении сложных погребально-поминальных комплексов (например, комплекс на р. Сентелека в Чарышском районе Алтайского края) по восходу солнца [Тишкин, Дашковский, 2003], использование больших Пазырыкских курганов, а возможно и ряда других объектов, в качестве своеобразных «часовен» [Савинов, 1995], и ряд других черт. Вполне очевидно предположить, что объем знаний и религиозно-мифологической информации, необходимый для совершения таких ритуалов, выходил за пределы уровня общего развития глав семейно-родовых групп. Скорее всего, у «пазырыкцев», как и у других кочевых народов Центральной Азии в скифо-сакский период наметилась тенденция к формированию особой группы служителей культа, однако данный процесс в силу рассмотренных культурно-исторических особенностей не был окончательно завершен.

Период существования в Центральной Азии империй хунну, сяньби и жужаней – яркая страница не только в этнокультурной истории народов этого региона, но и в развитии духовной и политической культуры. В отличие от скифо-сакского периода, эпоха указанных трех империй гораздо больше отражена в памятниках письменности, что дает возможности для более комплексного изучения религиозного фактора в социально-политической истории номадов. В этой связи обратимся сначала к письменным источникам, а потом сопоставим их с результатами археологических исследований по указанной проблематике.

В китайских источниках имеются краткие сведения о шаманах и видах религиозной деятельности у хунну. Так, в частности, сообщается, что «по приказу Вей Люя хуннский шаман сказал: „Покойный шаньюй в гневе говорил: ’Давно еще хусцы во время жертвоприношения перед походом обещали, что если они захватят Эршиского военачальника, то принесут его в жертву духу земли. Почему же нынче его не приносят в жертву?’”» [Материалы…, 1973, с. 22]. Среди видов деятельности наиболее часто упоминаются жертвоприношения животных и иногда людей. При этом следует отметить, что существовали жертвоприношения, обязательные для ежегодного совершения, которые имели, вероятно, общеимперское значение. Так, в ханьских хрониках содержатся сведения о том, что, «используя жертвоприношения, [сюнну] собирали все кочевья, обсуждали государственные дела и устраивали развлечения – скачки лошадей и бег верблюдов» [Материалы…, 1973. с. 73].

В другом источнике указывается, что «у хуннов было обыкновение три раза в год собираться в Лунь-ци (храм дракона), где в первой, пятой и девятой луне, в день под названием сюй, приносили жертву духу Неба. Южный шаньюй со времени своего подданства Китаю присовокупил четвертое жертвоприношение китайскому императору» [Бичурин, 1998, с. 122]. Аналогичные сведения о сезонности общеимперских жертвоприношений содержатся в переводах, сделанных В.С. Таскиным: «В 1-й луне [каждого] года все начальники съезжаются на малое собрание в ставку шаньюя и приносят жертвы. В 5-й луне съезжаются на большое собрание в Лунчане, где приносят жертвы предкам, небу, земле, духам людей и небесным духам. Осенью, когда лошади откормлены, съезжаются на большое собрание в Дайлине, где подсчитывают и проверяют количество людей и домашнего скота» [Материалы…, 1968, с. 40].

В переводе Н.Я. Бичурина вместо ставки шаньюя в качестве места сбора указывается «храм при Шаньюевой орде» [Бичурин, 1998, с. 50]. В целом же из приведенных отрывков следует, что главные религиозные праздники были не только приурочены к периодам созыва органа высшей власти – съезда кочевой аристократии, но и к смене времен года. Более того, по мнению Намио Эгами, которое разделяет Н.Н. Крадин [2001, с. 212–213], начало нового года у хунну приходилось на осенний период, и именно в это время происходили самые крупные съезды, на которых собиралась элита номадов, вырабатывалась стратегия развития конфедерации племен и т.д. Примечательно, что и у кочевников Саяно-Алтая скифского времени начало нового года приходилось именно на осенний период. Такая ситуация также была продиктована взаимосвязью мировоззренческих представлений и особенностью хозяйственной деятельностью. Неслучайно, наибольшее количество захоронений у носителей пазырыкской культуры, особенно элиты, приходится на весенний и осенний периоды [Тишкин, Дашковский, 2003, с. 253–254]. Определенная мировоззренческая значимость весны и осени была характерна и для кочевников в эпоху раннего средневековья [Бичурин, 1998, с. 234; Лю Маоцай, 2001, с. 106–107]. Взаимосвязь важных социально-политических, религиозных и природных процессов являлась характерной чертой мировоззрения многих древних и традиционных народов.

Другим обязательным ритуалом у хунну было ежедневное обращение шаньюя к наиболее сакральным космическим светилам – солнцу и луне: «Утром шаньюй выходит из ставки и совершает поклонение восходящему солнцу, вечером совершает поклонение луне» [Материалы…, 1968, с. 40–41]. В данный момент трудно однозначно сказать: идет ли речь в этом отрывке о жертвоприношении или же о действии, которое можно интерпретировать именно как молитву-обращение. Во всяком случае, это еще раз подтверждает включенность шаньюя в процесс религиозных действий, имеющих определенную временную регламентацию.

Кроме обязательных жертвоприношений существовали и те, которые были приурочены к какому-либо значимому событию, например, заключению договора, клятвы, надвигающейся большой опасности (война). Показательны в этом случае следующие свидетельства: «Чан, Мын, шаньюй и его старейшины взошли на хуннскую гору (вероятно, святилище. – *П.Д.*) по восточную сторону реки Но-Шуй и закололи белую лошадь. Шаньюй взял дорожный меч и конец его омочил в вино; это клятвенное вино выпили из головного черепа юэчжиского государя, убитого Лаошан-шаньюем» [Бичурин, 1998, с. 94]. В ханьских текстах также указывается: «Услышав, что должны прийти ханьские войска, сюнну велели шаманам на всех дорогах, по которым они могли следовать, а также в местах около воды закопать в землю овец и быков и просить духов ниспослать на ханьские войска погибель. Когда шаньюй посылает Сыну неба (китайскому императору. – *П.Д.*) лошадей и шубы, он всегда велит шаманам молить духов ниспослать на него несчастья» [Материалы…, 1973, с. 120].

Второй формой религиозной деятельности у хунну были элементы мантики и прорицания. Письменные источники сообщают, что хунну «предпринимают дела, смотря по положению звезд и луны» [Бичурин, 1998, с. 50]. Во время военных действий «наблюдают за

положением звезд и луны, при полнолунии нападают, при ущербе луны отступают» [Материалы…, 1968, с. 41]. При комментариях последнего сюжета исследователи отмечают, что возможно имеется в виду не только гадание, но и отражение элементов военной тактики нападать внезапно ночью при полной луне, когда возможна координация воинских подразделений [Крадин, 2001, с. 142]. Вероятно, оба эти аспекта, религиозный и военный, находились во взаимосвязи и обусловливали друг друга.

Из приведенных выше фрагментов видно, что в процессе совершения религиозных обрядов принимали участие шаньюй, высшая аристократия, собираемая на съезды, и так называемые шаманы. Между тем среди ученых возникло определенное разногласие относительно деятельности шаманов именно у хунну. Это вызвано, прежде всего, различными переводами иероглифа *wu*, которым китайские авторы обозначили данную категорию лиц. Так, И.Н. Бичурин [1998, с. 77] перевел этот иероглиф как «волхв», а В.С. Таскин – как «шаман» [Материалы…, 1973, с. 22]. Однако Т.Д. Скрынникова отмечает, что иероглиф *wu* означает не столько конкретную специфику (шаман, маг, колдун), сколько самого служителя культа [Скрынникова, 1997, с. 135].

В этой связи, как ранее уже отмечалось [Дашковский, 2011, с. 129-132], термин «служитель культа» представляется более предпочтительным применительно к кочевым обществам эпохи поздней древности и средневековья как с точки зрения функционирования этой социальной группы, так и исходя из синкретичности мировоззрения номадов. В то же время в ряде случае во избежание путаницы при использовании письменных источников представляется возможным употреблять те термины, которые предложены переводчиками текстов.

Служители культа у хунну участвовали в различных ритуальных действиях, особенно связанных с военной, контактной и лечебной магией [Материалы…, 1973, с. 47; Сыма Цянь, 2002, с. 341]. Подобная направленность действий, реализуемых с помощью духов, имеет определенную шаманскую окраску [Михайлов, 1983, с. 37–40; Басилов, 1997; Потапов, 1991, с. 130], что позволяет рассматривать шаманизм как один из компонентов религиозного синкретизма кочевников. Священнослужитель, как и правитель, обеспечивал стабильность общества, однако «сфера влияния» шамана в сакральном мире совершенно иная, нежели у представителя светской власти. Шаньюй, облеченный харизмой, одним своим существованием давал социуму покровительство небесных, «светлых» сил, тогда как шаман (служитель культа) обеспечивает процветание общества в силу своего избранничества в «темном» мире духов. Взаимоотношение двух полюсов духовной власти достаточно показательно характеризует один сюжет из «Ши цзи» Сыма Цяня, в котором находится упоминание о том, что китайский полководец Эршиский, пользовавшийся особой благосклонностью шаньюя, был принесен в жертву «умершим великим воинам». Это было сделано по настоянию священнослужителя, который аргументировал подобный акт «по вдохновению покойных шаньюев» [Бичурин, 1998, с. 77]. Из приведенного материала можно заключить, что именно служитель культа, а не шаньюй, имел функцию общения с миром мертвых. Однако приоритет духовной власти в кочевом обществе сохранялся за шаньюем.

Важно отметить, что одной из проблем в изучении категории служителей культа у номадов является выявление их погребений и соответствующего комплекса ритуальных предметов. Среди захоронений хунну на Иволгинском и Дырестуйском могильниках исследователи выделяют некоторые специфичные погребения женщин с более высоким социальным статусом [Давыдова, 1996, с. 29; Миняев, 1998; и др.]. Примечательно, что именно в ряде женских погребений обнаружены бронзовые пряжки-пластины с изображением борьбы зверей. Такие пряжки выявлены в захоронениях женщин, средний возраст которых на момент смерти составлял 50–60 лет [Миняев, 1998, с. 106].

Следует также обратить внимание на то, что аналогичные предметы встречаются в погребениях женщин булан-кобинской культуры Алтая, испытавшей сильное влияние хуннской культурной традиции. Более того, как раз в такого типа захоронениях известен

случай находки каменного алтарика (жертвенника) и сопроводительных захоронений лошадей [Тишкин, Горбунов, 2003].

В то же время в полной мере интерпретировать отмеченные выше показатели в качестве индикаторов погребений священнослужителей у хунну и «булан-кобинцев» преждевременно, в связи с чем необходимы дальнейшие изыскания в этой области. Сложность выявления погребений служителей культа при изучении как хунну, так и других кочевых обществ, вероятно, связана не только с полисемантичностью сопроводительного инвентаря, но и с начальным этапом формирования профессиональной группы религиозных деятелей в период становления ранней государственности. Кроме того, процессы социо- и политогенеза у кочевых народов существенно отличаются от аналогичных тенденций земледельческих обществ, что безусловно, отражалось на мировоззрении и идеологии. О сложности религиозно-мифологической системы у хунну свидетельствует и наличие специфичных религиозных объектов. В письменных источниках есть указание на то, что шаньюй в критической для хунну обстановке «пришел в страх и приказал построить храм для жертвоприношения Эршискому», который был захвачен в плен [Бичурин, 1998, с. 78]. В переводе В.С. Таскина вместо термина «храм» употребляется понятие «молельня» [Материалы…, 1973, с. 22]. Кроме того, выше были отмечены жертвоприношения при участии шаньюя и старейшин, которые, согласно письменным источникам, совершались в особых «храмах» как в ставке правителя, так и в специальном центре Лунчэн [Материалы…, 1968, с. 40; Бичурин, 1998, с. 50; и др.].

Археологические данные в определенной степени конкретизируют сведения письменных источников. А.В. Тиваненко, суммировавший отдельные результаты археологических исследований городищ, поселений и петроглифов Забайкалья и Монголии хуннского времени, пришел к следующему выводу. Материалы, полученные при изучении городищ Гуа-Дов, Тэрэлжийн-дэрэвэлжин-газар, Баруун-Байдалинг и других памятников Монголии, свидетельствуют о том, что «все хуннуские городища с ограниченным числом внутренних построек следует рассматривать как храмовые комплексы, обслуживаемые штатом жрецов, живших за пределами стен в легких жилищах (юртах), либо как храмы внутри поселений, как это практиковалось у всех центрально-азиатских народов в эпоху средневековья» [Тиваненко, 1994, с. 42–43].

Несмотря на то, что вывод ученого достаточно категоричен и дискуссионен, особенно в отношении выделения жречества как социального института, тем не менее под ним есть некоторые реальные основания. Так, на Иволгинском городище были найдены лопатки для гадания [Давыдова, 1995, с. 30], широко использовавшиеся в религиозной деятельности. При изучении вышеупомянутых городищ в Монголии, хотя широкомасштабных раскопок судя по всему не проводилось, были зафиксированы алтари для жертвоприношений, различные подсобные помещения (например, для хранения онгонов, но при этом отсутствовали бытовые предметы) [Тиваненко, 1994, с. 41–42].

В дальнейшем непосредственно раскопки на этих памятниках позволят существенно прояснить хронологии и назначения ряда построек, которые во многом гипотетически интерпретируются исследователями как «храмы». В этой связи показательными являются результаты изучения материалов из Ташебинского городка и дворца наместника хунну в Саяно-Алтайском нагорье [Кызласов, 2006, с. 160–218]. В процессе интерпретаций артефактов Л.Р. Кызласов отмечал, что один из залов дворца мог использоваться как молельня, где находился переносной алтарь-жертвенник, на месте которого выявлен мощный прокал. При исследовании этого памятника обнаружен ряд предметов, имеющих прямое отношение к религиозным традициям древнего населения хуннского периода: бронзовые маскароны в виде гениев-хранителей, глиняная личина. Кроме того, по мнению ученого, конструкция зала-храма во дворце могла отражать определенные космогонические представления той эпохи: верхний ярус крыши символизировал небесный купол, пол – Землю, стены – четыре направления горизонта [Кызласов, 2006, с. 202–203].

Еще одним аспектом рассматриваемой проблемы культовых сооружений у хунну является упоминание об особом религиозном центре Лунчэне [Материалы…, 1968, с. 40, 51; Бичурин, 1998, с. 50]. Среди исследователей нет единого мнения относительно его местонахождения и даже существования. По мнению Намио Эгами, Лунчэн можно перевести как ветви деревьев, воткнутые в землю, или камни (наподобие обо) [Крадин, 2001, с. 214]. Ван Вэймаю полагал, что Лунчэн – это не конкретный населенный пункт, а место, в которое собирались хунну для решения важных дел и религиозных церемоний. В зависимости от этнополитической ситуации в Центральной Азии могло меняться его месторасположение [Крадин, 2001, с. 214–215]. Другая группа исследователей настаивает на том, что это реальный населенный пункт, хотя и расходится в месте его локализации [Тиваненко, 1994, с. 38–40; Кызласов, 2006, с. 145; История…, 1983, с. 98].

Действительно, китайские письменные источники дают самые общие сведения о местонахождении Лунчэна, как и другого важного для хунну пункта – Данлина. Л.Р. Кызласов полагал, что Лунчэн являлся не только имперской ставкой номадов, но и их религиозным центром. Второй населенный пункт выполнял исключительно экономическую функцию [Кызласов, 2006, с. 145]. Если учесть, что хунну, как отмечалось выше, съезжались в Данлин осенью, т.е. в период, на который приходился новый год, то, вероятно, и в этом пункте могли совершаться определенные религиозные обряды, приуроченные к такому важному для номадов событию.

После выхода на историческую арену Центральной Азии Сяньбийской и Жужанской кочевых империй [Кычанов, 1997] ситуация с развитием категории священнослужителей принципиально не изменилась. При изучении истории сяньбийцев и жужаней исследователи опираются преимущественно на письменные памятники [Крадин, 1994; Крадин, 2001; Кычанов, 1997; Хандсурэн, 1993; Дробышев, 2006; и др.], поскольку круг доступных археологических материалов в отличии от хунну крайне ограничен. Правда, в последние годы привлекаются и отдельные археологические данные, хотя памятников сяньбийцев выявлено пока немного [Яремчук, 2004; Кириллов, Ковычев, Литвинцев, 2001; Худяков, Юй Су-Хуа, 2002; Юй Су-Хуа, 2002; Варенов, Митько, Митько, 2007; и др.]. Китайские источники довольно кратко повествуют о верованиях сяньбийцев, но при этом можно проследить некоторые общие моменты с религиозными представлениями хунну и другими кочевыми народами Центральной Азии. Так, источники сообщают: «Язык и обычаи сяньбийцев сходны с ухуаньскими» [Бичурин, 1998, с. 152]; «Тоба Гуй… перенес столицу в Пьхин-чен, построил дворец, основал храм предкам своего Дома, поставил жертвенник духам Ше и Цзи. В храме предкам ежегодно пять раз приносили жертву: в два равноденствия, в два поворота (зимний и летний) и в двенадцатой луне… По древним обычаям Дома Вэй, т.е. сяньбийским, в первой летней луне приносили жертву Небу и в восточном храме, т.е. предкам; в последней летней луне выходили с войском прогонять иней на хребет Инь-шань; в первый осенний месяц приносили жертву Небу в западном предградии. Все сии обряды ныне возобновил на прежних установлениях. Определил жертвенные приношения в предградиях и храме предкам; установил обряды и музыку» [Бичурин, 1998, с. 181]. В китайских источниках есть указания на существование общесяньбийского сакрального центра на р. Шара-Мурень, на котором, подобно хунну, собирались ежегодно в апреле для решения политических и, вероятно, религиозных вопросов [Таскин, 1989, с. 55].

Несмотря на то, что в памятниках письменности нет прямых указаний на существование шаманов, волхвов и других религиозных деятелей у сяньби, тем не менее приведенные фрагменты свидетельствуют об определенной религиозной политике, проводимой правителями номадов. В то же время совершаемые в специальных местах в течение года сложные обряды в четко установленные сроки косвенно свидетельствуют о существовании служителей культа, которые аккумулировали сакральное знание. На данном этапе исследования пока преждевременно атрибутировать этих священнослужителей в качестве жрецов, как это опять же предлагает А.В. Тиваненко [1994, с. 60], хотя тенденция к

формированию именно профессиональной группы с религиозными функциями у сяньби явно прослеживается.

К сожалению, имеющиеся немногочисленные исследованные погребения сяньбийцев [Ковычев, Яремчук, 2000; Худяков, Юй Су-Хуа, 2002; Варенов, Митько, Митько, 2007; и др.] не позволяют в настоящий момент даже гипотетически наметить какие-либо признаки для захоронений служителей культа. Возможно, в дальнейшем (в процессе накопления материалов) ситуация в этом вопросе изменится.

Еще одно этнополитическое объединение Центральной Азии, которое в эпоху поздней древности контролировало данный регион, – жужане (жуаньжуань) [Кычанов, 1997; Крадин, 2000; и др.]. В письменных источниках есть краткие сведения о служителях культа. Так, источники сообщают о необычном исчезновении сына хана Чоуны Цзухи. Помочь правителю «вызвалась одна Чабганца, Фушенмуева жена, по имени Дэухунь Дивань, двадцати лет отроду. Она лечила и волховала, т.е. шаманила силою духов, и Чоуну всегда имел веру к ней: почему она ходила к нему и сказывала, что сын его теперь живет на небе и она может призвать его… По прошествии года, в 15-й день восьмой луны, поставили средине большого озера юрту; держали перед сим семидневный пост; во всю ночь молились духу Неба. Вдруг Цзухой очутился посреди юрты, и сказал, что он постоянно жил на небе» [Бичурин, 1998, с. 200–201]). В другом источнике сообщается о кочевниках, что «в их владениях умеют, прибегая к колдовству, приносить жертвы Небу и вызывать ветер со снегом. [В результате] впереди ясное солнце, а сзади грязевые потоки воды. В связи с этим, когда они терпят поражение, их нельзя догнать. Если они прибегают к этому способу в Срединном государстве, то делается пасмурно, но снег не идет» (Материалы по истории… дунху, 1984, с. 61, 290].

Приведенные фрагменты текстов позволяют сделать несколько заключений. Во-первых, упомянутый выше термин «чабаганца» прокомментирован редакторами переводов Н.Я. Бичурина как «полумонахиня и шаманка» [Бичурин, 1998, с. 200]. А.В. Тиваненко [1994, с. 64–65] указывает, что этот термин буквально означает «буддийская монахиня в миру», но при этом справедливо отмечает, что в данном случае это не совсем соответствовало действительности. Как видно из самого фрагмента текста, речь идет об использовании помощи духов при поиске сына правителя, а это явное указание на шаманскую практику. Во-вторых, важно отметить, что религиозные функции выполнялись как лицами мужского, так и женского пола. В-третьих, для совершения молитвы и других действий могла использоваться юрта кочевников, а не только специальное какое-то место (святилище, храм). Использование традиционного мобильного жилища в качестве объекта для совершения ритуалов известно у кочевников и в эпоху средневековья [Зуев, 2002, с. 260]. В-четвертых, из приведенных данных следует, что души умерших или мир предков, вероятно, располагались в верхней части модели мира, поскольку именно там находился сын хана, который считался пропавшим или умершим. Наконец, в-пятых, положение служителей культа у жужаней, как и у других кочевников Центральной Азии, было очень высоким. Это подтверждается, например, тем, что священнослужительница Дэухунь Дивань смогла убедить хана Чоуна убить своего любимого сына Цзуху, которого сама же и помогла ранее найти [Бичурин, 1998, с. 201].

Возможность общаться с миром духов неформально давала служителям культа у номадов огромную власть. В этой связи некоторые дальновидные правители кочевых империй, если не могли поставить под полный контроль таких религиозных деятелей, то прибегали даже к их физическому устранению. Наиболее показательным в этом отношении является пример взаимоотношений в более поздний период между Чингис-ханом и шаманом Кокочу [Скрынникова, 1997].

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать следующий вывод. Во-первых, в методологическом отношении для обозначения лиц, занятых в кочевых обществах Центральной Азии эпохи поздней древности религиозной деятельностью более правомерно использовать термин «служитель культа» («священнослужитель»), а не термины «жрец»,

«шаман», «маг» и т.д. Во-вторых, совершение основной массы культовых действий, прежде всего обрядов погребально-поминального цикла, у кочевников в скифо-сакский и хуннуско-сяньбийско-жужанский периоды производилось главами больших семей и родов (кланов). Кроме того, наметилась тенденция к формированию особой социальной группы священнослужителей, что хорошо прослеживается по материалам пазырыкской культуры Алтая, хотя количество погребений, которые можно относительно достоверно соотнести с погребениями служителей культа, невелико. Во многом это связано с полисемантичностью вещевого комплекса, а также с тем, что процесс формирования категории священнослужителей в силу культурно-исторических особенностей пазырыкского общества не был завершен. В-третьих, в хуннуско-сяньбийско-жужанский период в кочевых империях продолжали существовать служители культов, отправляющие традиционные для кочевых обществ ритуалы. При этом происходит процесс усложнения религиозной элиты. Это обусловлено, с одной стороны, включенностью шаньюя и высшей военно-политической элиты в отправление определенных наиболее значимых государственных ритуалов. С другой стороны, с этого периода начинают распространяться в Центральной Азии буддийские миссионеры, которые появляются среди ближайшего окружения правителей кочевых империй. При этом, если в отношении хунну вопрос о знакомстве номадов с буддизмом достаточно дискуссионен [Дашковский, 2012], то в отношении сяньби и жужаней он решен учеными положительно. В-четвертых, достаточно сложно выявить на археологическом материале погребения священнослужителей. Во многом это связано с полифункциональностью вещевого комплекса, поскольку одни и те же предметы могли использоваться и в бытовой, и в ритуальной сфере. Кроме того, процесс формирования категории священнослужителей в силу культурно-исторических особенностей развития кочевых обществ в эпоху поздней древности не был завершен. К тому же особенности образа жизни, специфика социально-политической организации номадов, их менталитет существенно отличались от аналогичных признаков земледельческих народов. Однако сложность религиозно-мифологических систем кочевников центральноазиатского региона как скифо-сакского, так и хуннуско-сяньбийско-жужанского периодов, отраженных в погребальной обрядности и письменных источниках, не оставляют сомнения в существовании особой категории людей – священнослужителей (служителей культов), более профессионально вовлеченных в религиозную деятельность.

Литература

1. Алтынбеков К. Возрожденная из пепла. Реконструкция по материалам погребения жрицы из комплекса Таксай I. Алматы: Остров Крым, 2013. 64 с.
2. Банников А.Л. «Жертвенники» как социальный маркер (к вопросу о наличии жреческого слоя у кочевников Южного Урала) // От древности к новому времени (проблемы истории и археологии). Уфа, 2000. С. 177–183.
3. Бичурин Н.Я. Собрание сведения о народах, обитавших в Средней Азии, в древние времена. Алматы: Жалын баспасы, 1998. Т. 1. LLXIV+390 с.
4. Басилов В.Н. Что такое шаманство? // ЭО. 1997. № 5. С. 3-15.
5. Боковенко Н.А. Проблема реконструкции религиозных систем номадов Центральной Азии в скифскую эпоху // Жречество и шаманизм в скифскую эпоху. СПб.: ГЭ, 1996. С. 39–41.
6. Вадецкая Э.Б. Атрибуты служителей культа по древним погребениям Енисея // Жречество и шаманизм в скифскую эпоху. СПб.: ГЭ, 1996. С. 46–50.
7. Варенов А.В., Митько А.О., Митько О.А. Сяньбийское погребение с поясными украшениями из района Яньчи близ города Эрэн-Хото // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: ИАиЭ СО РАН, 2007. Т. XIII. С. 193–199.
8. Васильев В.Н. К вопросу о сарматских каменных жертвенниках кочевников Южного Урала // Уфимский археологический вестник. Уфа: НМ РБ, 1998. № 1. С. 25–43.

9. Гусева Н. К вопросу о ритуальных напитках древних скотоводов евразийских степей и Центральной Азии // Информационный бюллетень. Международная ассоциация по изучению культур Центральной Азии. М., 1983. Вып. 3–4. С. 89–95.
10. Давыдова А.В. Иволгинский археологический комплекс. Иволгинское городище. СПб.: Фонд Азиатика, 1995. Т. 1. 287 с.
11. Давыдова А.В. Иволгинский археологический комплекс. Иволгинский могильник. СПб.: Петербургское востоковедение, 1996. Т. 2. 176 с.
12. Дашковский П.К. Мировоззрение кочевников Саяно-Алтая и сопредельных территорий поздней древности и раннего средневековья (отечественная историография и современные исследования). Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2011. 244 с.
13. Дашковский П.К. Мировоззрение кочевых народов Центральной Азии хунно-сяньбийского периода в отечественной историографии: проблемы, направления исследования и дискуссии // Мировоззрение населения Южной Сибири и Центральной Азии в исторической ретроспективе. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2012. С. 37-71.
14. Дашковский П.К. Могильник пазырыкской культуры Ханкаринский дол на Алтае: характеристика погребального обряда и основные направления междисциплинарных исследований // Мировоззрение населения Южной Сибири и Центральной Азии в исторической ретроспективе. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2016. С. 42-65.
15. Дашковский П.К., Мейкшан И.А. Изучение региональной элиты кочевников Южной Сибири, Западного Забайкалья и Северной Монголии эпохи поздней древности (на примере пазырыкского общества и хунну) // Элита в истории древних и средневековых народов Евразии. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2015. С. 72-85.
16. Дробышев Ю.А. Эволюция материальной и духовной культуры сяньбийцев // ВИ. 2006. № 1. С. 106–120.
17. Зуев В.Ю. Исповедальные пути божественного всадника (по материалам ковровых полотен и погребального обряда в Пазырыке) // Северная Азия от древности до средневековья. СПб.: ИИМК, 1992. С. 131–134.
18. Зуев В.Ю. Научный миф о «савроматских жрицах» // Жречество и шаманизм в скифскую эпоху. СПб.: ГЭ, 1996. С. 54–68.
19. Зуев Ю.А. Ранние тюрки: очерки истории и идеологии. Алматы: Дайк-Пресс, 2002. 338 с.
20. История Монгольской Народной Республики. 3-е изд. М.: Наука, 1983. 661 с.
21. Кириллов И.И., Ковычев Е.В., Литвинцев А.Ю. Сяньбийские граффити на бересте из могильника Зоргол-I // Древняя и средневековая история Восточной Азии. К 1300-летию образования государства Бохай. Владивосток, 2001. С. 266–272.
22. Кирюшин Ю.Ф., Степанова Н.Ф., Тишкин А.А. Скифская эпоха Горного Алтая. Ч. II: Погребально-поминальные комплексы пазырыкской культуры. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2003. 234 с.
23. Королькова Е.Ф. Ритуальные чаши с зооморфным декором в культуре ранних кочевников // Скифы Северного Причерноморья в VII–IV вв. до н.э.: проблемы палеоэкологии, антропологии и археологии. М., 1999. С. 58–61.
24. Крадин Н.Н. Особенности классообразования и политогенеза у кочевников // Архаическое общество: Узловые проблемы социологии развития. М.: Наука, 1991а. С. 301–324.
25. Крадин Н.Н. Политогенез // Архаическое общество: узловые проблемы социологии развития. М.: Наука, 1991б. Ч. II. С. 284-300.
26. Крадин Н.Н. Социальный строй сяньбийской державы // Медиевистские исследования на Дальнем Востоке России. Владивосток: Наука, 1994. С. 22–36.
27. Крадин Н.Н. Общественный строй Жужаньского каганата // История и археология Дальнего Востока: к 70-летию Э.В. Шавкунова. Владивосток: Наука, 2000. С. 80–94.
28. Крадин Н.Н. Империя хунну. 2-е изд. М.: Логос, 2001. 312 с.

29. Кубарев В.Д. Курганы Юстыда. Новосибирск: Наука, 1991. 189 с.
30. Куббель Л.Е. Очерки потестарно-политической этнографии. М.: Наука, 1988. 312 с.
31. Курочкин Г.Н. Сакральный центр ранних кочевников Алтая (археолого-этнографическая реконструктивная модель) // Проблемы культурогенеза и культурное наследие. Ч. II: Археология и изучение культурных процессов и явлений. СПб., 1993. С. 93–98.
32. Кызласов Л.Р. Городская цивилизация Срединной и Северной Азии. Исторические и археологические исследования. М.: Наука, 2006. 360 с.
33. Кузнецова Т.М. Скифские ритуальные сосуды // КСИА. М., 1988. Вып. 194. С. 17–23.
34. Кузьмин Н.Ю. Генезис Саяно-Алтайского шаманизма по археологическим источникам // Северная Азия от древности до средневековья: Тезисы конференции к 90-летию со дня рождения М.П. Грязнова. СПб.: ИИМК, 1992. С. 125–130.
35. Кычанов Е.М. Кочевые государства: от гуннов до маньчжуров. М.: Вост. лит-ра, 1997. 319 с.
36. Левин Ю.И. Зеркало как потенциальный семиотический объект // УЗ ТГУ. Вып. 831. Т. XXII. Зеркало, семиотика зеркальности. Тарту: ТарГУ, 1988. С. 6–24.
37. Литвинский Б.А. Семиреченские жертвенники (индоиранские истоки сакского культа огня) // Проблемы интерпретации памятников культуры Востока. М.: Наука, 1991. С. 66–87.
38. Лю Маоцай. Сведения о древних тюрках в средневековых китайских источниках: Пер. с нем. В.Н. Добжанского и Л.Н. Ермоленко. М., 2002. 126 с.
39. Лукпатова Я.А. Новое элитное погребение из Западного Казахстана // Археология Западной Сибири и Алтая: опыт междисциплинарных исследований. Барнаул: Изд0во Алт. ун-та, 2015. С. 321-325.:
40. Марсадолов Л.С. Археологические памятники IX–III вв. до н.э. горных районов Алтая как культурно-исторический источник (феномен пазырыкской культуры): Автореф. дис. … докт. культурологии. СПб., 2000. 51 с.
41. Матвеева Н.П. Социально-экономические структуры населения Западной Сибири в раннем железном веке (лесостепная и подтаежная зоны). Новосибирск: Наука, 2000. 399 с.
42. Материалы по истории сюнну (по китайским источникам): Пер., прим. В.С. Таскина. М.: Наука, 1968. Вып. 1. 239 с.
43. Материалы по истории сюнну (по китайским источникам): Пер., прим. В.С. Таскина. М.: Наука 1973. Вып. 2. 250 с.
44. Материалы по истории древних кочевых народов группы дунху: Пер., коммент. В.С. Таскина. М.: Наука, 1984. 486 с.
45. Миняев С.С. Дырестуйский могильник. СПб.: Азиатика, 1998. 233 с.
46. Могильников В.А. Население Верхнего Приобья в середине – второй половине I тыс. до н.э. М.: Наука, 1997. 195 с.
47. Полосьмак Н.В. Всадники Укока. Новосибирск: ИНФОЛИО, 2001. 336 с.
48. Полосьмак Н.В., Молодин В.И. Могильники пазырыкской культуры на плоскогорье Укок // Археология, этнография и антропология Евразии. 2000. №4. С. 66–87.
49. Потапов Л.П. Алтайский шаманизм. Л.: Наука, 1991. 321 с.
50. Руденко С.И. Культура населения Горного Алтая в скифское время. М.; Л.: Наука, 1953. 524 с.
51. Руденко С.И. Культура населения Центрального Алтая в скифское время. М.; Л.: Наука, 1960. 486 с.
52. Савинов Д.Г. О ритуальном назначении погребальных камер Больших Пазырыкских курганов // Сакральное в культуре. СПб., 1995. С. 6–8.
53. Семенов Вл. А. Некоторые шаманистические элементы в культуре ранних кочевников Тувы // Жречество и шаманизм в скифскую эпоху. СПб.: ГЭ, 1996. С. 27–29.

54. Скрынникова Т.Д. Харизма и власть в эпоху Чингисхана. М.: Вост. лит-ра, 1997. 216 с.
55. Сорокин С.С. Большой Берельский курган (полное издание материалов раскопок 1865 и 1959 гг.) // Труды Государственного Эрмитажа. Л.: ГЭ, 1969. Т. X. С. 208–236.
56. Сорокин С.С. Отражение мировоззрения ранних кочевников Азии в памятниках материальной культуры // Культура Востока. Древность и раннее средневековье. Л.: Искусство, 1978. С. 172–191.
57. Суразаков А.С. О некоторых проблемах изучения социальных отношений Горного Алтая эпохи раннего железа // Материалы к изучению прошлого Горного Алтая. Горно-Алтайск: ГАНИЯЛ, 1992. С. 48-56.
58. Сыма Цянь. Исторические записки: Пер. и комм. Р.В. Вяткина. М.: Наука, 2002. Т. 8. 510 с.
59. Таскин В.С. Введение // Материалы по истории кочевых народов в Китае. Вып. 1: Сюнну. М.: Наука, 1989. С. 5–28.
60. Тиваненко А.В. Древние святилища Восточной Сибири в эпоху раннего средневековья. Новосибирск: Наука, 1994. 150 с.
61. Тишкин А.А., Горбунов В.В. Исследование погребально-поминальных памятников кочевников в Центральном Алтае // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: ИАиЭ СО РАН, 2003. Т. IX, ч. I. С. 488–493.
62. Тишкин А.А., Дашковский П.К. Социальная структура и система мировоззрений населения Алтая скифской эпохи. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2003. 430 с.
63. Тишкин А.А., Дашковский П.К. О государственности «пазырыкцев» // Теория и практика археологических исследований. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2005. С. 50–59.
64. Тишкин А.А., Серегин Н.Н. Металлические зеркала как источник по древней и средневековой истории Алтая (по материалам Музея археологии и этнографии Алтая Алтайского государственного университета). Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2011.144 с.
65. Токарев С.А. Ранние формы религии. М.: Политиздат, 1990. 622 с.
66. Трофимова З.П. Жречество // Религиоведение. Энциклопедический словарь. М.: Академический проект, 2006. С. 346.
67. Федоров В.К. О функциональном назначении так называемых савроматских жертвенников Южного Приуралья // Уфимский археологический вестник. Уфа: НМ РБ, 2000. № 2. С. 49–69.
68. Федоров В.К. О функциональном назначении так называемых савроматских жертвенников Южного Приуралья (II) // Уфимский археологический вестник. Уфа: НМ РБ, 2001. № 3. С. 21–45.
69. Федоров В.К. Культ Сомы/Хаомы у ранних кочевников степей Евразии: (на материалах костяных ложечек из Южно-Уральских погребений VI в. до н.э. – IV в. н.э.: Автореф. дис. … канд. ист. наук. Ижевск, 2002. 28 с.
70. Чугунов К.В. Погребальный комплекс с кенотафом из Тувы (к вопросу о некоторых параллелях археологических и письменных источников) // Жречество и шаманизм в скифскую эпоху. СПб.: ГЭ, 1996. С. 69–80.
71. Хазанов А.М. Скифское жречество // СЭ. 1973. №5. С. 41–50.
72. Хазанов А.М. Социальная история скифов. Основные проблемы развития древних кочевников евразийских степей. М.: Наука, 1975. 334 с.
73. Хандсурэн Ц. Жужанское ханство // Этническая история народов Южной Сибири и Центральной Азии. Новосибирск: Наука, 1993. С. 66–106.
74. Худяков Ю.С., Юй Су-Хуа. Керамическая посуда культуры сяньби // Центральная Азия и Прибайкалье в древности. Улан-Удэ; Чита: Изд-во Бурят ун-та, 2002. С. 138–142.

75. Шульга П.И. К вопросу о планировке могильников скифского времени на Алтае // Проблемы археологии скифо-сибирского мира (социальная структура и общественные отношения). Кемерово: КемГУ, 1989. Ч. II. С. 41–44.
76. Шульга П.И. Жреческие парные захоронения с зеркалами-погремушками (к постановке проблемы) // Древности Алтая. Известия лаборатории археологии. Горно-Алтайск: ГАГУ, 1999. №4. С. 82–91.
77. Элиаде М. Шаманизм. Архаические техники экстаза. Киев: София, 1998. 384 с.
78. Юй Су-Хуа. Актуальные вопросы истории изучения ранних сяньбэй // История и культура Востока Азии. Новосибирск: Наука, 2002. Т. II. С. 197–200.
79. Яремчук О.А. Некоторые проблемы изучения истории сяньбийских племен // Центральная Азия и Прибайкалье в древности. Улан-Удэ: Изд.-во Бур. ун-та, 2004. С. 169–175.
80. Яценко С.А. О женщинах-«жрицах» у ранних кочевниках (на примере знатных сарматок I в. до н.э. – II в. н.э.) // Мировоззрение населения Южной Сибири и Центральной Азии в исторической ретроспективе. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2007. Вып. I. С. 58–65.
81. Hancăr F. Altai – Skufhen and Schamanismus // Actes du ive Congres international des sciences anthropologiques et ethnologiques. Vienne, 1952. Vol. 2. P. 183–189.
82. Kubarev V.D. Spiegel asiatischer Nomaden als religionsar chäologishe Quelle // Eurasia Antiqua Zeitshkiff für archäologic Eukasies. Berlin, 1996. Band 2. P. 319–345.

THE MINISTERS OF RELIGION AMONG THE NOMADS OF CENTRAL ASIA IN THE ERA OF LATE ANTIQUITY

Dashkovskiy P.K.
Altay State University, Barnaul, Russia, dashkovskiy@fpn.asu.ru

Abstract. The article on the basis of written and archaeological sources the possibility of identification in the social structure of the nomadic peoples of Central Asia of the late antiquity categories of priests that are more professionally were included in the religious sphere. The commission of the main mass of the cult of action, especially rites of the funeral cycle, produces large heads of families and genera.
Key words: nomads, Central Asia, Ministers of religion, late antiquity.

КОЧЕВЫЕ ПОДДАННЫЕ СРЕДНЕАЗИАТСКИХ ХАНОВ: ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА В ЗАПИСКАХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ XIX В.

Р.Ю. Почекаев
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Санкт-Петербург, Россия, ropot@mail.ru

Аннотация. В статье исследуются сведения российских и западных путешественников XIX в. о правовом статусе кочевников, находившихся в подданстве ханств Средней Азии – Бухары, Хивы и Коканда. Анализируются особенности правового положения различных народов и племен в каждом из ханств, степень интеграции кочевников в политико-правовое пространство среднеазиатских ханств.
Ключевые слова: кочевники Центральной Азии, казахи, туркмены, киргизы, Бухарский эмират, Хивинское ханство, Кокандское ханство, записки путешественников.

Своеобразной иронией истории Средней Азии представляется тот факт, что хотя она была завоевана «кочевыми узбеками», но в созданных ими ханствах (Бухарском, Кокандском, Хивинском) завоеватели-кочевники со временем восприняли культуру, традиции и образ жизни местного оседлого населения. А кочевые подданных ханов-узбеков (нередко весьма многочисленные) оказались на периферии этих государств и обладали особым статусом, отличным и от правящей узбекской верхушки, и от оседлого населения, который получил окончательное закрепление в XIX в.

Среди подданных Бухары, Хивы и Коканда были представители различных кочевых народов – казахов, каракалпаков, киргизов, туркмен. Их история в период пребывания под властью среднеазиатских ханов неоднократно исследовалась специалистами – особенно в советский период. Однако основное внимание исследователи уделяли вопросам политической и социально-экономической истории кочевников, тогда как их правовое положение затрагивалось лишь косвенно. Кроме того, основными источниками в рамках таких исследований являются чаще всего документы «местного» происхождения, т.е. акты ханских канцелярий, судебные (казийские) решений, финансовые ведомости и т.д. Эти документы нередко содержат информацию, не отражающую реальную правовую ситуацию в том или ином ханстве, а порой и идеализирующую особенности отношений ханской администрации с кочевниками.

Гораздо более информативным источником, на наш взгляд, являются записки современников – иностранцев, побывавших в среднеазиатских ханствах и уделивших немалое внимание особенностям правовых отношений местных монархов и их кочевых подданных. Нельзя сказать, что исследователи прежде не обращались к этому виду источников, однако сами же исследователи отмечали, что записки путешественников использованы далеко не в той степени, в какой заслуживают – об этом, в частности, еще в 1961 г. писал Е.Э. Брегель [Брегель, 1961, с. 6]. Однако и позднее ситуация с использованием записок путешественников не сильно изменилась: если они и использовались, то, как и другие виды источников, при изучении политических, экономических, этнографических аспектов истории пребывания кочевых народов в подданстве среднеазиатских ханов [см., напр.: Плоских, 1977; Аминов, 2017].

В рамках данного исследования записки путешественников представляют интерес именно в качестве источника сведений о правовом положении кочевников как подданных монархов Средней Азии. Сразу считаем целесообразным подчеркнуть, что целью работы является отнюдь не извлечение из анализируемых источников сведений о праве самих кочевников (казахов, туркменов, киргизов и пр.) – эта сфера уже давно и плодотворно исследуется специалистами. Предметом исследования являются особенности

правоотношений кочевых подданных с администрацией Бухары, Хивы и Коканда, степень их интеграции в политико-правовое пространство ханств.

В XIX в., а точнее, с 1810-х по начало 1880-х гг. в ханствах Средней Азии побывало значительное число российских и западных путешественников, в записках которых имеются ценные сведения о регулировании отношений между властями ханств и их кочевыми подданными. Среди них – дипломаты и военные разведчики, ученые и торговцы. Хронология и профессиональная принадлежность авторов записок (а следовательно, и цели их поездок в Среднюю Азию) весьма различны, что и обусловило их внимание к различным аспектам правового статуса кочевников под властью среднеазиатских ханов.

Его особенности проявились уже в организации системы власти и управления. Если оседлые регионы каждого ханства делились на более-менее устойчивые административно-территориальные единицы с четкой структурой управления (беки – амлякдары или юзбаши – аксакалы), то организовать такую систему у кочевников было весьма сложным. Поэтому монархи Бухары, Хивы и Коканда были просто-напросто вынуждены сохранять среди своих кочевых подданных их традиционные институты власти и управления и лишь старались обеспечить контроль над ними ханской администрации.

Наиболее широкой автономией пользовались казахские подданные хивинских ханов, что во многом объяснялось обстоятельствами их перехода под власть Хивы и политическими интересами монархов этого государства. Казахи Младшего жуза, уже в первой трети XVIII в. признавшие подданство Российской империи, в начале XIX в. стали в большом количестве откочевывать в пределы Хивинского ханства из-за реформ, проводимых российской администрацией в Казахстане в целях урезания властных полномочий местной элиты и, в конечном счете, упразднения традиционных институтов власти и управления. Соответственно, хивинские ханы, претендовавшие на власть над Младшим жузом, видели в представителях казахской элиты, принявших их подданство, инструмент для достижения своей цели и, конечно же, всячески старались подчеркнуть намерение сохранить прежние институты власти – в первую очередь, власть ханов и султанов из рода Чингис-хана, а также влиятельных родоплеменных вождей-биев. И если в Казахстане под властью Российской империи (в Среднем и Младшем жузах) институт ханской власти был упразднен в 1822–1824 гг., то среди хивинских казахов он сохранился до начала 1870-х гг. [О слухах, 2016, с. 688] При этом ханы казахов утверждались в своем достоинстве волей хивинского монарха.

Номинально ханы, а также влиятельные султаны и бии у казахов, признававших власть Хивы, обладали всей полнотой власти над своими подданными и подчинялись напрямую хивинским монархам. Более того, власти Хивы старались в какой-то мере интегрировать их и в сановную иерархию ханства, жалуя почетные титулы и должности, приглашая принимать участие в официальных придворных церемониях и пр. Так, капитан П. Никифоров и поручик М.-Ш. Аитов, посетившие Хиву с дипломатической миссией в 1841 г., вели переговоры не только с ханом Алла-Кули, но и с казахскими правителями – султанами Каип-Гали и Джангази и с пятью биями [Залесов, 1862, с. 76–77]. Купец Абросимов, побывавший в Хиве в 1848 г., также упоминает, что на приеме у хана он видел трех казахских султанов [Рассказ, 1873, с. 364]. Н.П. Игнатьев и М.Н. Галкин, участники посольства в Бухару и Хиву 1858 г., упоминают казахского бия Азбергена, который считался влиятельных советником хивинского хана по вопросам взаимоотношений с русско-подданными казахами и самими русскими [Галкин, 1868, с. 177–178; Миссия, 1897, с. 92; см. также: О слухах, 2016, с. 677–679].

Впрочем, сами же упомянутые российские дипломаты отмечают, что представители казахской элиты Хивы непременно задавали им вопрос о возможности возвращения под власть России и прощении за свою антироссийскую деятельность. В сочетании с другими источниками, содержащими сведения о жестком контроле хивинских властей за казахскими ханами и султанами, постоянной смене ханов, нередко – пребывании ханов, султанов и биев под арестом и даже в заключении информация путешественников подтверждает тот факт, что статус казахов (в т.ч. и представителей рода Чингизидов) в Хивинском ханстве не

являлся «режимом наибольшего благоприятствования», и их возможности были во многом ограничены.

Гораздо более тесно казахи были связаны с властями Кокандского ханства, поскольку обстоятельства принятия ими кокандского подданства были несколько иными. Казахи Старшего жуза ранее признавали власть независимого Ташкентского владения, которое в начале XIX в. было захвачено Кокандом, монархи которого, соответственно, унаследовали сюзеренитет и над Старшим жузом. Таким образом, в отличие от казахов Младшего жуза, которые перекочевывали в пределы Хивы и точно так же могли откочевать обратно в российские владения, казахи Старшего жуза фактически проживали на собственных территориях и управлялись собственными султанами и биями. В результате для обеспечения интеграции Старшего жуза в политико-правовое пространство Кокандского ханства монархи жаловали представителям казахской элиты сановные и воинские звания и даже назначали их беками и начальниками пограничных крепостей [Краткий дневник, 2012, с. 339]. Впрочем, подобные назначения зачастую сопровождались появлением при казахских правителях уполномоченных ханских чиновников, контролировавших их деятельность и лояльность Коканду.

Аналогичная ситуация складывалась и в отношении киргизов, которые также при разных обстоятельствах признавали власть кокандских монархов во второй половине XVIII – начале XIX вв. Они также сохраняли свои традиционные властные институты биев и манапов и нередко лишь номинально признавали власть Коканда, а наиболее влиятельные из киргизских правителей даже вели переговоры с кокандскими монархами как равные с равными [Путевые замечания, 2007, с. 245]. Однако во второй половине XIX в. началась практика назначения в качестве наместников Киргизии кокандских сановников. Например, как сообщает известный российский ученый и путешественник А.П. Федченко, когда в 1869 г. Коканд установил контроль над небольшим горным владением Каратегин, хан назначил в качестве правителя киргизов Исмаила-токсабу, который с отрядом джигитов прибыл в Киргизию, чтобы не допустить участия местного населения в возможном мятеже только что подчиненного Каратегина [Федченко, 1871, с. 22–23].

Многочисленные туркменские племена, признавшие подданство Хивинского ханства еще в первой четверти XVIII в., к XIX в. были достаточно плотно интегрированы в его политико-правовое пространство. И если казахские подданные, по замыслу ханов Хивы, должны были бы содействовать постепенному распространению их власти на Казахстан, подвластный Российской империи, то туркмены играли куда большую роль во внутренней политике ханства.

Точно так же, как казахи и киргизы, туркмены имели собственных правителей, наиболее влиятельные из которых провозглашались ханами, менее же значительных российские путешественники именуют «старшинами»: номинально (а в некоторых случаях и фактически) они также утверждались в своем достоинстве монархами Хивы. Хивинские ханы старались расположить к себе туркменскую правящую элиту теми же средствами, что и казахскую – жалуя чины и титулы, привлекая к участию в торжественных церемониях в столице и т.д. В частности, капитан Н.Н. Муравьев, побывавший с дипломатической миссией в Хиве в 1819–1820 гг., упоминает, что в ханском окружении много туркмен, в т.ч. и исполнителей ответственных поручений [Путешествие, 1822, ч. II, с. 66–67; см. также: Аминов, 2017, с. 101].

Впрочем, многие путешественники отмечают вольнолюбие туркмен и нередко – непризнание ими любой власти, причем не только иностранной (в данном случае – хивинской), но и собственных выборных вождей. Поэтому неудивительно, что даже факт официального утверждения хивинским ханом того или иного родоплеменного предводителя туркмен отнюдь не повышал легитимности последнего. Тот же Муравьев упоминает, что один такой старшина племени йомуд был вынужден бежать в Хиву от собственных подданных, и на его место долгое время никого не назначали [Путешествие, 1822, ч. I, с. 41].

Учитывая многолетнее пребывание туркменов в хивинском подданстве, не приходится удивляться, что они формально относились к ханам Хивы с большим уважением, титуловали их падишахами и считали своими не только светскими, но и духовными лидерами. Они также всегда охотно участвовали в ханских военных предприятиях – особенно в грабительских набегах на персидский Хорасан [Боде, 1856, кн. VII, с. 454]. Однако и в XIX в., по меткому замечанию Н.Н. Муравьева, туркмены считали себя «гостями» в Хивинском ханстве и считали возможным в любой момент перекочевать в пределы любого соседнего государства – Бухары, Персии, России [Путешествие, 1822, ч. II, с. 29; см. также: Куропаткин, 1879, с. 32].

Не приходится удивляться, что хивинские ханы старались обеспечить себе более полный контроль над многочисленными и беспокойными туркменскими племенами и даже позволяли себе ставить над ними наместников из числа своих сановников. Так, Г.Н. Данилевский и Т.-Ф. Базинер упоминают, что туркменами племени теке в 1830-е гг. управляли ханские чиновники, имевшие резиденцию в Мерве и формально обладавшие весьма широкими полномочиями в сфере управления и суда. Однако фактически текинцы этим наместникам фактически не подчинялись и даже порой убивали их, поскольку ханы, не желая настраивать текинцев против себя, не предоставляли таким чиновникам значительной охраны [Данилевский, 1851, с. 134–135; Базинер, 2006, с. 351].

В некоторых случаях наблюдалось своеобразное «сращивание» традиционных институтов власти туркмен и официальных административных институтов Хивинского ханства. Например, как сообщает А.Н. Куропаткин, в 1876 г. туркмены Ахалтекинского оазиса изъявили верность Хиве, и хан направил к ним своего наместника, которого те немедленно провозгласили одним из своих ханов [Куропаткин, 1879, с. 50]!

Впрочем, нередко активная интеграция туркменских предводителей в политическую жизнь Хивинского ханства имела весьма негативные последствия для Хивы и ее монархов. В середине 1850-х гг. туркмены активно участвовали в борьбе за трон, причем ими были убито несколько ханов из династии Кунграт. А в конце 1850-х – первой половине 1870-х гг. могущественный вождь туркменского племени йомуд Ата-Мурад-хан сам стал претендовать на ханскую власть в Хиве, заявляя о себе как о двоюродном брате хивинского хана и более достойном претенденте, причем надеялся, что русские поддержат его претензии как своего союзника [Миссия, 1897, с. 90; Гунаропуло, 1900, с. 580].

Довольно значительное количество туркмен племени эрсари жило в Бухарском эмирате, с 1820-х гг. признавая власть эмира. Однако, в отличие от своих хивинских сородичей, они со временем почти отошли от кочевого образа жизни, занявшись земледелием [Вамбери, 2003, с. 174], и в связи с этим утратили ту специфику, которая не позволяла среднеазиатским монархам распространять на своих кочевых подданных общую структуру управления. Под предлогом необходимости защиты Бухары от туркменских набегов из Хивы в долине Амударьи, где проживали туркмены-эрсари, было построено три крепости, каждая из которых стала центром отдельного бекства. При этом беками и амлякдарами (а также писцами и сборщиками налогов) назначались отнюдь не туркмены, а узбеки или персы (из местных туркмен назначались только аксакалы – главы отдельных селений). В результате население, насчитывавшее около 6 тыс. дворов, должно было содержать весьма многочисленный штат целых трех административных округов. Неудивительно, что эти туркмены были настроены крайне негативно по отношению к бухарским властям и охотно поддерживали любые восстания против эмира [Очерк, 1884, с. 45, 70].

Таким образом, сведения путешественников дают возможность сделать вывод, что, несмотря на сохранение традиционных институтов власти и управления у кочевых подданных, среднеазиатские ханы старались обеспечить себе контроль над ними – начиная от утверждения правителей у кочевников до назначения к ним в качестве наместников собственных сановников. Естественно, последний вариант был возможен лишь в то время, когда кочевые подданные уже довольно давно и плотно взаимодействовали с ханскими

властями, восприняв в значительной степени систему государственных и правовых ценностей среднеазиатских государств.

В отличие от оседлого населения кочевники являлись «служилым сословием», т.е. несли воинскую обязанность, которую, впрочем, считали не столько повинностью, сколько почетным долгом и даже привилегией [Путешествие, 1822, ч. II, с. 107]. В связи с этим представляется небезосновательным сравнение туркменской конницы с казаками на русской службе [Аминов, 2017, с. 116]. Впрочем, среднеазиатские монархи по-разному использовали кочевые войска, что объяснялось особенностями военного дела в каждом из ханств.

Так, в Хивинском ханстве использование войск туркмен и казахов практиковалось весьма широко. Английский разведчик А. Конолли, побывавший в Хиве в 1829 г., сообщает, что на службе у хана находилось 12 тыс. конных туркмен, которые получали жалование – 20 золотых тилля в год [Conolly, 1838, p. 28]. После перехода ряда родоплеменных подразделений Младшего жуза в хивинские владения конница ханства пополнилась также и казахами, которые стали получать такое же жалование [Замечания, 2007, с. 211].

Многочисленное казахское и киргизское население Кокандского ханства не привлекалось местными правителями на военную службу столь активно – по крайней мере, путешественники о таких примерах практически не сообщают. Вместе с тем, путешественники всячески подчеркивают стремление казахов и киргизов перейти из кокандского подданства в российское [см., напр.: Северцов, 1860, с. 24; Венюков, 1868, с. 165], так что, вполне логичным представляется вывод, что власти Коканда просто-напросто не доверяли своим кочевым подданным и не рисковали привлекать их к своим военным кампаниям.

В Бухаре еще в первой трети XIX в. эмир Насрулла начал формировать постоянную армию на профессиональной основе, которая насчитывала в 1830-е гг. 19 тыс. солдат (сарбазов). Поэтому кочевники (в первую очередь, те же туркмены) привлекались к военным действиям в качестве ополчения, которое, впрочем, могло насчитывать почти такое же количество войск – 18 тыс. конников [Записки, 1983, с. 71]. Однако уже к середине XIX в. бухарские туркмены, которые, как уже отмечалось, почти полностью перешли от кочевого образа жизни к оседлому, как сообщает А. Вамбери, утратили склонность к военной службе [Вамбери, 2003, с. 174]. Кстати, в связи с военной службой британский дипломат и разведчик А. Бернс, побывавший в Бухаре в 1832 г., упоминает представителей еще одного кочевого народа – калмыков: согласно его сведениям, в столице эмирата имелась тысяча таких воинов [Путешествие, 1850, с. 487]. По-видимому, речь идет о представителях монгольского племени ойрат, выехавших из Джунгарии после ее разгрома империей Цин в середине XVIII в.: не доверяя собственным соплеменникам, эмир Насрулла предпочитал держать в столице «иностранный легион», который целиком зависел от монарха и, соответственно, был ему верен.

Помимо военной службы, кочевники имели и другие обязанности перед своими сюзеренами – в первую очередь, по уплате налогов и сборов. Налоговая система среднеазиатских ханств, уже неоднократно исследовавшаяся специалистами, была сложной и весьма разносторонней, включая в себя как мусульманские, так и местные традиционные виды налогов и сборов. Однако, как и систему управления, распространить ее на кочевников в полной мере монархи Бухары, Коканда и Хивы не имели возможности. Объем уплачиваемых налогов и сборов, а также повинностей зависел от степени удаленности кочевий тех или иных родов и племен, а также их отношений с властями ханств в конкретный период времени.

Так, например, казахские подданные хивинских ханов должны были платить традиционный мусульманский налог закят – 5 тилля с сорока голов скота. Однако казахские ханы и султаны не могли эффективно организовать сбор этого налога, поэтому из Хивы в казахские кочевья направлялись чиновники «закятчи», которым также не всегда удавалось выполнить свою задачу: кочевники либо отказывались платить, либо просто-напросто

уезжали и скрывались от ханских сборщиков [Данилевский, 1851, с. 136; Записка, 1983, с. 86].

Впрочем, некоторые наиболее влиятельные казахские правители не только сами обеспечивали сбор налогов со своих подданных в пользу Хивы, но и обладали собственными прерогативами в налоговой сфере. Например, российский военный разведчик И.В. Виткевич, проезжая через хивинские владения в 1833 г., побывал у султана Джангази (Маненбая), которого хивинские власти утвердили ханом Младшего жуза: этот правитель сам собирал налоги, причем часть оставлял себе [Записка, 1983, с. 89–90]. Вышеупомянутый купец Абросимов сообщает о встрече с неким казахским султаном, подданным Хивы, который взимал пошлину за речную переправу [Рассказ, 1873, с. 362]. Примечательно, что аналогичным образом действовал и другой казахский правитель – султан Тимур, считавшийся подданных бухарского эмира. Как сообщает ученый и дипломат П.И. Демезон, он сам собирал налоги со своих подданных, а также торговые пошлины с проезжавших через его владения караванов, в т.ч. и бухарских. При этом он по собственному усмотрению мог освободить тех или иных торговцев от уплаты пошлин на определенный срок, а потом вновь обложить их такими пошлинами [Записки, 1983, с. 30–32].

Туркмены в Хивинском ханстве, в отличие от казахов, не представляли единую «базу налогоплательщиков»: уровень налогообложения зависел от особенностей отношений с ханской администрацией. Так, самые многочисленные племена йомуд и теке лишь изредка платили закят ханским чиновникам, равно как и племя човдур, кочевавшее на побережье Каспийского моря и пользовавшееся своей удаленностью от ханских владений. Зато некоторая часть туркменских племен човдур, йомуд, эрсари, кара-ташлы и гоклен, «за какую-то непокорность» переселенная ханом Мухаммад-Рахимом I в район Куня-Ургенча, и занимавшаяся преимущественно земледелием, должна была платить практически все те налоги, что и оседлое население ханства. Мервские туркмены-текинцы, у которых также было развито земледелие, помимо закята, должны были платить налог зерном, как сообщает Г.Н. Данилевский, правда, отмечая при этом, что «хан обходится с ними несколько человеколюбивее, нежели с прочими своими подданными, опасаясь их силы и воинственного духа» [Данилевский, 1851, с. 94, 95].

Опасение восстановить против себя туркмен выражалось и в том, что ханы зачастую не требовали от них несения повинностей. В результате, как отмечал инженер и дипломат П.М. Лессар, побывавший в Хиве в 1881 г., даже после установления над Хивой российского протектората туркмены-йомуды по-прежнему отказывались нести какие-либо обязанности перед хивинскими ханами и даже не занимались поддержанием дорог в собственных владениях [Лессар, 1884, с. 210–211].

Наиболее тяжелым было положение каракалпаков, которые, будучи изначально кочевниками, со временем из-за недостатка мест для кочевания были вынуждены фактически превратиться в земледельцев [см.: Путешествие, 1822, ч. II, с. 26; Базинер, 2006, с. 350]. Как и другие представители кочевого населения, они несли воинскую повинность, но при этом платили налоги и несли повинности подобно представителям оседлого населения. Согласно сообщению чиновника и востоковеда А.Л. Куна, побывавшего в Хивинском ханстве в 1873 г., еще при Мухаммад-Рахиме I, т.е. в первой четверти XIX в. у каракалпаков была введена «подать по соглашению», составлявшая 20 тыс. тилля вне зависимости от количества земли. Те каракалпаки, которые занимались хлебопашеством на «падшалычных землях», т.е. считавшихся собственностью хана, должны были сдавать в качестве своеобразной арендной платы 2 батмана зерна с каждых 5 или даже 4, т.е. 40–50% урожая. Каракалпаки, в отличие от казахов и туркмен, также несли многочисленные повинности, поставляя работников для очистки арыков (казучи), починки мостов (копирши), поддержания плотин и дамб на Амударье. Как отмечал Кун, среди 27 тыс. работников, ежегодно отрабатывавших эти повинности, 6 тыс. составляли именно каракалпаки. При этом контроль за уплатой ими налогов и отбытием повинностей осуществляли не их собственные

правители, а высшие сановники Хивинского ханства – кушбеги и мехтер [см.: Камалов, 1958, с. 145–148].

Более того, именно в местах проживания каракалпаков ханы позволяли себе то, что не могли позволить в местах проживания других своих кочевых подданных: они объявляли те или иные земельные владения «куруками», т.е. заповедными территориями, фактически превращая их в свою собственность. Морской офицер и ученый А.И. Бутаков, в частности, упоминает, что хан объявил запретным для кочевок остров Токмак-Ата, на котором была обнаружена могила святого. Теперь не только местное население было изгнано с этой земли, но и паломники за право поклониться могиле святого должны были сдавать ханским чиновникам некоторое количество ягоды «джида» [Дневные записки, 1953, с. 39].

Возможность подчинить себе кочевников и заставить их платить налоги и нести повинности хивинские ханы получали благодаря своей «водной политике»: по их приказанию изменялись русла рек, строились плотины и дамбы, в результате чего население тех или иных регионов было вынуждено подчиняться ханской воле: такая практика борьбы с восставшими кочевниками использовалась хивинскими ханами еще в XVIII в. [Бартольд., 1965, с. 182–183].

Аналогичным образом действовали и кокандские ханы: на Сырдарье была поставлена плотина Кара-Бугут, препятствовавшая поступлению воды из Сырдарьи, что поставило несколько казахских родов в зависимость от ханских чиновников и заставило осесть в районе Ак-Мечети и заняться хлебопашеством. Соответственно, на них были возложены многочисленные налоги и сборы, взимавшиеся не только в пользу хана, но и в карман местных беков-наместников, а также обязанность строить укрепления и поддерживать их состояние [Бутаков, 1857, с. 108–109]. Согласно сведениям российского чиновника И. Батыршина, участвовавшего в походе оренбургского генерал-губернатора В.А. Перовского на Ак-Мечеть в 1853 г., с местного населения взимались салык (налог скотом в зимний период), скот на зарез (100 баранов с каждого родоплеменного отделения), провиант для нукеров бека и фураж для их лошадей, а также специальный сбор за молитву бека в связи с началом уборки урожая [Краткий дневник, 2012, с. 347–350]!

В отличие от присырдарьинских казахов, киргизы не находились в такой зависимости от кокандских ханов и, подобно хивинским туркменам, могли себе позволить некоторые «вольности». Нередко случалось так, что киргизы просто-напросто не пускали ханских сборщиков на свои земли. На киргизов, проживавших в горах Алатау, была возложена поставка леса для ханских нужд, но они не только сами ее не осуществляли, но и препятствовали ханским лесорубам осуществлять свою работу даже когда те сулили киргизам компенсацию [Записки, 2007, с. 268]. Лишь к концу 1860-х гг. кокандским властям удалось распространить на киргизов основные налоги ханства – закят, харадж, сборы на содержание войск (3 барана с каждой юрты или эквивалент в зерне) и др. [Венюков, 1868, с. 164].

В Бухарском же эмирате, где, как уже отмечалось, не было столь значительного присутствия кочевого населения, власти ограничивались тем, что брали с подвластных казахов лишь закят, не «обирая» их [Ханыков, 1843, с. 74–75].

Как видим, в налоговой сфере отношений ханских властей и кочевых подданных среднеазиатских монархов имела место та же тенденция, что и в сфере организации управления: по мере интеграции в правовое пространство ханства (как правило, путем «оседания» на землю) кочевники все больше сближались по статусу с местным населением, и на них распространялись соответствующие налоги и повинности. Только наиболее многочисленные и влиятельные племена (в первую очередь, туркменские) по-прежнему сохраняли свой особый статус, проявлявшийся лишь в символической уплате основного мусульманского налога – зякета.

Специфика правового положения кочевников проявлялась и в сфере преступлений и наказаний. Обладая широкой автономией, кочевники имели собственных судей, которые разбирали споры и определяли наказания на основе обычного права. Правом суда обладали

ханы, юзбаши или амлякдары, а также и представители местного самоуправления – аксакалы. Они могли разбирать любые дела и приговаривать к любым наказаниям, кроме смертной казни: такие приговоры утверждались хивинским ханом [Abbott, 1884, p. 294]. Впрочем, в ряде случаев ханы могли делегировать своим чиновникам широкие полномочия в судебной сфере: так, согласно участникам дипломатической миссии в Хиву 1842 г., ханский наместник у мервских туркмен мог выносить и смертные приговоры [Данилевский, 1851, с. 135; Базинер, 2006, с. 251].

Отдельные путешественники, впрочем, упоминают о наличии среди кочевников (в частности, казахов и туркмен) мусульманских судей – казиев, которые могли либо непосредственно назначаться по воле хивинских ханов, либо выбираться населением и затем утверждаться ханами. Нередко достоинство казия являлось наследственным: сын предыдущего судьи отправлялся в Хиву, где получал соответствующее образование и возвращался в родные кочевья уже законным преемников своего родителя [Боде, 1856, кн. VIII, с. 452–453; см. также: Путешествие, 1822, ч. I, с. 41].

Таким образом, автономия кочевников распространялась на уголовную и процессуальную сферу. Хивинские ханы выступали чаще всего в качестве третейских судей, когда возникал спор между представителями разных племен или разных кочевых народов из числа их подданных [Путевой журнал, 1868, с. 277]. И только в случае совершения самых опасных преступлений ханские власти непосредственно вмешивались и выносили решения о наказании преступников.

Так, ученый и путешественник К.К. Боде сообщает, что хивинские ханы жестоко наказывали туркменов за попытки выйти из-под их власти и откочевать в другие государства. В качестве примера он приводит племя гоклен, которое перекочевало в Хиву из Персии, но неоднократно пытавшееся откочевать обратно. Ханы приказывали схватить беглецов (примечательно, что в погоню за ними отправлялись отряды из другого туркменского племени – текинцев, издавна враждовавших с гокленами), после чего виновных казнили весьма жестоким образом: привязывали к пушке и выстреливали [Боде, 1856, кн. VII, с. 184]. А. Вамбери сообщает о суровом наказании хивинским ханом представителей туркменского же племени човдуров за разграбление его каравана и убийство караванщиков. Из трехсот нападавших большинство было продано в рабство, а предводители (аксакалы) были ослеплены [Вамбери, 2003, с. 106–107].

Вероятно, как преступление против государства хивинские ханы воспринимали отказ кочевников платить налоги: в ряде случаев ханы отправляли против таких «строптивых» подданных войска, которые порой даже сами возглавляли [Базинер, 2006, с. 351].

Интересно отметить наблюдение Н.Н. Муравьева о том, что наказания, осуществлявшиеся именем хана и по ханской воле, туркмены считали оскорблением и грозили ханским судьям и исполнителям наказаний местью [Путешествие, 1822, ч. II, с. 68]. Это лишний раз подтверждает право кочевников на самостоятельный суд, и любое вмешательство ханских чиновников они воспринимали как попрание их законных прав и привилегий.

Еще в большей степени «неприкосновенной» считалась сфера частноправовых и в особенности семейных отношений у кочевых подданных среднеазиатских ханов. Любые попытки распространить на нее принципы, действовавшие в отношении оседлого населения, вызывали резко враждебную реакцию со стороны кочевников.

Так, И.В. Виткевич упоминает, что хан Алла-Кули решил выдать туркменскую девушку замуж за хивинца: из-за этого ее племя «поссорилось и подралось было ныне с хивинским ханом», который вмешался в семейные правоотношения туркмен и нарушил принцип, согласно которому они не выдавали дочерей замуж за «инородцев». В результате «хан уступил, они опять помирились» [Записка, 1983, с. 88].

Когда возле Ак-Мечети была возведена вышеупомянутая плотина Кара-Бугут, кокандские чиновники не ограничились обложением местных казахов налогами, сборами и повинностями – они стали забирать себе их жен и дочерей. Подобная практика, обычная

среди оседлого населения Средней Азии, привела к восстанию казахов, которые в 1852 г. разрушили эту плотину [Бутаков, 1857, с. 109].

Подводя итоги вышесказанному, можно сделать несколько выводов на основе анализа записок путешественников об особенностях взаимоотношений среднеазиатских монархов и их кочевых подданных.

Прежде всего, можно с уверенностью говорить об особом правовом статусе кочевников, сохранении у них значительной автономии в различных сферах правоотношений, действия традиционных институтов, принципов и норм власти и права.

Вместе с тем, со временем (преимущественно во второй половине XIX в.) стала проявляться тенденция все большей интеграции кочевников в политико-правовое пространство соответствующего государство. Это проявлялось и в появлении у кочевников наместников из числа ханских сановников, и постепенного распространения на них системы налогов, сборов и повинностей, действовавших в отношении оседлого населения ханств. Тем не менее, некоторые сферы (такие как уголовно-правовая или семейная) и в условиях интеграции кочевников в политико-правовое пространство среднеазиатских ханств, как правило, не подлежали изменениям и сохранялись в традиционном для кочевых обществ виде. Кроме того, распространение на кочевников системы управления и правового регулирования отношений, действовавшей в том или ином ханстве, зависела от различных условий – в частности, степени отдаленности кочевников от центральных регионов ханства, средств влияния на жизнь и благосостояние кочевых подданных и т.д.

Наконец, можно согласиться с мнением современных специалистов, что официальный правовой статус кочевников (особенно многочисленных и влиятельных казахских и туркменских племен) не соответствовал их реальной роли в жизни среднеазиатских ханств [см.: Аминов, 2017, с. 115–116]. Это несоответствие неоднократно являлось причиной как внутренних мятежей кочевых подданных, так и их все чаще проявлявшимся стремлением перейти в подданство России.

Литература

1. Аминов И.И. Организационно-правовые основы становления и развития российско-туркменских отношений (1714-1917 гг.). М.: Юрлитинформ, 2017. 344 с.
2. Базинер Т.-Ф. Естественно-научное путешествие по Киргизской степи в Хиву // История Казахстана в западных источниках XII–XX вв. Т. 5. Немецкие исследователи в Казахстане. Ч. 1 / Пер. с нем. Л.А. Захаровой. Алматы: Санат, 2006. С. 283–360.
3. Бартольд В.В. К истории орошения Туркестана // Бартольд В.В. Сочинения. Т. III. Работы по исторической географии. М.: Наука, 1965. С. 95–233.
4. Боде К.К. Очерки Туркменской земли и юго-восточного побережья Каспийского моря // Отечественные записки. 1856. Кн. VII. С. 121–194.
5. Боде К.К. Очерки Туркменской земли и юго-восточного побережья Каспийского моря // Отечественные записки. 1856. Кн. VIII. С. 418–472.
6. Брегель Ю.Э. Хорезмские туркмены в XIX в. М.: Изд-во восточной литературы, 1961. 442 с.
7. Бутаков А.И. Краткое описание реки Сыр-Дарьи от форта Перовский до устьев // Морской сборник. 1857. № 3. С. 107–122.
8. Вамбери А. Путешествие по Средней Азии / Пер. с нем. З.Д. Голубевой; пред. В.А. Ромодина; коммент. В.А. Ромодина, С.Г. Агаджанова. М.: Восточная литература, 2003. 320 с.
9. Венюков М. Путешествия по окраинам Русской Азии и записки о них. СПб.: Типография Императорской академии наук, 1868. 528 с.
10. Галкин М.Н. Этнографические и исторические материалы по Средней Азии и Оренбургскому краю. СПб.: Изд. Я.А. Исакова, 1868. 336 с.
11. Гунаропуло С.А. В туркменской степи (Из записок черноморского офицера) // Исторический вестник. 1900. № 11. С. 565–583.

12. Данилевский Г.Н. Описание Хивинского ханства // Записки императорского русского географического общества. Кн. 5. СПб., 1851. С. 62–139.
13. Дневные записки плавания А.И. Бутакова по Аральскому морю в 1848–1849 гг. Ташкент: Изд-во АН УзССР, 1953. 52 с.
14. Залесов Н. Посольство в Хиву капитана Никифорова в 1841 г. // Военный сборник. 1862. № 9. С. 41–92.
15. Замечания поручика Абдунасыра Субханкулова о своей поездке из Оренбурга в Хиву летом 1818 г. // История Казахстана в русских источниках. Т. VI. Путевые дневники и служебные записки о поездках по южным степям. XVIII–XIX века. Алматы: Дайк-Пресс, 2007. С. 206–218.
16. Записка И.В. Виткевича // Записки о Бухарском ханстве. М.: Наука, 1983. С. 17–83.
17. Записки о Кокандском ханстве хорунжего Н.И. Потанина (12 августа 1829 – 24 марта 1830 гг.) // История Казахстана в русских источниках XVI–XX веков. Т. VI. Путевые дневники и служебные записки о поездках по южным степям. XVIII–XIX века. – Алматы: Дайк-Пресс, 2007. С. 254–299.
18. Записки П.И. Демезона // Записки о Бухарском ханстве. М.: Наука, 1983. С. 17–83.
19. Камалов С. Народно-освободительная борьба каракалпаков против хивинских ханов в XIX в. // Материалы и исследования по этнографии каракалпаков / Под ред. Т.А. Жданко. М.: Изд-во АН СССР, 1958. С. 133–206.
20. Краткий дневник, веденный переводчиком Искендером Батыршиным во время похода на Акмечеть. 1853 г. / Пред., подгот. текста, коммент. И.В. Ерофеевой, Б.Т. Жанаева // История Казахстана в документах и материалах. Вып. 2. Астана: Общество инвалидов – Чернобылец, 2012. С. 279–372.
21. Лессар П.М. Заметки о Закаспийском крае и соседних странах (Поездка в Персию, Южную Туркмению, Мерв, Чарджуй и Хиву) // Записки Кавказского отдела Императорского русского исторического общества. Кн. XIII. 1884. С. 161–211.
22. Миссия в Хиву и Бухару в 1858 году флигель-адъютанта, полковника Н. Игнатьева. СПб.: Государственная типография, 1897. 278 с.
23. Куропаткин А. Туркмения и туркмены. СПб.: Типография В.А. Политики, 1879. 57 с.
24. О слухах и событиях в Средней Азии. Т. 1. 20 апреля 1853 г. – 31 июля 1862 г.: Сб. документов / Сост. Б. Т. Жанаев. Караганда, 2016. 800 с.
25. Очерк долины Аму-Дарьи. Расспросы капитана 3-го Западно-Сибирского линейного батальона Быкова. Ташкент 1880 г. // Сборник географических, топографических и статистических материалов по Азии. Вып. IX. СПб., 1884. С. 34–73.
26. Плоских В.М. Киргизы и кокандское ханство. Фрунзе: Илим, 1977. 368 с.
27. Путевой журнал переводчика армянина Турпаева, посланного в 1834 г. из Ново-Александровского укрепления в Хиву // Галкин М.Н. Этнографические и исторические материалы по Средней Азии и Оренбургскому краю. СПб.: Изд. Я.А. Исакова, 1868. С. 264–285.
28. Путевые замечания лекаря Омского гарнизонного полка Ф.К. Зибберштейна (17 июля – 12 октября 1825 г.) // История Казахстана в русских источниках XVI–XX веков. Т. VI. Путевые дневники и служебные записки о поездках по южным степям. XVIII–XIX века. Алматы: Дайк-Пресс, 2007. С. 222–253.
29. Путешествие в Бухару лейтенанта Ост-Индской компанейской службы Александра Борнса. Ч. 3. М.: Изд. П.В. Голубкова, 1850. 628 с.
30. Путешествие в Туркмению и Хиву в 1819 и 1820 годах гвардейского генерального штаба капитана Николая Муравьева, посланного в сии страны для переговоров. Ч. I. М.: Типография Августа Семена, 1822. 179 с.
31. Путешествие в Туркмению и Хиву в 1819 и 1820 годах гвардейского генерального штаба капитана Николая Муравьева, посланного в сии страны для переговоров. Ч. II. М.: Типография Августа Семена, 1822. 144 с.

32. Рассказ торговца Абросимова о его поездке в Хиву // Материалы для статистики Туркестанского края. Ежегодник / Под ред. Н.А. Маева. Вып. II. СПб., 1873. С. 353–377.
33. Северцов Н. Месяц плена у Коканцев. СПб.: Типография Рюмина и Комп., 1860. 98 с.
34. Ханыков Н. Описание Бухарского ханства. СПб.: Типография Императорской академии наук, 1843. 279 с.
35. Abbott J. Narrative of a Journey from Heraut to Khiva, Moscow and St. Petersburg during the last Russian Invasion of Khiva. Vol. II / 3rd ed. London: W.H. Allen & Co., 1884. 329 p.
36. Conolly A. Journey to the North of India overland from England through Russia, Persia and Affghaunistan. Vol. I / 2nd ed., rev. London: R. Bentley, 1838. 350 p.

NOMADIC SUBJECTS OF CENTRAL ASIAN KHANATES: LEGAL STATUS AS IT STATED IN NOTES OF TRAVELERS OF THE 19TH C.

Pochekaev R.Yu.
National Research Univesity Higher School of Economics,
St. Petersburg, Russia, ropot@mail.ru

Abstract. The article is a study of information of Russian and Western travelers of the 19th c. on the legal status of nomads who were subjects of the Central Asian khanates – Bukhara, Khiva and Khoqand. The specific features of their legal position is studied as well as a level of integration of different peoples and tribes into the political and legal space of khanates of the Central Asia.
Keywords: nomads of the Central Asia, Kazakhs, Turkmen, Kyrgyz, Emirate of Bukhara, Khanate of Khiva, Khanate of Khoqand, travelers' notes.

ИМПЕРИЯ ХУННУ И НАЧАЛА СТЕПНОЙ УРБАНИЗАЦИИ

Крадин Н.Н.[1], Ивлиев А.Л.[2], Васютин С.А.[3]
[1] *Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН, Владивосток, Россия,*
Институт монголоведения, буддологии им тибетологии СО РАН, Улан-Удэ, Россия, kradin@mail.ru
[2] *Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН, Владивосток, Россия, ivliev@mail.primorye.ru*
[3] *Кемеровский государственный университет, Кемерово, Россия, vasutin2012@list.ru*

Аннотация. В статье рассматривается генезис городской культуры в империи Хунну. Подчеркивается значение хуннской урбанизации для Внутренней Азии, поскольку создание городищ и поселенческих комплексов с фортификацией, жилой и производственными зонами было новацией для данного региона. На основании анализа материалов городища Тэрэлжийн-дурвулжин и других памятников предложена примерная схема этапов урбанизации и возникновения раннего города в империи Хунну.
Ключевые слова: Внутренняя Азия, империя Хунну, городища, урбанизаци, кочевые империи, ранний город.

Данная работа выполнена при финансовой поддержке гранта РГНФ/РФФИ-Монголия № 15-21-03001а(м) «Города Хуннской империи».

Изучение процессов урбанизации в империи Хунну, благодаря исследованиям последнего десятилетия, приобрело важнейшее значение. Особенно остро стоит вопрос о трактовке памятников с внешними признаками городищ (Тэрэлжийн-дурвулжин, Хурээт-дов, Бурхийн-дурвулжин, Ундур-дов, Байшинтийн-дэрс и др.) [Крадин, Ивлиев, Васютин, Харинский, Очир, Ковычев, Эрдэнэболд, 2017], поскольку от этого во многом зависит оценка масштабов хуннской урбанизации в целом. Империя Хунну была первой из череды номадных имперских образований Внутренней Азии конца I тыс. до н.э. – середины II тыс. н.э., и тем самым олицетворяет важный этап исторического развития кочевого мира в Восточной Евразии.

По письменным источникам известно, что своими реформами и военными успехами на рубеже III–II вв. до н.э. хуннский вождь Модэ (Маодунь) создал в степном ареале Внутренней Азии новую модель политической системы – кочевую империю [Крадин, 2001; Крадин, 2002]. Особенности степного политогенеза предполагали постепенную трансформацию конгломерата племен и вождеств, оказавшихся под властью Модэ, в общество с имперской культурой, в рамках которой возрастает востребованность престижных товаров, предметов ремесла, продуктов земледелия, что так или иначе связано с городской культурой. Во времена империи Цинь о хунну говорили, что они «не имеют для жительства городов, обнесенных внешними и внутренними стенами». Не имея запасов, хунну не приходилось защищать их. Они кочевали с места на место и, как указывается в китайской хронике, «их трудно прибрать к рукам» [Таскин, 1968, с. 112].

Возвышение Хань и создание империи Хунну вызвало значительную волну миграции из Китая противников новой династии. Среди них были сторонники Цинь и других китайских царств, перешедшие на сторону хунну военачальники и воины, а также захваченные во время набегов жители пограничных областей Китая [Лидай, 1958, Т. 1, с. 18, 19; Таскин, 1968, с. 41, 42, 43, 47; Крадин, 2002, с. 97]. Интересно, что хунну называли их «циньцами» [Таскин, 1973, с. 24], противопоставляя их поданным династии Хань. Таким образом, уже в первые десятилетия существования империи Хунну в монгольских степях под покровительством шаньюя проживало значительное число китайцев, что создавало условия для возведения в степях оседлых поселений, развития ремесла и сельского хозяйства. Не случайно, что в

китайских источниках относительно II в. до н.э. появляются некоторые сведения о наличии у хунну городов [Лидай, 1958, Т. 1, с. 204; Таскин, 1968, с. 68, 91, 155, прим. 30, 165, прим. 30]. Наиболее раннее упоминание города относится к первой половине II в. до н.э. Еще в 201 г. до н.э. ханьский военачальник Хань Синь перешел на строну хунну. В одном из сюжетов о его дальнейшей судьбе сообщается, что Синь весте со своим сыном прибыл в город Туй-дан, который располагался в землях хунну [Таскин, 1968, с. 68, 155, прим. 30]. Эти сведения слишком кратки и не информативны, чтобы конкретизировать наши представления о «городе», построенном в степях (не указано расположение «города», его политический статус, чем занимались его жители и герой повествования), но их нельзя игнорировать, когда мы обращаемся к анализу археологических памятников хуннского времени.

К настоящему моменту выявлено 26 городищ и поселений на территории империи Хунну [Пэрлээ, 1957, с. 44; 1961, с. 32–33; Давыдова, 1985, 1995; Миняев, 2001, с. 301–302; Крадин, 2002, с. 81–86; Данилов, 2004, с. 40–47; 2011; Ramseyer, Pousaz, Törbat, 2009, p. 231–240; Амартувшин, Гантулг, Гарамжав, 2010, с. 181–183; Данилов,Симухин, Цыденова, 2011, с. 30–51; Danilov, 2011, p. 129–136; Эрэгзэн, Баярсайхан, Алдармөнх, 2014, с. 42–47; Данилов, Именохоев, Нанзатов, Симухин, Очир, Эрдэнэболд, 2016, с. 74–93; Коновалов, Базаров, Миягашев, Клементьев, Именохоев, 2016, с. 9–26; Крадин, Бессонова, Зверев, 2016, с. 9–21; Анхбаяр, 2017, с. 90–100; Ивлиев, Крадин, Харинский, Очир, Васютин, Ковычев, Эрдэнэболд, 2017, с. 118–136; Крадин, Ивлиев, Васютин, Харинский, Очир, Ковычев, Эрдэнэболд, 2017, с. 163–175; Мягишев, Бессонова. Базаров, Зверев, Теличко, 2017, с. 179–184; Эрэгзэн, 2017, с. 243–255; и др.].

Из указанных городищ выделяется серия памятников в бассейне Керулена (Тэрэлжийн-дурвулжин, Бурхийн-дурвулжин, Ундур-дов и др.), предположительно построенных в первой половине – середине II в. до н.э. Наиболее исследованным их них является Тэрэлжийн-дурвулжин. Данный памятник обследовался еще в 1925 г. выдающимся российским монголоведом Б.Я. Владимирцовым. Первым провел раскопки платформы № 2 (раскоп 1) Х. Пэрлээ. В 2007–2008 гг. российско-монгольской экспедицией под руководством С.В. Данилова, А. Очира и Л. Эрдэнэболда исследовалась самая большая платформа (платформа № 1, раскоп 2; см. рис. 1). В 2015–1016 гг. российско-монгольской экспедицией под руководством Н.Н. Крадина и Л. Эрдэнэболда было проведено изучение платформы № 4.

Тэрэлжийн-дурвулжин расположен у подножия отрогов горы Мунхжаргалант в долине реки Тэрэлж, притока Керулена. Городище имеет подквадратную форму размерами 226–227 м х 221 м. По внешним признакам оно обладает фортификационной инфраструктурой, характерной для городищ: 1) вал разной степени сохранности шириной до 12 м и высотой до 1,5–2 м снаружи и до 0,6 м изнутри; 2) ров шириной от 2 до 4 м и глубиной 0,2–0,3 м; 3) угловые «башни», которые более четко выделяются в северо-западном, северо-восточном и юго-восточных углах; 4) ворота – разрывы в центральной части каждого вала с перемычками во рвах напротив ворот (рис. 1). Внутренние структуры рассматриваемого археологического объекта также отличались сложностью. На площади памятника располагались платформы разных размеров, при этом более крупные платформы № 1 (максимальная высота 185 см) и № 2 (180 см) были связаны своеобразными «дорожками», напоминающими вал шириной до 10 м, с платформами меньшего размера № 4 и № 3 (от платформы № 1 шла «дорожка» к платформе № 4, а от платформы № 2 к платформе № 3). В ходе раскопок 2007–2008 гг. было выявлено, что «дорожка» проходила вокруг платформы № 1, а только потом шла к платформе № 4. С юго-запада к платформе № 1 примыкали какие-то дополнительные конструкции в виде двух «усов» (рис. 1); более подробное описание: [Ивлиев, Крадин, Харинский, Очир, Васютин, Ковычев, Эрдэнэболд, 2017, с. 119–121].

На платформе № 4 в 2015–2016 гг. была были разбиты раскопы № 3 и № 4 общей площадью 252 м^2 (рис. 2). Раскоп № 3 имел квадратную форму 12 х 12 м и делился на 4 сектора (I, II, III, IV – 2015 г.), каждый из которых имел размер 6 х 6 м. Раскоп № 4 примыкал к раскопу № 3 с северо-запада и состоял из трех секторов 6 х 6 м (VI, V, IV – 2016 г.)

вытянутых в прямоугольник 18 х 6 м (рис. 2). Для лучшей фиксации артефактов разбор секторов велся по квадратам размером 1 х 1 м. Раскопки осуществлялись пластами по 10 см.

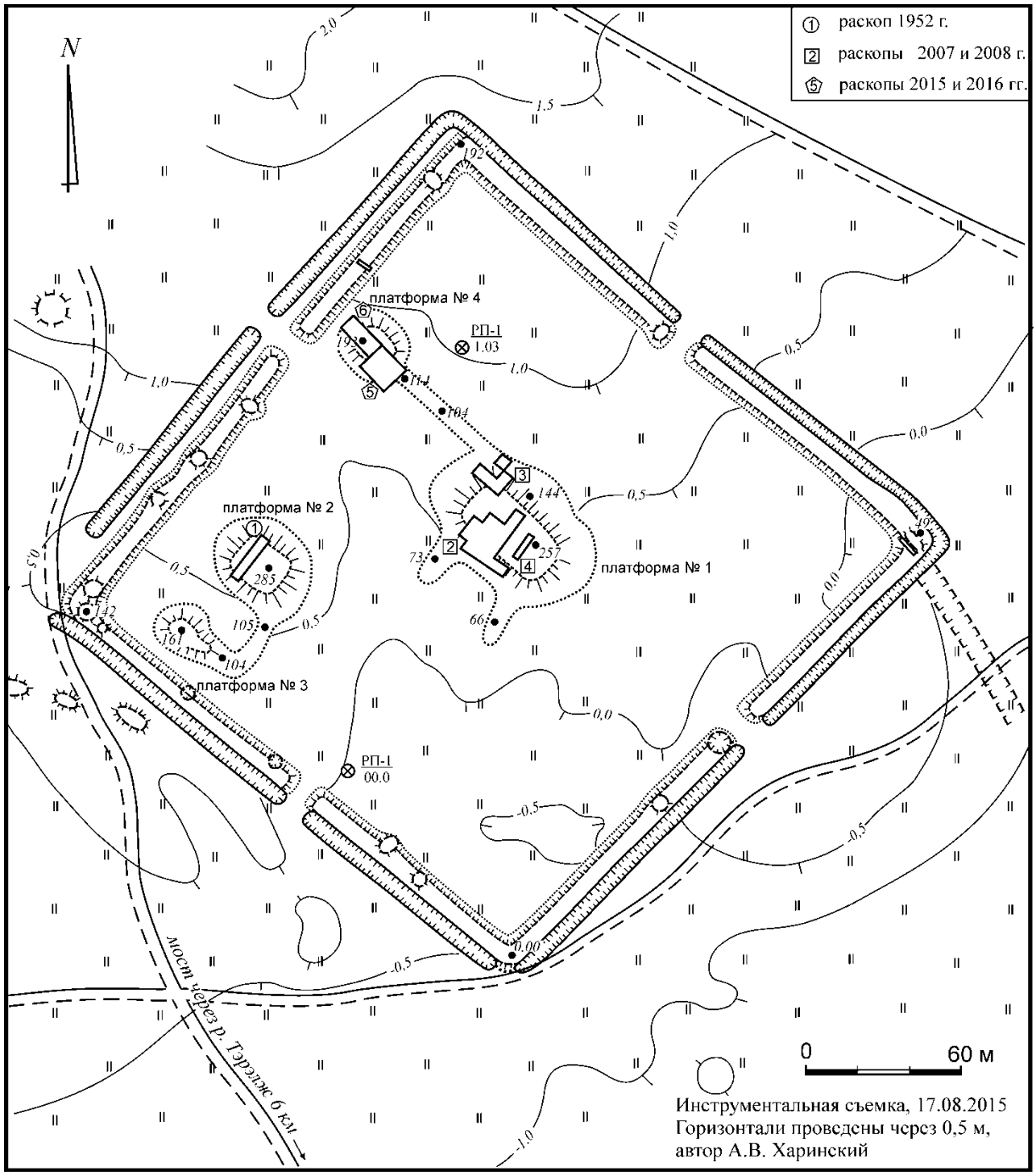


Рис. 1. План памятника Тэрэлжийн-дурвулжин.

Исследование российско-монгольской экспедиции в 2015–2016 гг. также позволили выявить некоторые черты конструкции платформы и располагавшегося на ней здания. После снятия насыпи была выявлена собственно платформа из утрамбованной глины с включением мелких фрагментов черепицы и камня. Она имела, скорее всего, подквадратную форму. Края платформы зафиксированы в западной части секторов II и IV раскопа 2015 г. (по линии квадратов G/H 1-12 с небольшим смещением в бровку между секторами III и IV (рис. 4) и в

восточной части сектора IV раскопа 2016 г., где он проходил по линии квадратов E 7–12. В секторе IV раскопа 2016 г. вдоль западного основания платформы обнаружены следы галечной вымостки шириной 0,55–0,8 м. Таким образом, длина платформы по условной линии восток – запад составила ок. 21 м. Ширину платформы полностью выявить не удалось, так как сектора, в которых находились края платформы по условной линии С-Ю, не были раскопаны. Однако, судя по нивелировке дневной поверхности, она составляла около 11-12 м.

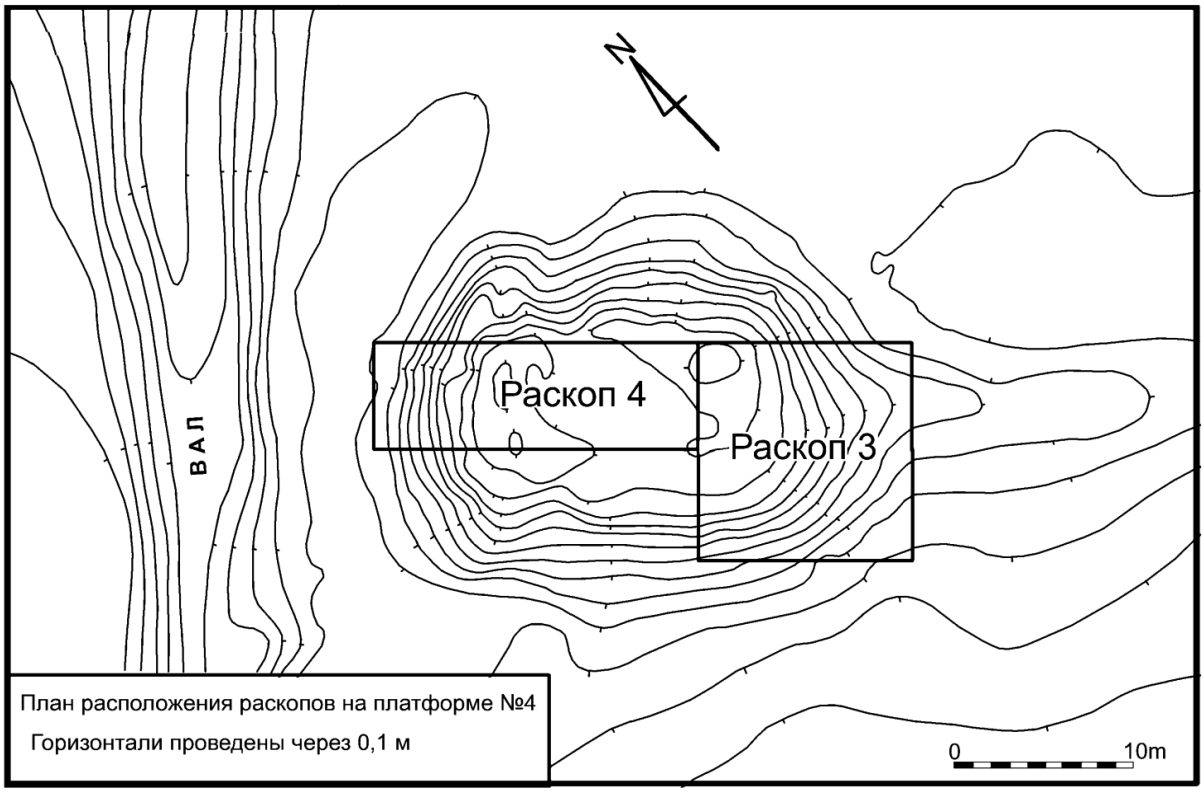


Рис. 2. Раскопы № 3 (2015 г.) и № 4 (2016 г.).

Судя по всему, как и платформа № 1, исследованная С.В. Даниловым и коллегами, так и платформа № 4 была окружена каменной дорожкой. Мы зафиксировали остатки дорожки с северной стороны платформы (рис. 7). Ее ширина была 58-65 см. Дорожка сделана из мелкой речной гальки. Без подсыпки и без создания глиняной основы платформы. Камешки плотно подогнаны друг к другу, некоторые из них поставлены вертикально.

Раскопки показали, что на платформе находились остатки сооружения с черепичной крышей. В основном сохранился развал черепичной кровли, скопившейся преимущественно на краях, склонах и у основания платформы. Следы пожара отсутствовали. В секторах V и VI (2016 г.) были зафиксированы следы грабительского лаза. Раскопом 4 платформа была разобрана до уровня материка. В секторе IV к платформе примыкала дорожка шириной около 2 м, идущая от платформы № 1. По всей видимости, здесь был вход в здание. Вход и часть дорожки были также перекрыты крышей с черепицей, о чем свидетельствует наличие в юго-восточном углу сектора IV (2015 г.) рядом с дорожкой столбовой ямы с остатками деревянной опоры (рис. 5). Наличие крыши с кровельной черепицей подтверждается находками концевых дисков в самых разных квадратах сектора IV в самых нижних пластах, поскольку они падали первыми при разрушении крыши здания (№ 50 2015, пласт 5–7, кв. KL-11/12, несколько фрагментов; № 86 2015, пл. 7, кв. G-10; № 94 2015, пл. 7, кв. G-11; № 82 2015, пл. 7, кв. J-10; № 95 2015, пл. 6, кв. J-11 и др.), а также наличием большого количества черепицы по краям от дорожки в секторе IV (например: пл. 4, кв. I-7 – 32,5 кг черепицы; пл.

5, кв. Н-10 – 38,6 кг; пл. 5, кв. Н-11 – 76,8 кг; пл. 5, кв. Н-12 – 50,6 кг; пл. 5, кв. I-11 – 31,4 кг; пл. 5, кв. I-12 – 42,8 кг; пл. 6, кв. I-11 – 20,7 кг; пл. 6, , кв. I-12 – 25 кг; пл. 6, кв. J-11 – 32,5 кг) и в северных квадратах сектора II (например: пл. 4, кв. I-5 – 35,8; пл. 5, кв. I-5 – 40,4 кг). Столбовые ямки также фиксировались на западном краю платформы в секторе IV раскопа № 4.

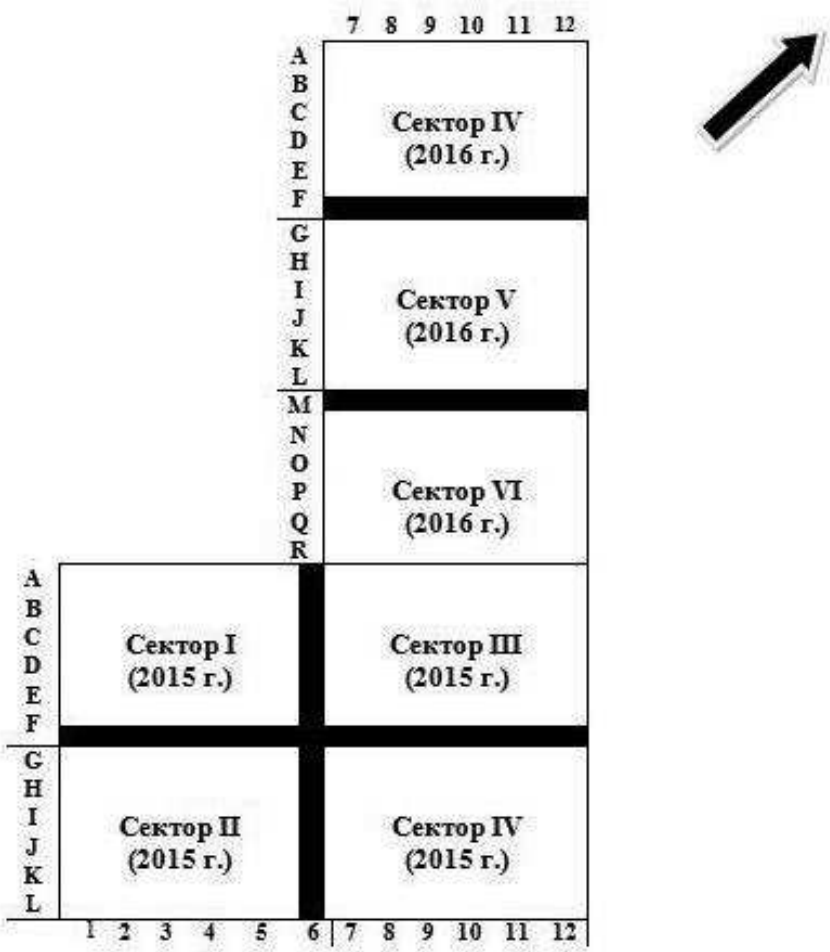

7 8 9 10 11 12
A B C D E F
Сектор IV (2016 г.)
G H I J K L
Сектор V (2016 г.)
M N O P Q R
Сектор VI (2016 г.)
A B C D E F
Сектор I (2015 г.)
Сектор III (2015 г.)
G H I J K L
Сектор II (2015 г.)
Сектор IV (2015 г.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Рис. 3. План-схема раскопов № 3 (2015 г.) и № 4 (2016 г.).

В ходе исследования было найдено 70 532 фрагмента кровельной черепицы общим весом 4023,5 кг и 68 фрагментов кирпича общим весом 21,92 кг.

Черепица была представлена плоской (нижняя по своему положению на крыше), желобчатой (верхняя, накрывающая стыки между плоскими черепицами) и концевыми дисками, украшавшими край кровли. На черепице присутствуют элементы декора (например, волнистые линии на поверхности плоской и желобчатой черепицы, «S»-образная фигура, соединенная линией с центральным кругом и похожая на тамгу хунну на концевых дисках), свидетельствующие о влиянии хуннских орнаментальных традиций.

Особенностью технологии изготовления плоской черепицы Тэрэлжийн-дурвулжина является отсутствие оттисков ткани на вогнутой поверхности черепицы. Это означает, что плоская черепица изготавливалась без использования обернутого тканью усечено-конического шаблона. Вероятнее всего, заготовки черепицы Тэрэлжийн-Дурвулжина в виде труб усечено-конической формы формовались из глиняных лент вручную, а после высыхания разрезались, либо надрезались и разламывались на отдельные черепицы по надрезам.

Рис. 4. Край платформы в секторе II, пласт 4, вид с севера (2015 г.).

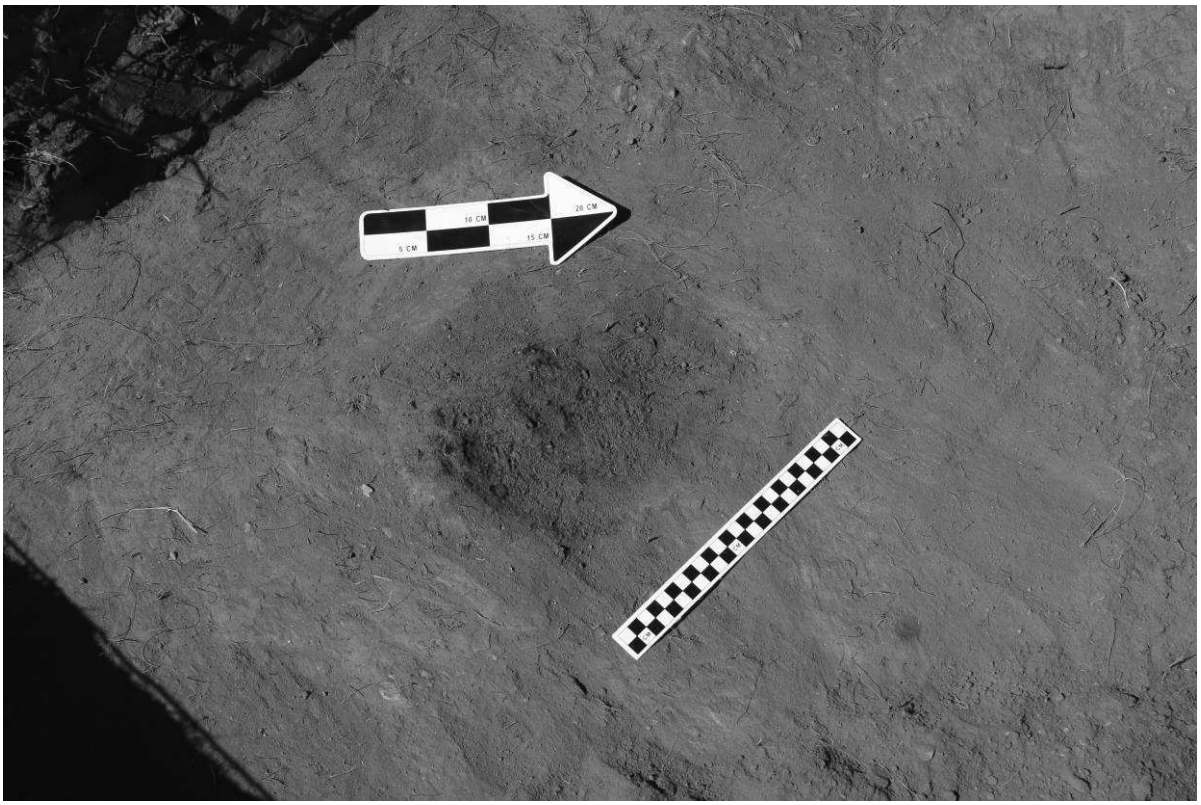


Рис. 5. Остатки деревянного столба в секторе IV, пласт 4, кв. L-7 (2015 г.).

Желобчатой черепицы обнаружено гораздо меньше, чем плоской. Возможным объяснением столь малого количества желобчатой черепицы и концевых дисков является

предположение Г. Эрэгзэна о том, что на городище Гуадов, где плоская черепица также преобладала, крыша в основном закрывалась плоской черепицей в два слоя (в первом слое она лежала в обычном положении внешней поверхностью вниз, а во втором наоборот – внешней поверхностью вверх, что позволяло видеть нанесенный на нее декор [Эрэгзэн, 2017, с. 249]), и только важные стыки закрывались желобчатой черепицей. Концевые диски не отличались единообразием, отличаясь толщиной, высотой бордюра декором и другими элементами. Всего выявлено 8 вариантов декора. Более детальный анализ черепицы представлен в статьях авторов раскопок [Ивлиев, Крадин, Харинский, Очир, Васютин, Ковычев, Эрдэнэболд, 2017, с. 121–129; Крадин, Ивлиев, Васютин, Харинский, Очир, Ковычев, Эрдэнэболд, 2017, с. 165–170].

	1	2	3	4	5	6	
G	*0,7*	*0,3*	*1,45*	*2,3*	*4,3*	*0,5*	
H	*6,5*	*8,0*	*20,15*	*25,3*	*18,2*	*3,4*	
I	*7,37*	*18,1*	*13,08*	*5,55*	*35,8*	*15,64*	
J	*17,1*	*28,9 1,2*	*26,9*	*15,1*	*45,7*	*19,4*	
K	*6,4*	*35,12*	*26,0*	*28,2*	*9,7*	*11,7*	
L	*3,4*	*12,8*	*4,6*	*2,5*	*8,4*	*10,1*	

Рис. 6. Городище Тэрэлжийн-дурвулжин. Раскоп № 4. Сектор II раскопа 2015 г. Пласт 4. Вес черепицы по каждому квадрату.

Технология изготовления черепицы дает основание для установления примерной нижней даты ее изготовления и использования в качестве строительного материала. Оттиск ткани на обратной стороне черепицы является хронологическим показателем, поскольку технология изготовления черепицы на обернутом тканью шаблоне появилась в средний-поздний периоды империи Западная Хань. Таким образом, можно со всей определенностью говорить, что изготовители черепицы придерживались доханьских и раннеханьских традиций. О доханьских традициях изготовления черепицы свидетельствует и декор концевых дисков. Особенности оформления декора тэрэлжинских дисков (низкий и узкий бордюр) сближают их с дисками Восточного Чжоу и раннего периода Западной Хань. При этом, не исключено, что появившаяся в столице Хань новая технология могла проникнуть в земли хунну с некоторым запозданием. Следует отметить, что такая датировка соответствует полученной в ходе раскопок калиброванной (intCal13) радиоуглеродной дате 355–47 гг. до н.э. Это дает основание датировать время сооружения платформы № 4 и всего городища первой половиной – серединой II в. до н.э.

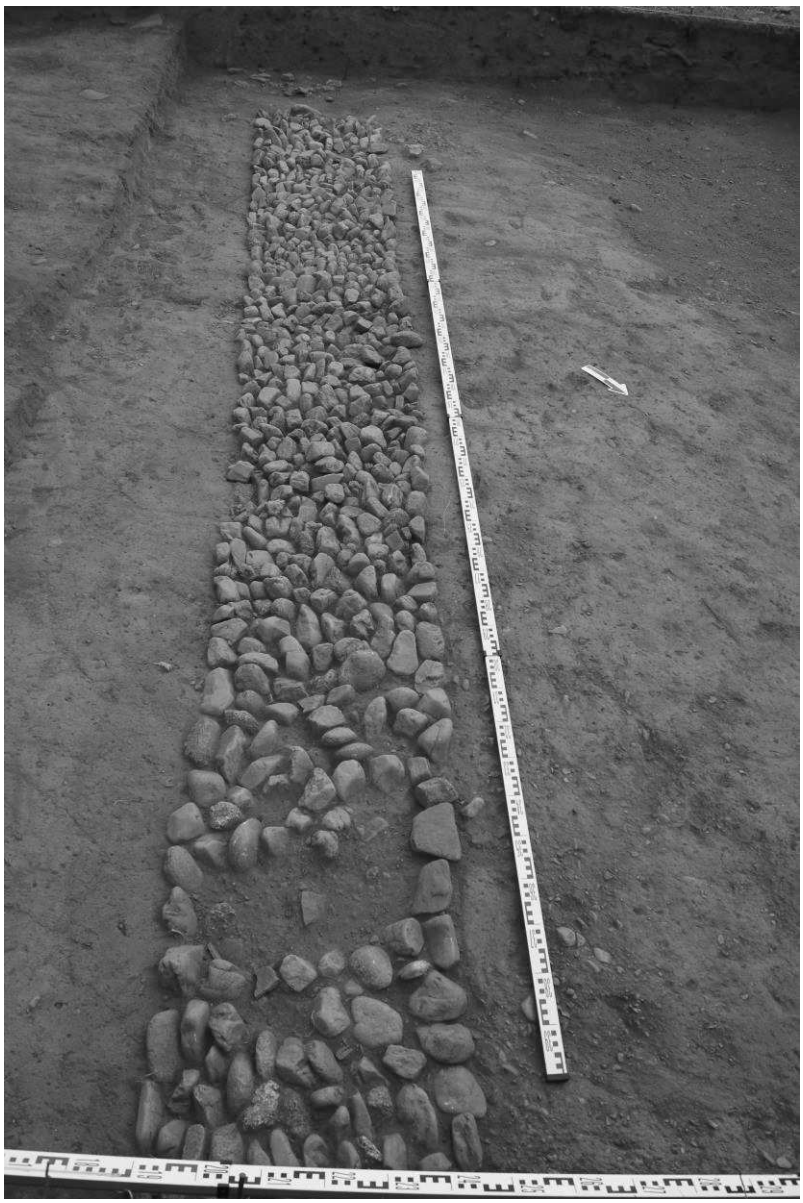


Рис 7. Каменная дорожка с условно северной стороны платформы. Сектор IV. Вид с северо-запада.

Кирпич использовался для облицовки и укрепления краев платформы, о чем свидетельствует нахождение большей части фрагментов кирпича, в том числе и наиболее полных фрагментов, в 6-ом пласте сектора II у самого края платформы (квадраты H-3, 4, 5, I-2, 3, 4, J-2, 4, K-3), а также в квадратах этого же сектора к юго-востоку от платформы, куда кирпич мог попасть в результате разрушения кладки. Показательно, что в секторах I и III (2015 г.), а также в секторах IV–IV кирпичи либо не были зафиксированы, либо были представлены немногочисленными небольшими фрагментами, чей вес не превышал 0,1 кг.

Насыщенностью черепицей отличались периферийные сектора (II и IV раскопа 2015 г., IV раскопа 2016 г.), куда черепица попала в результате разрушения здания на платформе. В секторах I и III раскопа 2015 г., VI и V раскопа 2016 г. черепица присутствовала в значительно меньших количествах и наряду с крупными фрагментами здесь преобладали мелкие фрагменты черепицы. Наибольшее количество черепицы, что наиболее четко фиксирует вес фрагментов, найденных в квадрате каждого пласта, представлено в секторе II раскопа 2015 г. Особой насыщенностью отличались 4-й пласт и некоторые квадраты 5 и 6 пластов этого сектора (пл. 4, кв. J-2, 3, 5 – от 27 до 45 кг; пл. 4, кв. K-2 – 35,12 кг; пл. 4, кв. K-3 – 26,2 кг; пл. 4, кв. K-4 – 28,3 кг), что указывает на южное направление разрушения части

здания и падения черепицы с его крыши (рис. 6). Концевые диски в секторе II раскопа № 3 были сосредоточены в последнем 6-м пласте в линии квадратов I (№ 84 2015 пл. 6, кв. I-4; № 88-1 2015 пл. 6, кв. I-6; № 85 2015 пл. 6, кв. I-6; № 87 2015 пл. 6, кв. I-6; № 93 2015 пл. 6, кв. I-5), указывая на место падения края кровли. Учитывая, что при разрушении здания крышу «разрывает» и ее отдельные фрагменты переворачивает под тяжестью крайних черепиц усиленных концевыми дисками, разброс большого количества черепицы на площади секторов, прилегающих к платформе, и даже на более дальние расстояние вполне объясним. Также стоит учесть, что крыша могла быть больше платформы по площади, и крайние черепицы нависали над краем платформы и даже могли выходить за периметр платформы. Сходная картина зафиксирована и в секторе IV раскопа № 4. За пределами платформы (линии квадратов A 7-12, B 7-12, C 7-12 и D 7-12) находились многочисленные фрагменты черепицы, упавшие с крыши при разрушении здания, и образовавшие сплошной массив (с неравномерным распределением по квадратам) в несколько слоев черепичных фрагментов. Эти слои перемежевывались с грунтом и галькой, попавшей в сектор в результате размывания близко расположенного вала во время весенних подтоплений городища рекой Тэрэлж. Уже во втором пласте сектора IV 2016 г. в отдельных квадратах вес черепицы составил 44,3 кг (кв. A-8), 39,6 кг (кв. A-9), 28,54 кг (кв. B-8), 24,9 кг (кв. B-10), 20,7 кг (кв. B-12). Наиболее насыщенным черепицей оказался пласт 3. В этом пласте большое количество фрагментов черепицы и соответственно весовые показатели представлены в квадратах линии A 7-12 (A-7 – 16 кг, A-8 – 22,3 кг, A-9 – 28 кг, A-10 – 23,6 кг, A-11 – 11,4 кг, A-12 – 19, 5 кг), B 7-12 (B-7 – 8,2 кг, B-8 – 22,6 кг, B-9 – 30,0 кг, B-10 – 46,7 кг, B-11 – 13,1 кг, B-12 – 21,6 кг), C 11-12 (C-11 – 31,2 кг, C-12 – 66,9 кг). В самых нижних пластах (5 и 6) сектора IV большое количество черепицы было представлено в квадратах линий C и D, примыкающих к краю платформы. В пласте 5 это квадраты C-9 (16,2 кг), D-10 (20,2 кг), D-11 (22,6 кг), D-12 (11,2 кг). В пласте 6 – C-8 (12 кг), C-9 (11 кг), C-11 (11,6 кг), D-9 (13 кг), D-10 (9,2 кг), D-11 (17,8 кг), D-12 (24,4 кг). Концевые диски также как и в раскопе № 3 преимущественно были обнаружены в последнем пласте сектора IV: № 45 2016, пл. 6, кв. D-8; № 46 2016, пл. 6, кв. D-7; № 24 2016, пл. 6, кв. B-8; № 42 2016, пл. 6, кв. D-9; № 38 2016, пл. 6, кв. D-12. Исключение составили два фрагмента концевых дисков, найденных в третьем (№ 15 2016, пл. 3, кв. B-12) и четвертом (№ 23 2016, кв. B-9) пластах.

Стоит отметить, что насыщенность фрагментами черепицы квадратов за пределами платформы (сектора II и IV 2015 г.; сектор IV 2016 г.) и на самой платформе (сектора I и III, а также частично сектор II и IV по линии квадратов G 1-12 2015 г.; сектора IV и V, а также частично сектор IV по линиям квадратов F 7-12 и E 7-12) существенно отличалась. Если в квадратах за пределами платформы максимальные значения могли достигать 895 фрагментов черепицы общим весом 76,8 кг (сектор IV 2015 г., пл. 5, кв. H-11 или 479 фрагментов черепицы общим весом 66,9 кг (сектор IV 2016 г., пл. 3, кв. C-12), то в квадратах на платформе данные показатели намного скромнее:наиболее насыщенными черепицей были в секторе I раскопа № 3 – кв. D-4 первого пласта (36 фрагментов черепицы общим весом 1,12 кг), в секторе III раскопа № 3 – кв. B-8 второго пласта (154 фрагмента черепицы общим весом 7,55 кг), в секторе VI раскопа № 4 – кв. R-7 второго пласта (81 фрагмент черепицы общим весом 5,6 кг) и кв. O-8 седьмого пласта (96 фрагментов черепицы общим весом 5,0 кг), в сектор V раскопа № 4 – кв. I-11второго пласта (90 фрагментов черепицы общим весом 9,5 кг). Из 144 квадратов сектора I раскопа № 3, распределенных по 4 пластам, в 57 квадратах (39,5 %) находки отсутствовали, а в 75квадратах (52 %) вес черепицы не превышал 0,5 кг. Из 180 квадратов сектора III раскопа № 3, распределенных по 5 пластам, в 56 квадратах (31 %) находки отсутствовали, а в 80 квадратах (44 %) вес черепицы не превышал 0,5 кг. Из 343 квадратов сектора VI раскопа № 4, распределенных по 10 пластам, в 94 квадратах (27 %) находки отсутствовали, а в 153 квадратах (44,6 %) вес черепицы не превышал 0,5 кг. Из 360 квадратов сектора V раскопа № 4, распределенных по 10 пластам, в 132 квадратах (36,6 %) находки отсутствовали, а в 131 квадрате (36,4 %) вес черепицы не превышал 0,5 кг. Квадраты 6-10 пластов секторов VI и V раскопа № 4 являлись заполнением

платформы с включениями преимущественно мелких фрагментов черепицы. Для сравнения, из 216 квадратов сектора II раскопа № 3, распределенных по 6 пластам, только в 44 квадратах (20 %) не было обнаружено артефактов и в 41 квадрате (18,9 %) вес черепицы не превышал 0,5 кг. В секторе IV раскопа № 4 из 216 квадратов, распределенных по 6 пластам, в 30 квадратах (13,8 %) отсутствовали находки, а в 49 квадратах (22,6 %) вес черепицы не превышал 0,5 кг. Для примера сопоставим совокупные показатели количества фрагментов черепицы и их веса по сектору I 2015 г. с добавлением квадратов G 1-6 (платформа) с количеством фрагментов черепицы и их весом в квадратах сектора II 2015 г. за пределами платформы (данные представлены в таблице № 1). Поскольку вес - наиболее объективный показатель, то именно соотношение веса черепицы на платформе (сектор I + квадраты G 1-6 сектора II) и за ее пределами (квадраты H 1-6,I 1-6, J 1-6, K 1-6, L 1-6 сектора II) наиболее показательно: 48,62 кг к 1131,43 кг. Тем самым очевидно, что большая часть черепицы в результате разрушения здания оказалась за пределами платформы.

Таблица 1.

Количество фрагментов черепицы и их вес по секторам

Сектор, раскоп	Количество фрагментов черепицы	Совокупный вес фрагментов черепицы, кг
Сектор I раскопа № 3 (платформа), пл. 1-4	741	20,36
Сектор II раскопа № 3 (квадраты платформsG 1-6), пл. 1-6	485	28,26
Сектор II раскопа № 3 (квадраты за пределами платформы H 1-6,I 1-6, J 1-6, K 1-6, L 1-6), пл. 1-6	23871	1131,43

В то же время нельзя не отметить, что часть концевых дисков попали на платформу: № 27 2015, сектор I раскопа № 3, пл. 3, кв. A-4; № 58 2015, сектор III раскопа № 3, пл. 4, кв. I-2; № 21 2015, сектор III раскопа № 3, пл. 3, кв. G-7; № 15 2016, сектор VI раскопа № 4, пл. 3, кв. B-12; № 26 2016, сектор VI раскопа № 4, пл. 6, кв. O-10. Попадание концевых дисков в центральную часть платформы было возможно только в случае, если крыша здания имела два или больше ярусов и верхний (верхние) ярус (ярусы) были значительно меньше по периметру, чем первый.

Фрагменты деревянных опор сохранились только в столбовых ямках в секторе IV раскопа № 3 и секторе IV раскопа № 4. Возможно, почти полное отсутствие остатков деревянных опор может объясняться их плохой сохранностью. Деревянные конструкции также могли быть разобраны после разрушения постройки, как это предполагается на городище Гуадов [Эрэгзэн, 2017, с. 251].

Подводя предварительные итоги по результатам изучения платформы № 4 памятника Тэрэлжийн-Дурвулжин российско-монгольской экспедицией в 2015–2016 гг., можно отметить, что было раскопано разрушенное здание на глиняной платформе. Здание имело черепичную кровлю, о чем свидетельствуют многочисленные фрагменты черепицы, найденные в раскопах. Возведение платформы, постройка здания, а также всего городища осуществлялись китайским населением, волей судеб оказавшегося во владениях хуннских шаньюев. Особенности технологии производства и декора черепицы указывают на доханьские и раннеханьские традиции, что позволяет условно определить время строительства памятника первой половиной – серединой II в. до н.э. Наличие «хуннских элементов» в декоре черепицы дает основание предполагать, что данное городище, так же, как и другие поселения и городища хунну, возводились по распоряжению правителей

хуннской империи. Назначение здания, как и всего памятника, пока определить трудно из-за отсутствия культурного слоя. Аналогичная ситуация зафиксирована и на городище Бурхийн-дурвулжин [Ивлиев, Крадин, Харинский, Очир, Васютин, Ковычев, Эрдэнэболд, 2017, с. 130, 133; Крадин, Ивлиев, Васютин, Харинский, Очир, Ковычев, Эрдэнэболд, 2017, с. 172, 173–174]. Решение данного вопроса требует дальнейшего исследования рассматриваемого и других городищ.

Суммируя имеющиеся сведения по другим хуннским городищам, можно выделить их определенные особенности, связанные с местом, функциональным назначением или временем строительства. Интересные памятники, относящиеся к хуннскому времени, были обнаружены на юге Монголии в Южногобийском аймаке. Городище Баян-булаг (Баянбулагийн-туур) было исследовано А.А. Ковалевым [Ковалев и др., 2009]. Автор отождествлет его с ханьским городом Шоусянчэном. В 2005 г. монгольскими археологами Ч. Амартувшином, Ж. Гантулга и Д. Гарамжавом были проведены раскопки на другом памятнике – «крепости» Мангасынхурээ с внешним валом диаметром 500 м и внутренней крепостной стеной прямоугольной формы следующих размеров: северная сторона – 130 м, западная – 140 м, южная – 130 м, восточная – 132 м. Высота стены до 1,7 м, ширина до 6 м вверху и до 18 м внизу. Обнаруженные на площади крепости в разведочных шурфах артефакты относились к разным хронологическим периодам, но чугунный топор и фрагменты керамики датированы авторами раскопок серединой II – I в. до н.э.

В отличие от А.А. Ковалева, монгольские исследователи высказали мнение, что Баянбулаг и Мангасынхурээ были «военными опорными пунктами» на «географической» границе между империями Хунну и Хань и отождествили происхождение этих поселений с полководцем Чжао Синем [Амартувшин, Гантулг, Гарамжав, 2010, с. 181–183]. Действительно, в китайских источниках имеются сведения о городе Чжаосинь у горы Тяньяньшань, который был захвачен в 119 г. до н.э. ханьским военачальником Вэй Цином. Город носил имя Чжао Синя, китайского военачальника, ставшего после сдачи в плен к хунну советником шаньюя Ичисе. Вэй Цин захватил хуннские запасы зерна, накормил войска, а остатки зерна сжег [Таскин, 1968, с. 91, 165, прим. 30]. Однако известно, что город Чжаосинь располагался рядом с горным массивом, предположительно на юге Хангайского хребта.

Гораздо более интересен другой тип хуннских городищ, представленный, в частности, памятником Гуадов. Первые исследования городища провел Х. Пэрлээ, но его результаты были существенно пересмотрены в ходе раскопок совместной монгольско-корейской экспедиции в 2013–2015 гг. Было выявлено, что современные размеры стен городища существенно меньше обозначенных Х. Пэрлээ и составлют не 372 х 360 м, а 200 х 180 м. В ходе исследований были раскопаны ворота, часть платформы, заложены траншеи у стен городища, исследован вал. В результате была выявлена сложная конструкция двухэтажных ворот с основным въездом для повозок и всадников и отдельными проходами для пеших людей. Перекрытия ворот держались на опорных столбах с каменными базами, уложенными в ямы, которые после установки деревянного столба забутовывались галькой и глиной. Было установлено, что ворота Гуадов являлись аналогами внутренних императорских ворот в столице Хань Чанъани. Также подобные ворота были представлены в зимнем дворце Генбука – одного из правителей государства Чосон и на других памятниках. Вал городища на самом деле оказался столбчатой галерей с крышей, покрытой черепицей. По центру от столбов галереи проходила дорожка, по которой можно было перемещаться на повозке. Авторы раскопок характеризуют главную возвышенность (платформу) в северо-западной части городища как дворцовый комплекс с искусственным прудом. Помимо этого, было изучено еще несколько объектов между «дворцом» и северо-западной частью галереи, заменявшей стены (более подробно см.: [Эрэгзэн, Баярсайхан, Алдармөнх, 2014, с. 42–47; Эрэгзэн, 2017, с. 243–255]). В целом, памятник датируется концом II в. до н.э. – I в. н.э. и трактуется как летний дворец «одного из аристократов государства Хунну» [Эрэгзэн, 2017, с. 254]. С подобной трактовкой можно было бы согласиться, если бы не одно важное

обстоятельство – практически полное отсутствие культурного слоя на памятнике. С аналогической ситуацией мы столкнулись, как было сказано ранее в данной статье, при исследовании городища Тэрэлжийн-дурвулжин.

Еще один схожий памятник изучался научно-исследовательским отрядом Института кочевых цивилизаций г. Улан-Удэ и Института культурного наследия и археологии Внутренней Монголии. Были произведены раскопки хуннского поселения и расположенных рядом объектов в местности Заан-хошуу в Дашинчилэн сомоне Булганского аймака Монголии. Собственно, городище с платформой (памятник Заан-хошуу-2) размерами примерно 154 х 151 м во многом напоминает городище Тэрэлжийн-дурвулжин. При раскопках центральной и единственной платформы были найдены строительные материалы, а в слоях раскопа рядом с платформой не обнаружено находок и культурного слоя. В то же время, при исследовании платформ рядом с городищем (Заан-хошуу 2А) обнаружены фундаменты здания, жилища, остатки глиняной посуды и костяной гарпун. На памятнике Заан-хошуу-1, представлявшем собой возвышение диаметром около 32 м, помимо погребений более позднего времени и киданьской керамики, были найдены утрамбованная платформа со штукатуркой и со столбовыми конструкциями (по мнению авторов раскопок, отсутствие черепицы заставляет предполагать, что здание покрывалось войлоком или имело глинобитную кровлю), отопительный канал, печь для производства керамических изделий, обломки сырцового кирпича, фрагменты керамики, в том числе с изображениями драконов, некоторые другие артефакты. Заан-хошуу 2А датирован в промежутке между 40 г. до н.э. - 90 г. н.э., а Заан-хошуу 1 серединой I в. н.э. – началом III в. н.э. [Анхбаяр, 2017, с. 91–100].

Сложность функциональной интерпретации вышеупомянутых памятников хорошо видна на контрасте сопоставления с Иволгинским городищем. Период его существования еще предстоит выяснить. Во всяком случае есть проблемы соотнесения хронологии, основанной на типологическом методе [Pan, Ling, 2007] с данными радиоуглеродного датирования [Бросседер, Марсадолов, 2010, с. 184]. По форме Иволгинское городище представляет собой неправильный прямоугольник из четырех валов и рвов между ними. С восточной стороны вала нет. Возможно, он был разрушен рекой. На территории городища были изучены многочисленные жилищные комплексы с канами и хозяйственными ямами, найдены разнообразные артефакты, свидетельствовавшие о занятии жителей городища сельским хозяйством, скотоводством, ремеслом, рыболовством. В составе домашних животных преобладали крупный и мелкий рогатый скот, свиньи, собаки. Среди находок было обнаружено много предметов, сделанных по китайским технологиям. На ряде из них имелись иероглифы. Исследование синхронного некрополя показало, что в составе «иволгинского» населения присутствовало значительное количество выходцев из Китая. В общей сложности на городище проживало несколько тысяч человек [Давыдова, 1985, Давыдова, 1995, Давыдова, 1996; Миняев, 2001, с. 301–302; Крадин, 2002, с. 81–86; Крадин, Данилов, Коновалов, 2004; Крадин, Бессонова, Зверев, 2016, с. 9–12]. Практически по целой совокупности признаков Иволгинское городище являлось реальным городом, фактически единственным известным на настоящий момент городом Хуннской империи.

Таким образом, письменные и археологические данные наглядно свидетельствуют о том, что империя Хунну продемонстрировала не только существенное усложнение традиционных социально-политических структур кочевников-скотоводов, но и привела к появлению новых институтов и практик, в том числе тех, которые обычно связываются с оседло-земледельческими обществам. Среди них – усложнение системы поселений и урбанизация. Среди хуннских городищ можно выделить несколько разных групп памятников. Во-первых, это целая серия «городищ» (Гуадов, Тэрэлжийн-дурвулжин, Бурхийн-дурвулжин, Барс-хот - 2, Ундур-дов, Байшинтийндэрс и др.), функции которых трудноопределимы и дискуссионны из-за отсутствия культурного слоя. Из них наиболее изученным, возможно, является городище Гуадов со специфичной репрезентативной ролью, на что указывают великолепные двухэтажные ворота, сделанные по образцу ворот в ханьской столице, галерея с кровлей, покрытой черепицей, и внутренней дорожкой вместо стен (валов), здание на платформе с

черепичной крышей. К сожалению, сильно разрушено городище Хурээт-дов - самое большое из городищ этого типа. Во-вторых, это городища с единичными жилищными комплексами внутри. К их числу относится городище Баян-Ундэр, которое было интерпретировано как «резиденция наместника» [Danilov, 2011]. В-третьих, это защищенные валами земледельческо-ремесленные центры. В настоящее время известен пока только один подобный город – Иволгинское городище. Помимо городищ, в хуннской империи существовали и открытые поселения, такие как Дурены или Нижний Маргинтуй, где также обнаружены жилища с канами [Давыдова, Миняев, 2003; Коновалов, Базаров, Миягашев, Клементьев, Именохоев, 2016, с. 12–16]. Небольшие поселенческие комплексы, такие как поселение Бороо, представлены и в Монголии [Ramseyer, Pousaz, Törbat, 2009].

Литература

1. Амартувшин Ч., Гантулга Ж., Гарамжав Д. О крепости с защитным земляным валом, именуемым МангасынХурээ // Древние культуры Монголии и Байкальской Сибири: материалы международной научной конференции. Улан-Удэ: Изд-во Бурятского государственного университета, 2010. С. 181–183.
2. Анхбаяр Б. Хуннское поселение в ЗаанХошуу // Актуальные вопросы археологии и этнологии Центральной Азии: Материалы II Международной научной конференции (г. Улан-Удэ, 4–6 декабря 2017 г.). Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2017. С. 90–100.
3. Бросседер У., Марсадолов Л.С. Новые радиоуглеродные даты для Иволгинского археологического комплекса объектов в Забайкалье (предварительные результаты) // Древние культуры Монголии и Байкальской Сибири: материалы международной научной конференции. Улан-Удэ: Изд-во Бурятского государственного университета, 2010. С. 183–186.
4. Давыдова А.В. Иволгинский комплекс (городище и могильник) – памятник хунну в Забайкалье. Л.: Изд-во ЛГУ, 1985. 112 с.
5. Давыдова А.В. Иволгинский археологический комплекс. Иволгинское городище. СПб.: Центр «Петербургское востоковедение», 1995. Т. 1. 287 с.
6. Давыдова А.В. Иволгинский археологический комплекс. Иволгинский могильник. СПб.: Центр «Петербургское востоковедение», 1996. Т. 2. 176 с.
7. Давыдова А.В., Миняев С.С. Комплекс археологических памятников у с. Дурены. СПб.: Фонд «Азиатика», 2003. 164 с.
8. Данилов С.В. Раскопки здания на хуннском городище Баян-Ундэр в Джидинском районе Республики Бурятия // Археология и этнология Дальнего Востока и Центральной Азии / отв. ред. Н.Н. Крадин. Владивосток: Институт истории, археологии и этнографии ДВО РАН, 1998. С. 111–114.
9. Данилов С.В. Города в кочевых обществах Центральной Азии. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2004. 202 с.
10. Данилов С.В. Городища хунну Монголии и Забайкалья (к вопросу о функциональном предназначении поселенческих комплексов хунну) // Хунну: археология, происхождение культуры, этническая история. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2011. С. 15–30.
11. Данилов С.В., Симухин А.И., Цыденова Н.В. Черепица из хуннского городища ТэрэлжинДэрвэлжин (Центральный аймак Монголии) // Хунну: археология, происхождение культуры, этническая история. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2011. С. 30–51.
12. Данилов С. В., Именохоев Н. В., Нанзатов Б. З., Симухин А. И., Очир А., Эрдэнэболд Л. Города эпохи хунну на востоке Монголии // Известия Иркутского Государственного университета.Серия: Геоархеология. Этнология. Антропология.2016. Т. 17. С. 74–93.
13. Ивлиев А.Л., Крадин Н.Н., Харинский А.В., Очир А., Васютин С.А., Ковычев Е.В., Эрдэнэболд Л. Предварительные результаты исследований хуннского городища Тэрэлжийн-Дурвулжин // Теория и практика археологических исследований, 2017. № 2. С. 118–136.

14. Ковалев А.А., Эрдэнэбаатар Д., Матренин С.С., Гребенников И.Ю. Раскопки поселения Баян Булаг в Южной Гоби (ханьская крепость Шоусянчэн) // Теория и практика археологичеких исследований. Вып. 6. Барнаул, 2011. С. 58-93.

15. Коновалов П.Б., Базаров Б.А., Миягашев Д.А., Клементьев А.М., Именохоев Н.В.Хуннская археология в Бурятии: история и новый этап исследований // Вестник БНЦ СО РАН. 2016. № 1. С. 9–26.

16. Крадин Н.Н. Империя Хунну. М.: Логос, 2002. 312 с.

17. Крадин Н.Н., Бессонова Е.А., Зверев С.А. Новые данные о планиграфии Иволгинского городища //Вестник БНЦ СО РАН. 2016. № 2. С. 9–21.

18. Крадин Н.Н., Данилов С.В., Коновалов П.Б. Социальная структура хунну Забайкалья. Владивосток: Дальнаука, 2004. 106 с.

19. Крадин Н.Н., Ивлиев А.Л., Васютин С.А., Харинский А.В., Очир А., Ковычев Е.В., Эрдэнэболд Л. Раскопки городища Тэрэлжийн-Дурвулжин и некоторые итогм изучения хуннской урбанизации // Актуальные вопросы археологии и этнологии Центральной Азии: Материалы II Международной научной конференции (г. Улан-Удэ, 4–6 декабря 2017 г.). Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2017. С. 163–175.

20. Лидай. 1958: Лидай гэцзу чжуаньцзи хуйбянь 歷代各族傳記會編. [Собрание сведений о народах различных исторических эпох]. Сост. Цзянь Боцзань и др. Пекин: Чжунхуашуцзюй, 1958. 2135 с.

21. Мягишев Д.А., Бессонова Е.А. Базаров Б.А., Зверев С.А., Теличко А.С. Структура культурного слоя поселения хунну (по результатам мультидисциплинарных исследований) // Актуальные вопросы археологии и этнологии Центральной Азии: Материалы II Международной научной конференции (г. Улан-Удэ, 4–6 декабря 2017 г.). Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2017. С. 179–184.

22. Таскин В.С. (предисл., перевод и прим.). Материалы по истории сюнну (по китайским источникам). М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1968. 176 с.

23. Таскин В.С. (предисл., перевод и прим.). Материалы по истории сюнну (по китайским источникам). М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1973. Вып. II. 167 с.

24. Пэрлээ Х. К истории древних городов и поселений Монголии / Х. Пэрлээ // Советская археология. 1957. №3. С. 43–53.

25. Пэрлээ Х. Монгол ард улсын эрт, дундад үеийн хот суурины товчоон (Краткий очерк древних и средневековых городов и поселений на территории Монголии) / Х. Пэрлээ. Улаанбаатар: [б. и.], 1961. 157 с.

26. Шавкунов Э.В. Обследование гуннских городищ в Монголии // Археологические открытия 1972 г. М.: Наука, 1973. С. 506–507.

27. Эрэгзэн Г., Баярсайхан М., Алдармөнх П. «Гуадов» хэмээх Хүннүгийн хотын турьдхийсэн археологийн малтлага судалгааны урьдчилсанүр дүнгээс (Предварительные результаты археологических исследований хуннуского городища «Гуадов») // Монголын археологи – 2013 он: ШУА-ийн археологийн хүрээлэнгийн 2013 оны хээрийн судалгааны үрдүн (Археология Монголии – 2013: результаты полевых исследований Института археологии Академии Наук Монголии в 2013 году). Улаанбаатар: [Б. и.], 2014. С. 42–47.

28. Эрэгзэн Г. Новые гипотезы о назначении и конструктивных особенностях хуннского городища Гуадов// Актуальные вопросы археологии и этнологии Центральной Азии: Материалы II Международной научной конференции (г. Улан-Удэ, 4–6 декабря 2017 г.). Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2017. С. 245–255.

29. Danilov S. V. Typology of Ancient Settlement Complexes of the Xiongnu in Mongolia and Transbaikalia // Xiongnu Archaeology. Multidisciplinary Perspectives of the First Steppe Empire in Inner Asia. Bonn: Vor- und FrühgeschichtlicheArchäologie. Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universitat Bonn, 2011. P. 129–136.

30. Pan Ling 潘玲. *Yiwoerjia chengzhi he mudi ji xiangguan xiongnu kaogu wenti yanjiu* 伊沃爾加 城址和墓考古問題研究. Beijing, 2007.

31. Ramseyer D., Pousaz N., Törbat T. The Xiongnu Settlement of Boroo Gol, SelengeAimag, Mongolia // Current Archaeological Research in Mongolia. Papers from the First International Conference on «Archaeological Resesarch in Mongolia» held in Ulaanbaatar, August 19th–23rd 2007. Bonn: Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universitat Bonn, 2009. P. 231–240.

HUNNU EMPIRE AND BEGINNING OF URBANIZATION IN STEPPE REGIONS OF INNER ASIA

Kradin N.N.[1], Ivliev A.L.[2], Vasiutin S.A.[3]

[1] *Institute of History, Archaeology and ethnology of the Peoples of the Far-East, Far-Eastern Branch of the RAS, Vladivostok, Russia,*
Institute of Mongolian, Buddhist, and Tibetian Studies, Siberian Branch of RAS
kradin@mail.ru

[2] *Institute of History, Archaeology and ethnology of the Peoples of the Far-East, Far-Eastern Branch of the RAS, Vladivostok, Russia, ivliev@mail.primorye.ru*

[3] *Kemerovo State University, Kemerovo, Russia, vasutin2012@list.ru*

Abstract. The paper considers an origin of urban culture in the Xiongnu Empire. The significance of Xiongnu urbanization for Inner Asia is emphasized as creation of towns and fortified settlements with residential and production areas was a novelty for this region. An approximate sketch of stages of urbanization and origin of the early town in Xiongnu Empire based on analysis of materials of Tereljin-Durvuljin ancient town and other sites has been presented.

Keywords: Inner Asia, Xiongnu, Nomadic empire, town, urbanization, nomadism.

О СТЕПЕНИ И СПЕЦИФИКЕ РАЗВИТИЯ БЮРОКРАТИЗМА В КИДАНЬСКОЙ ИМПЕРИИ ЛЯО (907–1125)

Пиков Г.Г.
Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия,
gennadij-pikov@yandex.ru

Аннотация. Бюрократизм как цивилизационное явление присущ и кочевым обществам. В статье рассматривается формирование и развитие бюрократизма в киданьской империи Ляо (907–1125). Исследуются предпосылки этого процесса, источники формирования киданьского чиновничества, его место в социальной структуре, роль в политической истории, судьба в постимперский период.
Ключевые слова: кочевники, кидани, Ляо, империя, бюрократия, бюрократизм, чиновничество.

Бюрократизм – далеко не новое историческое явление, хотя его расцвет приходится на последние столетия. Это явление цивилизационное и присущее всем цивилизациям. Кочевая цивилизация здесь не исключение, о чем свидетельствует яркий пример формирования и развития бюрократизма даже в полукочевом киданьском государстве. История не только оседлых, но и кочевых обществ демонстрирует, что он проявляется как один из факторов, возникающих в сложный предгосударственный период и стимулирующих и сопровождающих развитие государственности.

Считается, что в античности и в средние века вместо бюрократии была развита сложная родоплеменная система и феодальная «вольница». Исключение, разумеется, связано с обществами, раньше других вступившими на путь строительства государства (Древний Египет, Месопотамия, Средиземноморье, Китай). Сохранение при феодализме «вольностей», «традиций» и «обычаев», ограничивающих власть правителя, обусловлено спецификой аграрной экономики, носящей локальный характер и минимально нуждающейся в транслокальных процессах и механизмах. Современная капиталистическая экономика тоже предпочитает «мертвое государство» (выражение П. Бакунина).

Тем не менее, очевидно, что появление бюрократизма связано с экономикой скорее опосредовано, чем напрямую. Экономические проблемы обязательно решаются при этом, но не менее важны и проблемы общецивилизационные, политические, культурные и этнические. И те, и другие – попутчики. Иначе говоря, бюрократизм является одним из механизмов комплексного решения складывающейся проблематики, особенно в период оформления государственности. «Кризис роста» проявляется сразу во всех сферах, и поэтому его решение складывается постепенно и долговременно. Внешне и в значительной степени сущностно это связано не только с потребностями экономики или стремлением к коррупции, а с надстраиванием над обществом конструкции политической власти, которая максимально отчуждена от основной массы населения. Рядом с «феодалами», значение которых нисколько не умаляется, в качестве своего рода «посредников» выстраиваются служащие правителю.

Сам термин «бюрократия» появился в 1745 г. благодаря французскому экономисту Винсенту де Гурне. Он придавал ему негативный смысл, считая, что чиновные бюрократы забирают реальную власть у монарха (при монархии) или у народа (при демократии).

В Западной Европе развитие бюрократии, действительно, шло параллельно развитию государственной власти. Иначе и не могло быть, ведь вместе с централизацией политической развивалась и централизация административная. Происходило это в сложных условиях противостояния с феодалами и общиной, которые контролировали локальные сферы хозяйства и управления, но не в состоянии были осуществлять управление на региональном уровне и действовать в интересах всего государства. Так было, естественно, не только в

Европе. Как достаточно обширный социальный слой, в определенном смысле противостоящий обществу в целом, бюрократы известны уже благодаря изобретению письменности со времен Шумера и Древнего Египта. Чиновничество там сыграло видную историческую роль: оно объединило верховную власть и служило сплочению народов и государств. Бюрократия набиралась преимущественно из среднего класса.

Со временем бюрократы стали общеевразийским феноменом, хотя, разумеется, в каждой цивилизационной зоне развитие этого слоя имело свои отличия. В самой Европе государственная власть непрестанно расширяла сферу своей деятельности, и к периоду Раннего Нового времени (XVII–XVIII вв.) в отдельных странах, типа Франции, смогла даже контролировать почти всю материальную и духовную жизнь. Именно к XIX в. складывается то, что принято называть избыточной централизацией, когда чиновничество начинает занимать исключительное положение и становится своеобразной «кастой». В значительной степени это связано с тем, что оно формируется за счет членов разных социальных групп, кроме маргинальных, которые теряют связь с ментальностью и интересами родного сообщества, но далеко не всегда поднимаются до осознания общего для всего государства блага. Это «промежуточное» социальное положение провоцирует претензии чиновников на исключительное положение по сравнению со всем обществом.

В результате появляются негативные последствия, именующиеся чаще всего собирательным термином «бюрократизм». Бюрократия распространяет своё влияние не только на все чиновничество, но даже и на судебную и законодательную власти. Ни один член общества не гарантирован от того, что не подвергнется вмешательству в свою частную жизнь без особой на то необходимости, и даже от произвола, оскорбления личного достоинства. Самих чиновников часто не без оснований обвиняют в ненадлежащем исполнении своих обязанностей.

В то же время история бюрократии свидетельствует и о больших ее успехах, о необходимости самого ее существования. Наиболее ярко отметил достоинства бюрократии как системы управления Макс Вебер, указавший на возможность рациональной работы учреждений и предложивший развести понятия «бюрократии» как обширного и разветвленного штата («корпоративная бюрократия», «профсоюзная бюрократия» и т. п.) и «бюрократизма» как неудовлетворительной работы чиновников, связанной с волокитой и оформлением лишних документов. Качественная работа достигается с помощью специализации, разделения труда, иерархической структуры организации, когда большинство чиновников находится внизу, а меньшинство наверху, и каждый соподчинен с другими, надлежащим контролем, четкими правилами, предсказуемостью деятельности каждого, обезличенностью взаимоотношений.

Эта европейская модель бюрократического развития может быть прослежена и на материале истории кочевых обществ, в данном случае киданьской кочевой империи Ляо.

Действительно, формирование бюрократического слоя населения можно найти и у кочевников, понятно, что на определенной, так называемой «высокой», стадии развития. В классической родоплеменной струткуре бюрократия практически не нужна и незаметна: нукеры и дружинники вначале чаще выполняют лишь разовые поручения. В государствах типа империй бюрократическая деятельность отличается регулярностью и обширностью. Исторический материал свидетельствует, что она и у номадов является таким же феноменом, как и политическая власть, обязательным ее спутником. Данный феномен можно считать еще одним свидетельством того, что, несмотря на уникальность своего развития, кочевая цивилизация развивается по тому же сценарию, что и оседлые сообщества.

На реконструкции бюрократического феномена до сих пор сказывается широко распространенное представление о том, что кочевые сообщества являются своего рода изгоями человечества, находятся за рамками цивилизационного развития, и потому в них в принципе не может существовать что-либо хотя бы даже подобное политическим и

социальным институтам классических цивилизаций. Само понятие «бюрократия» возникло в оседлых обществах, хорошо описано на материале их истории и культуры и потому считается признаком дурного тона переносить его на «банды кочевников» как квазигосударственные образования. Так, К. Ясперс отводил кочевым народам не созидательную, а лишь провоцирующую и стимулирующую роль: «Вторжение кочевых народов из Центральной Азии, достигших Китая, Индии и стран Запада (у них великие культуры древности заимствовали использование лошади), имело аналогичные последствия во всех трех областях: имея лошадей, эти кочевые народы познали даль мира. Они завоевали государства великих культур древности. Опасные катастрофы и предприятия помогли им понять хрупкость бытия; в качестве господствующей расы они привнесли в мир героическое и трагическое сознание» [Ясперс, 1991, с. 46].

Даже специалистами часто признается за кочевниками лишь способность к копированию. По мнению С.Г. Кляшторного, «Важнейшим фактором политогенеза у древнетюркских племенных сообществ Центральной Азии и Южной Сибири явилось их весьма раннее вхождение в сферу прямого или опосредствованного воздействия социально более дифференцированной и уже урбанизированной цивилизации. Именно формирование в бассейнах Хуанхэ и Тарима во втором-первом тыс. до н.э. крупных цивилизационных очагов, сопровождавшееся исторически интенсивными по срокам процессами политогенеза, привело во второй половине I тыс. до н.э. к появлению в северной лесостепной и горно-степной зоне, близкой или прилегающей к долинам названных рек, ранней степной государственности, весьма отличной от китайской; государственности, с почти сразу же обозначившимися элементами имперской структуры» [Кляшторный, 2003, с. 115]. В.М. Массон подчеркивал отсутствие у кочевников развитого бюрократического аппарата. Все заимствования в этой сфере сводились к выстраиванию механизма получения дани от соседей [Массон, 2003, с. 101-102].

Материал по истории империи Ляо дает обширный и развернутый пример достаточно интенсивного бюрократического строительства у кочевников. Чиновничество занимало особое место в данном государстве, и это не случайно. Вопрос о структуре служилых слоев и их месте в общей социальной структуре имеет первостепенное значение для таких восточноазиатских государств, как Китай и Ляо, поскольку в них социальный статус человека полностью обусловливался его местом в государственной структуре, в структуре власти (о Корее и Китае см.: [Волков, 1987, с. 4.]). Чиновничество справедливо считают особым сословием на Востоке [Илюшечкин, 1981, с. 136, 145-149; Кычанов, 1981, с. 47; Крюков, Малявин, Софронов, 1984, с. 25] или рассматривают его как часть привилегированного сословия [Рыбаков, 1982, с. 60].

Источники по истории киданьского государства не позволяют дать исчерпывающую информацию о чиновничьей структуре в Ляо, однако, дают возможность оценить степень и специфику развития бюрократизма в киданьской империи. Особенность работы над этой темой заключается в том, что информацию о киданьском чиновничестве надо выявлять из текстов и анализировать, учитывая, что эти тексты написаны представителями земледельческих государств, которые не склонны были считать кочевников нормальным обществом.

Китайская историография – уникальный набор текстов, которые рассматривают историю через государство, точнее, даже через династию, т.е. видят решающую роль именно элиты. Деление людей на социальные группы и сословия, их положение в иерархии государственной службы Ляо неплохо отражены в китайских текстах. Это означает, заметим попутно, что китайцы признавали движение Ляо по традиционному для всех народов пути. И потом, при составлении «Ляо ши», учли это особо.

У кочевников «в крови» коллективное управление, ибо для скота не вырастишь корм и не надо копать землю. В традиционном обществе государство вообще мираж, и особые

бюрократические органы просто-напросто не нужны. Поэтому возникновение бюрократизма было связано с формированием киданьской государственности.

Предпосылки этого процесса складывались еще в догосударственный период. Кидани еще до Ляо стали племенной конфедерацией, где были знать и аристократия, и начала формироваться элита, происходила смена правящих домов. Во главе каждого из восьми киданьских кочевий стоял старейшина (вождь), который избирался на общем собрании племени. Эти вожди назывались в китайских источниках по-разному. Например, в «Старой истории пяти династий» Сюэ Цзюй-чжэна отмечалось, что «вождь каждого кочевья назывался *дажэнь* (“большой человек”)». Наряду с этим обозначением киданьских вождей китайские авторы используют такие тюркские и монгольские термины, как *мофухэ* или *мохэфу* [Материалы, 1984, с. 172]*, сыцзинь* или *ицзинь*.

Вождь рода Ила, представитель которого в дальнейшем стал основателем киданьского государства, назывался илицзинь. Этот термин П. Пеллио отождествляет с тюркским словом «irkin» («правитель») [Pelliot, 1930, p. 44], а О. Ковалевский – с монгольским словом «erkin» («главный») [Kovalevskij, 1844, p. 3]. Это была одна из первых киданьских чиновничьих должностей, что подтверждает и перевод термина с киданьского языка, данный в «Ляо ши», где *илицзинем* называется «крупный чиновник, командующий войсками и лошадьми». Кроме этого, *илицзинь* «ведал наказаниями», то есть сосредоточивал в своих руках не только административную и военную, но также и судебную власть. «Ляо ши» дает возможность проследить эволюцию наследования поста *илицзиня* в роду Елюй от Су-цзу – прадеда Елюй Апоки до него самого.

Чиновничья структура медленно формировалась внутри племенного общества, попавшего в сложную политическую и экономическую ситуацию. В этом плане непосредственные предпосылки появления и развития бюрократизма надо искать в постепенном усилении власти отдельных родов и правителей.

Поскольку одно кочевье не обладало такой силой, чтобы вести успешную борьбу с окружавшими его врагами, восемь киданьских племен – Даньцзели, Ишихо, Шихо, Навэй, Пиньмо, Нэйхуэйцзи, Цзицзе и Сивэнь – примерно в VI в. объединились и выдвинули общего вождя. С этих пор вожди всех кочевий стали периодически собираться на общие советы, которые в истории монголов известны по китайским источникам под название дахуэй («большое собрание»), а по «Сокровенному сказанию» – курилтай (курултай) [Таскин, 1984, с. 24]. Слово «курултай» на русский язык переводится как «собрание». В источниках называются два основных вопроса, которые обсуждались на таких собраниях киданьских вождей.

Во-первых, «если предстояла война, вожди кочевий собирались для обсуждения связанных с ней вопросов»; «в случае набора воинов [на войну] требуется согласие всех кочевий, отдельные кочевья не могут делать набор воинов самостоятельно»; «при наборе воинов и перед войной все кочевья собираются на совещание, а на охоту каждое кочевье ходит самостоятельно». Во-вторых, совещание собиралось для выбора общего вождя союза восьми киданьских племен, который «по существовавшему [среди киданей] закону... менялся каждые три года» [Материалы, 1984, с. 157, 163, 171]. В «*Удай шицзи*» («Записки по истории Пяти династий») Оуян Сю рассказывается: «…всегда выдвигался один *дажэнь*, перед которым всегда выставлялись знамя и барабан в знак власти над восьмью кочевьями. Если он находился у власти долгое время или же если во владении случались стихийные бедствия, в результате которых погибал скот, [все] восемь кочевий собирались на совещание и выставляли знамя и барабан перед следующим [*дажэнем*], который сменял [бывшего вождя]. Сменяемый считал, что такова первоначальная договоренность, и не смел бороться за власть» [Материалы, 1984, с. 186].

Таким образом, эти собрания киданьских вождей являлись своего рода высшим совещательным органом племенной конфедерации, основной целью создания которой было

совместное ведение военных действий, а избираемый на нем глава этой конфедерации выполнял, прежде всего, функции командующего объединенными военными отрядами. На пост военного вождя избирался наиболее смелый и решительный глава одного из кочевий. И хотя срок его полномочий истекал только через три года, если он не оправдывал возлагавшихся на него надежд, то мог быть заменен и раньше этого срока. Например, в конце IX в., когда кидани вели упорную борьбу с правителем китайской области Ючжоу Лю Жэнь-гуном, вождем всех киданьских кочевий был один из представителей рода Яонянь. Каждый год Лю Жэнь-гун выжигал в степи траву, из-за чего у киданей гибло много лошадей. Киданьские вожди посчитали, что их нынешний военный руководитель «не справляется с обязанностями» и выбрали на его место Апоки, вождя рода Елюй (Ила).

Если до конца VI в. верховный вождь киданей избирался каждый раз из другого кочевья, то затем, благодаря усилению отдельных родов, главой конфедерации все чаще и чаще становятся представители только этих родов, которые на некоторое время становятся правящими. С 80-х гг. VI в. до 716 г. таким правящим родом был сначала род Дахэ, затем род Яонянь, а с 907 г. род Елюй. Несмотря на господство какого-либо одного рода, власть верховного вождя не была наследственной. Во-первых, пусть даже и формально, глава конфедерации избирался на курултае вождями всех восьми кочевий, а во-вторых, он в любое время должен был уступить это место другому представителю своего племени, если тот побеждал при выборах на пост вождя этого кочевья, так как верховным вождем могли стать лишь вожди восьми киданьских племен, которые, в свою очередь, периодически переизбирались на общих собраниях своих племен.

Если вначале верховные вожди не имели специальных титулов и назывались так же, как простые вожди киданьских племен (т.е. *мохэфу, сыцзинъ, ицзинь* и др.), то с середины VII в. Танский двор, создав для управления киданями так называемое Сунмоское (Сунмо – р. Сунгари) военное управление, за помощь оказанную киданями императору Тан во время его похода в Корею (644 г.), назначил на должность главы этого управления верховного вождя киданьской конфедерации Кугэ с предоставлением ему титула *ван* (князь, верховный правитель). Хотя этот титул и поднимал престиж киданьских вождей в глазах других кочевников, однако, он означал в то же время их зависимость от Танской империи, поэтому многие верховные вожди киданьской конфедерации объявляли себя каганами. Этот титул имели раньше правители могущественного Уйгурского каганата. Если и можно усомниться в точности китайских источников, сообщающих о том, что киданьские вожди уже в середине VIII в. имели такой титул, то после падения Уйгурского каганата в 840 г. никто уже не мог запретить им называть себя так. Танская империя к этому времени переживала период своего упадка, завершившийся в 907 г. полным ее крушением и началом феодальной раздробленности, известной в истории Китая как эпоха «пяти династий». В Северном Китае в последующее время друг друга сменяли династии Поздняя Лян (907–923), Поздняя Тан (923–937), Поздняя Цзинь (936–946), Поздняя Хань (947–950) и Поздняя Чжоу (951–960). Одновременно с этими династиями в Южном Китае – то есть в бассейне р. Янцзы и к югу от этой территории – существовали приблизительно в одно и то же время царства, которыми правили или крупные военачальники, или сановники бывшей Танской династии, или могущественные местные правители, захватившие отдельные районы страны и провозгласившие себя князьями и императорами. Раздробленность создавала благоприятные возможности для непрерывных вторжений киданей на территорию Северного Китая.

В истории киданей четко проявляется общецивилизационное правило, в соответствии с которым бюрократизм возникает только на определенном этапе цивилизации, когда начинают формироваться надплеменные протогосударственные структуры. Именно там, где созрели необходимые условия.

В данном случае речь идет о Восточной Монголии и Северо-Восточном Китае. Именно здесь начинается строительство нового геополитического ядра. Об особенностях развития

этой зоны хорошо сказал в свое время М.В. Воробьев: «Характер источников вынуждает нас подходить к региону как к окраине Срединной империи, что с неизбежностью влечет за собой известную запрограммированность самого исследования. Между тем, регион в естественно-географическом, демографическом, историко-культурном отношениях является, скорее, окраиной Сибирского ареала. Эта окраина отнюдь не чужда внутренней пестроты по вем перечисленным направлениям, но еще более резко выделялась из окружающего мира степями и пустынями на западе, морями на востоке, рекой Амуром на севере. Открыта она была только на юг – на Северо-Китайскую равнину. Возникновение, формирование и трансформация тяги к этой равнине явились весьма ощутимыми факторами в жизни обитателей региона» [Воробьев, 1983, с. 355].

Здесь, как и впоследствии на территории собственно империи Ляо, наблюдается очень сложная этносоциальная ситуация. Здесь сосуществовали оседлые и кочевые народы, монголы и тунгусо-маньчжуры, поддерживавшие активные связи с тюрками, разные сферы экономики. Стремление к интеграции этой зоны было заметным. В итоге, если отталкиваться от того, что основная функция бюрократии – управление, то причина ее появления в данной зоне очевидна – возникшая на определенном этапе развития общества потребность в управлении более рациональном, по сравнению с существовавшими на тот момент институтами.

В других регионах такой необходимости не было. Бежавший после крушения Ляо на запад Елюй Даши предложил идею империи западномонгольским кочевникам, но они ее не приняли и остались верны племенной структуре. Он вынужден был сделать акцент на титуле «гурхан» и стать выборным предводителем союза племен.

Конкретные причины возникновения бюрократии, естественно, сходны с причинами возникновения киданьской государственности, и связаны с ситуацией масштабного восточноазиатского кризиса. Прежняя региональная «шахматная доска» рухнула. Китай резко ослаб, и кидани продолжать быть «варварами», т.е. дотационным регионом, уже просто не могли. Прежняя система родоплеменных связей была недостаточна, а решать региональные проблемы за счет китайской «помощи», т.е. системы взаимоотношения с Китаем, кидани уже не могли. Нельзя было ориентироваться и только на остальной кочевой мир – он децентрализован и противоречив. К тому же эта ориентация стала бы сдерживать развитие киданьского общества, а кидани за 600 лет далеко продвинулись в своем социально-политическом развитии. У них уже есть свое «лицо» – экономическое, этническое, культурное. Именно они и только они и могли создать политическую власть – для этого у них уже есть навыки и умения, что признавали и китайцы, награждая их вождей разного рода чинами и титулами. Для них оформление государственности и развитие бюрократизма на новой метарегиональной основе было не результатом стремления создать захватническое или паразитирующее государство, а формой и механизмом выживания. Именно для этой цели и нужны были политическая власть, ускоренная милитаризация и акцент на ментальной культуре.

Особую роль в складывании политической и бюрократической систем сыграл Елюй Апоки. В 916 г. он сам присваивает себе титул Сына Неба, обозначив эру своего правления как «Возведение на престол по воле духов» (кит. Шэнь-цэ). Вскоре «объединил все тридцать шесть иноземных народов» и в 926 г. принял титул Тай-цзу («великий предок»). Этот храмовый титул ранее давался только китайским императорам, положившим начало новой династии. Тем самым он приравнял свою власть к китайской. С этого времени империя, бывшая сначала экстраординарным проектом, стала жить своей жизнью.

Кидани укрепили свою верховную власть, во многом воспользовавшись разрухой в регионе и раздробленностью Китая (период Удай). Апоки быстро отказался от автономии, воспользовавшись слабостью династии Лян.

Китайцы считали, что приход к власти вопреки правилам есть нарушение порядка,

установленного Небом. В самом Китае мятежников всегда осуждали и, даже если они захватывали власть, вели с ними борьбу до конца. Китайцы либо не учитывали экстраординарность ситуации у киданей (аристократическая модель не справлялась), либо не хотели менять ситуацию (слабые кидани выгоднее). Некоторые люди (местные китайцы, пограничные жители, купцы, путешественники) видели рост напряженности и помогали киданям «возвыситься», чтобы они взяли на себя труд решения проблем региона, но центральное китайское правительство либо недооценивало ситуацию, либо смотрело на нее традиционно.

В результате действий Апоки нарушалась дихотомия «Китай – варвары», ибо кидани стали выходить за пределы «должного» поведения и стремились встать на тот же уровень, что и китайцы. Они бы не смогли стать равными им, в лучше случае оставались бы «младшими родственниками», но нарушали идею «природного» неравенства.

Апоки стал претендовать на статус «совершенномудрого» государя, но отличался от него принципиально. Такой государь приходил к власти, основываясь на традициях и «законах», а Апоки стал создавать все новое. Конечно, на региональном уровне использовалось старое, но на уровне государства вводились инновации. Приверженцы Апоки, будущая элита государства, стали чем-то вроде партии власти и, соответственно, им в итоге не прощали, что они становились выше общества, что искусственное становилось выше естественного. Это отношение переносилось и на назначаемых ими чиновников.

В результате кидани присвоили себе идею «центрального государства». Сначала империя чувствовала себя «бень го» среди «варваров», но потом стала критиковать и Китай. У него многое использовалось, часто, что называется, «под копирку», но и прочитывалось оно по-своему, более «правильно», и ему противопоставлялось свое. Тем самым нарушалась восточноазиатская дихотомия «центр – периферия», «внутреннее – внешнее». Особая роль Китая признавалась во всей Восточной Азии, а кидани доказать свое превосходство еще не могли.

Мы видим, что в данном случае в киданьском государстве бюрократия развивалась путем, который М. Вебер назвал «рутинизацией харизмы». Группа людей, объединенная вокруг харизматичного Апоки, стала основой для бюрократической структуры и начала строить свою деятельность в соответствие с его взглядами.

Но помимо личности самого основателя государства при решении проблемы основания государственно-бюрократической системы нужно учитывать и другие факторы. Рост самого значения власти правителя в данном случае стоит объяснять не присущей якобы кочевникам авторитарной власти – это миф, а сложной этносоциальной ситуацией, когда к этническим проблемным отношениям, как это и бывает в переходные периоды, добавляются социальные конфликты, выливающиеся в противоречия. Это как в средневековой, так и исследовательской литературе получило наименование «разложение строя».

Китайский суперэтнос складывался за счет интеграции близких в этническом отношении групп, а в Ляо, кроме кочевников на севере и западе, на юге и востоке были также китайцы, бохайцы, тунгусо-маньчжуры, т.е. представители иной этничности и ментальности. Кроме того, китайский «мир» складывался в достаточно однородной экономической зоне, а у киданей прослеживаются принципиально отличающиеся друг от друга зоны: кочевая, городская, лесная. Их экономическое взаимодействие более сложное, и сложение единого экономического пространства идет крайне медленно.

Единственным средством обеспечения идущей медленно и противоречиво интеграции была власть. В государстве киданей, строго говоря, и рождается впервые в таком объеме феномен политической власти. Это приводило к диктатуре киданей и, естественно, что одним из следствий этого было то, что киданей очень скоро стали воспринимать как оккупантов, узурпаторов власти, угнетателей. Кочевые народы долго терпели их как своего роду плотину от Китая. Точно так же будут воспринимать и кара-китаев мусульмане и тюрки

в более позднее время.

Действительно, уже первый киданьский правитель обнаружил, насколько непрочен фундамент здания новой державы. Само «собирание киданьской земли» требовало централизации в управлении. Империя создавалась военным путем, и уже поэтому представляла собой непрочное объединение многочисленных политических единиц без ощутимого правительственного центра. Империя не могла помешать даже внутренним раздорам. Распространившись на собственно китайские земли, она не сумела пустить прочных корней ни на родной киданьской почве, ни на китайской. Естественно, что все киданьские государи были заинтересованы в усилении не только своей личной власти, но и власти государства, в целом. Но правовые порядки общества, живущего в таких политических условиях, принимали своеобразный характер: правовое поле оказалось предельно децентрализованным. Существовало не только территориальное различие в правах, но и многочисленные вариации, зависевшие от различий в социальном положении отдельных носителей права. Даже проблемы решения вопросов разрешались формальными приемами: поединками, клятвами, допросом свидетелей, представлением документов, а это означает на практике, что «нахождение» права судьями неизбежно отражало юридические суждения той или иной этнической, социальной или политической группы. Их знание права вытекало, главным образом, из личного опыта или случайной осведомленности, а также подсказывалось так называемой житейской мудростью. Права различных групп оказывались, таким образом, тесно связаны с общераспространенными в народе взглядами.

В империи Ляо, однако, чиновничество формировалось из различных сословий: чиновниками могли стать члены императорской семьи, родственники императрицы, а также купцы, ростовщики, ремесленники. В его состав входили представители разных социальных групп, за исключением духовенства, мелких торговцев, мясников, врачей, незаконнорожденных, преступников и зависимых людей. Иначе говоря, киданьское чиновничество можно считать не сословием, а формирующейся особой социальной группой [Даньшин, 2006].

Можно предположить, что на юге империи чиновничество было организовано по китайскому образцу. Во всей империи оно освобождалось от всех трудовых повинностей и налогов, а также получало помощь от государства. Один из китайцев, находившийся всего три месяца на посту премьер-министра Южного Региона, сумел за это время скопить 70 тысяч связок монет и на такую же сумму ценных металлов и прочих драгоценностей. Некоторые китайские чиновники получали фамилию Елюй и включались в состав Императорских Горизонтальных Палаток, что давало им возможность заключать браки с кланом императрицы Сяо.

Состав чиновников Северного правительства пополнялся, в основном, киданями, а Южного (китайского) правительства – китайцами, хотя деление на Север и Юг с 947 г., после вторжения киданей в Китай и последующего ухода из него, утратило географический смысл [Wittfogel , 1949, p. 435].

На развитие теории и практики повлияло использование киданями прежде всего опыта «китайцев», которые массами убегали к ним из земель Янь после образования государства. В массе своей это были не чистокровные китайцы, а представили маргинальной среды, сформировавшей на границе двух миров. Большинство из них были «варварами», которым китайцы давали китайские имена.

Могущество киданей «в связи с этим возрастало с каждым днем» [Е Лун-ли, 1979, с. 43]. Из них «умом и большим знанием литературы» отличался Хань Яньхуэй, который стал главным советником нового императора Тай-цзу (Апоки). Он сыграл большую роль «в покорении киданями других государств». Лу Вэньцзинь, перебежавший к киданям из государства Лян, «научил Тай-цзу делать для штурма города подземные ходы, используя которые кидане нападали на город со всех сторон днем и ночью… Кроме того, кидане

насыпали земляные холмы, для того, чтобы приблизиться к стенам» [Е Лун-ли, 1979, с. 44].

Кидани, копируя «китайское», больше обращаются к опыту не только современного им китайского государства (Сун или другие династии), но и древнего, прежде всего, знакомого им по династийным историям и понятного ханьского государства.

Бюрократия наиболее развита в китайском секторе, но кочевая администрация не просто копирует ее, но и «подгоняет» под себя и в конечном итоге по уровню бюрократизации не уступает Южной Администрации.

Аналогичная ситуация повторилась у монголов и маньчжуров. Реформы Чингис-хана опирались на опыт киданей, иначе говоря, по сути, во многих аспектах воспроизводилась структура Ляо или использовались некоторые их идеи и рецепты. Маньчжуры просто возглавили китайское государство. Тот факт, что завоеватели используют в административной сфере чужеземцев, говорит о их первоначальной неопытности.

Кидани тоже использовали опыт и самих иноземных чиновников (китайцев), но общая концепция государственного и административного развития была их собственной и они не копировали, как чжурчжэни, а использовали практику южан. Монголы же использовали опыт и чиновников разных народов.

Пополнение рядов чиновников из китайцев проводилось, главным образом, путем заимствованной из Китая так называемой привилегии *инь* («тень»), в соответствии с которой человек, обладавший чиновничьим рангом, как бы отбрасывал тень на своих сыновей и мог тем самым требовать для них какие-то должности, а «находящийся в тени» имел право на смягчение наказаний за совершенные преступления (подробнее о понятии «тень» в китайском праве см.: [Уголовные установления, 1999, с. 53-74)]. В результате китайское чиновничество в киданьском государстве воспроизводило себя преимущественно из своих собственных рядов, затрудняя проникновение в их состав выходцев из других социальных групп. Правда, возможность стать чиновником все же была и для них. Начиная с периода правления императора Шэн-цзуна (982–1031), они могли принять участие в сдаче экзаменов на ученую степень доктора (*цзиньши*), получив которую, имели право быть избранными на чиновничий пост. Испытание проводилось по поэзии и праву, причем поэзия считалась основным предметом, а законы – второстепенными. Как и в Танской империи, экзамены проходили в три тура. Те, кто успешно сдавал их в волости (*сян*), назывались *сянцзянь* («рекомендованные волостью»), выдержавшие экзамен в области (*фу*), назывались *фуцзе* («посланные областью»), а после сдачи экзамена в столичном управлении государственной канцелярии именовались *цзиди* («получившие ученую степень *цзиньши* в результате экзамена»). Однако право *цзиньши* не означало занятие определенного поста. По «Цзинь ши», киданьское правительство предоставляло должность только двум-трем лицам из десяти, сдавших экзамен. Лишь около 600 человек, сдавших экзамены на степень *цзиньши*, получили различные должности. За 30 лет со времени введения экзаменов (с 988 по 1118 гг.) эту степень получили примерно 2400 человек [Wittfogel, 1949, p. 456; p. 491-492, note 4]. Видимо, чиновники, имевшие степень *цзиньши*, составляли, как и в Китае в X-XIII вв., лишь третью часть их общего количества, в общей сложности, около 1800 человек [Даньшин, 2006].

Численность всего населения Ляо составляла 3 800 000 человек, из них киданей – 750 тыс., а китайцев – 2 400 000. Если исходить из того, что на одного чиновника накануне гибели чжурчжэньского государства приходилось 975 человек, а незадолго до крушения киданьской империи Ляо 1055 человек, то весь бюрократический аппарат мог насчитывать около 3600 человек [Воробьев, 1975, с. 171-173].

В Ляо сложилась своеобразная традиция подбора чиновников. Еще до образования государства отдельные должности у киданей могли быть переданы по наследству. Например, в VIII в. члену клана Сяо Талегэ была пожалована «наследственная» должность судьи. В племени Ила все должности передавались представителям рода Елюй. После образования государства у киданей оформляется так называемая система *шигуань* (наследственных

чиновников) или *шисюань* (наследственного отбора), в соответствии с которой преимущественное право занимать в киданьском государстве некоторые должности имели представители определенных родов клана Елюй или Сяо. Были, естественно, попытки отдельных людей сосредоточить в своих руках одновременно руководство Северным и Южным министерствами Северного Региона. Например, в 1077 г. выяснилось, что Елюй И-синь и два его брата уже несколько лет удерживают за собой в Северном Регионе посты обоих министров. Это было пресечено, а сам Елюй И-синь был объявлен изменником.

Нельзя не упомянуть императора Шэн-цзуна (982–1031), сумевшего предельно консолидировать ляоское общество. Для более качественного отбора чиновников в состав Южной администрации им в 988 г. была восстановлена система экзаменов. Император активно привлекал китайцев в Северную администрацию. Он стал активно заменять представителей аристократии и знати профессиональными чиновниками. Тем самым был придан новый толчок развитию бюрократии в киданьском государстве.

Начался период еще более обширного заимствования китайского опыта в управлении, правовой сфере, культуре. Перенесение китайских традиций на управленческую практику северной администрации (создание государственного сектора, увеличение налогов, рост числа должностей) отразилось на положении рядовых кочевников: активно шел процесс оседания номадов, рос госсектор за счёт конфискации племенных земель, кочевники сгонялись с пастбищ и родовых территорий, солдат пограничной службы заставляли обрабатывать поля и выращивать зерно и т.д. [Wittfogel 1949, p. 193–195; 137; Дробышев, 2010, с. 113; и др.].

В то же время, когда в Ляо стали возникать специализированные органы государственного управления, то работающие в них постепенно стали играть не менее важную роль, чем знатные. Это универсальное явление. В процессе возникновения государственности особое и немалое значение имеет выделение субъекта власти, который получает возможность подчинять своей воле других людей.

Бюрократия – обязательная часть элиты, но по статусу находящаяся ниже династии. У нее самостоятельная «власть», иначе говоря, есть не только желание поживиться за счет механизма политической власти, но и свои задачи и функции. Она меркантильна по своей природе и в обязательном порядке ориентируется на собственный интерес.

Чиновников обучают уже выработанным методам, блокируя тем самым их оригинальность мышления и действия. Проблемы мимикрируют в иные, а их решают порой методами начала династии или даже китайскими. Чиновников приучают лишь к ликвидации последствий и симптомов, а не к решению и самостоятельному видению самих проблем. Они применяются, образно говоря, как лекарство от определенных болезней, хотя эти «болезни» либо со временем видоизменяются, либо были связаны с другими «болезнями». Бюрократы творят правовой и административный произвол. Они становятся беспощадными и жестокими по отношению к народу. Это вызывало рост недовольства масс, которые традиционно не любили политическую власть и получили возможность заявлять, что «мы знали, что так и будет». Все это впоследствии мастерски обыграл мятежный Агуда.

Бюрократия начинает вести свою собственную деятельность. Чиновники стараются доказать свою полезность и для этой цели все чаще используется бумаготворчество. С другой стороны, элита и сама начинает опасаться их и пытается меньше использовать для решения важных задач. Это стимулировало развитие управленческих навыков самих членов правящего рода.

Чиновникам все чаще поручают контролирующие функции, составление отчетов. Эти требования часто выглядят как абсурдные, бессмысленные и бесполезные для общества в целом, но чиновники вынуждены заниматься ими, и отвлекаются от произвола и интриг.

В итоге вместо движения к социально полезной цели на первое место выходит задача самовоспроизводства бюрократии или хотя бы ее самосохранения.

Не случайно даже чжурчжэни старались больше привлекать выходцев из клана Елюй, чтобы они доминировали именно в новой бюрократической системе. Таким образом, их статус понижался – они были уже не элитой, а всего лишь бюрократией. Тем самым, однако, и кидани спасаются от уничтожения («идут на службу» новой династии), и спасают киданьский «опыт» вместе с исторической памятью.

Если создать некую шкалу истории бюрократизации того или иного общества от 0 до 4, то история киданьской бюрократии будет выглядеть своеобразно (табл. 1).

Таблица 1.

Хронология киданьской бюрократии.

Число	Хронологический период	Содержание
0	Время правления Елюй Апоки (Тай-цзу): 907–926	Бюрократическая система работает на государственное строительство.
1	Елюй Дэгуан (Тайцзун): 926–947	Бюрократическая система работает на создание метарегиональной модели, происходит переформатирование «завоеванного» пространства и усиление бюрократизма.
2	До Шаньюаньского мира с Сун (1004).	Бюрократическая система работает на складывание синтеза внутренних и внешних интересов. Наблюдается расцвет продуктивной и эффективной бюрократии.
3	XI в.	Сложившая бюрократическая модель работает как своего рода «вечный двигатель». Намечается разрыв связи между чиновничеством, армией и элитой, они все больше начинают работать параллельно. Только слабость соседних государств, в том числе и чжурчжэней, и авторитет Ляо в Степи спасают Ляо. Однако чжурчжэньская опасность уже намечается.
4	Время правления императора Елюй Тяньцзо: первая четверть XII в.	Киданьская бюрократия замыкается на себя и плохо контролирует ситуацию в стране, жители начинают ее ненавидеть. Армия, дипломатия и элита вынуждены в одиночестве бороться с врагом. А роль бюрократии уже важная.

Киданьское чиновничество, как и на всем Дальнем Востоке [Волков, 1999, с. 72], в итоге становилось особым социальным слоем со своей иерархией. Ранг имел важное структурообразующее значение, т. к. именно к нему были привязаны должности.

В Европе определенная бюрократическая система проживает свою «жизнь» полностью и уходит в результате «революции», поскольку внутренние конфликты и противоречия требуют нового соотношения «производительных сил» и «производственных отношений», иначе говоря, новой модели. Для «сонного» Востока характерна борьба не *против*, а *за* модель. Приходит новый «хозяин» (император или династия), и бюрократы в массе своей начинают служить ему.

Кидани «доросли» до государственности и начинают использовать китайскую имперскую модель, чжурчжэни после разгрома Ляо – киданьскую, монголы в своем государственном строительстве учли опыт Западной Монголии и всей Степи. Маньчжуры берут китайскую (периода династии Мин, т.е. уже модернизированную) модель, но

дополняют ее историческим опытом этнического общения прежних государств и их военным опытом. Они понимают, что чисто кочевая модель не сможет эффективно работать в новых условиях, а китайская подчинит их своему влиянию, и, соответственно, пытаются выстроить некую суммарную модель, максимально равновесную. Однако экономическим центром цинского государства был Китай. В конечном итоге он и победил.

В Ляо активно шли три процесса: родо-племенная традиция, этнобюрократический прогресс, особенно ярко представленный киданями, и военное совершенствование. Во всех них в той или иной степени представлены члены рода Елюй. Сложность ситуации заключалась в том, что сосуществовали такие мощные системы, как родоплеменная иерархия и одновременно новая, параллельная лестница – административная. Эта сложность увеличивалась за счет армии.

Армейская структура может рассматриваться как еще одна часть бюрократии. «Армия для государства это то же, что здоровье для человека» [Мариюшкин, 1995, с. 108], поэтому и у киданей она считалась «оплотом /щитом/ государства», а военное дело обеспечивало безопасность государства.

К административной структуре Ляо имеют отношение уже некоторые положения киданьской философии войны. Кидани считали, что война вполне имеет право на существование. Она ни добро, ни зло. Они были воспитаны в духе готовности к войне, но в то же время считали, что война есть особое средство решения проблем. Все должны быть к ней готовы и ежедневно тренироваться, но не жить ради войны.

Особо следует отметить, однако, что, по мнению киданьских правителей, армия все же должна быть особой организацией. Не все должны находиться в ней, если не считать, разумеется, особых случаев. Она представляла собой нечто вроде особого цеха. Это нашло отражение даже в том, что киданьские воины получали особое жалование и особые привилегии, т.е. киданьская армия одной из первых в средние века стала профессиональной структурой и частью административно-бюрократического аппарата.

Выстраивание параллельных политической и армейской структур является ярким свидетельством отсутствия у киданей агрессивной стратегии. Этот феномен лучше объясняется политикой регулирования социальных и этнических отношений, оформления жизненного пространства. Кидани делали обязательный и неизбежный акцент на выравнивании границ и борьбе с внешней опасностью.

То, что аппарат управления в кочевом сообществе, по сути, является военной организацией вполне объяснимо. Во-первых, все древние и средневековые государства создаются с активным участием военных. Само слово «империя» родом из армейской структуры, оно некогда означало устройство войска по семейному принципу. Император подобно отцу семейства тоже считался отцом всех людей. Во-вторых, то, что государство рассматривается как структура, объединяющая всех людей, характерно для стадии военной демократии или вождества, когда и складываются предпосылки для возникновения государственности.

В отношении Елюй Апоки, Елюй Даши и других представителей верхушки киданьского общества даются одновременно физические, управленческие и общекультурные характеристики, что свидетельствует об отсутствии выделения офицерского корпуса как социально-профессиональной группы, но в текстах есть множество упоминаний о формировании офицерства, хотя оно в большей степени в социальном плане представляло собой часть элиты.

Картина угасания Ляо тоже говорит о существенном влиянии на этот процесс бюрократизма. Конец Ляо, как и любой другой империи, был предопределен достижением такого уровня общего развития, когда начинает выравниваться уровень социального и экономического развития всех ее частей, и они из партнеров снова превращаются в соперников. Сам феномен политической власти требует ее опускания, т.е. распространения

вниз по социально-политической лестнице, так как необходимо параллельно с этнической структурой контролировать все существующие структуры. А их немало: племенные, армейские, культурные (храмы, монастыри). Кидани делали это стремительно, ибо не пришли в данный регион извне, как варяги или римляне, а выросли рядом с местным населением.

Процесс организации управления на завоеванных землях шел параллельно с завоевательными и карательными походами, налаживалось сотрудничество с местной элитой. Актуальный в период начала династии тезис о двойственном обличьи центральной власти – милостивой в отношении киданей и устрашающе жестокой для чужеземцев – переосмыслен во время расцвета империи в том плане, что император карает мятежников, послушные же подданные, независимо от своей национальности, находятся под его защитой.

Складывалась местная элита, управляющая субрегионом как политическая сила, и она все меньше нуждалась в поддержке со стороны метрополии. Ее выращивает сама имперская элита, ибо одних высших чиновников недостаточно, а эти люди лучше понимают местные проблемы. В условиях господства этнической системы, разумеется, отношения между этими частями снова начинают обостряться как межэтнические.

Если посмотреть внимательно на историю империи, то мы фактически не найдем ни одного реального основания для восстаний, одинаково «справедливого» для всех участвовавших в нем и, тем более, для всего общества. Любое восстание – аномалия. Если тех или иных киданьских феодалов можно обвинить в произволе и нарушениях традиций или законов, то правительство, в целом, в этом обвинить никак нельзя. Да, были ошибки и просчеты, но к чести его надо сказать, что по мере возможности они всегда исправлялись. Более того, правительство при проведении любой реформы или отдельной акции, прежде всего, пыталось упредить любое возмущение. В докладах ли чиновников, в указах ли императоров очень часто встречаются такого рода предупреждения и предостережения.

Не социальные противоречия и конфликты с племенами взорвали Ляо. Их было не больше и не меньше, чем обычно. Идею социальной и этнической нестабильности в Ляо сформулировал и использовал в своей борьбе против киданей вождь чжурчжэней Агуда. Причин гибели Ляо много, но одна из существенных – перепроизводство и бездействие бюрократии и сопровождающая это коррупция. Исход войны во многом зависит от тыла, а киданьская бюрократия во время войны часто бездействовала или даже переходила к врагу. Все сказанное в то же время свидетельствует о том, что проблемы Ляо в этой сфере идентичны соответствующим проблемам оседлых народов.

Сказалось и отношение населения к роду Елюй и его чиновникам. Оригинальный приход к власти Апоки и рода Елюй поразил современников, особенно кочевников, хотя они видели силу личности нового правителя и плюсы этого переворота. Даже китайцы отметили это событие как особенное и особое, хотя и не приняли переворот, назвав его захватом трона. На самом деле «трона» еще не было, Апоки только создавал его, но для китайцев, судивших по аналогии или по своей исторической памяти, такой приход к власти считался аномальным.

Данное событие породило у разных народов ощущение дистанции с родом Елюй. К тому же в результате появился в полном объеме феномен политической власти в «варварском мире». Это либо не принимали (китайцы), либо во многом еще не понимали (кочевники). Однако ко времени Чингис-хана благодаря существованию Ляо и Цзинь этот феномен был освоен.

При Ляо метарегиональная политическая власть еще только строилась, чжурчжэни, хотя и копировали ее, перспективы ее возможного дальнейщего развития во многом не видели. Лишь Чингис-хан увлек кочевников своими походами и преобразованиями, но в киданьско-монгольском варианте бюрократия все же не прижилась. Даже маньчжуры лишь что-то брали из «опыта», т.е. использовали практические рецепты, а не методологию и философию. Для кочевников феномен власти был связан с Китаем.

Впервые в истории совершалось строительство государства в таких формах и масштабах. Это уже не ханство! И впервые в таком масштабе появляется разрыв между управляющими (управляющий класс) и управляемыми. Субъект власти и ее объект оказались предельно разделены. Начинает складываться несовпадение их интересов.

У «бюрократов» появляется дополнительная цель сохранить, упрочить и умножить свой статус, и они используют новые возможности для «произвола». Этот эгоизм все более усиливается. В Ляо складывается мощная властная структура, которая не нуждается в радикальных реформах и работает «сама по себе». Это и есть явление «бюрократизации». Налицо своеобразный дуализм общегосударственной и чиновничьей властей, параллелизация их деятельности, когда чиновники работают не только, а иной раз и не столько на государство, сколько на себя.

Ляо стало могущественным государством, и внешняя опасность резко уменьшилась. Эта стабильность была непрочной, но все же способствовала расслаблению правителей. Ибн Халдун в XIV столетии, анализируя исторический материал разных стран и обществ, в том числе и кочевых, считал эту фазу заключительной в истории той или иной государственности. По словам Е Лун-ли, автора «Цидань го чжи» («Истории государства киданей»), «когда кончается момент наивысшего подъема, в реке Цзин начинают течь грязные воды, а в это время такими же грязными становятся дела людей» [Е Лун-ли, 1979, с. 224]. Как писал он же, «когда высокая мудрость (киданьских императоров) поднималась ввысь, туда и сюда скакали боевые кони, им этого было мало. Когда (у киданьских императоров) появилась неуемная жадность к пьянству, последовали беды и поражения, не имевшие конца» [Е Лун-ли, 1979, с. 113]. По его мнению, уже императоры Шицзун и Муцзун «сняли латы и шлемы в женских покоях, а под боком у них возникли поводы для вражды. Как они были ничтожны! Это связано с их надменностью, несдержанностью в желаниях, любовью к пьянству и женской красоте, страстью к охоте, что ведет к поражениям и гибели, а эти пороки были отпущены обоим как бы одной рукой» [Е Лун-ли, 1979, с. 113]. В середине династии карательные отряды против непокорных племен часто отправлялись по приказу императрицы [Е Лун-ли, 1979, с. 114].

У бюрократической системы на этой стадии уходят цели создания и совершенствования, остается лишь защита ее «от внутренних врагов». Вождь чжурчжэней Агуда впоследствии, во время борьбы с Ляо, намекал на то, что кидани больше ничем иным и не занимались. Это «бесцельное» существование бюрократической системы логически ведет к ее «загниванию» и в итоге самоуничтожению.

В ряде известных случаев, например, в период Великой французской буржуазной революции, эта система разрушается насильственно, взрывается как шар. Однако в киданьском случае еще оставалась необходимость дальнейшего существования самой имперской системы, поэтому киданьская империя и была сменена чжурчжэньской. Ляо была мощной социо-политической системой, четверть века сопротивлялась чжурчжэням и дала жизнь некоторым имперским клонам (Бэй Ляо, Си Ляо). В результате решающим оказался внешний фактор, имперскую «эстафету» переняли чжурчжэни. В империи Цзинь ситуация повторилась, и империя исчезла еще быстрее. Чжурчжэни в большей степени лишь использовали модель и киданьскую элиту, а также киданьских чиновников.

То, что кидани создали оригинальную и соблазнительную модель, позволило чжурчжэням и, в определенной степени, монголам не заниматься творчеством, а копировать. Однако беда в том, что подобный, с позволения сказать, «секонд хэнд» всегда ведет к деградации, ибо копируется чужое, выросшее на своих проблемах, а не решаются *свои* проблемы и формы.

Киданьская бюрократия уничтожается вместе с государством, как это часто бывает на Востоке. Европейская средневековая бюрократия в новое время уничтожается с помощью революций, а на Востоке в средние века – через завоевания территорий и государств

внешними силами. Это связано с тем, что на Западе постоянно идет смена тех или иных моделей (Римская империя – феодализм – капитализм – социализм), а в Восточной Азии еще в древности китайцами была создана предельно оптимальная модель, которая гипотетически могла существовать вечно. Обитающие в этом регионе народы ее осваивают и корректируют согласно своим традициям.

Литература

1. Волков С.В. Служилые слои на традиционном Дальнем Востоке. М.: Восточная литература, РАН, 1999.
2. Волков С.В. Чиновничество и аристократия в ранней истории Кореи. М.: Наука, 1987.
3. Воробьев М.В. Чжурчжэни и государство Цзинь (X в. – 1234 г.) М.: Наука, 1975.
4. Воробьев М.В. Культура чжурчжэней и государства Цзинь. М.: Наука, 1983.
5. Даньшин А.В. Государство и право киданьской империи Великое Ляо. Кемерово: Кузбассвузиздат, 2006. 180 с.
6. Дробышев Ю.И. Политика киданей в Центральной Азии // Общество и государство в Китае: XL науч. конф. М.: Институт востоковедения, 2010. С. 108-122.
7. Е Лун-ли. История государства киданей (Цидань го чжи). Пер. с кит., введ., коммент. и прил. В.С. Таскина. М.: Наука, 1979. 608 с.
8. Илюшечкин В.П. Сословная и классовая структура общества в древнем и средневековом Китае // Социальные организации в Китае. М., 1981. С. 125-159.
9. Кляшторный С.Г. Основные этапы политогенеза у древних кочевников в Центральной Азии / Проблемы политогенеза кыргызской государственности. Бишкек: Наука, 2003. С. 115-125.
10. Крюков М.В., Малявин В.В., Софронов М.В. Китайский этнос в средние века (VII-XIII вв.). М.: Наука, 1984. 336 с.
11. Кычанов Е.И. Проблемы сословно-классового анализа общества Тан (VII-X вв.) // Социальные организации в Китае. М.: Наука, 1981. С. 43-52
12. Мариюшкин А.А. Помни войну! Вопросы современной и будущей войны // Философия войны. М.: Анкил-воин, 1995. С. 91-130.
13. Массон В.М. Политогенез степных обществ и кочевые империи // Проблемы политогенеза кыргызской государственности. Бишкек: Наука, 2003. С. 101-114.
14. Материалы по истории древних кочевых народов группы дунху / Пер. В.С. Таскина. М.: Наука, 1984. 487 с.
15. Рыбаков В.М. О правовом положении чиновничества в средневековом Китае // Народы Азии и Африки. 1982. № 3. С. 51-60.
16. Таскин В.С. Значение китайских источников в изучении древней истории монголов // Материалы по истории древних кочевых народов группы дунху. М.: Наука, 1984. С. 3-69.
17. Уголовные установления Тан с комментариями (Тан люй шу и). Цзюани 1-8. Введ., пер с кит. и коммент. В.М. Рыбакова. СПб.: Петербургское востоковедение, 1999. 384 с.
18. Ясперс К. Смысл и назначение истории. М.: Политиздат, 1991. 527 с.
19. Kovalevskij O. Dictionaries Mongol-Russe-Francais (Монгольско-русско-французский словарь). Kazan: Типография Казанского университета, 1844. 2687 с.
20. Pelliot P. Notes sur le «Turkestan» de M.W. Barthold // T´oung Pao, 1930, № 27. P. 12-456.
21. Wittfogel K.A., Feng Chia-sheng. History of Chinese Society. Liao (907–1115). Philadelphia: American Philosophical Society, 1949. 752 p.

ON THE EXTENT AND THE SPECIFICITY OF THE DEVELOPMENT OF BUREAUCRACY IN THE CHITAN EMPIRE LIAO (907–1125)

Pikov G.G.
Novosibirsk State University, Novosibirsk, Russia, gennadij-pikov@yandex.ru

Abstract. Bureaucracy as a civilizational phenomenon is also inherent in nomadic societies. The article deals with the formation and development of bureaucracy in the Chitan Empire Liao (907–1125). The author studies the background of this process, the sources of the formation of Chitan bureaucracy, it's place in the social structure, role in political history, and the fate in the post-Imperial period.
Key words: nomads, Chitans, Liao, Empire, bureaucracy, bureaucratism, officialdom.

РЕФОРМЫ СЯО-ВЭНЬ-ДИ: ПРОЦЕСС КИТАИЗАЦИИ СЯНЬБИЙСКОГО ОБЩЕСТВА

Королева О.А.
ИВ РАН, Москва, Россия, ousoil33@yandex.ru

Аннотация. Статья посвящена вопросу влияния китайской культуры на культуры соседних государств и способности к ассимиляции на примере истории династии Северная Вэй. В центре внимания исследования – события, связанные с реформами Сяо-вэнь-ди (больше известного как Тоба Хун), которые коснулись различных аспектов жизни сяньбийцев, включая семейные ценности (система заключения браков), а также «китаизация» фамилий, языка, типа одежды и т.д.
Ключевые слова: династия Северная Вэй, Сяо-вэнь-ди, Лоян, китаизация, сяньби.

Одной из интересных особенностей китайской культуры является ее способность ассимилировать культуры других народов, прежде всего кочевников, которые в ходе истории не раз становились основателями новых династий на территории Китая. В конце V в. правитель династии Северная Вэй Сяо-вэнь-ди проводит реформы, основной задачей которых являлась китаизация сяньбийского общества, в первую очередь представителей правящей элиты. Несмотря на то, что это был долгий и нелегкий процесс, он оставил яркий след в истории Поднебесной.

Третий век нашей эры по-своему становится поворотным моментом в истории Китая, поскольку династия Хань (III в. до н.э. – III в. н.э.) пала, и начался довольно длительный период государственной нестабильности. Если говорить о переменах в некитайских системах, то на смену хунну в III в. приходят новые племена кочевников. Уже в позднеханьских источниках появляются упоминания о самом крупном и сильном из существовавших кочевых образований – о сяньби. Согласно китайским источникам, в IV-V вв. от разнообразных объединений народностей власть перешла в руки кочевого племени Тоба, которое принадлежало к одной из ветвей сяньби – в широком смысле слова монгольской, может быть частью и тюркской группе кочевых племен.

Несмотря на этническую мозаичность состава населения Северокитайской равнины, большинство в нем было представлено древними китайцами, а наиболее многочисленной группой «варваров» были сяньбийцы. Из 19 государств, возникших в IV − начале V вв. на Севере, восемь были сяньбийскими [Крюков, Малявин, Софронов, Малявин, Софронов, 1979, с. 89]. Династия Северная Вэй (386−534) была основана кочевым племенем, пришедшим из Внутренней Монголии в северную часть провинции Шаньси – родом Тоба.

В период раннего средневековья, к моменту образования новой династии на территории Китая наблюдалась утрата номинального единства. Предшествующие Северной Вэй династии, известные как Вэй, Шу и У, предприняли попытку построить свои государства по императорскому образцу, принятому в китайском государстве, хотя их правление больше было похоже на военную диктатуру. Воссоздать китайский тип управления было возможно лишь в том случае, если представление о сакральности власти получило бы распространение среди правителей некитайского происхождения. Также было нужно сохранить «...названия имперских правительственных учреждений, соответствующий ритуал и т.д.» [История Востока, 1995, с. 67].

Возникла необходимость выделить династию Северная Вэй из числа других некитайских династий, чтобы обосновать ее имперский статус. В ходе выработки оптимальных путей развития этнической политики тобийцы, среди прочего, пользовались опытом взаимоотношения Китая с иноплеменными народами, например, с хунну, которые сложились еще во времена эпохи Хань. Позже, при составлении династийной истории, события,

охарактеризовавшие историю государства Северная Вэй, были собраны воедино и изложены в «Вэй шу» («Книга об [эпохе] Вэй»). Было необходимо подчеркнуть ее «срединную» роль, при этом даже использовалась определенная терминология: например, если речь шла о смерти правителей остальных государств, то говорилось, что они «умерли» или «скончались». В случае с северовэйскими императорами было принято говорить «рухнул» или «почил».

В начале своего правления род Тоба был лишь небольшим племенем, чья вооруженная сила была сконцентрирована в г. Пинчэн (в настоящее время г. Датун, пров. Шаньси) и контролировала территории в долине р. Хуанхэ. Империя Северная Вэй, являясь по сути кочевой, должна была использовать китайских землевладельцев, распространяя административную систему и при этом постепенно перенимать китайскую культуру [Tung Chi-ming, 1959, p. 90-91]. Сяньбийцы были кочевниками, регулярно перегонявшими стада, но для того, чтобы сельское хозяйство стало для них основным видом деятельности, послужив экономической базой для дальнейшего развития Северной Вэй, сяньби должны были стать оседлыми (分土定居).

По мнению В.Ц. Головачева, этническую историю династии Северная Вэй можно подразделить на два этапа ассимиляции со стороны китайцев: периода, когда происходила вынужденная китаизация, завершившаяся в середине V в., и этапа, когда китаизация являлась частью целенаправленной политики государства, начавшись при императоре Сяо-вэнь-ди и продолжавшаяся вплоть до его падения. Ранний период истории северовэйского государства можно отметить как время наименьшего стремления перенимать китайскую культуру. Сначала сяньбийцы сопротивлялись китаизации в любой форме. Конфликт между ее противниками и сторонниками со стороны кочевников объясняет по большей части нестабильность других государств на Севере в IV и V вв. Нужно было решить, приспосабливаться ли к новым географическим и социально-экономическим реалиям региона или сохранять свою культурную идентичность. В последнем случае сяньбийцы, не имея другого выхода, были бы вынуждены вернуться «к истокам, поглощаемые тюрками Монголии» [Hucker, 1975, p. 137]. Между тем, такие сторонники китаизации, как род Тоба, были вынуждены отказаться от прежних культурных устоев, вобрав в себя иные качества, чтобы составить основное население Северного Китая.

Несмотря на стремление не отходить от исконных традиций, в 392 г. (правление Тоба Гуя) согласно китайской традиции была написана родословная, где утверждалось, что тобийцы произошли от одного из прямых потомков древнекитайского императора Хуан-ди (согласно китайской историографии он был одним из «пяти совершенномудрых государей древности»). К тому же, идея о сакральности императора, сформулированная задолго до этого, широко пропагандировалась в среде тобийцев. Северовэйские императоры стали не только своеобразными продолжателями традиций династии Хань, но и, согласно конфуцианским воззрениям, олицетворением идеальных правителей. Стоит отметить, что взаимодействие и взаимопроникновение китайской и сяньбийской культур позволяло кочевникам сохранять свое политическое господство. «Переосмысление древнесяньбийских обычаев в категориях китайской культуры, обоснование их ссылками на прецеденты из ханьской истории, составление “китайской” родословной тобийцев, все это свидетельствовало о том, что ...фактическая подмена “образца древности” одной культуры соответствующим “образцом” другой культуры выполняли роль одного из важнейших механизмов этнокультурной трансформации северовэйского общества...» [Головачев, 1991, с. 24].

В государстве Северная Вэй правительство было сформировано по образцу, существовавшему еще во времена династии Хань. В систему управления были внесены некоторые преобразования, которые отвечали требованиям военной аристократии рода Тоба. Не желая кровосмешения с китайцами, они все же со временем начали заключать с ними

браки. По словам Ч.С. Фицджеральда, в результате этого «...возник класс смешанного происхождения» [Фицджеральд, 2004, с. 163]. Между китайцами и сяньбийцами существовала необходимость взаимного сотрудничества, но в ходе истории династии Северная Вэй их отношения носили противоречивый характер. Многочисленные различия – политические, социально-экономические, а также нравы и привычки, языковой барьер – все это часто не позволяло в ранний период северовэйского государства сойтись китайцам и сяньбийцам во взглядах. Подобные отношения и зачастую непонимание могли иметь серьезные последствия – например, за малейшие подозрения в изменнических настроениях или пренебрежении к правящей династии китайцев нередко карали смертью [Головачев, 1991, с. 193]. Изначально китайцы, которые стремились занять чиновничий пост и добиться успехов в управленческой деятельности, были обязаны знать сяньбийский язык. Этому способствовала политическая ситуация, сложившаяся в ранний период истории Северной Вэй, когда культура кочевников имела огромный вес в глазах китайцев. Кроме этого, первые правители рода Тоба не стремились смягчить этнические конфликты между отдельными представителями населения Северного Китая, а наоборот, ужесточали меры по отношению к несяньбийцам – *ху, ди* и другим.

Подозрительность сяньбийцев к китайцам, стремившимся приблизиться ко двору, сказывалась в определенной враждебности и культурной разобщенности. В первое время это проявлялось в отсутствии браков между сяньбийскими и китайскими семьями. Естественно, одновременно с этим происходил процесс постепенной ассимиляции, хотя «сяньбизация» старой китайской знати была в тот момент более явной. Сяньбийцы стремились сохранить свою культуру, чтобы не ассимилироваться местным населением, хотя они и не отрицали необходимость перенять у китайцев опыт государственного управления. Эта проблема во многом была связана с типами семейной системы, принятыми у китайцев и у сяньбийцев. В обоих случаях речь идет о патриархальной системе, но разница состояла в том, что у китайцев «семья» понималась как «род», или патронимия и могла включать до нескольких сотен человек. Если один из членов такой «семьи», или «рода» добивался высокого положения, то автоматически это обеспечивало достойную жизнь и другим членам, а также близким родственникам и семьям, связанным с ними узами брака. В случае с сяньбийцами, где семейная система была нуклеарной, дело обстояло иначе: это были «...воины-кочевники, не имеющие постоянного места обитания, у которых не было возможности создания разветвленных семейных групп» [Eberhard, 1969, p. 138]. Среди них индивидуум был более независим, во многом сяньбийцы должны были полагаться на себя, а не на родню или на счастливый случай. В отличие от китайцев, которые, достигнув высокого положения, следовали за большинством и были «преемниками бесчисленных предшественников», добившиеся успеха сяньбийцы оставались «одиночками».

Неустойчивость социального положения китайцев также была во многом связана с тем, что тобийцы официально не признавали привилегированного статуса знатных китайских родов, не гарантировали их экономические интересы. Кроме этого, они «…и первоначально не внедряли традиционную систему 9 рангов чиновничества» [Головачев, 1991, с. 194]. К середине V в. происходит сближение их правящей верхушки и представителей китайской элиты. Одновременно с этим наблюдается процесс активной китаизации: страна делится на области и уезды, вводится китайская система чиновных должностей, упорядочивается система налогов. Число китайцев при дворе и в столичной администрации с 2% на рубеже IV−V вв. возросло к 423-452 гг. до 25%, а в местной администрации – до 40% [История Востока, 1995, с. 71].

Вся гражданская администрация оказалась в руках у китайцев, а сяньбийцы отвечали лишь за военную, но «почва под ногами» у последних уходила и в этой области. Это было связано с тем, что правители династии Северная Вэй не оставляли надежды завоевать отколовшийся Юг, а в военном деле нужны были специалисты, например, в области

фортификации, и найти их можно было только среди китайцев. Кроме этого, силы тобийцев были подорваны в ходе многочисленных военных столкновений. По словам В. Эберхарда, «...многие семьи Тоба были истреблены в ходе восстаний предводителей племен, а остальные были уничтожены в боях» [Eberhard, 1969, p. 142]. В результате, благодаря своей востребованности, китайцы получили возможность распоряжаться и военной администрацией.

Еще одним важным явлением в социальной сфере стало повышение в высших кругах китайского общества роли аристократии и аристократизма как такового. Знатность людей стала четко определяться по праву рождения, иначе говоря, принадлежностью к определенным кланам. В знак подтверждения их родовитости составлялись генеалогии и списки знатных фамилий, позже сведенные в реестр. Появилась прослойка семейств, обладавшая правом «второй категории», что позволяло достигать высоких постов на государственной службе и пользоваться привилегиями в ряде областей, например, юридической. Так, после разделения должностей на «чистые» и «грязные», первые стали привилегией аристократов, благодаря чему они могли получать высокие посты в молодом возрасте и без экзаменов.

Правитель династии Северная Вэй Сяо-вэнь-ди (孝文帝), больше известный как Тоба Хун (拓跋宏), вошел в историю как один из самых влиятельных политиков-реформаторов того времени [Xiong, 2009, c. 575]. Сяо-вэнь-ди был возведен на трон своим отцом Сянь-вэнь-ди (в 471 г. девиз правления изменен на *яньсин*延兴). Несмотря на это, власть все еще была сосредоточена в его руках: период правления Сянь-вэнь-ди принято описывать, как время «лишений среди населения», также упоминается многочисленные случаи стихийных бедствий (засух). В 476 г. Сянь-вэнь-ди был отравлен императрицей Фэн (冯), которая, придя к власти и провозгласив девиз *тайхэ* (太和), стала регентом при юном Сяо-вэнь-ди. Интересно, что она, как в будущем и ее сын, активно стремилась к «китаизации» общества: «…находясь у кормила правления, императрица Фэн стала последовательно осуществлять курс на восстановление в стране китайских образцов и порядков, постепенно изживая тобгачские традиции» [Бокщанин, 2010, с. 74]. После смерти матери-императрицы в 490 г. Сяо-вэнь-ди стал полноправным правителем династии Северная Вэй. К этому моменту положение дел в государстве усугубилось – обширные сельскохозяйственные угодья в бассейне р. Хуанхэ пришли в запустение, население терпело нужду и было вынуждено покидать свои земли.

Будучи блестящим политиком, Сяо-вэнь-ди был дальновиден в сфере политического, экономического и культурного развития страны. Стремясь китаизировать сяньбийское общество, он издал указы, согласно которым сяньбийцы должны были изменить свои исконные фамилии на китайские. Кроме этого, им вменялось в обязанность носить одежду китайского покроя и говорить по-китайски. Сяо-вэнь-ди также считал необходимым заключать смешанные браки между представителями высших слоев сяньби и китаянками. Изменения также коснулись и других обычаев, например, широкое распространение получил буддизм. Сяо-вэнь-ди «…издал серию указов, предписывающих принудительное упразднение обычаев сяньби и введение вместо них китайских» [ДКК, 2009, с. 183]. Иными словами, на тот момент это был крупномасштабный «культурный переворот».

Стремление к кардинальным изменениям было во многом связано с нежеланием возврата к прежним традициям. В «Эршиу ши» сказано, что «Если следовать старой привычке, то через несколько поколений на берегах И и Ло, пожалуй, снова окажутся лишь люди, заплетающие косы» [Эршиу ши, 1956, с. 1954]. В другом источнике говорится, что тобийцы могут снова превратиться в «варваров» с распущенными волосами. И в том, и в другом случае подразумевается, что эта традиция отличается от китайской, где, согласно этикету, волосы было принято завязывать в пучок. Реформы императора были направлены на

то, чтобы тесно связать сяньбийскую и китайскую знать. Аристократия составляет небольшую часть привилегированного сословия и обладает правом наследования, имея возможность улучшить свое положение за счет различных титулов, наличия генеалогий и т.д. Эти свойства важны, поскольку «...сущность аристократии в том, что человек... с младенческого возраста воспитывается для занятия определенного положения, последовательно воспитывается в категории ответственности перед всем социумом» [Махнач, 2000, с. 199]. Китайские аристократические кланы были почти уравнены с тобийскими. Кроме этого, «...при наличии двух или более жен у мужчины старшей считалась китаянка, хотя бы она и была самой последней по времени брака» [Харнский, 1927, с. 117]. Смешанные браки поощрялись: согласно указу от 483 г., сяньябийцам было предписано жениться на китаянках, при этом им «было запрещено жениться на однофамилицах» [Чжунго лиши бяньлань, с. 504].

Начиная с момента основания династии Северная Вэй и до 466 г. в области права наблюдалось ужесточение законов, что привело к обострению общественного настроения [Ван Вэньтао, 2014, с. 181]. Чтобы разрешить кризис в обществе и укрепить власть, Сяо-вэнь-ди решил воспользоваться китайским опытом, обратившись к основополагающим конфуцианским идеям и категориям, прежде всего *дэ* (德), т.е. «благодать», «[моральная] сила» и др. С одной стороны, это был способ познакомить сяньбийцев с китайскими принципами управления государством, с другой – нормализировать основные положения законодательства. Согласно «Вэй шу», правители династии Северная Вэй в своих указах часто ссылались на канонические тексты «Ли цзи» («Книга ритуалов»), «Ши цзин» («Книга песен»), «Чунь цю» («Весны и осени») и др. В 477 г. и 491 г. дважды были внесены масштабные изменения в правовые акты, например, согласно указу Сяо-вэнь-ди, для уменьшения количества подложных дел было необходимо избегать поспешных решений (прежде всего, казней). Кроме этого, дела, по которым уже были вынесены решения, но оставалось сомнение в их правомерности, следовало отправить для повторного судебного разбирательства, чтобы досконально выяснить обстоятельства случившегося.

Согласно записям в «Вэй шу», с 472 по 498 гг. Сяо-вэнь-ди предпринял различные меры для помощи населению (насчитывается более 116 примеров). Это касалось оказания помощи в случае стихийных бедствий, освобождения от налогов, поддержки стариков, вдов, больных, а также, если в этом была необходимость, помощь с проведением похорон [Ван Вэньтао, 2014, с. 176]. В период правления Сяо-вэнь-ди основными природными катаклизмами являлись наводнения и засухи. Так, в 496 г. долгое время не было дождей, и Сяо-вэнь-ди принял участие в ритуале – молитве о ниспослании дождя. В течение трех дней он ничего не ел и, как сказано в источнике, «небеса его услышали». Считается, что «молитва о дожде» – это давняя традиция, возникшая еще до династии Цинь (221−207 до н.э.). Безусловно, такой способ не имел под собой «научного» обоснования, но вместе с тем отображал стремление Сяо-вэнь-ди помочь населению справиться с засухой.

Основной активной мерой защиты от стихийных бедствий было строительство ирригационной системы, что одновременно способствовало развитию сельского хозяйства. Сяо-вэнь-ди издал несколько указов, касающихся этой проблемы. Для поддержания качества ирригационных сооружений на место строительства отправлялись «мастеровые». Согласно указам императора, в районы, пострадавшие от засухи, не раз отправлялись с инспекцией специально назначенные люди, которые должны были на месте выяснить масштабы стихийного бедствия и, в случае необходимости, оказать населению требуемую помощь [Ван Вэньтао, 2014, с. 176].

В истории династии Северная Вэй при Сяо-вэнь-ди, пожалуй, наиболее важным событием стал перенос столицы из г. Пинчэн на юг страны в Лоян в 499 г. Относительно причин существует несколько точек зрения, среди которых выделяют две основные: 1) географическое положение г. Лоян; 2) важное значение этого места в китайской культуре

[Ли Пин, 2006, с. 8]. Столица северовэйской империи г. Пинчэн вначале располагалась на границе Северного Китая. Для содержания довольно большого количества населения и чиновничьего аппарата требовалось постоянное снабжение водой и регулярная поставка зерна. Это было затруднительно, поскольку в тобийской столице отсутствовало речное судоходство, и поэтому зерно доставляли на повозках – ненадежном и дорогом транспорте. Решение о переносе было также связано с тем, что старая резиденция не соответствовала требованиям, которые предъявлялись к главному городу империи. В Лояне же процветала культурная жизнь, было достаточно земель, подходящих для возделывания, а также существовали водные коммуникации (р. Лохэ – приток Хуанхэ). Лоян мог предоставить больше возможностей для ассимиляции сяньбийцев китайцами, адаптации китайской административной системы, а также для более эффективного управления страной [Tung Chi-ming, 1959, c. 91].

С другой стороны, причина переноса столицы крылась в том, что у тобийских правителей существовала необходимость подтвердить свое право называться наследниками древнекитайской культуры. С Лояном связывалось представление о Срединном государстве с его центральным положением по сравнению с другими владениями. По мнению М.В. Исаевой, то, что Лоян стал столицей, не было случайностью: в «Вэй шу» данный город является «...точкой отсчета отдаленности юго-восточной области Ян-чжоу... Обладание Вэй этой территорией было главным аргументом для автора “Вэй шу” при обосновании статуса Вэй как срединного государства...» [Исаева, 2000, с. 68]. В «Вэй шу» проводится четкая мысль о моноцентричности: император должен управлять согласно принципу *дэ,* поскольку на небе не может быть двух солнц, а на земле – двух [верховных] правителей.

Но была еще одна причина: китайцы, получив при северовэйском дворе лидирующее положение, старались навязать правителю идею о возможности править всей страной – «...они пытались склонить императора претендовать на владение всем Китаем, по крайней мере, в теории; перенести столицу в Лоян, старый центр Китая» [Eberhard, 1969, p. 144]. Перенос столицы был выгоден китайцам, поскольку их наследственные земельные владения располагались на территориях, прилегавших к Лояну. Это совпадало с ощущениями самого Сяо-вэнь-ди, считавшего себя уже не тобийцем, а китайцем. Он видел себя правителем всего Китая, воспринимая Юг как восставшую территорию, которую нужно завоевать и покорить. Сяо-вэнь-ди трижды предпринимал широкомасштабные карательные походы на Юг страны, в дальнейшем взяв под контроль бассейн реки Хань (приток Янцзы) [Ли Пин, 2006, с. 8]. Действуя подобным образом, Сяо-вэнь-ди занял доминирующую позицию на Севере по отношению к императорскому двору в южной части Китая. Начиная с 494 г., в течение следующих пяти лет Сяо-вэнь-ди не только упрочил свое политическое влияние, но также создал условия, при которых Север оказался в более выигрышном положении по сравнению с Югом.

Безусловно, перенос столицы сыграл огромное значение в процессе объединения населения Китая и дальнейшего развития китайской культуры, правда, результаты реформ станут очевидны уже в период правления следующего императора – Сюань-у-ди (宣武帝). Несмотря на это, еще до переноса столицы среди представителей сяньбийской элиты возник раскол, а решение Сяо-вэнь-ди лишь еще больше обострило ситуацию. Люди были вынуждены жить в непривычном для себя климате, не имея возможности найти подходящее занятие. Те, кто не смог упрочить свое положение, связав себя узами брака с китайскими семьями, постепенно беднели. В результате китайцы получили реальную возможность занимать все важные посты. Вначале правительство отказалось отпускать тобийскую знать обратно на север, но в дальнейшем Сяо-вэнь-ди позволил туда возвращаться в жаркий летний период, поскольку условия новой местности разительно отличались от прежних. Он был заинтересован в том, чтобы сяньбицы не стремились вернуться назад, поэтому тех, кто

выбирал в качестве местожительства Лоян, ждало поощрение. В случае же смерти разрешалось хоронить сяньбийцев в старой столице – г. Пинчэн.

Политика императора Сяо Вэнь-ди, его указы, направленные против остатков племенной самобытности, стали поворотным пунктом в трансформации традиционной системы ценностей тобийцев. Реформы привели к тому, что к началу VI в. перевес оказался на стороне китайцев, чья культура стала преобладающей (например, император Сюань-у-ди стремился укрепить связь с ученым сословием китайцев). В 496 г. император Сяо Вэнь-ди предпринимает следующий шаг – меняет свою сяньбийскую фамилию Тоба на Юань (元).

В результате, к концу V в. фамилии многих знатных тобийских родов были заменены на китайские. Кроме этого, детям не разрешалось давать традиционные сяньбийские имена, что постепенно привело к стиранию граней между ними и китайцами. Глядя на фамилии, уже нельзя было точно определить национальную принадлежность того или иного человека. На фоне такого резкого отрицания сяньбийцами своих корней, еще любопытнее выглядит интерес, с которым китайцы отнеслись к прошлому Тоба – к их традициям, к языку. Потомки рода Тоба были обязаны именно китайским ученым, благодаря которым сохранились знания об истории и обычаях тобийцев. Несмотря на серьезные перемены, происходившие в обществе, у всего была своя причина – так, стремясь дать сяньбийцам китайские фамилии, Сяо-вэнь-ди стремился повысить значимость знатных сяньбийских родов.

Официальным языком стал китайский. Чиновники, умышленно говорившие на родном языке, подвергались наказанию, даже могли лишиться должности. Впрочем, тем, кто был старше 30 лет, и кому по естественным причинам было труднее перестроиться, отказавшись от привычных взглядов, в этом случае делали послабления. Система администрации, которая в большей степени следовала образцу, принятому в ранний период китайской династии Вэй (III в.), была изменена и приобрела форму, которая в VII в. стала моделью для династии Тан [Eberhard, 1969, p. 144]. Надо сказать, что по отношению к соседним некитайским государствам, окружавшим земли Северной Вэй, тобийцы выступали в роли носителей древнекитайской культуры, поэтому даже вопросы брака решали уже согласно строго закрепленной иерархии статусов. В случае, если брак заключался между «варварскими» правителями или их младшими братьями и вэйскими принцессами, дочерями или сестрами императора, то письменно это было принято оформлять двумя способами: «... [вэйский император] женил [правителя] на...» ...или «[правитель] возвысился за счет женитьбы на [вэйской] принцессе» [Исаева, 2000, с. 221].

Конечно, китаизация касалась, прежде всего, жителей столицы. В отдаленных районах политика Сяо-вэнь-ди в отношении сяньбийцев воспринималась негативно, поскольку там, «...как и прежде, господствовали настроения, препятствовавшие быстрой утрате сяньбийским населением своей культурной специфики» [Крюков, Малявин, Софронов, 1979, с. 94]. Насаждение чуждой культуры привело к возникновению политической оппозиции, стремившейся сохранить, в частности, привилегии тобийцев. Влияние оппозиции было столь велико, что она даже смогла принять открытую форму сопротивления во время проведения реформ. Правда, из-за существовавших разногласий с представителями тобийской знати, стремившейся сорвать задуманное, Сяо-вэнь-ди собирался представить все в виде карательного военного похода на Юг. Единственное, что удалось добиться оппозиции – то, что перенос столицы из Пинчэна в Лоян, задуманный в 493 г., был приостановлен до 494 г. Несмотря на это, противоречия возникали и среди представителей тобийской верхушки, поскольку слишком разителен стал контраст между китаизированной знатью и низами, приверженными традиционной культуре.

На фоне постепенного ослабления реальной власти со стороны тобийской знати были предприняты новые попытки выразить свое недовольство результатами проведенных реформ. Несмотря на китаизацию «верхов», большая часть сяньбийцев стремилась сохранить

исконные традиции, поэтому в продолжение оппозиционных действий в конце V − начале VI вв. снова происходят выступления, получившие название «мятеж шести пограничных областей». В результате Северная Вэй распалась на две части, что привело к новому витку отношений между сяньбийцами и китайцами. Из-за сложившейся политической ситуации произошел закономерный возврат к порядкам, существовавшим в ранний период истории династии Северная Вэй. Согласно «Эршиу ши», владение сяньбийским языком снова стало «…одним из критериев лояльности китайцев по отношению к правящей верхушке...» [Эршиу ши, 1956, с. 2300]. Тобийцы вновь получили возможность носить свои традиционные фамилии. Перемены в сторону кочевой культуры сказались даже в манере одеваться: снова было введено повседневное ношение сапог, а также способ запахивать слева направо наплечную одежду (левый запах считался «варварским», а правый – китайским) и т.д.

Впоследствии, несмотря на политические и религиозные разногласия, в результате долгого существования империи Северная Вэй, тенденция к регенерации китайской государственности оказалась сильнее. Желая сохранить этнические стереотипы, власть лишь замедляла ход китаизации заимствованием отдельных аспектов в области экономики, устройства политических институтов, системы образования. Способность ассимилировать другие этносы всегда была свойственна китайской культуре, что позволило китаизировать не только сяньбийцев, но и ряд других кочевых народов, населявших государства Ляо, Цзинь, Западное Ся и т.д., чье политическое устройство сложилось под сильным влиянием китайских образцов.

Из всех контактов, существовавших между сяньбийцами и завоеванными народами, самые тесные и плодотворные контакты сложились именно с китайской стороной, и наиболее явно это проявилось в период правления Сяо-вэнь-ди. В итоге, взаимопроникновение двух культур закончилось окончательной ассимиляцией со стороны китайцев. К VII−VIII вв. сведения о сяньбийцах становится более спорадическими, но их вклад в китайскую культуры не остался бесследным. Наоборот, сяньбийцы способствовали преобразованию китайской культуры, которая получила новый вариант развития во времена династии Тан (618−907). Многие черты новой империи сложились в результате воздействия северных народов, среди которых сяньбийцы заняли наиболее важное место.

Литература

1. Бокщанин А.А. Правительницы Китая // Общество и государство в Китае: XL научная конференция / Ин-т востоковедения РАН. М., «Ин-т востоковедения РАН», 2010. 470 с. (Ученые записки Отдела Китая ИВ РАН. Вып. 2 / редколл. А.А. Бокщанин (пред.) и др.). С. 71-79.
2. Головачев В.Ц. Некоторые особенности тобийско-китайских отношений в ранний период Северного Вэй // Общество и государство в Китае. Т. XXIII. Ч. 1. М., 1991.
3. Головачев В.Ц. Этнические процессы и этническая политика в государстве Северное Вэй (IV−VI вв.): Дисс. … к.и.н. М., 1991.
4. Духовная культура Китая. Т. 4. Историческая мысль. Политическая и правовая культура. М.: Восточная литература, 2009.
5. Исаева М.В. Представление о мире и государстве в Китае в III−VI вв. М.: ИВ РАН, 2000.
6. История Востока. Т. 2. Восток в средние века. М.: Восточная литература, 1995.
7. Крюков, Малявин, Софронов М.В., Малявин В.В., Софронов М.В. Китайский этнос на пороге средних веков. М.: Наука, 1979.
8. Махнач В.Л. Очерки православной традиции. М.: Хризостом, 2000.
9. Фицджеральд Ч.П. История Китая. М.: Центрполиграф, 2008.

10. Харнский К. Китай с древнейших времен до наших дней. Хабаровск-Владивосток: Книжное дело, 1927.
11. Eberhard W. A history of China. Berkeley: University of California Press, 1969.
12. Hucker C.O. China's Imperial Past. An Introduction to Chinese History and Culture. Stanford: Stanford University Press, 1975.
13. Tung Chi-ming. An outline history of China. Peking: Foreign Languages Press, 1959.
14. Xiong,Victor Cunrui. Historical dictionary of Medieval China. The Scarecrow Press, Inc. Lanham, Maryland,Toronto, Plymouth, UK, 2009.
15. Ван Вэньтао Бэйвэй Сяо-вэнь-ди шидай шэхуй цзючжу шилунь (О мерах спасения при Сяо-вэнь-ди во времена династии Северная Вэй) // Сучжоу дасюэ сюэбао. 2014 (3). С. 175-183.
16. Ли Пин Бэйчао дэ фачжань гуйцзи (Следы развития Северной династии) // 4-6 шицзи дэ бэй Чжунго юй оу я далу. Пекин, 2006 (12). С. 1-11.
17. Чжунго лиши бяньлань (Справочник по истории Китая). Пекин, 1992.
18. Эршиу ши. Т. 3. Ш., 1956.

THE REFORMS OF XIAOWENDI: THE PROCESS OF SINICIZATION IN THE XIANBEI SOCIETY

Koroleva O.A.
Institute of Oriental Studies RAS, Moscow, Russia, ousoil33@yandex.ru

Abstract. The article is devoted to the question how Chinese culture influenced the cultures of neighboring states and their assimilation. The focus of the research is the reforms of Xiaowendi (better known as Toba Hun). The author describes the life of Xianbei, including the marriage system, as well as Sinicization of names, language, clothes, etc.
Keywords: The Northern dynasty, Xiaowendi, Luoyang, Sinicization, Xianbei.

SUMMARY

The Department of Oriental history of the Institute of Oriental studies of the Russian Academy of Sciences in 2002, 2005, and 2008, based on the materials of international conferences "History and culture of Eurasian steppes", has published three volumes, which received the common name "Hungaro-Rossica". The volumes included the results of studies of Russian and Hungarian Orientalists on the history and source studies of medieval nomads of Eurasia. This volume is a direct continuation of this scientific tradition and is essentially the next, the fourth issue of "Hungaro-Rossica".

The study of nomads' history has a long tradition in Hungary, and researchers work in many research centers of the country. It should be noted the long-standing scientific relations and joint research projects of Hungarian and Russian Orientalists in this field. This led to the composition of the new volume, materials for which were presented by Orientalists of both countries. Traditionally, studies on the history of the nomadic peoples of Eurasia occupy a prominent place among Turkology and Mongolian studies. They are presented in this volume, which continues the joint Hungarian-Russian scientific project.

On a large factual basis, Horváth Ferenc, Hatházi Gábor discusses in their article migrations of nomadic tribes to the lands of the present Hungary and their acculturation. The article presents the representative results of archaeological works carried out by different experts for more than a century.

I. Fodor and D.D. Vasiliev point out that there are a lot of hypotheses about the origin of the sabre with Arabic inscription was found in Tuva, in the burial mound with a mounted stone stele, which contained a Turkic Runic epitaph sabre. The feature of the sabre is that the Runic inscription on the stele unveils the name of the sabre's holder – Bagyr. Besides, the type of the sabre is unusual for the arms of Central Asian nomads. This is a reason for different legends and poetry about the sabre. Previosly, there were several opinions about the place, where the sabre could be manufactured. Hypotheses of different researchers about the origin of the Bagyr's sabre are advancing into the following direction, that the sabre is the masterpiece of East European craftsmen. But there is no evidence of its "Kabar" origin.

V.V. Tishin discusses some theoretical problems of a studying of "tamga" signs' material of the Old Turkic period. The author draws his attention to the terminology for the designation of "tamga" symbols used in the sources and tries to specify the relationship between different terms, considering them in the context of the problem of the functional significance of certain signs. Considerable attention is paid to the discussion on social nature of Old Turkic "tamga" signs to be considered as personal or tribal.

A. Marcsik analyzes the anthropological indicators of the medieval population of the Carpathian basin. The graves of peoples of Caucasoid and Mongoloid appearance were identified.

Tatiana Anikeeva considers "The book of Dede Korkut", which consists of twelve songs-chapters, which tells about the exploits of the Oghuz heroes. The core plot of "The book of Dede Korkut" which is surrounded by these stories is the fight of the Oghuz people with the infidels surrounding them on all sides in the lands of Asia Minor, and feuds among the Oghuz. An external enemy for the Oghuz has specific and at the same time mythological features, thereby marking the boundary between the world of the nomads and neighboring sedentary world.

Yu.I. Drobyshev deals with some similar moments in the ideology of the Ancient Turks and the Iranians in VI-VIII centuries, concerning the figure of the supreme rulers of Turkic and Iranian societies: kaghan and shakhanshah. Possible borrowings of ideas about the limits of power, possibilities and duties of the supreme ruler are discussed. The author comes to the conclusion that Turkic borrowings in the Iranian-speaking world are noticeable in the period of the First Kaghanate, while in the era of the Second Kaghanate the strong influence of Chinese culture is obvious.

Based on a wide factual material, S. Kovács and I. Zimonyi reconstruct the picture of interaction of nomadic and settled peoples on the territory of present Hungary. History of the Kuns (Kumans), which played a significant role in the events of medieval Eastern Europe, is considered in detail.

According to Sh.S. Kamoliddin, Turks were at the helm of the cultural process, which we now call "Islamic Renaissance". Before adoption of Islam, the Turks had a strong statehood, the Turkic Qaghanate, and a high culture. In this respect, they were the forerunners of the Arabs. In Central Asia the process of

the "Islamic Renaissance" was preceded by a similar cultural process that took place during the era of the Turkic Qaghanate (6^{th} – 8^{th} centuries), which can be provisionally called the "Turkic Renaissance". During this period, which is characterized by rapid development of urban planning, architecture and art, many cultural values of the Kushan time are being revived, which fell into decay and were lost during the stagnant period of the reign of the Chionites and Ephtalites (4^{th} – 5^{th} centuries). Having rich experience in the revival and development of cultural traditions, accumulated in the era of the Turkic Qaghanate, the Turks were the initiators and active participants in a similar process in the era of the Arabic Caliphate.

The article of D.M. Timokhin is devoted to the history of formation of the Turkic military and political elite of Khorezm state during the rule of khorezmshakhs Il-Arslan, Ala ad-Din Tekish, and Ala ad-Din Muhammad. The author in detail analyzes information from the Arab-Persian sources features of the distribution of military and administrative posts among the Turkic nomadic aristocracy. The evolution of this phenomenon and the changes that these rulers brought to the position of the Turkic elite in Khorezm are studied. The greatest attention is given to the board of Khorezmshah Ala ad-Din Muhammad, and his eldest son, Jalal ad-Din Mankburni. The paper also presents an analysis of the key positive and negative aspects of the functioning of the Turkic military and political elite of Khorezm on the eve of the Mongolian invasion.

Yu.A. Aver'yanov considers the social structure of the confederation of Qashqai tribes living in the Iranian province of Fars and in neighboring areas. It indicates the special position of the ruling clan Ilkhanov Shahilu, who in fact turned into a princely dynasty. Despite the confusion with Indo-Iranian tribes, the Qashqais continue to consider themselves "Turks" and are proud of the legacy of nomadic culture. Relations between the Qashqais and the neighboring semi-nomadic tribes were rather tense. Ilkhans of the Qashqais assumed the functions of judicial and religious power over their fellow tribesmen. The heads of individual tribes have been generally elected.

P.K. Dashkovskiy, on the basis of written and archaeological sources, studies a possibility of identification in the social structure of the nomadic peoples of Central Asia of the late antiquity categories of priests that were professionally included in the religious sphere. The commission of the main mass of the cult of action, especially rites of the funeral cycle, produces large heads of families and genera.

R.Yu. Pochekaev presents his a study of information of Russian and Western travelers of the 19^{th} c. on the legal status of nomads who were subjects of the Central Asian khanates – Bukhara, Khiva and Khoqand. The specific features of their legal position is studied as well as a level of integration of different peoples and tribes into the political and legal space of khanates of the Central Asia.

The paper of N.N. Kradin, A.L. Ivliev, and Vasiutin S.A. considers an origin of urban culture in the Xiongnu Empire. The significance of Xiongnu urbanization for Inner Asia is emphasized as creation of towns and fortified settlements with residential and production areas was a novelty for this region. An approximate sketch of stages of urbanization and origin of the early town in Xiongnu Empire based on analysis of materials of Tereljin-Durvuljin ancient town and other sites has been presented.

Bureaucracy as a civilizational phenomenon is studied in the article of Pikov G.G. who deals with the formation and development of bureaucracy in the Chitan Empire Liao (907–1125). The author studies the background of this process, the sources of the formation of Chitan bureaucracy, it's place in the social structure, role in political history, and the fate in the post-Imperial period.

The article of O.A. Koroleva is devoted to the question how Chinese culture influenced the cultures of neighboring states and their assimilation. The focus of the research is the reforms of Xiaowendi (better known as Toba Hun). The author describes the life of Xianbei, including the marriage system, as well as Sinicization of names, language, clothes, etc.

The materials presented, along with the already traditional problems, touch upon new aspects of the Eurasian nomadology problems. The authors put forward new questions and offer original solutions. The geographical and temporal coverage of the works is extremely large: from Eastern Europe to Eastern Asia, from the early middle ages to the present day. The volume is addressed to historians, medievalists, nomad scholars, archaeologists, ethnologists, and specialists in cultural studies. It can also be in demand by a wide range of readers interested in history and culture of the nomadic societies of Eurasia.

Научное издание

Труды Института востоковедения РАН

Выпуск 7

ТЮРКСКИЕ КОЧЕВНИКИ В АЗИИ И ЕВРОПЕ:
цивилизационные аспекты истории и культуры

Утверждено к печати
Институтом востоковедения РАН

ISBN 978-5-89282-805-5

Подписано в печать 08.06.2018 г.
Формат 60x90/8. Бумага офсетная.
Объем 33,5 печ. л. Тираж 500 экз.
Заказ №756

Отпечатано в типографии издательства «ПРОБЕЛ-2000»
Адрес: 109544, г. Москва, ул. Рабочая, д. 91, стр. 4
Тел. (495) 287-06-19; e-mail: probel-2000@mail.ru

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт востоковедения РАН
107031 Москва, ул. Рождественка, 12
Научно-издательский отдел
Зав. отделом А. В. Сарабьев
E-mail: izd@ivran.ru